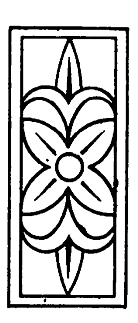
АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО

ПАМЯТНИКИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛАТИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

IV—IX ВЕКОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА"

МОСКВА 1970

Ответственные редакторы:
М. Е. ГРАБАРЬ-ПАССЕК и М. Л. ГАСПАРОВ

7-2-2
168-70(I)

ОТ РЕДАКЦИИ

Современный человек, даже образованный и начитанный, о средневековой европейской литературе вспоминает редко. А когда вспоминает, то представляет себе прежде всего «Песнь о Роланде», «Нибелунгов», «Поэму о Сиде», песни трубадуров и миннезингеров, поэмы Чосера, «Божественную комедию» Данте — произведения, написанные на старинном французском, немецком, английском, испанском, итальянском языках. О средневековой литературе на латинском языке он не вспоминает совсем. Он знает о ее существовании, но она представляется ему скучным скопищем богословских трактатов, монотонных летописей и житий святых: мертвой литературой на мертвом языке.

Между тем это совсем не так. Латинский язык не был мертвым языком, и латинская литература не была мертвой литературой. По-латыни не только писали, но и говорили: это был разговорный язык, объединявший немногочисленных образованных людей того времени: когда мальчик-шваб и мальчик-сакс встречались в монастырской школе, а юноша-испанец и юноша-поляк — в Парижском университете, то, чтобы понять друг друга, они должны были говорить по-латыни. И писались на латинском языке не только трактаты и жития, а и обличительные проповеди, и содержательные исторические сочинения, и вдохновенные стихи. Латинская поэма «Вальтарий» разрабатывала сюжеты древнегерманских сказаний задолго до «Песни о Нибелунгах», а провансальские трубадуры и немецкие миннезингеры учились лирическим темам и приемам у своих старших современников — латинских поэтов-вагантов. Да и те самые латинские богословские трактаты, которые так отпугивают нынешнего читателя, были для европейской мысли школою диалектики, своевременной и полезной.

Давно прошло то время, когда средневековье изображалось в науке как темная полоса в истории культуры, эпоха сплошного мракобесия, попятный шаг на пути от античности к новому времени. Современная буржуазная наука гораздо охотнее впадает в противоположную крайность: идеализирует средневековье, превозносит достоинства средневековой культуры и стирает грани перехода между средневековьем и Возрождением. Такая точка зрения, разумеется,

для советских ученых неприемлема, и с ней должна вестись борьба: но борьба не с устарелых позиций огульного очернения средневековья, а на уровне современных знаний и представлений о средневековье и его культуре. Познакомить современного читателя и исследователя с западноевропейской средневековой культурой, представленной объективно, во всей ее диалектической сложности, без примитивных тенденциозных искажений,— важная задача советских историков и филологов. Этой задаче и служит подготовленный Институтом мировой литературы им. А. М. Горького коллективный труд «Памятники средневековой латинской литературы IV—IX вв.»

Работа состоит из двух частей: «От античности к средневековью» (IV—VIII вв.) и «Каролингское возрождение» (VIII—IX вв.). Каждая часть включает большую вступительную статью, ряд заметок об отдельных авторах и комментированные переводы образцов их произведений. При отборе памятников редакция старалась выделить и показать в средневековой европейской культуре важность элементов античных в противоположность христианским, элементов светских в противоположность церковным, элементов народных в противоположность феодальным, элементов прогрессивных в противоположность реакционным. Книга показывает становление важнейших литературных жанров средневековья — светской и религиозной лирики, героической и дидактической поэмы, биографии, эпистолографии, истории. Среди писателей, творчество которых представлено в книге,— классики христианской литературы Амвросий, Иероним и Августин, последний философ древности Боэтий, историки Беда Достопочтенный, Павел Диакон, поэты Алкуин, Валахфрид Страбон, вольнодумец Годескальк, стихотворец и философ Иоанн Скотт Эриугена и загадочный автор героической поэмы «Вальтарий».

Подавляющее большинство переводов, как прозаических, так и стихотворных, появляется на русском языке впервые. Лишь в редких случаях были использованы в переработанном виде старые переводы (например, из «Книги для чтения по истории средних веков» М. Стасюлевича). Особый интерес представляет публикация многих переводов из поэтов Каролингского возрождения, выполненных крупнейшим советским филологом-медиевистом Б. И. Ярхо (1889—1942) и по большей части не изданных; они печатаются по рукописи (ЦГАЛИ, ф. 2186, оп. 1, № 8).

Продолжением настоящего сборника должен послужить сборник «Памятники средневековой латинской литературы X—XIII вв.».

ОТ АНТИЧНОСТИ К СРЕДНЕВЕКОВЬЮ (IV—VIII вв.)

1

Всякий, кто приступает к изучению латинской литературы раннего средневековья, встречается на первых же шагах с рядом трудно разрешимых, но требующих немедленного разрешения вопросов: во-первых — с какого момента можно говорить о «средних веках» и по каким признакам эта эпоха отличается от «древнего мира»; во-вторых — на какой почве и в каких общественных условиях зародилась и стала развиваться та культура и та литература, которую мы можем характеризовать как средневековую, не античную, хотя она пользуется тем же латинским языком, что и ее предшественница; в-третьих — каково ее соотношение с этой предшественницей, с той античной латинской литературой, которую принято называть не латинской, а римской?

Первый вопрос — какую дату можно считать началом средних веков — наиболее просто разрешался в старых школьных учебниках: такой датой считался 476 г., когда германец Одоакр, командовавший западноримской армией (состоявшей в основном из наемных германцев различных племен), лишил императорской власти малолетнего императора Ромула Августула, сына другого военачальника, римлянина Ореста. Армия провозгласила Одоакра королем, однако титула римского императора он себе не присвоил, отослал от имени сената знаки императорского достоинства константинопольскому императору Зенону, а сам удовлетворился полученным от Зенона званием «римского патриция» и «блюстителя власти». В этом звании он управлял Италией до 493 г., когда был побежден и убит остготским королем Теодорихом, новым завоевателем Италии.

Итак, эта общепринятая дата — 476 год — отмечает только политический рубеж между древностью и средними веками: изменение формы верховной власти в западноримской империи, факт, конечно, не лишенный значения, но не раскрывающий тех коренных внутренних изменений, которые постепенно превращали западные римские провинции в средневековую Европу.

Самым глубоким, как бы подпочвенным слоем, в котором совершались важные изменения, был экономический уклад западноримской империи. Рабский труд уже в первые века н. э. стал менее продуктивным, менее выгодным для владельца и уступал место системе колоната. Резкие различия между рабами и колонами, особенно в сельском хозяйстве, стали стираться — многие рабы получали во владение небольшие земельные участки, а колоны, напротив, со времен Константина Великого были прикреплены к тем имениям, в которых они арендовали участки. В крупных земельных владениях постепенно совершался переход к натуральному хозяйству, вследствие ненадежности торговых сношений и трудности подвоза из дальних провинций. Процесс закрепощения проник и в город: члены городских советов (куриалы) потеряли право свободного выбора занятий и превратились в помощников императорских чиновников по сбору налогов, а ремесленники различных специальностей (пекари, плотники и пр.) оказались прочно приписаны к своим «коллегиям» — своеобразным цехам, или группам взаимопомощи.

Слабость центральной императорской власти уже с III в. повела к усилению власти крупных землевладельцев, бравших на себя и поставку рекрутов в армию, и сбор податей, а нередко и суд и расправу по своим местам. Таким образом, уже в недрах Римской империи исподволь слагалась новая экономическая система: феодальный строй. Рабовладельцы превращались в феодалов-крепостников, рабы — в «свободных» крепостных.

Другой важной новой чертой во всем облике западноримского мира было резкое изменение его этнографического состава. Еще до начала военных вторжений и нашествий «варварских» племен на Римскую империю многие германские отряды нанимались на римскую службу, чтобы сражаться против своих же одноплеменников. Такие отряды расквартировывались в римских провинциях, иногда надолго, и пользовались одной третью доходов своих домохозяев,— это было узаконено и не вызывало протеста со стороны местного населения. Многие германские военачальники занимали в IV—V вв. крупные посты и в восточной и в западной части империи. Наиболее видным был вандал Стилихон, на дочери которого был женат (в конце IV в.) сам император Гонорий. Только после беспорядков в Константинополе, вызванных столкновением наемных германцев с населением, и после казни Стилихона, оклеветанного личными врагами, отношение к германским поселенцам ухудшилось, тем более, что уже с начала V в. они стали выступать не как воины на службе у Рима, а как завоеватели и полноправные владыки занимаемых ими земель. Более всего это насильственное расселение пришельцев коснулось Галлии и Италии. В Галлии, где уже с I в. до н. э. складывался особый слой галло-римской знати и где кельтское население было в значительной степени романизовано, на новых германских насельников смотрели как на варваров и дикарей. Немногим лучше было отношение к ним и в Италии.

В течение всего V в. и большей части VI в. карта Западной Европы непрерывно менялась. Из прочно организованных римских провинций Европа превратилась в подвижный конгломерат неустойчивых варварских государств, пытавшихся закрепиться то в той, то в иной части Западноримской империи как в последние десятилетия ее почти призрачного существования, так и после ее крушения. В начале V в. осесть в Италии попытались вестготы, занимавшие до этого Балканский полуостров; в 410 г. их вождь Аларих впервые захватил Рим, давно покинутый императорами (обосновавшимися в Милане, а при приближении опасности — в окруженной болотами Равенне). Но после безвременной смерти Алариха его преемник Атаульф вывел свое племя из Италии и сперва занял галльские земли к югу от Гаронны, а потом — и всю Испанию, вытеснив оттуда другое племя германских завоевателей — вандалов. Вандалы продвинулись через Гибралтарский пролив в Африку, захватили ее вплоть до Гиппона и Карфагена, король их Гейзерих добился признания независимости своего молодого государства, а в 455 г. даже сделал через море набег на Рим. В то же время продолжается наступление германцев и со стороны Рейна. Здесь на территорию империи вторгаются сперва бургунды, получившие в надел земли между Женевским озером и средней Роной, а потом — франки, то племя, которому была суждена наиболее долгая и блестящая судьба. Их король Хлодвиг, внук легендарного Меровея и основатель династии Меровингов, правил первоначально лишь небольшой областью на нижнем Рейне, но затем в течение трех десятилетий завоевал почти всю территорию современной Франции; а преемники его, подчинив государство бургундов, раздвинули франкские владения до самого Средиземного моря.

Такова суммарная история этнических передвижений V в.: на первый взгляд, они кажутся беспричинными и непонятными, особенно если вспомнить, что эти племена, преодолевавшие такие огромные пространства с женами, детьми и всем скарбом, не были настоящими кочевниками и уже несколько столетий жили земледелием и скотоводством. Причины этого «великого переселения народов» были двоякие: во-первых, неумение вести сельское хозяйство настолько интенсивно, чтобы прокормить численно выросшие племена в суровых северных условиях; и во-вторых, натиск с востока, со стороны кочевых племен аваров и гуннов, оказавших давление на остготов и вестготов и принудивших их искать новых земель во владениях Римской империи; а затем уже передвижение одного тронувшегося с места племени приводило в движение и другие.

К середине VI в. положение в Западной Европе несколько стабилизировалось: вся бывшая Западноримская империя перестала принадлежать римлянам и романизованным галлам, иберам, пунийцам; владыками и хозяевами всюду стали короли германских племен-покорителей. Надо было волей-неволей ужиться с ними и создать какой-то новый образец и материальной жизни и духовной культуры.

И здесь, хотя и в несколько измененном виде, произошло то же самое, о чем за шесть веков до того писал Гораций:

> Греция, взятая в плен, победителей диких пленила...
>
> *(Послания, II, 1, 156)*

Только в данном случае роль Греции сыграл Рим.

Переходный период от античного мира к средним векам закончился, началось подлинное раннее средневековье, в котором движущими культурными факторами были христианская церковь и античная литература. Из параллельного сосуществования и взаимодействия этих двух факторов и родилась латинская литература средних веков.

2

На протяжении IV и V вв. изменились не только экономические и политические условия жизни общества, но и душевные и умственные настроения и интересы его представителей, особенно в высших культурных слоях. В большой степени это было следствием смены господствующей религии, смены официального государственного римского культа богов и императора (последний в I—III вв. стал едва ли не важнее) христианским вероучением, обрядами и обычаями.

Христианство начало распространяться все шире уже в течение II и III вв., но в ту пору оно было по существу еще только одним из многих религиозных течений и группировок, противопоставлявшихся официальному культу; притом за открытое сопротивление его сторонников некоторым обязательным обрядам римского культа — участию в жертвоприношениях и курению ладана перед статуей императора — оно скоро навлекло неодобрение римских властей и стало если не совершенно запретным, то лишь едва терпимым, а порой и сурово гонимым. Только в IV в. (за исключением краткого правления Юлиана Отступника) оно стало сперва дозволенным и узаконенным, а к концу века — поощряемым и господствующим; при Феодосии гонения обрушились уже на языческие культы, и в начале V в. христианизацию Римской империи можно считать уже повсеместной.

Ослабление центральной власти в западной половине империи и ярая, часто необдуманная, прохристианская деятельность правителей восточной половины империи вели на деле к одним и тем же результатам — к усилению христианской церковной организации, к ее обогащению, к росту ее авторитета. Завоевание больших областей «варварами» и их прочное распространение в этих областях не задержало распространения христианства, а скорее содействовало ему. У германских племен, пока они оставались язычниками, не было единого официального религиозного культа, за который они бы упорно держались и который могли противопоставить усердному

и убежденному миссионерству христианской церкви. Более того, те из них, кто некоторое время были расселены на землях восточной империи, успели принять христианство еще в IV в. Вестгот Ульфила, воспитанный при византийском дворе, епископ и первый переводчик Библии на готский язык, обратил в христианство своих соплеменников. Такую же деятельность развернул среди остготов король Теодорих. От вестготов после их переселения в Иберию христианство перешло к вандалам и укрепилось на месте их нового поселения в Африке, где среди местного населения оно было распространено уже давно.

Своеобразным фактом является то, что эти племена, обращенные в христианство в разгар столкновений между «ортодоксальными» католиками и «еретиками»-арианами, приняли христианство в арианской форме и стали настолько ярыми приверженцами арианства, что в их новых государствах начались конфликты между арианами и католиками, а у вандалов дошло до гонений на католиков, напоминавших времена языческих гонений.

В VI в. улеглись и эти страсти: франкский король Хлодвиг принял христианство уже в его католическом варианте, поняв удобство и выгоды союза с римским папой, пользовавшимся большим влиянием на всем Западе. В конце VI в. его примеру последовали короли вестготов и бургундов, отказавшиеся от арианства и присоединившиеся к католической церкви. Вандальское государство к этому времени пало под ударами Византии, и Африка вновь стала католической. Почти в те же годы посланный папой Григорием I в Британию монах Августин обратил в христианство многих англо-саксов. Таким образом, католическая церковь распространила свое вероучение и закрепила свою власть на всем пространстве бывшей западной Римской империи.

Теперь ей предстояла особенно трудная работа — создать свою систему образования и обучения, в первую очередь — для своих служителей, духовных лиц (клириков), и поддерживать христианскую веру в многих тысячах мирян. Перед церковью встали новые вопросы: где учиться, чему и на каком материале учиться, кто и как должен преподавать, кого и в какой мере следует обучать. И чтобы понять, как ответила католическая церковь на эти вопросы, надо прежде всего установить, сохранилась ли преемственность между римскими риторическими школами, существовавшими уже более пятисот лет, и теми новыми школами, которые предстояло открыть для выполнения новых задач, стоявших перед церковью.

Систему образования, принятую с I в. до н. э. в римских школах, историки литературы не раз подвергали резкой критике и даже насмешкам: приводились примеры упражнений в фиктивных судебных процессах, в разрешении конфликтов, оторванных от реальной жизни и заимствованных из истории незапамятных времен; но, по-видимому, упускалось из вида, что школа, не имевшая ничего общего с жизнью и не помогавшая достижению каких-то практических ре-

зультатов, не могла бы просуществовать в течение стольких веков. Число риторических школ было, как можно предположить, очень значительно: в I в. на первое место выдвигается Галлия с ее знаменитыми школами в Бурдигале (Бордо) и Августодуне (Отёне). Об этих двух школах мы можем составить себе достаточное представление по сборнику составленных там латинских панегириков III—IV вв., по стихотворениям Авсония, не только окончившего школу в Бурдигале, но и оставшегося до конца жизни ее виднейшим преподавателем.

В течение V в. риторические школы еще существовали, несмотря на тяжелые испытания, выпадавшие на долю Италии и Галлии. Вряд ли можно сомневаться, что виднейшие писатели V—VI вв. получили в них свое образование, судя по их отличному владению формами латинского языка и ораторскими приемами. Таковы Сидоний Аполлинарий, Эннодий, Кассиодор, Боэтий и даже папа Григорий I; правда, «Диалоги» Григория I, написанные для широких кругов полуграмотной и вовсе неграмотной публики, не раз вызывали упрек в примитивности языка, но другие его произведения подобного упрека ничуть не заслуживают. Однако наряду с названными авторами выступает такой видный писатель, как Григорий Турский, очевидно, уже не получивший хорошего образования и сплошь и рядом нарушающий нормы классического латинского языка. Притом некоторые из упомянутых писателей были в то же время духовными лицами (Сидоний Аполлинарий, Эннодий, Кассиодор) и прилагали свой труд уже и к духовному просвещению и наставлению своих опекаемых, составляя для них уставы и правила благочиния, моральные поучения, молитвы, толкования к Библии и переводы греческих отцов церкви. Им приходилось, конечно, вырабатывать другую терминологию, пользоваться иной манерой изложения и иными приемами, чем те, которые они могли заимствовать из классической римской литературы. Тем более они не могли использовать всей той системы литературных образов, общих мест и риторических приемов, какими щедро снабжали их языческие прозаики и поэты: ведь вся эта система была насквозь пропитана языческой мифологией.

В этой сложной ситуации возникали подчас странные литературные гибриды, ярким примером каковых могут служить «Три книги мифологических рассказов» Фульгенция, где к каждому мифу присоединено моральное поучение, для которого используются самые фантастические этимологические экскурсы (этот тип литературной композиции послужил образцом для многих позднейших средневековых сочинений — например, «Римских деяний», «Морализованного Овидия» и т. п.).

Однако более распространенным в эту раннюю пору приемом было резкое отделение сочинений светских от духовных и совершенно понятно, что важное значение, придававшееся духовному, религиозному элементу, стало преобладать, и вместе с этим стала падать

«выучка», которую давало изучение античных авторов. Прежние риторические школы перестали отвечать потребностям времени и постепенно стали заменяться духовными училищами при епископатах, церквах и особенно при монастырях, число которых непрерывно росло. В эти училища набирались преимущественно подростки и юноши, готовившиеся стать духовными лицами, «клириками». Курс обучения, необходимый им, все сокращался — в него входило знание молитв и песнопений богослужебного чина, который к тому же в эту эпоху был еще не совсем твердо установлен, знакомство с библейской историей и умение приводить из нее некоторые цитаты для доказательств основных положений христианского вероучения. При пестроте этнического состава новых западных государств приходилось считаться и с тем, что для многих учащихся в церковных школах сам латинский язык представлял уже немалые трудности, что вело к формальному заучиванию богослужебных текстов, иногда неправильно переписанных или неверно понятых. Знание греческого языка на Западе отмирает совсем.

Именно в VI—VII вв. складывается двоякое отношение к произведениям римской литературы: это — либо полное отрицание всякой языческой литературы как чуждой и греховной, либо попытки извлечь из нее отдельные произведения и цитаты, которые могли быть истолкованы как пророчества или как доказательства несостоятельности и ложности языческой религии, какую бы форму она ни принимала. Этим отношением к ней и можно объяснить, что после стараний некоторых писателей IV и V вв. удержать интерес и любовь к «великому вечному Риму» и произведениям его писателей в VI и VII вв. этот интерес падает, и первые признаки его возрождения вспыхивают уже только в конце VII в. Тем не менее литературная деятельность, конечно, не прекращается совсем. Напротив, развиваются новые литературные жанры, более тесно соприкасающиеся с жанрами классической литературы, чем это может показаться на первый взгляд.

3

В классической античной литературе понятие поэтического «рода», «жанра» сложилось само собой — в силу того, что произведениям эпическим, лирическим и драматическим был присущ и свой собственный способ исполнения и свои особые стихотворные размеры. Слушатель, воспринимавший то или иное поэтическое произведение, не должен был задумываться над тем, к какому роду поэзии его отнести. Даже исторические сочинения воспринимались на слух. Известно, что Геродот читал свою «Историю» перед слушателями.

Однако чем больше вступало в силу письменное закрепление сочинений любого жанра, в стихах и в прозе, и чем больше становилось людей, уже не *слушающих*, а *читающих* произведения литературы, тем более шаткими становились границы как между родами

произведений поэтических, так и между поэзией и прозой вообще. Смешение жанров было знакомо уже эллинистической литературе. Так, например, трудно сказать, к лирике или эпосу причислять буколический жанр (позднейший теоретик литературы и комментатор «Буколик» Сервий изобрел для них термин «промежуточный род»). Еще больше сдвинуты границы в «Менипповой сатуре», смешивающей прозу и стихи, или в «Александре» Ликофрона, излагающей длинное эпическое повествование размером, свойственным драме.

Римская литература, тоже попытавшаяся в свой классический период провести точное разделение между эпической поэмой, одой и драмой, уже в I в. н. э. создала особый, греческой литературе неведомый, род «драмы для чтения», какими являются, по признанию большинства исследователей, трагедии Сенеки. Такое же взаимопроникновение разных жанров произошло и в области прозы. Исторические сочинения, развившиеся из записей логографов и анналистов, приняли в себя настолько мощную струю ораторского искусства, что у поздних историков она оказалась едва ли не основной в их писаниях.

Такое положение дел на поприще литературы надо все время иметь в виду, приступая к знакомству с латинской литературой раннего средневековья, когда одни авторы, пытаясь удержать какие-то традиции и пережитки античной литературы, хватались то за один, то за другой поэтический или прозаический жанр, другие же, либо недостаточно искушенные в античном наследии, либо сознательно боровшиеся против него, создавали произведения, к которым можно полностью применить Сервиев термин «промежуточный род».

Начнем с тех, которые стоят ближе к эпическим поэмам. Может быть, именно этому роду пришлось пережить наиболее резкие изменения при переходе на новую идеологическую почву. Античный эпос был всецело связан либо с героическим прошлым Греции и Рима, либо с общеизвестными мифологическими сюжетами. Хотя поэты II—III вв. не раз сами высказывали мнение, что вся эта тематика устарела и приелась (об этом говорили, например, греческий поэт Оппиан и римский Немесиан, пытаясь заменить мифологические темы естественнонаучными), но освободиться от всей системы эпических сюжетов и приемов никому из позднейших поэтов не удалось. Даже те, кто лишь номинально примкнул к победоносному христианству, как Авсоний, сохранили в своих сочинениях набор античных языческих эпитетов и сравнений.

Совершенно иным путем должны были пойти те, кто принял христианское вероучение во всем его внутреннем содержании. Им пришлось создать и использовать в своих сочинениях новую систему понятий (например, «Адамов грех», «искупление», «благодать», «искушение») и образов («тьма и свет», «священное древо креста», «житейское море», «буря страстей», «Страшный суд» и т. п.). Одним из моментов христианского учения, особенно трудно воспринимавшимся образованными язычниками, было учение о сотво-

рении мира и его личном творце. В большинстве господствующих философских систем космос не был создан единым божеством, а существовал извечно в той или иной форме, и конца мира в буквальном смысле слова ожидать было нельзя. Легче воспринималось учение о личном бессмертии человеческой души и о посмертном воздаянии за совершенные в жизни дела — оно проповедовалось не только христианством, но и многими более древними мистическими культами.

Именно на ознакомление многих тысяч мирян, принявших христианство, но совершенно не осведомленных в нем, с ветхозаветной и новозаветной историей и направили свои усилия новые христианские поэты раннего средневековья. Почти все они начинают свои поэмы с истории сотворения мира и продолжают повествование о последующих судьбах рода человеческого, иногда завершая его концом всемирного потопа, иногда гибелью Содома и Гоморры, иногда доводя его до рождения Христа.

Таковы посвященные Ветхому Завету поэмы Киприана, Мария Викторина, Илария Арльского, Драконтия, Авита (наиболее талантливого из этих перелагателей Библии). Другие поэты пересказывали стихами евангельский рассказ о земной жизни Христа (Ювенк, Иларий из Пуатье), а поэт VI в. Аратор — «Деяния апостольские». Большинство этих поэм пользовалось успехом и сохранило свою славу вплоть до эпохи Возрождения. При недоступности для широких кругов полного текста Писания эти поэтические переложения служили нетрудным чтением, сообщавшим основные факты библейской истории. Наряду с поэмами, авторы которых нам известны, имелось немало анонимных стихотворений, пересказывавших отдельные эпизоды ее («Гибель Содома», «Пророк Иона, поглощенный китом» и др.).

Однако эпические поэты, конечно, не могли ограничиться только пересказом уже установленных традицией и канонизированных священных книг, от которых они порой, правда, слегка отклонялись, внося или опуская некоторые подробности, но изменять которые в чем-либо существенном было недопустимо. Больше свободы поэтическому вымыслу давали повествования об отдельных деятелях христианской церкви, прославивших себя либо твердостью во время гонений и мученической смертью, либо долгой подвижнической аскетической и человеколюбивой жизнью. Эти мартирологи и жития пришли на смену поэмам о победах героев над сказочными чудовищами и над врагами отечества, прославляя не столько боевую храбрость, сколько мужественное терпение при телесных страданиях и самоотверженность.

Из библейских материалов почерпнут рассказ о казни семи братьев Маккавеев (поэма Викторина); четырнадцать стихотворений испанца Пруденция, первого крупного латинского поэта-христианина, посвящены прославлению испанских мучеников и мучениц (Лаврентия, Романа, Фруктуоза, Агнии и др.). Более мирные

образы защитников и проповедников христианства являются в житиях Мартина Турского (в прозе оно было составлено в начале V в. Сульпицием Севером, лично знавшим Мартина, и переложено в стихи в конце V в. Павлином из Перигё, а в конце VI в. Венанцием Фортунатом) или святого Феликса Ноланского, героя эпохи гонений (о котором написал 15 стихотворений его поклонник Павлин Ноланский). Наконец, уже в VI в. папа Григорий I Великий во второй книге своих «диалогов» передал ряд рассказов об основателе первого монашеского ордена (бенедиктинцев) Бенедикте Нурсийском, основателе монастыря Монте-Кассино.

Таков краткий обзор литературного эпического творчества раннего средневековья. И хотя в общем в нем, несомненно, преобладает чисто эпический элемент, однако то с большей, то с меньшей силой проявляют себя в нем и другие течения. Первое, что имеет огромное значение в большинстве этих поэм,— это догматические моменты вероучения и его морализующие выводы. Эти поэмы хотят не только рассказывать, они хотят путем рассказа учить. В первую очередь — догматам веры (троичности, искупления мира смертью и воскресением Христа, ожидания Страшного суда), во вторую — правилам христианской нравственности (мужественному перенесению преследований, презрению к материальным благам, борьбе со страстями). Эти как бы побочные, по существу же основные, цели поэм придают им то характер личной исповеди, изложения своей собственной веры (например, в стихах Павлина о св. Феликсе), то характер дидактической аллегории (таковы поэмы Пруденция «О рождении греха» и «Психомахия», поэма Седулия «Пасхальная песнь», поэма Драконтия «Хвала Господу»).

И наконец, в спокойном повествовании о библейских событиях или о жизни святых все сильнее подчеркиваются и выступают на передний план рассказы о событиях сверхъестественных, о чудесах. Вера в прочный незыблемый порядок мира в это время уступает место вере в всегда возможное нарушение его по воле личного божества или любого человека, служащего ему верой и правдой. С течением времени эта вера в чудеса все усиливается, и растет поток рассказов о случаях чудесных исцелений, воскрешения умерших, освобождения узников, ослепления злодеев, явления душ из загробного мира и т. п. Впоследствии вера в чудеса становится неотъемлемым признаком христианского вероисповедания, заслоняя собой как догматическое, так и нравственное его учение.

Эпические произведения допускали выражения личного религиозного чувства лишь в качестве отдельных отступлений от основной линии повествования. Но одновременно с ними расцвели и другие жанры, в которых лирический момент мог найти более яркое выражение. На первом месте здесь стоят церковные гимны, стихотворения, предназначенные для хорового пения верующих во время богослужения. Первым и наиболее знаменитым творцом их был епископ Амвросий Медиоланский. Достоверно принадлежащих ему гимнов

немного, но они вошли прочно в чин церковной службы, а многие гимны, слагавшиеся позднее, приписывались ему и тем самым входили в прочный фонд церковных песнопений.

Образцами гимнов, по-видимому, сперва послужили псалмы, древнее наследие иудейского вероисповедания, но христианские поэты сумели создать и свою систему образов для выражения религиозных чувств благоговения и восторга. В гимны вносились, конечно, и некоторые догматические моменты — учение о троичности, о рождении Христа от девы Марии. Уже на первых шагах гимнотворчества заметен рост преклонения перед матерью Христа, впоследствии превращающегося в западной церкви в экстатический культ Мадонны. Заботы римских пап и местных епископов об упорядочении церковной службы содействовали распространению гимнов как литературной формы, легко запоминающейся на слух, среди широких кругов населения.

Более узкому кругу образованных людей, среди которых уже с конца IV в. имеется много представителей высшего духовенства, были доступны для изображения своей личной душевной жизни и более сложные литературные формы — поэтического или прозаического письма, или послания. Раннее средневековье — время, богатое эпистолографическими произведениями. Наибольшее впечатление на современного читателя может произвести интереснейшая стихотворная переписка между Авсонием и его любимым учеником Павлином Ноланским, сменившим «блестящую», по мнению Авсония, карьеру учителя риторики на аскетический образ жизни сперва в горах Испании, потом в маленьком италийском городке Ноле около гробницы особо им чтимого святого Феликса. В этой переписке живо отражена теплая взаимная любовь учителя и ученика при полном взаимном же непонимании. Из писем прозаических много интересного дают письма Иеронима и Сидония Аполлинария, а стихотворные послания к франкским королям и высокопоставленным «варварам» использует для самой беззастенчивой лести искусный версификатор Венанций Фортунат.

Наконец, в это же время создаются произведения автобиографического характера в невиданном до той поры размере и ни с чем не сравнимые по глубине — знаменитая «Исповедь» Августина и полупрозаическое, полустихотворное предсмертное сочинение последнего античного философа, негласного стоика Боэтия — «Утешение философией».

Все перечисленные выше произведения можно отнести с бо́льшим или меньшим правом к произведениям художественным. Не следует, однако, проходить мимо тех, которые, по мысли их авторов, должны были послужить к повышению образования и просвещения тех, к кому они обращались. На первом месте в ту пору христианские писатели заботились о религиозном воспитании читателей и слушателей, поэтому наибольшее значение приобретают в это время сочинения религиозно-дидактические. Они, если можно

так выразиться, носят либо отрицательный, либо положительный характер. Первые — это произведения полемические. Более ранние из них посвящены борьбе с язычеством вообще или с отдельными лицами, упорствующими в своих языческих верованиях, более поздние — опровержению еретических учений, отвергнутых решениями вселенских соборов. Эта литература, которой придавалось в свое время большое значение, представляет интерес с точки зрения истории развития церкви и роста ее влияния. Вторые — положительные — это проповеди, моральные наставления и сочинения, истолковывающие отдельные книги Библии. Особенно большое внимание уделялось книгам ветхозаветных пророков, трудным для понимания из-за символики и сложной системы образов, свойственных восточным религиям и чуждых Западу. Нередко таким же, по существу, чисто экзегетическим целям посвящались и письма крупных церковных деятелей (таковы, например, многие письма папы Григория I).

Радея особенно усердно о религиозном воспитании своей паствы, многие руководители церкви, сами еще получившие широкое, но уже не всегда глубокое образование и видевшие, как общий образовательный уровень населения, и коренного и нового, катастрофически падает, старались сообщить тем, кто несколько владел латинским языком, основные сведения по истории, географии, естественным наукам и создавали труды энциклопедического характера. Известнейшими деятелями на этом поприще были Кассиодор и Исидор Севильский, оставившие ряд трудов по разным отраслям наук, в основном — компилятивных, но заслуживших широкую известность и пользовавшихся ею вплоть до эпохи Возрождения, когда все сведения, сообщенные в них, оказались безнадежно устаревшими. Только для одного раздела науки как таковой раннее средневековье дало ценные работы. Этот раздел — история. Интерес к конкретным историческим событиям, не угасавший никогда у людей наблюдательных, привел к созданию таких важных исторических произведений, как «История готов» Иордана (недавно вышедшая в научном издании на русском языке и потому не включенная в наш сборник), «История франков» Григория Турского и «Церковная история народа англов» Беды Достопочтенного. Эта линия продолжалась с успехом и в дальнейшие века и, несмотря на хроникальный характер и рассеянные тут и там дидактические рассуждения, дала основу для знакомства с подлинной историей этого смутного времени.

Вероятно, ни одна историческая эпоха не получала впоследствии столь различных и даже противоречивых оценок, как раннее средневековье. Его то изображали временем сплошного невежества и мракобесия, то превозносили как время, когда зарождалась новая культура Западной Европы. Исторические оценки, делаемые с точки зрения оценивающей эпохи, всегда шатки. Это время было таким, как могло и должно было быть, и следует высоко оценивать не его, а тех людей, которые искренно прилагали свой усердный

труд к тому, чтобы дать своим современникам такое просвещение, какое они сами считали полезным и нужным. Но что надо особо высоко оценить и чему всякий историк и литературовед должен воздать благодарность — это та роль, которую сыграл в эти века латинский язык, уже сильно отклонявшийся от норм не только «золотой», но и «серебряной» латыни. Он тем самым сохранил свою жизнь на многие века, и до того момента, когда национальные языки окрепли и стали создавать свою собственную литературу, он один служил связующим звеном между многоязычными племенами новой Европы, и на нем была рождена литература, выполнявшая по мере сил те задачи, которые ставило перед ней ее время.

Амвросий Медиоланский

Один из так называемых «отцов» западной церкви и христианский писатель Амвросий Медиоланский прожил не слишком долгую (340—397 гг.), но насыщенную событиями и весьма деятельную жизнь. Он происходил из знатного рода. Отец его был префектом Галлии, которая объединяла тогда помимо Галлии еще Испанию и Британию. Главная резиденция его находилась в Трире, где, по-видимому, и родился Амвросий. Отец рано умер, и семья переехала в Рим. Там Амвросий получил обычное для его времени и его социального положения образование, подготавливающее его к государственной карьере. Это был непременный тривиум: грамматика, юриспруденция и риторика. В программу образования входило чтение языческих авторов, греческих и латинских, из которых самым любимым у Амвросия был, по-видимому, Вергилий.

Свою служебную карьеру Амвросий начал с адвокатской деятельности. Знатность происхождения и его способности содействовали тому, что уже в 30 лет (в 370 г.) он становится правителем Лигурии и Иллирии с главной резиденцией в городе Медиолане (Милане), а через четыре года (в 374 г.) — епископом. Приняв сан епископа, он углубляется в изучение богословской литературы и Священного Писания. Его богословские сочинения показывают, что он многим обязан Дидиму и Василию Великому.

Церковная деятельность Амвросия относится к тому периоду истории Рима, когда христианство, став государственной религией, уже не только пользовалось поддержкой государственной власти, но и само начинало оказывать влияние на государственную политику, отстаивая в то же время свою автономию в государстве. Амвросий был как раз таким церковным деятелем. Отвергая притязания светской власти, он сам влиял на политику правивших в его время императоров. С ним считался даже Феодосий Великий, которого Амвросий принудил к церковному покаянию за кровавую расправу над восставшими в Фессалониках.

Внутри церкви Амвросий вел борьбу с арианами, партия которых, несмотря на то, что Никейский собор (в 325 г.) признал учение Ария ересью, имела много сторонников.

Решающую роль сыграл Амвросий и в деле об алтаре Победы. Жертвенник с золотой статуей богини Победы, находящийся в курии сената, стал в IV в. яблоком раздора между язычниками и христианами, а отношение к нему импе-

раторов — показателем их религиозной политики. Константин Великий не трогал статуи, Констанций ее из сената удалил. Юлиан Отступник восстановил, Валентиниан I не трогал, а Грациан, по совету Амвросия, удалил опять. Партия язычников, которую возглавлял Симмах, дважды (в 382 и 385 гг.) обращалась к императорам Грациану и Валентиниану II с просьбой восстановить статую. Основная идея прошения, написанного Симмахом,— идея свободной веры. Понимая, что при силе новой религии бессмысленно требовать возврата старой и видеть такой возврат в восстановлении статуи, Симмах отстаивал свободу вероисповедания и предлагал рассматривать статую как реликвию славного прошлого, как символ веры, связанной с судьбой Рима. Амвросий же, пункт за пунктом отвечая на прошение Симмаха, говорит об упадке Рима, который не смогли предотвратить языческие идолы, критикует языческие обряды и прославляет христианство как более высокую ступень развития человеческого разума и верований. Четырнадцатилетний Валентиниан II по совету Амвросия отверг петицию язычников.

Амвросий был плодовитым писателем. Все его многочисленные произведения можно разделить на несколько категорий: 1) произведения, посвященные разъяснению церковных догм (трактаты «О вере», «О святом духе» и т. п.); 2) произведения, содержащие толкование Священного Писания, вроде «Шестоднева» или трактата «О рае»; 3) произведения, разбирающие вопросы церковной и вообще христианской этики; основным среди этого рода произведений надо считать трактат «Об обязанностях священнослужителей». В нем Амвросий сознательно перенимает форму трактата Цицерона «Об обязанностях», отдает должное Цицерону и его источнику — Панэтию, но решает все нравственные вопросы по-новому, исходя из христианских верований. Он сопоставляет мораль христианскую с моралью языческой философии, стараясь доказать превосходство первой.

Красноречие Амвросия проявилось, главным образом, в трех надгробных речах: на смерть брата Сатира, на смерть Валентиниана II и на смерть Феодосия Великого. Эти три речи представляют собой самые ранние образцы речей этого типа в христианской литературе.

Любопытны многочисленные письма Амвросия; некоторые из них имеют исторический интерес (например, письмо к Феодосию о кровопролитии в Фессалониках или два письма об алтаре Победы). Амвросий, кроме того, автор нескольких церковных гимнов. Язык его, по мнению знатоков, содержит уже значительные отклонения от классического.

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЬ

Господь, создатель сущего,
Зиждитель звезд, сменяющий
Полудня светлость ясную
Полночной тихой дремою,

Дабы тела усталые
Вернуть к трудам окрепшими,
Унять ума терзание,
Унять печаль дрожащую!

За день сей, ныне гаснущий,
За ночь, в наш мир грядущую,
Пылая благодарностью,
Поем мы песнь уставную.

Тебе молитва теплая,
Тебе напевы звучные,
К тебе любовь безгрешная
И ум стремится бодрственный,

Дабы, когда глубокая
Поглотит мгла сияние,
Не гасла вера бодрая,
И ночь сияла верою.

Не дай забыться совести,
Грех учит нас забвению;
Для чистых верой строгою
Дремота растворяется.

Совлекшись блудных помыслов,
Тобой да грезит сердца глубь,
И враг лукавый кознями
Не возмутит спокойствия.

Отцу и Сыну молимся,
Христову Духу отчему —
Единству всевладычному:
Помилуй верных, Троица!

ПЕСНЬ О МУЧЕНИКАХ

Дары Христовы вечные,
Святых страдальцев подвиги
Хвалой величим должною
В победном ликовании.

Церквей вожди высокие,
Полков святых начальники,
Небесной рати воины,
Благие мира светочи!

Вы плоти страх осилили,
Превозмогли терзания
И, смертью освященные,
Вошли в сиянье вечное.

Огню тела подставлены,
Зубам зверей неистовых,
Лихой руке палаческой,
Крюкам, клещам и лезвиям.

Висят утробы голые,
Кровь льется доброчестная,
Но пребывает мученик
Недвижным в стойкой доблести.

Святых любовью преданной,
Непобедимой верою,
Надеждой неизменною
Князь мира побеждается!

В страдальцах слава Отчая
И Духа изволение,
В них Сына ликование,
В них рая радость вечная.

Тебе, Спаситель, молимся:
Да с мучеников воинством
Рабов, к тебе взывающих,
Вовеки упокоишь ты.

ПЕСНЬ НА ТРЕТИЙ ЧАС

Час третий, время дивное:
Христос на крест подъемлется.
Наш ум вне мыслей суетных
Да прилежит к молениям!

Кто принял в сердце Господа,
Стал чист и ясен в помыслах,
Молитвенным усердием
Стяжав дары духовные.

Вот час, в который древняя
Избытка скверна мерзости,
И жало смерти вырвано,
И вины мира отняты.

ПИСЬМО ОБ АЛТАРЕ ПОБЕДЫ

(письмо XVIII)[1]

Епископ Амвросий благочестивейшему принцепсу и всемилостивейшему императору Валентиниану Августу[2].

1. Когда славнейший Симмах, префект города, обратился к твоей милости с просьбой вернуть на прежнее место алтарь, удаленный из курии сената города Рима, ты, император, ветеран веры, несмотря на свою молодость и неопытность, не одобрил просьбы язычников. Как только я узнал об этом, я послал тебе письмо[3], в котором, хотя и высказал все, что мне казалось необходимым, однако, просил дать мне экземпляр реляции Симмаха.

2. Поэтому, не подвергая сомнению твою веру, но проявляя предусмотрительность и уверенный в доброжелательном внимании, я отвечаю в этом документе на доводы реляции, обращаясь к тебе с единственной просьбой не искать здесь изящества выражений, а принимать во внимание лишь силу фактов. Ибо, как учит Священное Писание, язык мудрых и ученых людей — золото; он сверкает красивыми, звонкими фразами, как бы отражая его драгоценный блеск, пленяя глаза видимостью красоты и ослепляя их этим внешним сиянием. Но золото это на поверку оказывается ценностью только снаружи, внутри же оно — простой металл. Прошу тебя, взвесь и исследуй высказывания язычников; они говорят весомо и возвышенно, но защищают то, что далеко от истины. Они говорят о боге, а поклоняются идолам.

3. Итак, славнейший префект города в своей реляции выдвинул три положения, которые он считает неоспоримыми: он говорит, что Рим требует исполнения своих старых обрядов, что весталкам и жрецам нужно платить жалованье и что отказ платить жрецам повлечет за собой всеобщий голод.

4. Рим, как говорит Симмах в первой части своей реляции, истекает слезами, жалобно моля восстановить старые обряды. По его словам, языческие святыни отогнали Ганнибала от стен города и не допустили галлов в Капитолий. В действительности же, пока проявилась сила святынь, слабость предала их. Ганнибал долго оскорблял римские святыни и, хотя боги боролись с ним, дошел завоевателем до самых стен города. Почему боги допустили, чтобы Рим подвергся осаде? За кого они сражались?

5. В самом деле, что мне сказать о галлах, которым римские реликвии не помешали бы проникнуть в святая святых Капитолия, если бы их не выдал испуганный крик гусей?[4] Какие великолепные защитники у римских храмов! А где тогда был Юпитер? Или это его голос слышался в гусином крике?

6. Но зачем мне отрицать, что их святыни сражались за римлян? Однако ведь и Ганнибал поклонялся тем же самым богам! Стало быть, боги могут выбрать, кого хотят. И если святыни побе-

дили у римлян, то, следовательно, у карфагенян они были побеждены, и если они торжествовали победу у карфагенян, то, значит, они не принесли удачи римлянам.

7. Итак, эта отвратительная жалоба римского народа исчерпана. Рим не поручал язычникам ее произносить. Напротив, он обращается к ним с совсем иными словами. Для чего,— говорит он,— вы ежедневно обагряете меня кровью, принося в жертву целые стада невинных животных? Не в гаданиях по внутренностям, а в доблести воинов залог вашей победы. Иным искусством я покорил мир. Моим солдатом был Камилл[5], который оттеснил победителей — галлов с Тарпейской скалы и сорвал их знамена, уже вознесенные над Капитолием: тех, кого не одолели языческие боги, победила воинская доблесть. А что мне сказать об Аттилии[6], самая смерть которого была исполнением воинского долга? Африканец[7] добыл свой триумф не среди алтарей Капитолия, а в боевом строю, сражаясь с Ганнибалом. Зачем вы так настаиваете на религиозных обрядах наших предков? Я ненавижу веру, которую исповедывал Нерон. А что я могу сказать об императорах на два месяца[8] и о конце их правления, столь близком к началу? И разве для варваров это ново — выйти за пределы своих границ? Ведь не христианами были те двое[9], с которыми произошел беспримерно несчастный случай, когда один из них, попавший в плен император, и другой, получивший власть над миром, заявили, что обряды, обещавшие победу, оказались ложными. Разве тогда не было алтаря Победы? Я сожалею о своих заблуждениях: на моей седой голове красный отблеск позорного кровопролития. Но я, старик, не стыжусь переродиться вместе со всем миром. Учиться истине никогда не поздно. Пусть стыдится тот, кто не в состоянии исправиться на старости лет. В преклонном возрасте похвалы достойна не седина, а характер. Не стыдно меняться к лучшему.

В одном только я был подобен варварам, что до сих пор не знал Бога. Ваше жертвоприношение есть обряд окропления кровью животных. Почему вы ищете глас божий в мертвых животных? Придите и присоединитесь к небесному воинству на земле. Здесь мы живем, а там будем сражаться. Тайнам небесным пусть учит меня сам Бог, который меня создал, а не человек, не сумевший познать самого себя. Чьим словам о Боге я могу верить больше, чем самому Богу? И как я могу поверить вам, которые признаются сами, что не знают, кому поклоняются?

8. К познанию великой тайны, утверждает Симмах, можно прийти не одним путем. Я же говорю: всему, что вы знаете, научил нас сам Бог. То, что вы силитесь разгадать, нам открыла сама воплотившаяся Божественная Премудрость. Ваши пути отличаются от наших. Вы просите у императора мира для своих богов, мы же испрашиваем у Христа мира для самих императоров. Вы поклоняетесь деянию рук своих, мы же считаем оскорблением видеть Бога в том, что может быть сделано человеческими руками. Бог не

хочет, чтобы его почитали в камне. В конце концов, даже ваши философы смеялись над этим.

9. Поэтому, если вы отрицаете, что Христос есть Бог, поскольку вы не верите в его смерть (ведь вам неведомо, что умерла лишь плоть, а не божество, и что теперь уже никто из верующих не умрет совсем), то кто может быть неразумней вас, чье почитание содержит оскорбление, а оскорбление — почитание? О, это почитание, полное оскорбления! Вы не верите, что Христос мог умереть. О, это полное почитания упрямство!

10. Нужно вернуть, говорит Симмах, идолам — алтари, а храмам — их древние украшения. Пусть они требуют этого, но лишь от тех, кто разделяет их суеверия: христианский император привык почитать алтарь одного Христа. Затем они принуждают благочестивые руки и верные уста пособничать им в их святотатстве? Пусть голос нашего императора произносит имя одного Христа и говорит только о нем, которого он чувствует, ибо «сердце царя в руке Господа»[10]. Разве какой-нибудь языческий император воздвигал алтарь Христу? И, пока язычники требуют восстановить то, что было, их пример напоминает нам, с каким уважением христианские императоры должны относиться к религии, которой они следуют; ведь некогда языческие императоры все приносили в жертву своим суевериям.

11. Мы начали свое дело давно, а они уже давно хватаются за то, чего нет. Мы гордимся пролитой кровью, их волнуют расходы. То, что мы считаем победой, они расценивают как поражение. Никогда язычники не принесли нам большей пользы, чем в то время, когда по их приказу мучили, изгоняли и убивали христиан. Религия сделала наградой то, что неверие считало наказанием. Какое величие души! Мы выросли благодаря потерям, благодаря нужде, благодаря жертвам, они же не верят, что их обычаи сохранятся без денежной помощи...

УТЕШЕНИЕ НА СМЕРТЬ ВАЛЕНТИНИАНА II[1]

[ВСТУПЛЕНИЕ]

1. Хотя писать о том, о чем скорбишь, значит лишь увеличивать скорбь, мы часто, однако, находим утешение в воспоминаниях о человеке, чью потерю мы оплакиваем. Так как, пока мы пишем, устремляя к нему свой ум и заостряя на нем свое внимание, он кажется нам ожившим в нашей речи. Написать о последних днях Валентиниана Младшего было долгом сердца, чтобы не показалось по нашему молчанию, что мы либо предали забвению нашего возлюбленного сына и благодетеля и не почтили его память, либо что мы намеренно избегаем повода для скорби, тем более, что самая

скорбь часто служит утешением для скорбящего. И когда я говорю о нем или обращаюсь к нему, я говорю как бы о присутствующем здесь, или как бы для присутствующего здесь.

2. Итак, что мне оплакивать прежде всего? На что мне прежде всего горько сетовать? Дни, к которым были обращены наши желанья, обернулись для нас слезами, так как Валентиниан вернулся к нам, но не таким, каким мы его ждали. Однако даже своей смертью он пожелал исполнить обещание, хотя и до предела горьким стало его присутствие здесь, которое было таким желанным. О, пусть бы его не было с нами, лишь бы он был еще жив! Но он не стерпел, когда услышал, что итальянским Альпам угрожает враг — варвар, и предпочел подвергнуть себя опасности, оставив Галлию, чем быть вдали от нас во время нашей беды [2]. Мы сознаем свою великую вину перед императором, потому что он хотел прийти на помощь Римской империи и это стало причиной его смерти, причиной, достойной славы. Воздадим же нашему господину дань слезами, потому что он заплатил нам дань своей жизнью.

3. Однако взывать к слезам нет необходимости. Плачут все: плачут те, которые не знали его; плачут те, которые боялись его; плачут те, которые не хотят плакать; плачут даже варвары и даже те люди, которые, казалось, были его врагами. Сколько рыданий исторгнул он у народов на всем пути из Галлии сюда! В самом деле, все оплакивают его по-родственному, как будто это умер не император, а их общий родитель; все скорбят о его смерти, как о своей собственной. Ибо мы потеряли императора, скорбь по котором усугубляют две вещи: молодость его лет и зрелость его ума. Потому я и плачу; как сказал пророк, «око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою» [3]. Затуманились глаза не только телесные, но и духовные, и каждое чувство притупила некая слепота; ведь меня лишили того, кто преобразил мою душу, вырвав ее из глубин отчаяния и обратив к высокой надежде.

4. «Послушайте, все народы, и взгляните на болезнь мою: девы мои и юноши мои пошли в плен!» [4] Но когда стало известно, что они из областей, подвластных Валентиниану, то они вернулись свободными. Враг-варвар вел войну с юношей-императором и, забыв о своей победе, помнил об уважении к нему. Он по своему собственному побуждению освободил тех, кого взял в плен, сказав в свое оправдание, что он не знал, что они из Италии. Мы готовы были отгородить Альпы стеной, но достоинство Валентиниана не позволило ему положиться ни на эту ограду, ни на речные потоки, ни на глубокие снега, и он, перейдя через потоки и Альпы, защитил нас стеной своей императорской власти. Поэтому я бы привел здесь начало «Плача» пророка о том, как одиноко сидит Италия, некогда полная радостей [5]: «Горько плачет она ночью, и слезы ее на ланитах ее! Нет у нее утешителя из всех, любивших ее; все друзья ее изменили ей, сделались врагами ей» [6].

5. И как об Иерусалиме сказано: «плачет», наш Иерусалим, то есть церковь, тоже «плачет ночью», потому что опочил тот, кто служил ее славе своей верой и благочестием. По справедливости она «горько плачет» и «слезы ее на ланитах ее». Обильный плач обычно виден по увлажненному лицу, когда щеки орошены слезами; но так как в Писании сказано: «Щеки его — цветник ароматный, гряды благовонных растений; губы его — лилии, источают текучую мирру» [7],— то имеется в виду таинственная благодать плачущей церкви, которая изливает благотворные ароматы печали на могилу Валентиниана, прославляя его добродетельную жизнь. Ему не могла повредить смерть, потому что аромат всеобщих похвал развеял зловоние тления.

5. Итак, церковь оплакивает своего возлюбленного сына и «слезы ее на ланитах ее» [8]. Но послушай, какие ланиты: «Ударившему тебя по щеке подставь и другую» [9], ибо она так терпелива к страданиям, что тот, кто их причиняет, раскаивается. По одной щеке ты получила удар, церковь, когда потеряла Грациана; ты подставила и другую, когда тебя лишили Валентиниана. По справедливости, слезы у тебя не на одной, а на обеих щеках, так как ты благочестиво оплакиваешь обоих. Итак, ты плачешь, церковь, и ланиты твои утопают в слезах, как бы в неких потоках благочестия. Каковы же у церкви эти ланиты, о которых в другом месте говорит Писание: «Как половинки гранатового яблока — ланиты твои» [10]. Ланиты эти сияют скромностью и красотой, что означает либо цветущую юность, либо совершенную зрелость. Поэтому в смерти верных императоров есть некий упрек церкви: столь безвременная смерть благочестивых правителей омрачает ее красоту.

[ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЕНТИНИАНА II]

13. В самом деле, великий подвиг — либо вообще воздержаться от пороков юности, либо оставить их у самого порога юности и обратиться к серьезным вещам; ибо запутаны и полны соблазнов дороги юности. И, наконец, Соломон говорит: «Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю: пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице» [11]. Давид же говорит: «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай» [12]. Потому что юноша впадает в грех не только из-за свойственной молодости неустойчивости характера, но и из-за незнания небесных предначертаний; однако тот, кто грешит по неведению, быстро получает прощение. Поэтому пророк и говорит: «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай» [13]. Он не говорит: «Грехов старости моей и мудрости моей не вспоминай», но как пророк, который быстро исправил грехи своей юности, сославшись на возраст и незнание, так и Валентиниан говорил о грехе подобное пророку: «Грехи юности и неведения моего не

вспоминай». Он не только говорил, но и исправлял свои ошибки прежде, чем узнавал, что впал в грех. Поэтому он говорит: «Исправления ошибок юности моей не вспоминай». Ошибаются многие, но не многие исправляются.

15. Что мне сказать о других его поступках, если он считал, что следует воздерживаться даже от детских игр, что нужно сдерживать свойственное молодому возрасту своеволие, что должно смягчать строгость общественного наказания и быть снисходительным к старикам, когда их обвиняют в каком-либо преступлении. Вначале говорили, что ему нравятся зрелища в цирке; но он отступился от них настолько, что считал необязательным устраивать их даже в дни рождения вельмож, хотя бы это и делалось в честь императора. Некоторые говорили, что он увлекается охотой и тем самым отвлекает свой ум от общественных дел; но на это он незамедлительно приказал перебить всех своих зверей.

16. Он умел слушать дела в совете так, что если старики сомневались или кто-то руководился предвзятым мнением, он духом Даниила, будучи юношей, выносил справедливое и достойное старика решение. Завистники болтали, что он любит рано обедать; тогда он стал так часто поститься, что, даже устраивая торжественные пиры для своих сподвижников, сам не ел, в угоду святой вере и приличествующей правителю обходительности.

17. До него дошла речь о том, что знатные римские юноши пропадают от любви, пленившись красотой какой-то актрисы; он приказал привести ее ко двору. Посланный был подкуплен и вернулся, не исполнив поручения; тогда он послал другого, чтобы не оказалось, что он хочет исправить пороки юношей, но не может этого сделать. Кое-кому из завистников он дал этим повод для клеветы. Однако эту женщину он никогда прежде не видел ни на сцене, ни наедине. После этого он приказал возвратить ее и для того, чтобы все узнали, что его поручение не было напрасным, и для того, чтобы дать юношам поучительный пример того, как воздержаться от любви к женщине, от которой он сам отказался, хотя она была в полной его власти. И он сделал это, когда у него еще не было жены; однако он проявил целомудрие, словно связанный узами брака. Кто настолько властен над своим телом? Кто может быть таким судьей других, каким был он в своем молодом возрасте?

18. Что мне сказать о его благочестии? Когда ему донесли, что некоторые богатые и благородного происхождения люди уличены в злоумышлении на его престол, он попросил, чтобы не устраивали никакого кровопролития, особенно в святые дни. И через несколько дней, прочтя записку доносчика и усмотрев в ней клевету, приказал до выяснения не лишать обвиненного свободы. Ни до, ни после этого при молодом императоре никто не боялся быть оклеветанным в таком преступлении. Он смеялся, когда ему говорили, что сильные боятся императоров.

19. Рим отправил к нему послов, требуя восстановления прав храмов, привилегий языческих жрецов, культа своих святых, опираясь при этом — что самое главное — на поддержку сената[14]. И когда все христиане, находящиеся в собрании, наравне с язычниками, высказались за то, чтобы вернуть привилегии, Валентиниан один, возбудив в себе дух божий, обличал христиан в вероломстве, а возражая язычникам, сказал: «Как же я могу вернуть вам то, что отнял у вас мой благочестивый брат? Ведь в этом случае будет оскорблена и религия, и брат, а я не хочу отставать от него в благочестии».

20. И когда ему привели в пример отца, говоря, что при нем никто ничего не отбирал, он ответил: «Вы хвалите моего отца за то, что он не отбирал, но ведь и я не отбирал. А разве отец что-нибудь возвращал, чтобы вы могли требовать того же от меня? Наконец, даже если бы отец и вернул, то брат отнял, а в этом случае я предпочитаю следовать примеру брата. И разве только отец мой был императором, а брат им не был? Равное тому и другому полагается почтение, как равны и благодеяния, оказанные тем и другим государству. Поэтому я буду следовать и тому, и другому: не отдам того, что отец мой не мог отдать, так как никто у него этого не требовал, и сохраню то, что установлено братом. Пусть Рим требует от меня чего-нибудь другого: я должен родителю любовь, но виновнику спасения я должен больше — послушание».

21. Что мне сказать о любви к Валентиниану жителей провинций, или о том, как он сам их любил, или о том, как он не позволял налагать на них никаких новых податей и налогов? Прошлых долгов, говорил он, не могут они отдать, так смогут ли они выдержать новые? За это же самое провинции хвалят Юлиана, но тот поступал так в зрелом возрасте, а этот — в ранней юности; тот, многое получив, все растратил, а этот, не получив ничего, изобиловал всем.

22. Находясь по ту сторону Альп, он услышал, что варвары приблизились к границам Италии; тревожась, как бы неприятель не напал на государство, он поспешил приехать, оставив спокойную жизнь в Галлии и желая принять на себя нашу беду.

23. Это у меня с другими общее. Относящееся же ко мне лично состоит в том, что он часто вспоминал обо мне, когда я отсутствовал, и предпочитал принимать священные таинства только от меня. А когда до Виенны дошел слух о том, что я еду туда с целью пригласить его в Италию, как он радовался, поздравляя себя с тем, что я поступаю по его желаниям! Задержка с моим приездом показалась ему слишком долгой. О, если бы никакой вестник не предвещал о его прибытии!

24. Я уже обещал ехать префекту и другим должностным лицам, полагая, что хотя я по скромности и не хотел бы вмешиваться в посторонние дела, однако не могу не думать о спокойствии Италии и не помочь ей в трудных обстоятельствах. Это было уже

решено, как вдруг на следующий день пришло письмо о подготовке квартир, прибыли царские украшения и другие вещи, свидетельствующие о находящемся в пути императоре. По этой причине мое посольство было отменено теми же, кто его требовал.

25. Я винил себя в том, что ты надеялся на мое присутствие, а я не оправдал твоей надежды. О, если бы я испытывал вину перед тобой живым! Я сказал бы тогда в свое оправдание, что ничего не слышал о твоих бедах, что не получал никаких твоих писем, что не смог бы встретить тебя на своих лошадях, даже если бы выступил в путь. Итак, пока я, не беспокоясь о прощении, медлю с отъездом, я получаю письмо, где читаю о твоем приезде. Письмо содержит предписание выехать навстречу немедленно, так как ты хотел иметь меня своим заступником перед твоим придворным [15]. Разве я колебался? Разве я медлил? Я спешил тем сильнее, что причиной моего путешествия был не собор галльских епископов, от которого из-за постоянных разногласий с ними я часто отказывался, хотя и считал, что он пригодится для твоего крещения.

26. В самый момент отъезда я мог видеть признаки свершившегося, но из-за спешки ничего не заметил. Я уже преодолевал Альпийские горы, когда получил горькую для меня и для всех весть об ужасной смерти императора. Я возвратился назад, омыв свой путь слезами. По всеобщему желанию я выехал, под всеобщий плач вернулся, ибо все думали, что они лишились не императора, а своего спасения. Сам же я терзался невыразимой печалью, потому что великий император был моим вожделенным залогом и перед смертью страстно желал меня видеть. Узнал я, каким волнением горел он в те два дня, когда, будучи еще жив, послал ко мне письмо. Вечером послан был гонец, а на третий день поутру он спрашивал, не вернулся ли гонец и не приехал ли я: он думал, что мой приезд будет для него спасением.

27. О, прекрасный юноша! Если бы я еще смог застать тебя в живых! О, если бы какая-нибудь заминка сохранила тебя до моего приезда! Я совсем не рассчитываю на свою добродетель, разум или жизненный опыт, но с какой заботой и каким рвением я попытался бы восстановить согласие и дружелюбие между тобой и твоим придворным. За твою верность я поручился бы сам, принял бы под свое попечение тех, которых он опасался, а, если бы он не склонился к согласию, я бы, конечно, остался с тобой. Надеялся я, что ты меня послушаешь, если окажется, что другие не будут слушать меня, защищающего твою сторону.

28. Многое я мог бы иметь, теперь же ничего не имею, кроме плача и слез. С каждым днем все усиливается моя скорбь по тебе, умножаются рыдания. Все свидетельствует о том, как сильно ты любил меня, и все называют мое отсутствие причиной твоей смерти. Но я не Илия и не пророк, и не могу познавать будущее; но есть глас вопиющего в слезах, которыми я могу оплакивать прошлое. Что я могу сделать лучше, чем отплатить тебе слезами за такую

твою любовь ко мне? Я принял тебя маленького, когда ехал послом к твоему врагу; мне вверили тебя материнские руки Юстины [16]; и я снова ездил твоим послом в Галлию, и мне была приятна эта обязанность и радовала возможность сделать что-то, во-первых, для твоего благополучия, во-вторых, для мира и благочестия. Ты благочестиво требовал останки моего брата и, хотя сам не был еще в безопасности, но уже заботился о том, чтобы воздать брату погребальные почести.

29. Но возвратимся к пророческому плачу...

[ЗАКЛЮЧЕНИЕ]

79. «Как пали сильные»? [17] Как пали оба «при реках Вавилона» [18]? Течение их жизни было стремительнее вод самого Родана. О, прекрасные и любезные мне Грациан и Валентиниан, как тесны были границы вашей жизни! Грациан, говорю я, и Валентиниан, мне приятно сближать ваши имена и находить успокоение в их упоминании. О, прекрасные и любезные всем Грациан и Валентиниан! «Согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей» [19]. Могила не разделила вас, соединенных любовью. Смерть не может разъединить тех, кто связан воедино благочестием. И различие добродетелей не разделило вас, вскормленных одной верой, вас, которые были простодушней, чем голуби, быстрее, чем орлы, кротки, как агнцы и невинны, как тельцы. Стрела Грациана не возвращалась назад и правда Валентиниана не была тщетной и не был напрасен его авторитет. Как пали сильные без битвы!

80. Скорблю о тебе, любимейший сын мой Грациан, ты дал нам много доказательств своего благочестия. Ты устремлялся ко мне среди своих бед, ты звал меня в крайних обстоятельствах, сожалея больше всего о моей печали по поводу твоих дел. Скорблю и о тебе, сын мой Валентиниан, «ты был очень дорог для меня; любовь твоя была для меня» [20] как любовь залога. Ты думал, что мое присутствие поможет тебе избежать опасности; ты не только любил меня, как отца, но полагался на меня, как на своего избавителя. Ты говорил: увижу ли я отца своего? Благими были чаяния твои по отношению ко мне, но, увы,— безуспешны. Тщетно уповать на человека! Но ты в лице священника искал Господа. Горе мне, что я не знал твоей воли раньше! Горе мне, что ты не послал за мной тайно раньше! Горе мне, потерявшему такие залоги. «Как пали сильные, погибло оружие бранное»! [21]

81. Господи! так как никто не имеет столько, чтобы другому он смог дать больше, чем желает самому себе, не разлучай меня после смерти с теми, которые были дороги мне в этой жизни. Господи, «хочу, чтобы там, где я, и они были со мною» [22], чтобы хотя бы там наслаждаться вечным их союзом, так как здесь я не мог более общаться с ними. Молю тебя, великий Боже, любимых юношей возбуди скорым воскресением и вознагради их тем самым за недолгую жизнь! Аминь.

Иероним

Одним из самых плодовитых христианских писателей был Иероним, богослов и эрудит, автор канонического латинского перевода Библии. Иероним родился около 340 г. в городе Стридоне на границе Далмации и Паннонии. Юношей он приезжает в Рим, где завершает начатое дома образование, состоящее из традиционного цикла трех гуманитарных наук: грамматики, диалектики и риторики. Иероним много читал и хорошо знал классическую литературу — поэтов «золотого века», из которых особенно любил Вергилия и Горация, комиков, историков, ораторов и прежде всего Цицерона. Среди его учителей был известный комментатор Теренция грамматик Элий Донат. Кроме литературы, Иероним проявляет интерес к философии и прилежно занимается риторикой. Хорошая подготовка, особенно знание классической литературы и любовь к ней, которую Иероним сохранил на всю жизнь, оказали благотворное влияние на его сочинения.

Неизвестно, знал ли он греческий язык с детства или стал изучать его в Риме, однако к тому времени, когда он приступил к работе над толкованием Библии, он уже мог назвать себя trilinguis — трехъязычный, имея в виду свое знание латинского, греческого и еврейского языков.

После завершения образования в Риме Иероним отправляется в путешествие по Рейну и Галлии. Во время путешествия у него укрепляется интерес к богословию и возникает стремление к аскетическому образу жизни. К этому времени относятся и его первые литературные опыты (около 370 г.). Побывав во Фракии, Понте, Вифинии, Галатии, Каппадокии, он останавливается в Антиохии, откуда в 374 г. удаляется в Халкидскую пустыню. Четыре года в Халкиде он посвящает изучению Священного Писания и занятиям еврейским языком. Однако отзвуки яростных богословских споров, идущих тогда вокруг арианства, нарушают отшельничество Иеронима.

По активности и страстности своей натуры Иероним не остается от них в стороне. Он покидает Халкиду и едет сначала в Антиохию, где принимает сан пресвитера, а затем в Константинополь. Там он общается с Григорием Назианзином (Богословом) и Григорием Нисским, переводит «Хронику» Евсевия с греческого на латинский, снабжая ее своими дополнениями, а после второго Вселенского собора отправляется в Рим по делам церкви. В Риме его при-

ближает к себе папа Дамас, который, зная эрудицию Иеронима, обращается к нему за консультациями по поводу толкования различных мест Священного Писания.

Именно папа Дамас поручает Иерониму сверить с греческим оригиналом бывший тогда в ходу латинский текст Нового Завета. Для Иеронима это было поводом сделать новый перевод. Так появилась на свет новая латинская Библия, получившая название «Вульгаты». Впоследствии «Вульгата», официально принятая для обучения в школах и в церкви, много веков служила католической церкви. Современные ученые не считают безупречной слишком свободную интерпретацию Библии Иеронимом и его филологические позиции, однако они воздают должное его усилиям.

Тогда же Иероним начал работу по сверке и переводу Ветхого Завета, которая продолжалась до 405 г. Наряду с этими трудами Иероним занимается в Риме также переводами из Оригена и Дидима, пишет разные сочинения на богословские темы. Помимо всего он руководит кружком знатных и образованных женщин, занимаясь с ними изучением и толкованием Библии. Этим своим сподвижницам Иероним адресовал целый ряд трактатов в виде писем, из которых наиболее значительно письмо к Евстохии о сохранении девства. Оно сильно критическим изображением различных слоев римского общества, в том числе и духовенства. Письмо к Евстохии находили богохульным и считали, что Иероним дал в руки врагов христианства оружие против него. Пафос всеобщего обличения, пронизывающий это письмо, вызвал вражду к его автору.

Лишившись со смертью Дамаса высокого покровительства, Иероним в 384 г. был вынужден покинуть Рим. Он отправляется на Восток. Вместе со своими римскими сподвижницами он посещает Палестину, Египет, а с 387 г. окончательно поселяется в Вифлееме. Здесь он опять обращается к изучению еврейского языка, к переводам и толкованию Библии, к богословским сочинениям, ведет обширную переписку. Около 393 г. Иеронимом была написана книга, не потерявшая своей ценности до настоящего времени,— это сочинение «О знаменитых мужах», представляющее собой хронологически расположенный каталог христианских писателей, заканчивающийся биографией и перечислением работ самого Иеронима. Живя в Вифлееме, Иероним принимает активное участие в богословских спорах, которые велись тогда вокруг учения Оригена, щедро расходуя на них свое красноречие и темперамент.

Умер Иероним в 420 г., пережив известие о падении Рима перед Аларихом и гибель близких ему людей. Потомки высоко ставили его подвижнический труд и писательский талант.

Экзегетические работы Иеронима компилятивны и иногда отличаются поспешностью, толкования нередко фантастичны, но они обнаруживают образованность Иеронима, его живой ум, содержат немало ценных археологических и географических сведений и написаны хорошим языком.

Иеронима ценили в средние века и в эпоху Возрождения. Гуманисты (Эразм Роттердамский) чтили его особенно как эрудита и стилиста. И, действительно, среди христианских писателей Иероним, язык которого близок классическому, занимает первое место по языку и стилю. Среди особенностей его языка — неологизмы, либо взятые из народной латыни, либо образованные самим Иеронимом, грецизмы — в технической и церковной терминологии и

слова-гибриды — дань времени. Речь его, живая и страстная, не укладывающаяся в периоды, как бы отражает неукротимый темперамент Иеронима и его вечно боевой дух, неожиданные в богослове и писателе, избравшем стезю отшельничества.

ИЗ КНИГИ „О ЗНАМЕНИТЫХ МУЖАХ“

135. ИЕРОНИМ

Я, Иероним, сын Евсевия из города Стридона, разрушенного гетами, который некогда находился на границе между Далмацией и Паннонией, до настоящего, т. е. до четырнадцатого года царствования императора Феодосия, написал следующее: житие отшельника Павла, одну книгу писем к разным лицам, увещательное письмо к Гелиодору, книгу о споре между последователем Люцифера и православным, хронику всеобщей истории, двадцать восемь бесед Оригена на книги Иеремии и Иезекииля, которые я перевел с греческого на латинский, послание о серафимах, послание о слове «Осанна», послание о бережливом и расточительном сыновьях, послание о трех спорных вопросах, касающихся Ветхого Завета, две беседы на книгу «Песнь Песней», книгу против Гельвидия о приснодевстве Марии, послание к Евстохии о сохранении девства, одну книгу писем к Марцелле, утешительное послание к Павле о смерти ее дочери, три книги толкований на послание Павла к галатам, три книги на послание к ефесянам, одну книгу на послание к Титу, одну книгу на послание к Филимону, толкование на книгу «Екклезиаст», одну книгу еврейских преданий на книгу Бытия, одну книгу о местностях, одну книгу об еврейских именах, одну книгу Дидима о Духе Святом, которую перевел с греческого на латинский, тридцать девять бесед на Евангелие от Луки, семь трактатов на псалмы — от десятого до шестнадцатого, житие пленного монаха Малха и житие блаженного Иллариона. Я сверил Новый Завет с греческим подлинником, а Ветхий перевел с еврейского. Число писем к Павле и Евстохии, так как они писались ежедневно, точно неизвестно.

Кроме того, я написал толкований на Михея две книги, на Софонию одну книгу, на Наума одну книгу, на Аввакума две книги, на Аггея одну книгу и много других толкований на книги пророков, которые сейчас у меня на руках и еще не завершены. А также две книги против Иовиниана и две к Паммахию — «Апологию» и эпитафию.

ПИСЬМО К ЕВСТОХИИ

2. Я пишу это, госпожа моя Евстохия,— ибо я должен называть госпожой невесту Господа моего,— чтобы с самого начала чтения ты знала: я не буду восхвалять девства, которое ты признала

наилучшим состоянием и которому ты последовала, не буду перечислять тягот брака, не стану говорить о том, как полнеет чрево, кричит ребенок, сокрушает разлучница, тревожат домашние заботы и, наконец, смерть пресекает все, что казалось благом. Имеют и замужние свое достоинство, честный брак и ложе нескверное; но ты должна понять, что тебе, исходящей из Содома, следует страшиться примера жены Лотовой [1]. В моем сочинении нет лести, ибо льстец — это угодливый враг. Не будет здесь и риторических преувеличений, которые бы поставили тебя в ряд ангелов и, показав красоту девства, повергли мир к твоим ногам.

3. Нет, я хочу внушить тебе не гордость твоим девством, но страх. Ты идешь с грузом золота — тебе следует избегать разбойников. Здешняя жизнь — поприще подвигов для смертных: здесь мы прилагаем усилия, чтобы там увенчаться. Никто не ходит в безопасности среди змей и скорпионов.

6. Так как невозможно, чтобы врожденное сердечное влечение не врывалось в чувство человека, то восхваляется и называется блаженным тот, кто при самом начале страстных помыслов поражает их и разбивает о камень. Камень же есть Христос (1 Кор., 10, 4).

7. О, сколько раз, уже будучи отшельником и находясь в обширной пустыне, выжженной лучами солнца и служащей мрачным жилищем для монахов, я воображал себя среди удовольствий Рима! Я пребывал в уединении, потому что был преисполнен горести. Истощенные члены были прикрыты вретищем, и загрязненная кожа напоминала кожу эфиопов. Каждый день слезы, каждый день стенания, и всякий раз, когда сон, несмотря на мое сопротивление, сваливал меня, я слагал свои едва держащиеся в суставах кости на голую землю. О пище и питии умалчиваю, потому что даже больные употребляют холодную воду, а иметь что-нибудь вареное было бы роскошью. И все-таки я — тот самый, который из страха перед геенной осудил себя на такое заточение в обществе только зверей и скорпионов,— я часто был мысленно в хороводе девиц. Бледнело лицо от поста, а мысль кипела страстными желаниями в охлажденном теле, и огонь похоти пылал в человеке, который заранее умер во своей плоти. Лишенный всякой помощи, я припадал к ногам Иисусовым, орошал их слезами, отирал власами и враждующую плоть укрощал воздержанием от пищи по целым неделям. Я не стыжусь передавать повесть о моем бедственном положении, а, напротив, сокрушаюсь о том, что теперь я уже не таков. Я помню, что я часто день и ночь взывал к Богу и не переставал ударять себя в грудь до тех пор, пока по гласу Господнему не восстанавливалась тишина. Я боялся самой кельи моей как сообщницы помышлений. В гневе и досаде на самого себя, я один блуждал по пустыням. Где бы я ни видел горные пещеры, крутые утесы, обрывистые скалы — там было место моей молитвы, острог для моей окаянной плоти. Господь свидетель — после многих слез,

возведя глаза на небо, я иногда видел себя среди сонмов ангельских и в радостном восторге пел: «Влеки меня, мы побежим за тобою» (Песнь Песней, 1, 3).

8. Если же такие искушения терпят те, которые, изнурив тело, обуреваются одними помыслами, то что сказать о девице, которая наслаждается утехами? Остается повторить изречение апостола: «заживо умерла» (1 Тим., 5, 5—6). Поэтому, если я могу давать советы, если моя опытность заслуживает доверия, то прежде всего напоминаю тебе и умоляю о том, чтобы невеста Христова избегала вина, как яда. Это первое оружие демонов против молодости. Не так сокрушает скупость, надувает спесью надменность, увлекает честолюбие. Мы легко лишаемся других пороков, но этот враг заключен в нас самих. Куда бы мы ни шли, он везде с нами. Вино и молодость — двойной огонь желания. Зачем же подливать масла в огонь? Зачем подносить трут к пылающему телу?

10. В Святом Писании есть бесчисленное множество изречений, осуждающих излишество и одобряющих простоту в пище. Но так как мы не намерены рассуждать о постах, ибо рассматривать этот предмет всесторонне было бы делом особого трактата и отдельной книги, то достаточно и того, что сказано: малое из многого. В дополнение к изложенным выше примерам можешь и сама припомнить, как первый человек, служа более чреву, чем Богу, был низвергнут из рая в сию юдоль плачевную. И самого Господа сатана искушал в пустыне голодом. И апостол говорит: «Пища для чрева, и чрево для пищи; но бог уничтожит и то, и другое» (1 Кор., 6, 13). О чревоугодниках же говорит он, что для них бог — чрево (Фил., 3, 19). Ибо, кто что любит, тот то и чтит. Поэтому дóлжно тщательно заботиться, чтобы мы, изгнанные из рая невоздержанием, были возвращены туда постничеством.

11. Если же ты станешь возражать, что ты, происшедшая из знатного рода, всегда жившая в удовольствиях и в неге, не можешь отказаться от вина и изысканной еды и подчиняться суровым законам воздержания, то я скажу тебе: живи же по своему закону, если не хочешь жить по закону божьему. Для Бога, творца и владыки вселенной, не нужно ворчание во внутренностях, пустота в желудке и жар в легких; но без этого не может быть безопасно твое целомудрие.

12. Хочешь ли убедиться в истине моих слов? Обрати внимание на примеры. Самсон, который был храбрее льва и тверже камня, который один безоружный преследовал тысячи вооруженных, потерял силу в объятиях Далилы[2]. Давид, избранник сердца господнего, часто воспевавший грядущего святого Христа, после того, как, прогуливаясь на кровле дома своего, пленился обнаженной Вирсавией, вслед за прелюбодеянием совершил убийство[3]. Заметь кстати при этом, что ни один человек, имеющий зрение, не безопасен от обольщения даже у себя дома. Поэтому Давид, раскаиваясь, говорит Господу: «Тебе, тебе единому согрешил я, и лу-

кавое пред очами твоими сделал» (Пс. 50, 6). Ибо, кроме Господа, царь никого не боялся. Соломон, устами которого гласила сама мудрость, познавший все от кедра ливанского до иссопа, исходящего из стены, отступил от Господа, поскольку был женолюбив. И чтобы никто не надеялся на себя при сношениях с кровными родственниками, пусть придет ему на память Амнион, воспылавший преступной страстью к сестре Фамари [4].

19. Быть может, кто-нибудь скажет: «И ты осмеливаешься говорить против брака, благословенного богом?» Но предпочитать девство браку — не значит еще порицать брак. Никто не сравнивает худое с добрым. Да будут досточтимы и вышедшие замуж, хотя они и уступают первенство девам. Сказано: плодитесь и размножайтесь, и наполните землю (Быт., 1, 28). Пусть растет и множится тот, кто желает наполнить землю. А твое воинство — на небесах!..

30. Расскажу тебе свою несчастную историю. Много лет назад, когда я хотел ради царства небесного отказаться от дома, от родителей, сестры, знакомых и, что еще труднее, от привычки к роскошной жизни и собирался отправиться в Иерусалим,— я не мог вовсе оставить библиотеку, с таким старанием и трудом составленную мною в Риме. И таким образом я, несчастный, постился, стремясь вместе с тем читать Туллия. После многих бессонных ночей, после слез, исторгнутых из самой глубины души воспоминанием о прежних прегрешениях, рука моя все-таки тянулась к Плавту. Иногда же я приходил в себя и начинал читать пророков,— меня ужасала необработанность их речи; слепыми глазами, не видя света, я думал, что виною этому не глаза, а солнце. Пока таким образом играл мною древний змий, приблизительно в середине Великого поста, на мое истощенное тело напала, разливаясь по внутренностям, лихорадка и, не давая отдыха,— невероятно сказать,— она так пожирала мое несчастное тело, что от меня остались почти одни кости. Уже близка была могила: в моем уже совершенно остывшем теле дыхание жизни билось в одной только едва теплевшей груди; как вдруг внезапно, восхищенный духом, я был представлен к престолу Судии. Там было столько света, столько сияния от блеска его окружающих, что, пав ниц, я не осмелился взглянуть наверх. Спрошенный о том, кто я такой, я назвал себя христианином. Но тот, кто восседал, ответил: «Лжешь! ты цицеронианин, а не христианин; ибо где сокровище твое, там и сердце твое» (Матф., 6, 21). Я замолк, и под бичами (ибо он велел бить меня), еще больше мучимый огнем совести, я мысленно повторял стих: «Во гробе кто будет славить тебя?» (Пс. 6,6). Потом я начал кричать и рыдая говорить: «Помилуй меня, Господи, помилуй меня!» Звуки эти раздавались среди ударов бичей. Наконец, присутствующие, припав к коленям Восседавшего, умолили, чтобы он простил грех юности и взамен заблуждения дал место раскаянию, с тем, чтобы наказать меня впоследствии, если я когда-нибудь стану читать

сочинения языческих писателей. Я же в отчаянном моем положении готов был обещать гораздо больше и, призывая имя Божие, начал каяться и говорить: «Господи, если когда-нибудь я буду иметь светские книги, если я буду читать их,— значит, я отрекся от тебя». Отпущенный после этих клятвенных слов, я возвращаюсь на землю, к удивлению всех раскрываю глаза, так обильно наполненные слезами, что даже люди недоверчивые, видя мою печаль, должны были поверить моему рассказу. Это был не обморок, не пустой сон, подобный тем, над которыми мы часто смеемся. Свидетель — тот престол, пред которым я был распростерт, свидетель — суд, которого я испугался; да не случится мне более никогда подвергнуться такому испытанию! Плечи мои были покрыты синяками, я чувствовал после сна боль от ударов. И с тех пор я с таким усердием стал читать божественное, с каким не читал прежде светского.

34. Так как я упомянул о монахах и знаю, что ты охотно слушаешь о том, что касается святости, то останови не надолго свое внимание. В Египте три рода монахов. Первый — киновиты, называемые у туземцев «саузы»; мы можем назвать их совместно живущими. Второй — анахореты, живущие по одному в пустыне и называемые так потому, что уходят далеко от людей. Третий — так называемые ремоботы, угрюмые, неопрятные; они исключительно, или преимущественно, находятся в нашей стране. Они живут по два, по три вместе, но не более, и живут по своему усмотрению и своими средствами; а из того, что они зарабатывают, вносят часть в складчину, чтобы иметь общий стол. Живут же они по большей части в городах и замках; и как будто должно быть священным их ремесло, а не жизнь,— что бы они ни продавали, все стоит дорого. Между ними часто бывают ссоры, потому что, живя на своем иждивении, они не терпят подчинения кому бы то ни было. Именно они чаще всего спорят из-за постов, дела домашние делают предметом тяжб. Все у них вычурное: рукава широкие, как кузнечные меха, сапоги, грубейшая одежда, непрерывные вздохи; они часто посещают девиц, поносят священнослужителей; а когда настает праздничный день, то пресыщаются до рвоты.

35. Оставим же их, как какую-нибудь заразу, и перейдем к тем, которые во множестве живут общинами и называются, как мы уже сказали, киновитами. Первое условие у них — повиноваться старшим и исполнять все, что бы они ни приказали. Они делятся на десятки и сотни, так что у десяти человек десятый — начальник; а сотый имеет под собою десять начальников. Живут они отдельно, но в соединенных между собою кельях. До девяти часов, как положено, никто ни к кому не ходит, исключая упомянутых выше начальников; так что если кого-нибудь обуревают мысли, то он утешается их советами. После девяти часов сходятся вместе, по обыкновению поют псалмы, читают Писание. По окончании молитв, когда все сядут, тот, кого они называют отцом, встав посредине,

начинает беседу. Во время его речи бывает такая тишина, что никто не смеет взглянуть на другого, никто не смеет кашлянуть: плач слушателей служит похвалой говорящему. Тихо катятся по щекам слезы, и скорбь не прорывается даже стоном. Когда же он начинает вещать о царстве Христовом, о будущем блаженстве и о славе, ты увидишь, как все слушающие сдерживают дыхание и поднятые к небу их глаза как бы говорят про себя: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился!» (Пс. 54, 7). Затем собрание оканчивается, и каждый десяток со своим старшим отправляется к столу, за которым и прислуживает чередуясь по неделям. Во время еды нет никакого шума; никто не разговаривает. Питаются хлебом и овощами, которые приправлены одной солью. Вино пьют только старики; для них и обед готовят общий с отроками, чтобы поддержать преклонный возраст одних и не препятствовать раннему росту других. Затем встают разом и, пропев гимн, расходятся по кельям.

36. Хотя в письме моем о девах я заговорил теперь почти без нужды о монахах, все же продолжаю рассказ о третьем роде их, называемых анахоретами. Выходя из киновии, они, кроме хлеба и соли, ничего более не выносят с собою в пустыню. Основатель этого образа жизни — Павел, учредитель — Антоний, а если пойти еще выше, то первым в нем был Иоанн Креститель. Их подвиги и образ жизни, не плотский во плоти, я опишу, если захочешь, в другое время. Теперь же возвращусь к своему предмету, так как от рассуждений о любостяжании я перешел к монахам. Представив их тебе в пример, я говорю: презирай не только золото, серебро и прочие богатства, но даже самую землю и небо, и тогда в единении только со Христом ты воспоешь: «Часть моя — Господь».

39. Все рассуждения наши покажутся тягостными для той, которая не любит Христа. Но кто всю пышность мирскую считает прахом, все, что под солнцем — суетою, кто умер со своим Господом и воскрес с ним, кто распял плоть свою со страстями и похотью, тот охотно воскликнет: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» (Римл., 8, 35).

40. Ничто не тяжело для любящих. Никакой труд не труден для благорасположенного. Посмотри, какую участь принял Иаков из-за своей жены Рахили[5]: «И служил,— говорит Писание,— Иаков за Рахиль семь лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее» (Быт., 29, 20). Затем и сам он упоминает: «Я томился днем от жара, а ночью — от стужи...» (Быт., 31, 40). Станем же и мы любить Христа, станем искать постоянно его объятий — и нам все трудное покажется легким, все долгое — коротким; и, уязвленные копием его, будем говорить каждую минуту: «Увы мне, яко пришествие мое продолжися»... (Пс. 119, 2).

41. Всякий раз, как будет прельщать тебя мирское тщеславие, сколько бы ни казалось тебе что-нибудь славным в мире,— пере-

носись умом в рай; начинай быть тем, чем намерена быть в будущем, и ты услышишь от своего жениха: «Положи меня, как печать на сердце свое, как перстень на руку твою» (Песнь Песней, 8, 6),— и, огражденная телесно и духовно, ты воскликнешь и скажешь: «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее» (там же, 7).

ПИСЬМО К МАРЦЕЛЛЕ О КОНЧИНЕ ЛЕИ

1. Сегодня, около трех часов, когда мы начали читать семьдесят второй псалом, т. е. начало третьей книги псалмов, и старались показать, что часть этого названия относится к концу второй книги, а часть — к началу третьей, а именно, что слова: «Кончились песни Давида, сына Иессеева» (Пс. 71, 20) составляют конец предыдущей, а псалом Асафу (72, 1) — начало следующей книги, и когда мы дошли до того места, где праведный говорит: «Но если бы я сказал: «буду рассуждать так»,— то я виновен был бы перед родом сынов твоих» (Пс. 72, 15) (что в латинских рукописях читается иначе) — вдруг нас известили, что блаженнейшая Лея рассталась с жизнью, и тогда-то я увидел, что ты очень побледнела; да и подлинно, едва ли найдется душа, у которой печаль не прорвалась бы через разбившуюся хрупкую оболочку! Впрочем, ты скорбела не потому, что не предвидела этой потери, а потому, что не отдала усопшей печального погребального долга. Впоследствии, во время беседы, мы узнали, что останки Леи уже отнесены в Остию.

2. Ты спросишь, к чему клонится это воспоминание? Отвечу тебе словами апостола: «Великое преимущество во всех отношениях» (Римл., 3, 2). Во-первых, я хочу показать, что должно напутствовать всеобщей радостью ту, которая, поправ дьявола, получила уже венец упокоения. Во-вторых, я желаю кратко изобразить жизнь ее. В-третьих, я намерен показать, что нареченный консул, кончивший век свой, находится в аду.

Но кто может достойно восхвалить жизнь нашей Леи? Она так была предана господу, что будучи начальницей монастыря казалась матерью девиц; она, носившая прежде легкие одежды, обременила члены власяницею; она проводила бессонные ночи и поучала своих соратниц более примером, чем словами. Она была так смиренна и так покорна, что будучи некоторым образом госпожою многих, она казалась служанкою всех,— быть может, для того, чтобы, не считаясь госпожой людей, быть больше рабою Христовой. Одежда ее была не изысканная, пища простая, голова без убранства; при всем том она избегала чьей бы то ни было похвалы, чтобы не получить в этой жизни своей награды.

3. Поэтому теперь она за краткий труд наслаждается вечным блаженством, приемлется ликами ангелов, покоится на лоне Авраамовом и с бедным Лазарем видит, как порфироносный богач и

консул, одетый только в траур, а не в тогу с вышитыми пальмами, просит капли с мизинца. Какая перемена положения! Тот, кто за несколько дней до этого достиг вершины своего положения, кто входил в Капитолий, как бы торжествуя победу над врагами, кого с плеском рук и топотом ног принял народ римский, кончиною кого был потрясен весь город,— он теперь, обнаженный и беспомощный, находится не в млечном дворце неба, как воображает его несчастная жена, но среди тьмы и смрада. А та, которую окружала таинственность одинокого ложа, которая казалась бедною и незнатною, жизнь которой почиталась безумием, та идет за Христом и говорит: как слышали мы, так и увидели во граде Господа Сил, во граде Бога нашего (Пс. 47, 9) и прочее.

4. Поэтому увещеваю и со словами и мольбой заклинаю тебя: не будем, проходя по путям этого мира, облекаться двумя туниками, т. е. двоеверием, не станем отягощаться кожаною обувью, т. е заботами о смертном, пусть нас не давит к земле ноша богатства; не будем опираться на тростник, т. е. на мирское могущество; не пожелаем почитать одинаково и Христа, и мир. Место скоропроходящего и тленного пусть займет вечное; и ежедневно умирая (я говорю о теле), не будем считать себя вечными и в остальном, чтобы иметь возможность стать действительно вечными.

ПИСЬМО К ПАММАХИЮ О ЛУЧШЕМ СПОСОБЕ ПЕРЕВОДА

5. До сих пор я говорил так, как если бы я изменил что-нибудь в письме; ибо даже такое изменение в простом переводе могло бы быть ошибкой, но не преступлением. Теперь же мы видим из самого письма, что ничего не изменено в смысле, что ничего к нему не прибавлено и не присочинено никакой догмы; а если так, то «не доказывают ли они своим пониманием, что они ничего не понимают и, желая обличить чужое неуменье, обнаруживают свое» [1]. Ибо я не только сознаюсь, но и заявляю во всеуслышание, что при переводе с греческого, исключая Священное Писание, где и самый порядок слов есть тайна, я передаю не слово словом, а мысль мыслью. И в этом я имею наставником Туллия, который перевел «Протагора» Платона и «Домострой» Ксенофонта, а также две превосходные речи Эсхина и Демосфена, направленные одна против другой. Не время теперь говорить, сколько он в них опустил, сколько добавил, сколько изменил, чтобы своеобразие чужого языка выразить через своеобразие своего. Для меня довольно авторитета самого переводчика, который в прологе к тем же речам говорит так:

«Я полагал, что должен был предпринять труд, полезный для учащихся, хотя для меня самого он не был необходим. Поэтому я перевел две самые знаменитые, произнесенные с двух противо-

положных точек зрения речи красноречивейших из греков — Эсхина и Демосфена; и перевел их не как переводчик, а как оратор, передавая те же мысли выражениями и оборотами, свойственными нашей речи. Я не считал нужным переводить их слово в слово, но сохранил в общей совокупности смысл и силу слов. Ибо я полагал, что должен подавать их читателю не по счету, но как бы по весу».

«Речи их,— говорит он опять-таки в конце своего рассуждения,— я надеюсь переложить, воспроизводя все их достоинства, т. е. мысли, их выражение и чередование, держась за слова лишь в том случае, если они не противоречат нашему обычному употреблению. И хотя не все из греческого текста окажется в переводе, я постараюсь воспроизвести его смысл» [2].

Ведь и Гораций, человек ученый и умный, дает в «Поэтике» такое же наставление образованному переводчику:

...Не старайся
Словом в слово попасть, как усердный толмач-переводчик... [3]

Теренций переводил Менандра, Плавт и Цецилий — древних комиков: разве они сковывали себя словами? Но тем большую красоту и изящество сохраняют они в переводе. То, что вы называете точностью перевода, люди образованные называют буквоедством. Вот почему и я, когда почти двадцать лет назад переводил на латинский язык «Хронику» Евсевия, как ученик таких уважаемых учителей, впал в подобное же заблуждение и, конечно, не предвидя ваших возражений, в предисловии среди прочего написал такие слова: «Следуя за чужими строчками, трудно что-нибудь в них не пропустить; точно так же трудно, чтобы хорошо сказанное на другом языке сохранило тот же блеск в переводе. Подчас какая-нибудь мысль бывает выражена одним особенным словом, а у меня нет своего слова, чтобы ее перевести; когда же я пытаюсь выразить ее с помощью длинного оборота, то едва постигаю лишь малый отрезок пути. Добавьте сюда сложности в перестановке слов, различие в падежах, разнообразие фигур и, наконец, само, так сказать, природное своеобразие языка! И вот, если я перевожу слово в слово,— звучит нелепо; если же по необходимости меняю что-нибудь в расположении или в стиле,— оказывается, что я отступаю от обязанностей переводчика». И после многих рассуждений, которые здесь приводить излишне, я добавил еще следующее: «Поэтому если кому-нибудь кажется, что при переводе не изменяется красота языка, то пусть он слово в слово переведет Гомера на латинский язык, более того, пусть изложит его прозой на греческом языке,— и он увидит, как вся расстановка слов разом окажется смешна, и что, стало быть, самый красноречивый поэт едва умеет говорить».

6. Но чтобы авторитет моих утверждений не оказался слишком слабым (хотя я хотел доказать только то, что я всегда, с молодых лет, переводил не слова, а мысли), посмотри, какое рассуждение

об этом предмете содержится во введении к книге, в которой описана жизнь святого Антония.

«Сделанный слово в слово перевод с одного языка на другой затемняет смысл, подобно тому, как обильно разросшийся сорняк заглушает посеянное. Ибо когда речь находится в подчинении у падежей и фигур, то она едва может выразить длинным оборотом то, что можно было бы выразить кратко. Избегая этого, я, по твоей просьбе, переложил житие святого Антония таким образом, чтобы ничего не потерять в смысле, если и будут какие-то потери в словах».

Пусть же другие занимаются словами и буквами, ты заботься о мыслях. У меня не хватит времени, если я буду приводить свидетельства всех, кто переводит по смыслу. В настоящее время достаточно назвать Илария Исповедника, который перевел с греческого на латинский беседы на Иова и очень много трактатов на псалмы; он не корпел над мертвой буквою и не мучал себя дотошным переводом невежд, но как бы по праву победителя перекладывал плененные мысли на свой язык.

ПИСЬМО К МАГНУ, ВЕЛИКОМУ ОРАТОРУ ГОРОДА РИМА

О том, что наш Себезий исправился, мы узнали не столько из твоего письма, сколько из его раскаяния. И, удивительно, насколько приятней стал исправившийся, чем был неприятен заблуждающийся. Снисходительность отца и благонравие сына соревновались между собою: в то время как один не помнил прошлого, другой давал добрые обещания на будущее. Потому и мне, и тебе нужно радоваться вместе: я снова получил сына, ты — ученика.

В конце письма ты спрашиваешь, зачем я в своих сочинениях иногда привожу примеры из светских наук и белизну церкви оскверняю нечистотами язычников. Вот тебе на это краткий ответ. Ты никогда бы не спрашивал об этом, если бы тобою всецело не владел Цицерон, если бы ты читал Священное Писание, и, оставив Волкация [1], просматривал его толкователей. В самом деле, кому неизвестно, что и у Моисея, и в писаниях пророков есть заимствования из языческих книг и что Соломон предлагал вопросы и отвечал философам из Тира? [2] Поэтому в начале книги Притчей он увещевает, чтобы мы понимали премудрость, лукавство слов, притчи и темные речи, изречения мудрецов и загадки — что преимущественно свойственно диалектикам и философам. Но и апостол Павел в послании к Титу употребил стих из поэта Эпименида: «Критяне всегда лживы, злые звери, утробы праздные» (Тит., I, 12)», полустишие, впоследствии употребленное Каллимахом. На латинском языке буквальный перевод не сохраняет ритма, но это и неудивительно: даже Гомер бессвязен в переводе на прозу того же самого языка. В другом послании он приводит

также шестистопный стих Менандра: «Злые беседы растлевают добрые нравы». И, выступая перед афинянами в Ареопаге, приводит свидетельство Арата: «его же и род есмы», что по-гречески читается: τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμεν и составляет полустишие гекзаметра. И, кроме этого, вождь христианского воинства и непобедимый оратор, защищая перед судом дело Христа, даже случайную надпись употребляет в доказательство веры. У верного Давида научился он исторгать меч из рук врагов и голову надменнейшего Голиафа отсекать его собственным мечом [3]. Во Второзаконии (гл. 21) он читал повеление Господа, что у пленной жены нужно обрить голову и брови, обрезать все волосы и ногти на теле и тогда вступать с нею в брак. Что же удивительного, если и я за прелесть выражения и красоту членов хочу сделать светскую мудрость из рабыни и пленницы израильтянкою, отсекаю или отрезаю все мертвое у ней,— идолопоклонство, сластолюбие, заблуждение, разврат — и, соединившись с ее чистейшим телом, рождаю от нее детей Господу Саваофу?..

Против нас писали Цельс [4] и Порфирий [5]; весьма мужественно противостояли им: первому — Ориген [6], второму — Мефодий [7], Евсевий [8] и Апполинарий [9]... Почитай их — и ты увидишь, что я в сравнении с ними очень мало знаю, и, проведя столько времени в праздности, как сквозь сон припоминаю только то, чему учился в детстве. Юлиан Август во время парфянского похода изблевал семь книг против Христа, и, по басням поэтов, умертвил себя своим мечом [10]. Если я попытаюсь писать против него, неужели ты запретишь мне бить эту бешеную собаку палкой Геркулеса — учением философов и стоиков?.. Иосиф, доказывая древность иудейского народа, написал две книги против Апиона, александрийского грамматика [11]; в них представляет он столько свидетельств из светских писателей, что мне кажется чудом, каким образом еврей, с детства воспитанный на Священном Писании, перечитал всю библиотеку греков. Что же сказать о Филоне, которого критики называют вторым, или иудейским, Платоном [12]?..

Перехожу к писателям латинским. Кто образованнее, кто остроумнее Тертуллиана [13]? Его «Апологетик» и книги «Против язычников» включают в себя всю языческую ученость. Минуций Феликс [14], адвокат с римского форума, в книге под заглавием «Октавий» и в другой, «Против математиков» (если только надпись не ошибается, называя автора), что́ оставил нетронутым из сочинений язычников? Арнобий [15] издал семь книг против язычников и столько же опубликовал его ученик Лактанций [16], написавший еще две книги: «О гневе» и «О деянии Господа». Если ты захочешь прочитать эти книги, ты найдешь в них не что иное, как сокращение диалогов Цицерона...

Иларий [17], исповедник и епископ моего времени, и в слоге и в числе сочинений подражал двенадцати книгам Квинтилиана, и в коротенькой книжке против врача Диоскора показал, что он

силен в светских науках. Пресвитер Ювенк[18] при Константине в стихах изобразил историю Господа Спасителя: не побоялся он величие евангелия подчинить законам метра. Умалчиваю о других как живых, так и умерших, в сочинениях которых очевидны как их познания, так и их стремления.

И не обманывайся ложной мыслью, что это позволительно только в сочинениях против язычников и что в других рассуждениях нужно избегать светской учености — потому что книги всех их, кроме тех, которые, как Эпикур, не изучали наук, изобилуют сведениями из светских наук и философии. Я привожу здесь только то, что приходит на ум при диктовке, и уверен, что ты сам знаешь, что́ всегда было в употреблении у людей ученых. Однако я думаю, что через тебя этот вопрос предлагает мне другой, который, может быть,— припоминаю любимые рассказы Саллюстия — носит имя Кальпурний, по прозванию Шерстобой. Пожалуйста, скажи ему, чтобы он, беззубый, не завидовал зубам тех, кто ест, и сам, будучи слеп, как крот, не унижал бы зрения диких коз. На этот счет, как видишь, можно рассуждать долго, но по недостатку места для письма пора кончать.

Августин

Ровесник Павлина Ноланского, младший современник Иеронима и Амвросия, Аврелий Августин, так же как и они, принадлежал к той римской интеллигенции, которая, получив высшее образование в языческой школе, достигнув возможного в те времена уровня философской и литературной культуры, порывала с язычеством и переходила в христианство.

Августин родился в 354 г. в Африке, в маленьком городке Тагасте на территории современного Алжира. С Африкой почти целиком связана вся его жизнь и церковная деятельность. Он учился в Мадавре и Карфагене, в Карфагене же около десяти лет преподавал риторику, а затем, после немноголетнего пребывания в Риме и Милане, почти сорок лет был епископом Гиппона — до самой своей смерти в 430 г. Провинциализм Августина, возможно, помог ему в гораздо большей мере, чем остальным церковным писателям его эпохи, освободиться от античной традиции и стать у истоков средневековья.

В его интеллектуальном развитии как бы повторен путь всей эллинско-римской философии: он увлекался сначала Цицероном, скептиками, стоиками, манихейством, потом — неоплатонизмом с его учением о гармоническом миропорядке, о бытии как высшем благе и о зле как о простом отсутствии добра. От неоплатонизма был уже нетруден переход к христианству, которое, вводя понятие греха и духовного обновления, превращало неоплатоническую схему в глубинную основу личной, эмоциональной жизни человека.

Все дошедшие до нас сочинения Августина написаны в христианский период и посвящены по большей части двум главным задачам — развенчанию скепсиса и утверждению нового взгляда на мир, на человека, на историю. При этом в центре внимания Августина оказались не вопросы церковной догматики, в достаточной мере уже разрешенные тогда на двух Вселенских соборах, а вопросы антропологии, культурологии и социологии, вопросы о том, что такое человек, как он должен воспитываться, как он должен жить.

На рубеже IV—V вв. н. э., когда варварское нашествие грозило гибелью римской культуре, новозаветная тема «нового» человека приобретала особую актуальность, и в творчестве Августина она получила свое раскрытие в трех его важнейших произведениях — «Исповеди» в 13 книгах (400 г.), «О христианской науке» в 4 книгах (397—426 гг.) и «О граде божием» в 22 книгах (410—428 гг.), в которых дается новое понимание человека, предлагаются новые духовные ценности и строится новая картина мира.

Избранная Августином художественная форма «Исповеди» напоминала о бытовавшем в IV в. обычае публичного, всенародного покаяния и сама по себе уже предполагала самоанализ, самоосуждение, столкновение старого и нового. У Августина она стала формой рассказа о прожитой жизни, формой оценки этой жизни. В жанр античной автобиографии августиновская «Исповедь» внесла и новый взгляд на человека, и своеобразные приемы его изображения, поместив своего героя сразу в три измерения. Наряду с внешними событиями и поступками она раскрыла движение его воли, а затем и то и другое поместила как самостоятельную часть в общую систему вечного миропорядка, где любая кажущаяся случайность находит свое оправдание и назначение.

Для соединения этих трех планов в единое целое та классическая латинская словесность, на которой воспитан был Августин, не давала ему достаточно экспрессивных средств. И он нашел эти средства в Библии, в религиозной поэзии псалмов. «Исповедь» превратилась в молитву, в «жертву хвалы». Благодаря лирическим строкам псалмов, щедро рассыпанным по всей «Исповеди», в голосе героя зазвучала торжественно интимная интонация, он как бы вступил в задушевное общение с тем вечным благим миропорядком, который управляет его существованием. Язык библейских образов помог Августину описать собственную жизнь как детерминированный процесс, полный смысла, хотя и не осмысленный в начале, как победу всесильного добра и одновременно как разоблачение тончайших психологических изгибов зла. И в этом описании главное место занял поворотный период ломки мировоззрения, «обращения» к христианству (VIII книга).

Мотив «обращения» был довольно обычным литературным приемом и у языческих и у христианских авторов: мы встречаемся с ним и в кинико-стоической легенде о Диогене («письма» Диогена, речи Диона Хрисостома), и в апостольских посланиях («Обращение» Павла), и в житиях, однако нигде не играл он такой композиционной роли, как в «Исповеди» Августина. Более ранние, гораздо более спокойные описания этого периода у того же Августина позволяют оценить все нарочитое мастерство созданной им в «Исповеди» картины, где «обращение» показано как потрясающий по своему драматизму конфликт воли, как перестраивание всей внутренней структуры личности. События жизни до «обращения» описаны как подготовка к этому кульминационному моменту, жизнь после «обращения» — как раскрытие его смысла и значения. Этим объясняется и диспропорция разных хронологических отрезков рассказа и тон подчеркнутого самобичевания, которым Августин говорит о своих былых привычках, светских развлечениях и занятиях в языческой школе.

Школа, которую так резко осудил Августин в «Исповеди» и в которой сам он провел долгие годы как ученик и как наставник, была носительницей почти тысячелетних традиций гуманитарного, филологического образования в греко-римском мире. Она воспитывала в своих питомцах словесную виртуозность (блестящее владение литературной речью), тренировала их ум на запоминание множества диковинных подробностей, внушала преклонение перед древними классиками. Ее учебным материалом служили главным образом тексты Гомера и Вергилия, Горация, Теренция и Цицерона, о чем мы можем судить по дошедшим до нас от IV—V вв. «Сатурналиям» Макробия и коммен-

тариям Доната и Сервия. Эстетское любование словом сочеталось здесь с утилитарным отношением к тексту, в котором видели источник всевозможных практических сведений, а не художественную условность. Разрыв Августина с этой традицией был бегством от тесноты сложившихся авторитетов, от безнадежности скептицизма. И он был исторически неизбежен в преддверии новой эпохи. Упреки, которые бросал Августин поэзии, говоря о безнравственности и недостоверности сообщаемых ею данных, были не новы. Они были общим местом христианской патристики и были заимствованы ею у Платона.

В противовес эллинско-римской классике христианство предлагало свой текст, чтением и комментированием которого оно занималось. Этим новым по содержанию и по художественной форме текстом была Библия. Как показывают широко распространенные в IV в. толкования на Шестоднев, на книги псалмов, пророков, апостольских посланий, и т. п., в библейской критике применялись разработанные в древности приемы грамматических и аллегорических объяснений. Существовали даже особые школы (в Александрии, Антиохии, Нисибии), где обучались чтению Библии. Такие школы, однако, были только на Востоке, в Западной же империи их не было, и Августин здесь первый взял на себя задачу осмыслить и описать принципы и методы толкования Библии. По мере того, как книги Ветхого и Нового Заветов входили в духовную жизнь различных народов, их интерпретация становилась все более «многослойной», многозначной, не буквальной. Чтобы оправдать подобный подход к ним, Августин в сочинении «О христианской науке» разработал специальную теорию иносказания, положив в основу ее стоическое учение о знаковых свойствах языка.

Подобно тому, как софисты V в. до н. э., открывшие знаковые качества речи, превратили ее в источник эмоциональной услады слуха, Августин в V в. н. э. сделал словесные образы источником интеллектуального наслаждения. Если софисты, обнаружив способность языка по-разному изображать один и тот же предмет, приходили к выводу, что «человек есть мера всех вещей» и стремились использовать речь как орудие субъективного убеждения, для чего всячески совершенствовали ее технику, то Августин, заведомо признавая мерой всех вещей не человека, а объективную, не зависимую от него истину, смотрел на библейский текст как на зашифрованную информацию об этой истине и главную цель толкования видел в том, чтобы выявить ее сквозь различные покровы иносказания. Он дал подробную классификацию знаков, встречающихся в природе и человеческой деятельности, и одной из их разновидностей признал словесную речь. И именно характер слов-знаков сделал критерием ценности языческих и христианских текстов, заявив, что в первых заключены бесполезные знаки, не помогающие найти истину, а вторые содержат знаки полезные, раскрывающие подлинный серьезный смысл произведения.

Сущность художественного восприятия свелась тем самым для Августина не к любованию красотами слога и стиля, а к постижению истины, к угадыванию ее сокровенного смысла за оболочкой иносказаний. Чтобы понимать тексты таким образом, читателю, естественно, нужна была учебная подготовка, и Августин не преминул указать, в чем она должна заключаться. Он приспособил к христианскому пользованию весь основной цикл школьных дисциплин (риторику, диалектику, музыку, математику), добавив к ним еврейский язык.

Отказ от религиозного и эмоционального наследия языческой культуры вовсе не вылился у Августина в разрушение ее научных достижений — логических методов, фактических познаний и выразительной техники. Напротив, им была построена иерархия ценностей, включившая в себя античное наследие и сделавшая возможным сохранение его для последующих эпох. В этой иерархии все вещи оказались поделенными на две категории: на предметы, которыми следует пользоваться только ради определенных целей, и предметы, заслуживающие любви сами по себе. В первую группу у Августина попали античная наука и все то, что относится к материальной жизни, во вторую — откровения христианской веры. Словесная красота, утратив в этой схеме свою абсолютную ценность, получила новое назначение — служить средством, которое помогает истине проявлять себя.

Превращение Библии в «учебную книгу» неизбежно должно было изменить общее, «космическое» миропредставление античного человека. Если для эллинско-римской философии макроструктурой мира служил физический космос, с его гармонической согласованностью частей и повторяемостью движений, а микроструктурой — аналогичное ему устройство полиса (см. «Государство» Платона), то в христианской патристике IV в. разработана была совершенно иная аналогия — макромиром здесь стала общая цепь мировой истории, как она представлена в Библии, ее отражением — жизнь человеческой души. Этот новый способ ви́дения мира лег у Августина в основу осмысления не только жизни отдельного индивида, но и всего человечества в целом, т. е. в основу новой концепции истории.

Посвященный этой теме огромный труд «О граде божием» написан им как отклик на трагическое событие эпохи — захват Рима Аларихом в 410 г.— и как оправдание христиан от обвинений в подрыве римского могущества. Августин смотрит на происходящее глазами уже средневекового человека и в падении великого города не видит мировой катастрофы. Он развенчивает то историческое прошлое, с его государственностью и культурой, перед которым привыкла благоговеть римская аристократия (кн. I—X), и в противовес ему выдвигает новую «модель» социальной жизни, назвав ее «градом божиим». Авторитету Варрона и Цицерона противополагается здесь авторитет Библии, политеизму язычества — монотеизм христианства. В отличие от восточнохристианских писателей с их пространными объяснениями Шестоднева, Августин опускает вопросы космологии и в общей картине мироустройства, которую он рисует, точно следуя библейскому тексту, рассматривает по преимуществу ее этический план, выделяя как некую движущую силу действие свободной воли.

Волевой акт, по мысли Августина, лежит в основе возникновения мира (мир творится соизволением Творца), он же объясняет происхождение зла (злая воля ангелов) и служит причиной грехопадения Адама. Устремленность воли характеризует и человеческие общества в истории: общество, которое сообразуется в своих поступках с абсолютом, с вечной истиной, оценивается Августином как вечное, небесное, как «град божий». Общество, сообразующееся лишь само с собой, осуждается им как «земное», «гибнущее». При таком подходе несущественными делаются все племенные, географические, языковые различия, и идеальное государство описывается как правильный способ социальной жизни, эпизодически встречающийся в разные времена и у разных народов.

Авторитет веры и признание целесообразности мироустройства заставили Августина смотреть на историю как на постепенное развитие от зла к благу, от смерти к жизни, от бедственного состояния, вызванного преступлением первого человека, к идеальному, блаженному бытию, когда все человечество в совокупности составит единый «град божий». «Золотой век», который для древних лежал всегда где-то в прошлом, переносится Августином в будущее и становится для него не только благим обетованием, но и конкретной целью истории. Отличительной чертой идеального общества он называет соблюдение уже упоминавшейся иерархии ценностей, между вещами «для пользования» и вещами «для наслаждения». Иначе говоря, Августин предписывает строгое подчинение всей практической жизни общества единому религиозному авторитету и реальную возможность осуществить этот идеал видит в церкви, в тех принципах, на которых зиждится ее устройство.

В творчестве Августина, таким образом, наметился широкий путь средневековой эстетики и философии. Язык его «Исповеди», классически правильный по грамматическим формам и прозрачно ясный по своему синтаксису, стал литературной нормой церковной латыни. Его учение об иносказаниях позволило средневековью аллегорически переосмыслить античную поэзию и мифологию (Фульгенций) и создать свою собственную сложную символику. Его призыв любить истину, а не слова, призыв искать в словах сокровенный смысл неоднократно повторялся в филологических трудах Беды, Алкуина, Храбана Мавра вплоть до Иоанна Скота Эриугены. Его концепция «небесного града» вошла неотъемлемой частью в духовный мир средневекового человека.

ИЗ КНИГИ „ИСПОВЕДЬ“

[МЛАДЕНЧЕСТВО]

I, 1. Велик и всеславен ты, Господи[1]: велика сила твоя и мудрости твоей нет предела. И тебя желает славить человек, частица творения твоего, человек, носящий в себе мертвенность свою, печать греха своего, знак того, что ты противишься гордым. И все же хочет восславить тебя он, частица творения твоего. Ты возбуждаешь его так, что ему приятно хвалить тебя, потому что для себя создал ты нас, и сердце наше не расстается с тревогой, доколе не найдет успокоения в тебе. Господи, даруй мне узнать и разуметь, что должен я делать прежде — призывать или славить тебя? Или сначала надо познать тебя, а потом уже призывать? Но не зная тебя, кто станет звать? Если звать, не зная, то можно иного призвать вместо тебя. Но как станут звать того, в кого не уверовали[2]? Или как поверят, если нет благовествующего? Ищущие Господа восхвалят его. Господи, я искать тебя стану, взывая к тебе, и призывать тебя стану, веря в тебя. Ведь о тебе проповедано нам. Господи, к тебе взывает вера моя, которую ты дал мне, которую внушил мне человеколюбием сына твоего, служением благовестника твоего...

5. Кто даст мне найти успокоение в тебе? Кто сделает так, что ты придешь в сердце мое, опьянишь его, и я, забыв о всех неправдах моих, восприиму тебя, благо мое единственное? Чем же стал ты для меня? Благоволи, и я скажу это. Но чем сам я стал для тебя, если ты требуешь от меня любви к тебе и за непослушание гневаешься и грозишь великими несчастиями? А разве малое несчастье, если я не люблю тебя? Увы мне! Господи, Боже мой, скажи мне по милосердию твоему, чем ты стал для меня? Скажи душе моей: «Я — спасение твое»[3]. Скажи так, чтобы я услыхал. Господи, вот уши сердца моего пред тобою, открой их и скажи душе моей: «Я — твое спасение». Я побегу на этот голос и обрету тебя. Не скрой от меня лица твоего. Я умру, но пусть умру не прежде, чем увижу его.

Тесен для тебя дом души моей, расширь его. Он обветшал — восстанови его. В нем есть мерзкое для очей твоих — знаю, не таю. Но кто очистит его? Или к кому, кроме тебя, воззову: «Господи, от тайных дел моих очисти меня и от чуждых пощади раба твоего»? Говорю так, потому что верю. Господи, ты сам это знаешь. Боже мой, не тебе ли я исповедал грехи мои и не ты ли простил нечестие сердца моего? Не вхожу в суд с тобой, который есть истина. Не хочу обманывать себя, чтобы неправда моя не лгала сама себе. Поэтому не сужусь с тобой, ведь если ты, Господи, станешь взирать на беззакония, то кто устоит [пред тобой]?

6. Позволь мне, однако, говорить пред милосердием твоим; мне, земле и пеплу, позволь говорить, потому что речь мою я обращаю к милосердию твоему, а не к человеку, насмехающемуся надо мной. И ты, возможно, посмеешься, но потом сжалишься. Господи, лишь потому хочу говорить, что не ведаю, откуда пришел я в эту то ли мертвенную жизнь, то ли жизненную смерть. Не ведаю, откуда пришел. И встретили меня твои утешительные милости[4], как слыхал я от плотских родителей моих, от отца и матери, из которых ты произвел меня в срок. Сам я не помню этого. Первым утешением моим было женское молоко. Ни мать, ни кормилица мои не наполняли сами себе сосцов, но ты, как установлено тобою, чрез них подавал мне детскую пищу и богатства, заложенные в глубине вещей. Ты внушил мне не желать бо́льшего, чем подавал ты мне, а кормильцам моим — желание отдать мне то, что они получили от тебя. Ведь они по естественному побуждению хотели подарить мне то, чем ты щедро оделил их. Для них благом было благо, которое из них, нет, не «из них», а «через них» приходило ко мне. Потому что все блага из тебя исходят, Боже, и от Бога моего все спасение мое. Я понял это позже, когда ты звал меня с помощью того самого, что ты вложил во внутрь меня и чем окружил извне. А сначала я умел только сосать, нежиться от удовольствий и плакать от огорчений плоти моей, больше ничего не умел я.

Потом я начал улыбаться, сначала во сне, затем и наяву. Так мне говорили обо мне, и я верю этому, ведь и у других детей наблюдаем мы то же, сам же я не помню себя таким. И вот постепенно я начинал ощущать то, что было вокруг меня, и мне хотелось открыть свою волю тем, кто бы мог исполнить ее, но на это у меня не хватало сил, потому что желания пребывали внутри меня, а люди находились вовне и ни одним своим чувством не способны были они проникнуть в душу мою. Я делал движения и телом, и голосом — это были знаки, схожие с желаниями моими,— то немногое, что я мог сделать, такое, что я мог сделать. Но эти знаки не были по-настоящему схожи. А когда мне не повиновались, либо не поняв меня, либо боясь навредить, то я негодовал на старших, не послушавших меня, и на детей, не угодивших мне. Своим плачем я мстил им. Мне довелось наблюдать младенцев, и я узнал, что они ведут себя так. Несмысленные, они лучше, чем сведущие кормильцы мои, уверили меня в том, что и я был, как они...

[ОТРОЧЕСТВО. ОБУЧЕНИЕ У ГРАММАТИКА]

I. 12. В пору отрочества, которое вызывало меньше тревог за меня, чем юность, я не любил науки и ненавидел, когда меня заставляли учиться. Но меня все равно заставляли, и мне это служило во благо, хотя вел я себя дурно, учась лишь по принуждению. Когда человек делает дело неохотно, он всегда поступает плохо, даже если само дело доброе. Добро творили не те, кто понуждал меня, но ты сам, Боже мой, превращал все во благо. Ведь те, кто заставлял меня учиться, видели в этом лишь средство, открывающее мне путь для насыщения ненасытных пожеланий богатства и постыдной славы. Ты же, у которого сочтены волосы головы нашей [5], обратил мне во благо заблуждение тех, кто заставлял меня учиться. А меня, противившегося учению, ты подвергал наказанию, и оно было заслужено мною, еще маленьким мальчиком и уже великим грешником. Итак, из поступков недобрых ты устраивал благо для меня и за согрешение мое праведно взыскивал с меня. Ведь ты повелел некогда, и так оно и есть, что всякое беспорядочное стремление становится наказанием само себе.

13. Что за причина была, отчего я ненавидел греческие уроки, я и сейчас не совсем понимаю. Латинские я очень любил, но не те, которые ведут самые первые учителя, а занятия с «грамматиками» [6]. Ведь учиться читать, писать и считать было для меня столь же тяжело и неприятно, как и сам греческий язык. Иным ли чем это было вызвано, как не грехом и суетою жизни? Был я тогда «плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается» [7]. Ведь те начальные знания достоверны. Благодаря им я теперь могу прочесть то, что вижу написанным, могу и сам написать любую вещь. И поэтому они лучше тех занятий, при которых я должен был,

забыв о своих заблуждениях, помнить о блужданиях неведомого мне Энея и оплакивать смерть Дидоны за то, что она убила себя из-за любви [8]. Свою же собственную смерть вдали от тебя, Боже, жизнь моя, я, несчастный, переносил с сухими глазами...

Итак, согрешил я мальчиком, предпочитая пользе пустяки, это любя, а то ненавидя. Ненавистен был мне припев: «Один да один — два, два да два — четыре», нравилось же больше всего суетное зрелище — деревянный конь, полный вооруженных воинов, пожар Трои и самой Креусы тень [9].

[ЮНОСТЬ. ГОДЫ УЧЕНИЯ В РИТОРСКОЙ ШКОЛЕ В КАРФАГЕНЕ]

III, 1. Я прибыл в Карфаген, и там все вокруг стало звать меня к утехам постыдной любви. Я еще не любил, но любовь мне нравилась, и в затаенном желании своем я ненавидел себя за недостаток желаний. Любя любовь, я искал предмета любви и ненавидел безопасный и открытый путь, потому что внутри меня жил голод внутренней пищи, тебя самого, Боже мой, но я не терзался от этого голода и не алкал пищи нетленной, не потому что был сыт ею, а потому, что был слишком пуст, слишком мерзок. Больна была душа моя. Покрытая струпьями, она устремлялась к внешнему миру, желая соскоблить свои струпья чувственными предметами. А они, если бы не имели души, не вызывали бы любви к себе. Любить и быть любимым приятно было мне, особенно если я наслаждался и телом любимого человека.

Естественное свойство дружбы я пятнал грязью страсти, на чистоту ее наводил тень из Тартара похоти, а сам в избытке тщеславия кичился своей благовоспитанностью и остроумием, гнусный и бесчестный. Я ввергся, наконец, в любовь, которой хотел предаться. Боже мой, спасение мое, сколько желчи примешал ты к этой сладости во благо мне! Я был любим, связь была скреплена наслаждением, но в этой радости меня опутывали сети бедствий: будто розги каленого железа, секли меня зависть, подозрения, страхи, гнев и ссоры.

2. Меня влекли к себе зрелища в театре, где все изображало мои несчастья и раздувало жегший меня огонь. Почему там человек охотно мучается, глядя на печальные и трагические события? Сами они для него не желанны, а вот боль от них желанна и сама боль для зрителя — наслаждение. Не жалкое ли это безумство? Ведь чем понятнее человеку такие чувства, тем сильнее они волнуют его, хотя если страдает он сам, зовут это бедой, а если сострождет другим — называют милосердием. Но какое тут милосердие, когда события выдуманы и происходят на сцене? Слушателя приглашают здесь не на помощь спешить, а лишь скорбеть, и чем сильнее он скорбит, тем больший успех встречает творца этих картин. Когда бедствия, очень давние или вымышленные,

показаны на сцене так, что их вид никого не огорчает, то автор, бранясь с досады, уходит из театра, а если зритель печален, то автор радуется и смотрит представление до конца [10]. Стало быть, слезы и страдания услаждают? Радоваться, конечно, хочет всякий, несчастным же быть никому не мило, но приятно быть сострадательным, что невозможно, однако, без скорби. Не поэтому ли мы и любим скорбь? Производит это живущая в нас жизненная сила дружбы.

Куда, однако, это ведет? По какому пути? Не поглощается ли здесь сострадание потоком кипящей смолы — пылающим жаром театральных страстей, в котором оно меняется, извращается по доброй воле, отторгшись и отпав от небесного света? Так что же, из-за этого надо отвергнуть сострадание? Вовсе нет! Пусть и скорби иногда будут нам приятны. Но бойся нечистоты, душа моя, имея покровителем «Бога моего, Бога отцов наших, славимого и превозносимого во все века» [11].

Мне и сейчас знакомо сострадание, но тогда, в театрах, я сочувствовал восторгу влюбленных, радовался их непристойным радостям, хотя это была только актерская игра и выдумка. Когда влюбленные разлучались, я из жалости к ним грустил, и мне была приятна эта печаль. Теперь же я больше болезную о том, кто весел, утопая в пороке, чем о человеке, который, словно это беда какая-то, лишился гибельных утех и потерял свое ничтожное счастье. Вот такое сострадание более истинно, но оно не услаждает скорбью. Милосердие велит печалиться о несчастье, и это похвально, но человек вдвойне милостивый предпочитает вовсе не иметь причин для горя. Если бы существовало зложелательное доброжелательство, совершенно невозможное, то тому, кто способен на искреннее, глубокое соболезнование, могло бы захотеться, чтобы всегда были страдальцы и ему было бы кого жалеть. Поэтому похвальна бывает иногда скорбь, но она никогда не должна быть любима. Боже и господи, ты один любишь наши души сильнее и чище, чем мы сами, и жалеешь их без лукавства, не причастный печали. Но на это кто способен? [12]

А я, бедный, любил тогда горевать и искал, о чем бы поскорбеть. Игра актеров на сцене, где изображались чужие, лживые невзгоды, была для меня тем приятнее, чем сильнее я плакал, глядя на нее. Удивительно ли, что я, несчастная овца, отбившаяся от твоего стада и лишенная твоего надзора, покрывалась мерзкой паршой? Поэтому-то и жила во мне любовь к страданиям, хотя и не проникала в меня глубоко. Ведь я не любил сам терпеть то, на что смотрел, и, слыша о вымышленных страданиях, получал как бы легкие ссадины, от которых, однако, как от царапания когтями, воспалялась опухоль и гноилась страшная язва. Боже мой, разве это была жизнь?

3. Но с высоты осеняло меня твое неизменное милосердие! Во многие беззакония погружался я, предавался кощунственному

любопытству, оставлял тебя из-за него, устремлялся в глубины лжи и к пагубному служению бесам, приносил им в жертву свои злые дела, и ты меня за все это бичевал! Даже во время торжественных празднеств твоих, в стенах твоего храма, я не боялся предаваться страстным желаниям и затевать дело, коего плоды — смерть. За это ты предавал меня тяжелым карам, ничтожным, однако, в сравнении с моей виной. Боже, сколь велика твоя милость ко мне! Ты — защита моя от тех страшных опасностей, среди которых я бродил, высоко подняв голову, вдали от тебя, полюбив пути свои, а не твои, полюбив непрочную свободу.

Даже в тех науках, которые назывались благородными и применение имели в судебных тяжбах, я мог отличиться, лишь заслужив похвалу умением обманывать! Настолько люди слепы и хвалятся своей слепотой! В школе ритора я был уже первым учеником, очень радовался и гордился этим, хотя и вел себя сдержанно, ты знаешь это, Господи. Я не участвовал в «ниспровержениях», затеваемых «ниспровергателями» [13],— этим именем, диким и диавольским, обозначается изысканная светскость. Я не был таким, как они, и стыдился бесстыдства, живя среди них. Бывая в их обществе, я иногда дружил с ними, но всегда гнушался их поступков, т. е. «ниспровержений», которыми они нагло преследуют скромных новичков, осыпая их насмешками и теша свою злокозненность. Тут очень много похожего на бесовские действа. Можно ли дать этим людям лучшее имя, чем «ниспровергатели»? Ведь очевидно, что духи лжи уже давно ниспровергли их и совратили, а теперь смеются над ними, когда те насмешничают и обманывают.

4. В том неразумном возрасте я вместе с ними изучал сочинения по красноречию, в котором хотел всех превзойти, преследуя цель предосудительную и пустую, ища суетной славы человеческой. Держась принятого порядка, я, наконец, приступил к чтению одной книги Цицерона, которого почти все прославляют за его слог, но мало кто — за чувство. Книга эта была «Гортензий» [14], и в ней Цицерон призывает заниматься философией. Она изменила все мое душевное расположение, заставила меня молиться тебе, Господи, вселила в меня новые желания и стремления. Потеряли для меня свою прелесть все прежние пустые надежды, и с небывалым жаром сердца я страстно возжелал бессмертной мудрости. Я начал тут понемногу приподниматься [от земли], и возвращаться к тебе. Не ради красоты слога читал я эту книгу, купленную на деньги матери, ведь мне тогда было девятнадцать лет, и отец уже два года как умер. Не языком ее я восхищался, а тем, что в ней говорилось.

Боже мой, как рвался я, как рвался я перенестись с земли к тебе, и не ведал я, что ты станешь делать со мной! Ведь у тебя обитает мудрость. А любовь к мудрости называют греческим именем «философия». Вот ее-то и зажгла во мне эта книга.

[ГОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РИТОРИКИ В КАРФАГЕНЕ, РИМЕ И МИЛАНЕ]

IV. 1. В продолжение девяти лет, с девятнадцатого года жизни по двадцать восьмой, я обольщался сам и обольщал других, бывал обманут и обманывал, утопая в страстях. Делал это и открыто — занимаясь «свободными» науками, и тайно — радея о ложной религии [15]. В науках был тщеславен, в религии — суеверен, и там и тут служил суете. Ученостью снискал себе пустую славу у людей, так что мне даже хлопали, как в театре. Любил поэтические состязания, венки из травы, вздорные зрелища и разнузданную похоть. В религии же думал смыть с себя эту грязь и носил поэтому яства так называемым «избранникам» и «святым», чтобы они в своих желудках состряпали для нас ангелов и богов-освободителей. И исполнял это я не один, а с друзьями, которых тоже завлек в эту неправду. Боже, пусть те, кто уверен в себе, кто не падал и кого ты не исцелял, насмехаются надо мной, я же ради славы твоей исповедую тебе позор мой. Молю, позволь мне и дай сейчас снова пройти в воспоминаниях путь прежних блужданий моих и вознести тебе жертву хвалы [16]. Что я без тебя, как не путник у края пропасти? А если благоденствую, то разве не молоко твое сосу и не услаждаюсь тобой, пищей нетленной? [17] И любой человек, когда он просто человек, чтó он такое? Пусть смеются сильные и могучие, а мы, слабые и немощные, будем исповедываться тебе.

2. В те годы я преподавал риторику, из корысти торговал искусством победоносного суесловия. Господи, ты знаешь, что я любил хороших учеников, их так теперь зовут — «хорошие». Бесхитростно обучал я их хитростям, но не с тем, чтобы они вредили невинным, а для того, чтобы иногда щадили и виноватого. Боже, ты видел издали, как изнемогала моя честность на этом скользком пути, как еле светилась она в сплошном чаду, но не отказался я от нее на этой должности, среди людей, любящих суету и ищущих лжи [18]. В те времена у меня была подруга, которую связывал со мной не брак законный, а пылкая, безрассудная страсть. Однако женщину эту я имел одну и хранил верность ложу. На своем примере убедился я, сколь отличны друг от друга законное супружество, заключаемое ради чадородия, и союз чувственной любви, при котором дети рождаются нежеланными, хотя, родившись, заставляют любить себя.

V. 8. Ты сделал так, что мне вздумалось отправиться в Рим и там давать уроки, которые я вел в Карфагене. А почему мне вздумалось это, я не премину исповедать тебе, потому что и тут должно разуметь и восхвалять тайну величия твоего и твое всегдашнее к нам милосердие. Не потому захотел переселиться я в Рим, что он, как внушали мне друзья, сулил больше доходов и почестей, правда, и это манило меня тогда, но главная и почти единственная причина

была та, что в Риме, по рассказам, юноши на уроках вели себя пристойнее, не вторгались нагло в чужую школу и вообще не допускались туда без позволения учителя.

В Карфагене, напротив, гадкая разнузданность школяров не знает преград: как взбесившиеся, они без всякого стыда врываются на уроки и переворачивают порядок, заведенный каждым наставником для пользы учеников. Свои преступные шалости они творят с такой удивительной тупостью, что закон непременно карал бы их, если бы не обычай, привыкший смотреть на них как на людей до того никчемных, что им разрешаются вещи, совершенно не дозволенные твоим вечным законом. Они мыслят, что ведут себя безнаказанно, тогда как наказываются той самой слепотой, с какой они действуют, и зло терпят безмерно худшее, чем причиняют сами. Я чуждался этих нравов в годы своего учения, а вот теперь, когда сам вел занятия, становился их жертвой. Хотелось уехать туда, где ничего этого нет, по словам людей, знавших дело. Ты же, упование мое и доля моя на земле живых [19], перемену мест делал для меня источником душевного спасения. Ты гнал меня стрекалом из Карфагена и в Рим завлекал приманками. Делал ты это через людей, преданных временной жизни, поступавших здесь неразумно и там суливших пустое. И их и мою порочность ты тайно употреблял для исправления моих путей. Ведь слепы были те, кто с безобразной яростью нарушали мой покой, но о земном мудрствовали и те, кто советовал мне ехать. Тяготясь подлинной бедой здесь, я стремился туда, к мнимому счастью.

Боже, ты ведал, для чего нужно мне было ехать отсюда туда, но ты не открыл этого ни мне, ни моей матери, горько плакавшей о моем отъезде и провожавшей меня до самого моря. Она не отступала от меня, вынуждая либо остаться, либо взять ее с собой. Но я обманул ее. Я притворился, что не могу расстаться с другом, пока он не уплывет при попутном ветре. Солгав матери (и какой матери!), я бежал от нее. Это тоже простил ты мне, скверному, и от морских вод спас меня для вод благодати твоей, которые омыли меня и осушили потоки материнских слез, всякий день орошавших землю пред лицом твоим. Без меня она не соглашалась вернуться домой, и я с трудом уговорил ее провести ночь недалеко от корабля, в доме, посвященном памяти блаженного Киприана [20]. Сам я тайком тогда отплыл без нее, а она, оставшись, молилась с плачем. Боже, не просила ли она у тебя, вся в слезах, чтобы ты помешал моему морскому странствованию? Но ты, в высоком твоем замысле, внимал самому большому желанию ее и чтобы сделать со мной то, о чем она привыкла просить, не исполнял тогдашней ее просьбы. Подул ветер, натянул паруса — и берег скрылся от наших взоров. А наутро мать моя предавалась там безумному горю, оглашая уши твои укорами и стоном. Но ты не слушал ее. Ты попускал мне увлекаться страстями, чтобы положить конец самим страстям, ей же — терпеть справедливые удары страданий, чтобы утихло ее плотское

желание. Как мать, сильнее, однако, чем многие матери, она хотела, чтобы я был при ней, и не знала, в какую радость для нее ты превратишь мое отсутствие. Она рыдала и плакала и этими муками обличала в себе наследницу Евы, со стоном требуя то, что родила со стоном. Жаловалась на мой обман и жестокость, потом, однако, стала по-прежнему молить тебя обо мне и возвратилась к обычным делам. А я плыл в Рим.

12. В Риме я с любовью занялся тем, ради чего туда прибыл,— обучением риторике. Я стал на первых порах собирать у себя в доме лиц, доставивших мне известность. Но я узнал, что в Риме творятся вещи, недопустимые в Африке. Здесь, правда, негодные юноши не устраивают «ниспровержений». Однако, как мне рассказали, многие из них договариваются друг с другом и переходят от учителя к учителю, чтобы не вносить платы. Забывают о честности и ценят правду дешевле денег. Сердце мое возненавидело их, но не полной ненавистью, ненавистна была обида, которую они могли причинить мне, а не само их беспутство, вредящее каждому. Эти испорченные люди развращаются вдали от тебя, любят мимолетный задор и грязную корысть, пятнающую ту руку, к которой она прикасается. Они прилепились к миру временному и небрегут о тебе, когда ты зовешь их, ждешь и прощаешь человеческую душу, если она, блудница, возвращается к тебе. Я и теперь ненавижу их, ленивых и развращенных, хотя очень хочу, чтобы они исправились и деньгам предпочли науку, которую изучают, а науке — тебя самого, Боже,— истину, полноту благ и совершеннейший мир. Тогда, однако, я ради себя самого больше хотел, чтобы они не поступали дурно, чем желал им стать добрыми ради тебя.

13. Поэтому, когда префекту Рима пришло поручение найти учителя риторики для Медиолана [21] и отправить его туда на казенный счет, я добился, чтобы Симмах, в то время бывший префектом, согласился назначить и послать в Медиолан именно меня. Я прибег для этого к заступничеству лиц, преданных манихейской суете, и ни я, ни они не догадывались, что я уезжаю, чтобы навсегда порвать с ними. И вот я прибыл в Медиолан, в город, где жил Амвросий, один из лучших людей на земле, благочестивый твой служитель, чья проповедь в ту пору щедро питала народ твой туком пшеницы твоей [22], елеем радости и вином целомудрия. Этот человек божий принял меня, как отец, и по-епископски благожелательно отнесся к моему прибытию. Я полюбил его сначала не как наставника истины, которую уже не думал найти в твоей церкви, а просто как человека, благосклонного ко мне. Я старательно вслушивался в его поучения народу, но не с тем вниманием, с каким должно, а как бы проверяя, заслужена ли слава о его красноречии, не слишком ли велика или мала она. Я приковывал свое внимание к его словам, а к тому, о чем он говорил, был не любопытен и небрежен. Я наслаждался приятностью речи, более ученою, чем у Фавста [23], хотя менее радующей и ласкающей слух своим слогом. По содержанию, однако,

они несравнимы: ведь Фавст предан был ложному заблуждению манихеев, а Амвросий здравомысленно учил спасению. Но спасение далеко отстоит от грешников, к которым принадлежал и я в то время. Мало-помалу все же я, сам того не ведая, становился к нему все ближе.

[ОБРАЩЕНИЕ]

VIII. 6. Господи, я исповедую имени твоему и расскажу тебе, помощник мой и искупитель, как ты спас меня от рабского служения заботам житейским и избавил от уз плотских вожделений, крепко державших меня. Я занят был обычными делами, но во мне росла тревога, и каждый день я воздыхал пред тобою. Я часто посещал твой храм, в то свободное время, которое у меня оставалось от работы, своим бременем доводившей меня до стонов. Со мной вместе жил Алипий [24], не имевший тогда казенной должности. Опытный юрист, он уже три раза занимал ее и теперь ждал, кому бы снова начать продавать свои советы, как я продавал словесное искусство, если только ему можно обучить. Небридий же уступил нашей дружеской просьбе и стал помощником у нашего общего приятеля Верекунда, медиоланского гражданина и учителя грамматики. Верекунду очень нужен был верный сотрудник, и он, по праву друга, требовал себе одного из нас. Не корысть привлекла к нему Небридия, который, если бы хотел, мог больше стяжать своей ученостью, а долг благожелательства, потому что он, милый и нежный друг, не желал пренебречь нашей просьбой. Он вел себя очень осмотрительно, остерегаясь знакомств с сильными мира сего и уклонялся от всего, что нарушало спокойствие духа. Он искал свободы духа и досуга, чтобы иметь время расспрашивать, читать и слушать о мудрости.

Однажды, когда Небридия почему-то не было с нами, в наш дом, ко мне и к Алипию, пришел некто Понтициан: он был, как и мы, африканец и занимал во дворце высшую должность, а чего он хотел от нас тогда, я не знаю. Чтобы поговорить с ним, мы все трое сели рядом. Случайно Понтициана привлекла к себе рукопись на игорном столе возле нас. Он берет ее, раскрывает и находит апостола Павла, неожиданно для себя, конечно; ведь принял-то он ее за одну из книг моего ремесла. С улыбкой глядя на меня, Понтициан обрадовался и удивился тому, что такие и только такие книги лежат предо мной. Человек этот был христианин и очень ревностный, часто подолгу простирался он с молитвой в храме пред тобою, Боже наш. Я открыл ему свою привязанность к этим книгам, и он тогда повел беседу об Антонии, египетском отшельнике, чье имя славилось среди рабов твоих, нам же было неизвестно до того часа. Многое рассказывал Понтициан, повествуя нам, невеждам, о таком муже и дивясь нашему невежеству. Затаив дыхание, слушали мы о столь близких, чуть ли не современных нам «чудных делах

твоих», засвидетельствованных в правой вере и вселенской церкви. И мы и они были изумлены: мы — тем, сколь велики эти дела, Понтициан — тем, что мы о них не слыхали.

Потом речь пошла о сонмах монастырских насельников, об их нравах, благоухающих пред тобою, о плодах, приносимых бесплодной пустыней. Об этом мы тоже ничего не знали. Не ведали и о монастыре в самом Медиолане, за городской стеной, где жило множество доброчестных братьев, которых наставлял Амвросий. Понтициан все рассказывал и рассказывал, и молча мы внимали ему. Наконец, и сам про себя рассказал он вот что.

Как-то раз в Треверах [25], после обеда, пока император смотрел зрелище в цирке, Понтициан с тремя товарищами отправились на прогулку в сады, прилегающие к стене. Здесь они случайно разлучились. Один пошел с Понтицианом, а двое других уклонились в сторону. Блуждая, эти двое набрели на хижину, в которой жили какие-то рабы твои, нищие духом, те, кто наследует царство небесное. В той хижине нашли они рукопись с житием Антония. Один из них взял и стал ее читать и, пока читал, изумленный, его все больше охватывало пламенное желание самому начать жить так же и служить одному тебе, покинув светские должности, а по должности оба они были чиновниками. Он поднял, наконец, глаза, посмотрел на друга и, горя священной любовью и благоразумным стыдом, негодуя сам на себя, промолвил: «Скажи мне ты, к чему мы стремимся, снося все наши тяготы? Чего мы ищем? Ради чего боремся? Мы станем друзьями императора,— вот и все, чего мы достигнем во дворце? А там не все ли зыбко, не все ли полно опасностей? А сколько опасностей нас ждет на пути к этой должности, столь опасной! Божиим же другом я сразу могу стать, как захочу». [Затем], весь в смятении от зачинавшейся в нем новой жизни, он снова перевел взор на страницы, продолжал читать и менялся внутри, где ты видел его. Ум его совлекал с себя все мирское, как выяснилось вскоре. В сердце его бушевали волны, читая, он издавал порою возгласы, порывая [со старым] и одобряя лучшее. Он был уже твоим, когда сказал другу: «Прочь отметаю прежние надежды! Богу решил я отныне служить и приступаю к этому сейчас, на этом самом месте. Можешь не подражать мне, но мешать не смей». Тот ответил, что и сам хочет быть соучастником столь высокого служения и столь высокой награды. Оба они уже стали твоими и воздвигали крепость, имея потребные на то средства — оставление всего своего и последование тебе.

Тем временем в хижину вошли Понтициан с товарищем. Они искали друзей по всему саду и теперь, найдя их, стали звать с собой, так как уже близился вечер. Но те открыли им свое решение и намерение, поведали, как родилось и возросло в них это желание, и просили не докучать им, если сами не хотят последовать их примеру. Понтициан и его спутник, не пережившие изменения, оплакали себя, благоговейно поздравили тех двух и, вверив себя их мо-

литвам, возвратились во дворец с сердцем, привязанным к земле, а оба друга остались в хижине, прилепившись сердцем к небу.

Оба они имели невест, и девицы эти, узнав обо всем, так же принесли тебе обет девства.

7. Таков был рассказ Понтициана. Господи, его словами ты обращал мой взор на меня самого. Ты извлек меня из-за спины моей, куда я давно запрятал сам себя, не желая внимать себе. Ты поставил меня теперь лицом к лицу самого перед собой, чтобы я разглядел свою мерзость, уродливость и нечистоту, свои пятна и язвы. С ужасом видел я это, порывался бежать, но не мог, хотел отвести взгляд свой от себя, но Понтициан продолжал рассказывать, и ты снова ставил меня перед самим собой, снова приковывал ко мне взор мой, чтобы нашел я в себе неправду и возненавидел ее. Я знал о ней и раньше, но был беспечен и забывал. Теперь же чем больше нравились мне эти здравомыслящие люди, всецело отдавшие себя тебе для исцеления, тем нещаднее я ненавидел сам себя, сравнивая себя с ними. Ведь уже давно, двенадцать полных лет тому назад, на девятнадцатом году жизни я прочел «Гортензия» Цицерона и проникся любовью к мудрости, но до сих пор не решался презреть земное счастье и свободно посвятить себя ее исследованию, хотя даже поиск ее, а не только обретение должно ценить выше всех наслаждений плоти и царств и сокровищ земных. Я был скверным, скверным, особенно в ранней юности, однако уже тогда просил у тебя чистоты и говорил: «Даруй мне чистоту и воздержание, но не подавай их теперь». Боялся я, что ты пошлешь их слишком скоро и исцелишь недуг похоти, которую хотелось мне тешить, а не гасить. И я ходил неправыми путями святотатственного заблуждения, но не потому, чтобы доверял ему вполне, а потому, что предпочитал его другим учениям, не рассматривая их по совести, а враждебно оспаривая.

Я полагал, что день за днем медлю оставить надежду на этот мир лишь потому, что мне неясно, куда направить путь. Пришел, однако, день, когда наг стоял я перед самим собой, и совесть во мне обличала меня: «Где твой язык? Не ты ли говорил, что сбросить суетное бремя тебе мешает неуверенность в истине? Что же, теперь ты уверился, а суета по-прежнему давит тебя своим грузом! Люди же, не изнурявшие себя исканиями, не тратившие больше десяти лет на размышления, расправляют свободные плечи, будто крылья!» Вот так угрызался я внутри и от ужасного стыда был сам не свой, пока слушал Понтициана. Он, наконец, кончил беседу, уладил нужное ему дело и ушел. А я, чего только не наговорил я себе после его ухода! Какими мысленными плетьми ни бичевал я свою душу, чтобы она стала заодно со мной, когда я пытался следовать тебе. Она упорствовала, не соглашалась и не оправдывалась. Были уже исчерпаны и отвергнуты все доводы, оставался один немой трепет. Как смерти, боялась она оторваться от потока привычек, в котором чахла и гибла.

8. Во внутренней моей обители велась страшная борьба, на которую я вызвал свою душу в опочивальне нашей, в сердце моем. С тревогой на лице, с мятущимися мыслями подошел я к Алипию и воскликнул: «Что творится! Слышишь? Невежды встают и берут себе небо, а мы с нашей ученостью погрязли тут в плоти и крови! Неужели стыдно идти по их стопам, если они опередили нас? Неужели не стыдно вовсе не подражать им?» Наговорив не помню что еще в таком роде, весь охваченный волнением, я кинулся прочь от него. Он же смотрел на меня безмолвно, с удивлением, пораженный столь непривычной речью. О чувстве моем больше, чем слова, говорили лоб, щеки, глаза, цвет лица, голос.

Около нашего жилища был небольшой сад, которым мы пользовались, как и всем домом, потому что хозяин дома не жил там. Туда, в этот сад увлекла меня буря, кипевшая в груди. Здесь никто не мог помешать мне в той ожесточенной схватке, в которую я вступил с самим собой, схватке, которая длилась, пока не был найден выход, уже тогда ведомый тебе, но не мне. Я страдал целительной болезнью и умирал живительной смертью, ощущая зло, но не постигая, какое благо придет вскоре. Итак, я ушел в сад, а следом за мной Алипий. Он ведь не был помехой моему одиночеству, а разве мог он бросить меня в таком состоянии? Мы сели с ним подальше от строений. Дух трепетал во мне, страшно негодовал я на себя за то, что не вступал в союз с тобою, в союз, угодный тебе, Боже мой. Все мои кости звали меня вступить в него, к небу возносились они в хвалениях. Не нужны были для этого ни корабли, ни колесницы, не надо было проходить даже того расстояния, какое прошли мы пешком от дома до места, где сидели. Не только «пойти», но и «достичь» означало здесь «захотеть идти», захотеть сильно и искренне, а не кидать из стороны в сторону свою полуискалеченную волю, которая то встает, то падает в борьбе.

Раздраженный своей нерешительностью, я совершал много действий, которые не всегда люди властны выполнить, если стремятся к тому, но не имеют членов тела или они у них связаны оковами, расслаблены и неподвижны. Я рвал на себе волосы, бил себя по лбу, сцепив пальцы обнимал колена и делал все это потому, что хотел. «Хотеть» я мог бы и тогда, когда не в силах был бы поступать так, не имея послушных членов тела. «Хотеть» и «мочь» здесь разные вещи, тем не менее я действовал тут и бездействовал в том, что мне было несравненно приятнее и для чего нужно только желание, но желание бесповоротное. Возможность совпадала здесь с волей, и «хотеть» уже значило «делать». Этого, однако, не происходило, и телу легче было покорствовать слабейшей воле души и заставить члены двигаться, чем душе подчинить одну лишь волю своей великой воле.

9. Что за странное явление! Откуда оно и в чем его причина? Озари меня твоим милосердием, чтобы я мог вопросить об этом! Быть может, ответ дадут тайники страданий человеческих и самые

непроницаемые глубины мук сынов Адама? Что за странное явление! Откуда оно и в чем его причина? Когда дух приказывает телу, оно повинуется тотчас, а когда приказывает самому себе, то сам же противится. Дух велит, чтобы рука двигалась, и все тут так просто, что приказ едва отличим от исполнения. При этом дух — это дух, а рука — тело. Но вот дух велит духу захотеть, дух остался прежним, однако не повинуется теперь. Что за странное явление! Откуда оно и в чем его причина? Хотеть требует тот, говорю я, кто не стал бы принуждать, если бы не желал того, и вот сам же он не слушается приказа!

Не весь объят он желанием, вот почему и веление его не всесильно. Он требует в той мере, в какой желает, и настолько не исполняется приказ, насколько не достает ему желания. Ведь воля сама себе, а не другому кому-то повелевает, чтобы родилась воля. Когда не вся она целиком требует, то и не наступает то, чего она требует. Если бы действовала вся она, то ей не пришлось бы приказывать, она уже была бы исполнена. Итак, вовсе не странное это явление частью «хотеть» и частью «не хотеть», а это болезнь духа, когда он, отягощенный привычками, не весь возносится ввысь, легкий благодаря истине. Существуют две воли, и раз одна из них неполная, то у второй есть то, чего не хватает первой.

11. Так томился я и мучился, обвиняя себя строже, чем обычно, крутя и вертя себя в своих оковах, чтобы, наконец, расторглось то, что меня слегка удерживало. Что-то все еще не пускало меня. Господи, ты нападал на меня в тайниках моих, с суровым милосердием ты удваивал удары страха и стыда, чтобы не отступил я вспять, чтобы остающееся, малое и тонкое, оборвалось, а не усилилось снова и не связало меня еще крепче. Я во внутренней глубине своей говорил себе: «Пусть будет, пусть будет!» и уже готов был принять решение, уже почти делал это, но все еще не делал. Я не катился назад к прошлому, но близок был к тому и едва переводил дыхание. И снова совершал усилие, был совсем уже недалеко, вот-вот уже прикасался, уже держал, однако не достигал, не прикасался, не держал, не соглашаясь умереть для смерти и жить для жизни. Зло, укоренившееся во мне, было сильнее непривычного добра. Чем ближе придвигалось мгновение, в которое я стал чем-то другим, тем в больший ужас повергало оно меня. Но не толкало назад, не оборачивало вспять, а лишь останавливало в нерешительности. Держало меня пустяковое легкомыслие и суетное тщеславие — мои древние подруги. Теребя за одежду плоти, они шептали мне: «Неужели ты уйдешь от нас?» и «С этого мгновения мы уже не будем вечно сопутствовать тебе!» и «С этого мгновения запрещено тебе будет и то и то!» Боже мой! Что разумели они под словами «то и то»? Они хотели, чтобы отвратилось милосердие твое от души раба твоего. Сколько постыдного, сколько нечистого разумели они! Им внимала меньшая часть моя и не как явным противникам, стоящим лицом к лицу, а как ворчунам за спиной, которые щипали меня, уходящего от них, чтобы я

оглянулся. Все же они не отступали от меня. Я медлил порывать с ними, не стряхивал их с себя и не бросался туда, куда был призван, потому что жестокая привычка спрашивала: «Неужели надеешься обойтись без них?»

Но голос ее звучал уже очень тихо. А с той стороны, куда обращено было мое лицо и где я страшился сделать решительный шаг, мне открывалось великолепие чистого воздержания, светлое, веселое без развязности. Оно честно манило меня идти к нему без опасений. Протягивало святые руки, чтобы принять меня в свои объятия, руки, полные многих благих примеров. Сколько там отроков и отроковиц, какое число юношей и людей всех возрастов! Там и строгие вдовы и старые девственницы! И у всех одна и та же воздержанность, не бесплодная, а плодовитая мать, чьи сыновья — это радости о супруге, о тебе, господи! Она подсмеивалась надо мной ободряющим смехом, словно говоря: «Ты ли не сумеешь поступать, как они? Неужели своей силой, а не силой господа они стали способны на это? Господь Бог дал меня им. Почему ты верен и не верен себе? Прострись пред ним, не бойся, он не даст тебе упасть. Смело прострись пред ним, он примет тебя и исцелит». А я густо краснел, потому что до сих пор прислушивался к тому вздорному жужжанию и прозябал в медлительности. И снова они как бы говорили: «Глух будь к зову этих нечистых членов твоих, чтобы они отмерли совсем. Они толкуют тебе об удовольствиях, но не как о законе господа и Бога твоего!» Так шел в моем сердце спор обо мне самом против меня самого. Алипий сидел бок о бок со мной и молча ждал, чем кончится столь необычная возбужденность.

12. Пристальное всматривание вывело наружу из бездонных глубин все мое убожество и поставило на вид сердцу. Какая буря тут разразилась! Какой ливень слез она принесла! Желая весь предаться стонам, я поднялся и ушел от Алипия: плакать удобнее одному. Я искал места, где бы он не тяготил меня своим присутствием. Вот в каком состоянии был я, и Алипий понимал это! Вставая, я произнес что-то со слезами в голосе, думаю. Он остался сидеть, весь замерший. Сам не знаю как, я бросился на землю под каким-то смоковным деревом и дал волю слезам. Из глаз моих хлынули потоки — жертва, угодная тебе. Не совсем с такими словами, но с такими мыслями я обращался к тебе: «Господи, доколе? Господи, доколе ты все гневаешься? Перестань вспоминать наши прежние неправды!» Путы их я ведь ощущал на себе. Вопил жалобно: «До каких пор все «завтра, завтра», почему не теперь? Почему не кончить в сей же час с моим непотребством?»

Так говорил я, плача в горестном сокрушении сердца. И вдруг из соседнего дома зазвучал напевный голос то ли мальчика, то ли девочки, голос, повторявший все время: «Возьми и читай, возьми и читай». Я изменился в лице и начал раздумывать, не поют ли так дети в каких-нибудь играх, но не припомнил ничего. Подавив слезы, я встал, принял эти слова за повеление взять рукопись и

прочесть в ней первую же главу, которую увижу. Мне знаком был рассказ об Антонии, о том, как он был вразумлен неожиданно во время евангельского чтения, когда слушал так, будто к нему относились слова: «Иди, продай твое имущество и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, и следуй за мной» [26]. Вняв им, он тогда же обратился к тебе.

Итак, я поспешил туда, где сидел Алипий, где, когда вставал, я положил книгу апостола. Я схватил ее, раскрыл и молча прочел главу, которая попалась мне на глаза: «Не в пиршествах, не в пьянствах, не в сладострастии и распутстве, не в спорах и зависти [проводите жизнь свою], но облекитесь в господа Иисуса Христа и попечения о плоти не превращайте в похоть» [27]. Дальше читать я не захотел, да и нужды не было. Лишь только прочел я это, как мирный свет точно влился в мое сердце, и вся тьма облегавших меня сомнений рассеялась.

Заложив палец или сделав иную, не помню какую, отметку на том месте, я со спокойным лицом все открыл Алипию. Тут и он мне открыл, что́ с ним творилось и о чем я не ведал. Для этого поступил он вот как: пожелал видеть прочитанное. Я показал ему, он обратил внимание на слова, следовавшие дальше и не замеченные мной. Слова эти такие: «Немощного в вере принимайте». Алипий отнес их к себе и сказал мне об этом. Увещание придало ему твердости, и без тягостных колебаний он присоединился к благому намерению и решению (самому пригодному для его нравов, намного лучших, чем мои). С ним вместе мы пошли тогда к моей матери и возвестили ей обо всем. Она обрадовалась. Рассказали, как все свершилось, она торжествовала победу и благословляла тебя, который силен посылать больше, чем мы просим и разумеем. Теперь видела она, что ты даровал мне много больше того, о чем в мечтаниях и с горьким плачем привыкла просить она у тебя. Ты так обратил меня к себе, что я отказался и от супружества и от всех надежд века сего и твердо стал на тот путь веры, на котором видела она меня за столько лет до того по твоему откровению. И ты обратил слезы ее в радость, намного бо́льшую, чем она желала, радость более чистую и драгоценную, чем принесли бы ей внуки моей плоти.

Пруденций

Аврелий Пруденций Клемент родился в Испании в 348 г., а умер после 405 г. Никаких сведений о его жизни, кроме того, что сообщает он сам в «Предисловии» к своим стихотворениям, не имеется.

«Предисловие» — краткая автобиография. Написана она исключительными по благозвучию трехстрочными строфами, ранее в латинской поэзии не употреблявшимися: гликоней, асклепиадов стих, большой асклепиадов стих.

Двенадцать «Повседневных гимнов» (из которых здесь приведен «Гимн на пение петуха») относятся преимущественно к тем часам дня, в какие предписывались молитвы в воспоминание событий, о которых говорится в Новом Завете, а также к некоторым событиям обыденной жизни. Написаны они девятью различными лирическими размерами.

В поэмах Пруденция излагается учение о богочеловечестве Иисуса Христа и обличаются учения еретиков и иудеев. Поэме «О божестве» предшествует небольшой гимн «О Троице», написанный дактилическим гексаметром. «Борьба в душе» («Психомахия»), самая известная из поэм Пруденция, изображает борьбу добродетелей и страстей в душе человека. Эта поэма в литературном отношении очень интересна тем, что это первый пример чисто аллегорического произведения в латинской литературе. «Психомахия» вызвала много подражаний на протяжении средневековья. Поэма «Против Симмаха» в двух книгах — подробное обличение языческих верований, направленное против современника Пруденция, знаменитого оратора Симмаха.

«Книга о венцах» — гимны о мучениках и мученицах первых веков христианства. При составлении этих гимнов Пруденций пользовался как устными преданиями, так и сочинениями церковных писателей. 14 гимнов этой книги написаны двенадцатью стихотворными размерами (см. «Мучение Агнии»).

Совсем особое место занимают 49 четверостиший, относящихся к событиям Ветхого и Нового Заветов. Четверостишия носят общее название — «Двойное подкрепление» и снабжены особыми заглавиями. Вероятнее всего, это — подписи к изображениям для украшения стен храма. Все они написаны дактилическим гексаметром.

«Послесловие» заканчивает весь цикл стихотворений Пруденция и примыкает к заключительным словам «Предисловия». Написано оно двустишиями из усеченных трохаических диметров и усеченных ямбических триметров.

Пруденций писал в то время, когда, несмотря на официальное признание главенства христианской религии, римская поэзия была всецело проникнута языческими традициями, которым следовал не только такой номинальный христианин, как Авсоний, но и сам Пруденций. Однако Пруденций был убежденным и ревностным христианином, и его поэтические произведения носят, по существу, характер страстной проповеди новой религии; его справедливо следует считать создателем латинской христианской поэзии, а его «Повседневные гимны» представляют собою новый, особый вид литературы, который впоследствии завоевал себе первенствующее место в произведениях христианских стихотворцев. Вместе с тем Пруденций не только не порывает связи с языческой римской литературой, но, будучи верным поклонником лучших ее произведений, продолжает следовать их поэтике. Главными образцами для него служат Вергилий и Гораций. Две основы миросозерцания Пруденция — христианство и уверенность в могуществе и величии Рима — определяют содержание его творчества. Пруденций богато одарен творческой фантазией и, даже перефразируя римских поэтов, создает свои собственные живые и яркие картины. Пруденций оказал огромное влияние на латинскую поэзию средневековья, но средневековые авторы были уже не в силах опираться на те античные основы, на которых твердо стоял вдохновенный Аврелий Пруденций Клемент.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пятьдесят миновало лет.
И, коль верен мой счет, сверх того год седьмой
Неба круговорот мне подает быстрого солнца свет.
Близок жизни предел, и дни,
Что мне богом даны,— это дни старости.
Но какую же я пользу принес в этот свой долгий век?
Во младенчестве плакал я,
Школьной розгою бит. Тога потом меня
Совратила, и лгать не без греха я научился в ней.
После буйный разгул и с ним
Дерзкий вместе разврат (стыдно и горько мне!)
Юношу запятнал и осквернил грязью и мерзостью.
Скоро тяжбы судебные
Захватили меня, и неуемная
Страсть к выигрышу дел мне принесла тяжкие горести.
Дважды мне привелось затем
В славных быть городах права блюстителем,
Защищая в суде честных людей, карою злым грозя.
Государь, наконец, мне дал
Высший воинский чин [1] и приобщил к своим
Приближенным меня и приказал в свите своей мне быть.
Пролетели года и жизнь,
Поседели мои к старости волосы,

И уж я позабыл давние дни консульства Салии —
Год рождения мой. С тех пор
Много зим протекло, много и роз в лугах
Расцвело, как о том мне говорит снег головы моей.
Но какой же тут в этом прок,
Будь то благо иль зло, после телесной мне
Смерти, если мою бренную плоть смерть уничтожит всю?
Я скажу: «Кто бы ни был ты,
Мир ты тот потерял, что был тебе так мил.
Не от бога, чьим ты будешь теперь, все, что влекло тебя».
Скинет перед кончиною
Все безумье свое грешная пусть душа
И, коль нет добрых дел, голосом пусть богу воздаст хвалу.
Днем пусть гимны поет душа,
Да и каждую ночь славит пусть господа,
Исповедует пусть без ересей веру вселенскую,
Рушит храмы язычников,
Повергает во прах, Рим, твоих идолов,
Воссылает хвалу мукам святых, славит апостолов
Мне ж да будет дано писать,
Узы тела забыв и уносясь душой
Ввысь, куда полетит, с уст исходя, слово последнее.

ГИМН НА ПЕНИЕ ПЕТУХА

Пернатый провозвестник дня
Рассвет грядущий нам поет,
И пробудитель наших душ,
Всех к жизни нас зовет Христос.
«Бросайте ложа,— он гласит,—
С дремотой, ленью, немощью;
И с чистым сердцем, бодрые,
Смотрите: я уже в дверях».
С восходом солнца светлого
Уж поздно покидать постель,
Коль не до поздней ночи вы
Усердно поработали.
Птиц громкое чириканье
Под самой нашей кровлею,
Что пред восходом слышится,
О нашем говорит Судье.
Объятых ночи сумраком,
Укрытых одеялами,
Торопит пробудиться нас
При самом наступленье дня,
Чтоб с ветерком, повеявшим
В зари мерцанье утреннем,
Мы бодро принялись за труд
С надеждою на светлый день.
Сон, временно даруемый,
Есть вековечной смерти знак:
И, точно темной ночью, мы
Храпим, в грехах погрязнувши.
Но глас Христа, с высот небес
Раздавшись, предвещает нам
Дня наступленье светлого,
Чтоб мы не предавались сну
И чтобы нерадивыми
Мы жизнь свою не кончили
В греховных заблуждениях,

Забыв о свете истинном.

Известно ведь, что демоны
Ночами рыщут темными,
А с пеньем петуха вразброд
Со страху разбегаются.

Их сонму ненавистен свет
Божественный Спасителя,
Что, прерывая ночи мрак,
Разит ее приспешников.

Им ведомо, что это знак
Надежды, нам обещанной,
И, бремя сна откинув прочь,
Мы Бога ждем пришествия.

Открыл же этой птицы смысл
Спаситель, предсказав Петру,
Что трижды отречется он
До крика петушиного [2].

Содеян был грех, прежде чем
Глашатай дня грядущего
Людскому роду свет явил
И положил предел греху.

Отступник горько плакался
На уст своих нечестие,
Хотя душой и мыслию
Хранил он веру чистую.

И никогда впоследствии
Он так уж не обмолвился
И, пенье петуха познав,
Безгрешным стал и праведным.

С тех пор мы твердо веруем,
Что в час покоя нашего
Гласит петух нам радостно
Христово воскресение.

Власть смерти ныне свергнута
Власть Ада уничтожена,
Власть света победила тьму,
И день изгнал ночную тень.

Пусть смолкнет все нечистое,
Пусть сон объемлет черный грех,
Пусть преступленье смертное
Заснет и не пробудится.

И пусть на смену дух живой
Весь промежуток времени,
Для ночи остающийся,
За труд принявшись, бодрствует.

И с плачем Иисуса мы
Все призовем молитвенно:
Усердное молебствие
Сердца пробудит чистые.

Довольно спать, свернувшися:
Глубокое забвение
Гнетет нас, давит, мучает
Пустыми сновиденьями.

Ничтожной ведь и вздорною
Мы, будто в непробудном сне,
Мирскою грезим славою.
Проснитесь! Зрите истину!

Утехи, радость, золото,
Успех, богатство, почести,
Все зло, что соблазняет нас,
На утро уничтожится.

Развей же ты наш сон, Христос,
Разбей оковы ночи нам,
От древнего греха избавь
И озари нас светом вновь.

ГИМН ТРОИЦЕ

Троица вышняя — Бог, животворная сила в трех лицах.
Мудрость Бога Отца — его явление в Сыне;
Дух же святой бытие из уст его вечных имеет,

Но и не старше Отец, и его божество не превыше.
Ибо премудрый господь всегда источал неизменно
Слово, которым творит от века веков поколенья.
Слово идет от Отца, остальное исходит от Слова:
Во человека оно облекаясь, его оживляет
И обращает к Отцу и на правильный путь наставляет.
Дух же божественный все завершает, сам будучи Богом:
Верным народам готов он подать благодатную милость
И переносит во плоть Отца и Христа совершенство.

ИЗ КНИГИ „О ВЕНЦАХ“

МУЧЕНИЕ АГНИИ

В гробнице римской Агнии прах сокрыт,
Бесстрашной девы, мученицы святой.
Вблизи от башен дева в земле лежит [3],
Храня квиритов и благодея им,
И защищает также и странников,
Коль с чистым сердцем к ней обращаются.
Двойной венчает девы чело венец:
В награду девства честных ложесн ее,
Во славу смерти самоотверженной.
Гласит преданье, что с юных лет она,
Едва достигнув возраста брачного
И возлюбивши всею душой Христа,
Не поклонялась идолам, ревностно
Храня святую веру в Спасителя.
Хоть искушали всячески Агнию,
Но, не поддавшись льстивым словам судьи,
Ни пытке страшной, коей грозил палач,
Она осталась неколебимою,
Отдавши тело на истязания,
И не пугала даже и смерть ее.
Тогда свирепый грозно сказал тиран:
«Коль, презря муки, кару легко несет
И жизнь не ценит вовсе она, то ей,
Себя обрекшей девству, дороже стыд.
Так пусть же ввергнут прямо в притон ее,
Коль не склонится пред алтарем она
Богини-девы и оскорбительно
Минерву дева не прекратит хулить.
Толпой сейчас же юноши бросятся
С рабыней новой там позабавиться».
«Христос,— сказала Агния,— чад своих
Не забывает: он охранит златой

Стыд, данный свыше, и не оставит нас.
Он страж невинных и не допустит мой
Пятнать священный дар целомудрия.
Коль хочешь, кровью ты запятнаешь меч,
Но плоти блудом не осквернишь моей».
Услышав это, повелевает он
Поставить деву на угол улицы.
Но, отвернувшись, мимо толпа идет,
Чтоб взглядом дерзким не оскорбить ее
И не увидеть места позорного.
Один, однако, из проходивших там
Не постеснялся, всякий отбросив стыд,
Святую деву нагло разглядывать.
И вот летучий, словно как молния,
Огонь сверкает прямо в глаза ему.
Он, ослепленный пламенем, падает,
Дрожа и корчась там в площадной пыли.
И поднимают тут полумертвого
Друзья, рыдая, как над покойником.
Но, как на праздник, дева торжественно
Шла, воспевая Бога Отца с Христом,
За то, что чистой и непорочною
Из нечестивых рук она вырвалась,
Победоносно девство храня свое.
Передают нам, что, по мольбе людей,
Она просила, чтобы вернул Христос
Слепому зренье и не карал его.
И ожил дерзкий, снова увидя свет.
То было первым шагом для Агнии
В чертог небесный. Вскоре дается ей
Ступить и дальше: в гневе воскликнул враг
Ее кровавый: «Я побежден? Иди
И обнаженным, воин, мечом приказ
Исполни властный ты повелителя!»
Но лишь узрела Агния грозного
С мечом солдата, радостно молвила:
«Как я ликую, что появился здесь
Воитель дикий, мрачный и яростный,
А не бессильный и не изнеженный
И раздушенный, женственный юноша,
Который мог бы похоронить мой стыд.
Вот мой желанный, вот мой возлюбленный!
К нему я кинусь, брошусь в объятия
И пламя страсти я утолю его:
Приму я грудью все его лезвие,
Глубоко в сердце острый я меч вонжу.
И, став Христовой верной невестой, ввысь

Из тьмы взнесусь я в области горние.
Владыко, двери неба отверзи мне,
Для земнородных раньше закрытые,
Христе, прими же душу рабы твоей
Как жертву Богу, девство хранившую».
Потом смиренно молит она Христа,
Чтоб ей на шею, долу склоненную,
Скорей смертельный пал роковой удар.
Ее надежду воин рукой своей
Исполнил тотчас, сразу ей сняв главу,
И муку казни предупредила смерть.
Освобожденный ввысь воспаряет дух,
Летя на волю в воздух; и ангелы
Ведут на небо светлым путем ее.
И удивляет Агнию дольний мир:
С высот небесных зрит она тьму внизу,
С улыбкой видя солнца вращение,
Все, что объемлет в круговороте мир,
Что вихрем мрачным жизни уносится,
Что суетою века охвачено:
Царей, тиранов, власть и достоинства,
Почет и чванство, глупо надутое,
И к серебру и золоту злую страсть,
Что всех доводит до преступления,
Дворцы со всем их великолепием,
Одежд расшитых роскошь презренную,
Досаду, ужас, похоть, опасности,
Унынье в смену радости временной,
И гнев, и пламя дымное зависти,
Что помрачает честь и надежды все,
И то, что хуже всяческих бед людских,—
Весь мрак тумана грязный язычества.
И попирает все это Агния
Пятой и топчет змея главу ногой;
И он, который в ярости ядом все
Земное полнит и погружает в ад,
Теперь, стопою девственной попранный,
Поднять не в силах огненный гребень свой,
Не смеет гордо голову вскинуть вверх.
И вот невинной мученицы чело
Двумя венцами ныне венчает Бог.
И шестеричным светом немеркнущим
Награды вечной блещет один из них,
В другом сторичный плод заключается [4].
О дева, славы новой сияние,
В небес чертоги ныне вселенная,
Склонись к нам ликом, дважды увенчанным,

Воззри на злое наше нечестие!
Тебе одной ведь Вышний Создатель дал
Соделать чистым даже блудилище.
Очищен буду, коль твоего лица
Сияньем сердце ты просветишь мое.
Пребудет чистым, что посещения
Ты удостоишь, тронув благой стопой.

НАДПИСИ К ИСТОРИЧЕСКИМ КАРТИНАМ

1. АДАМ И ЕВА [5]

Некогда Ева была голубицею белой, но черной
Сделалась, впав в соблазн и вкусив змеиного яда,
И непорочного тут и Адама она запятнала.
Листьем смоковным нагих прикрывает змей победитель.

2. АВЕЛЬ И КАИН [6]

Не одинаково Бог к приношеньям относится братьев,
Жертву животную взяв, но плоды отвергая земные.
Брат земледел пастуха убивает из зависти: Авель —
Образ нашей души, образ тела — Каина жертва.

3. НОЙ И ПОТОП [7]

Вестницей спада воды на ковчег летит голубица,
В клюве своем принося зеленеющей ветку оливы.
Ворон же, быв соблазнен отвратительной падалью, больше
Не возвратился, но мир опять голубица приносит.

6. СОН ФАРАОНА [8]

Дважды коров семерых и по семь дважды разных колосьев
Видел во сне фараон, и они для земли предвещали
Семь урожайных годов и столько же с ними бесплодных.
Это толкует ему патриарх по Христову внушенью.

25. АНГЕЛ ГАВРИИЛ, ПОСЛАННЫЙ К МАРИИ [9]

Бога приход возвестить с Отца престола нисходит
Вестник его Гавриил и, нежданно явившись в обитель
Девы, вещает: «Зачнешь ты от Духа Святого, Мария,
И породишь ты Христа от него, благодатная дева».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Господу Творцу несет
Кто честен, верует, стыдлив, невинен
Совести своей дары,
Которыми душа его обильна.
Деньги отдает иной
На пропитанье беднякам и нищим.
Мы же ямбы быстрые
И легкодвижные несем трохеи,
Раз мы чужды святости
И неимущим помогать не в силах.
Но угодно Господу
Внимать не величавой нашей песне.
В доме у богатого
По всем углам стоит повсюду утварь:
Кубок золотой блестит,
Начищенных тазов там много медных,
Есть и глиняный горшок,
Тяжелое серебряное блюдо,
Есть и кость слоновая
И кое-что из дуба или вяза.
Все бывает надобно,
Посуда всякая нужна в хозяйстве;
Дом ведь обставляется
И ценным так же, как и деревянным.
В Отчем доме я Христу
Служу сосудом только жалким, бренным
Для ничтожных нужд его,
И он стоять в углу мне позволяет.
Так что только глиняным
В чертог спасенья даром мы вступаем.
Но ведь и презренное
Всегда для Бога ценно приношенье.
В помощь да послужит то,
Что я всегда Христа устами славил.

Павлин Ноланский

Понтий Мероний Павлин, один из выдающихся латинских христианских писателей конца IV и начала V в., родился в 353 и умер в 431 г. Павлин происходил из знатной и богатой римской семьи. Родился он в городе Бурдигале (Бордо) в Аквитании, где и получил первоначальное образование, обучаясь затем риторике и поэтическому искусству под руководством знаменитого Авсония, бывшего затем учителем и будущего императора Грациана (367—383 гг.). Будучи одним из любимых учеников Авсония, считавшего его исключительно даровитым поэтом, Павлин в первый период своей жизни начал блестящую светскую карьеру, но затем, женившись на богатой и усердной христианке Терасии, сделался и сам ревностным христианином. Потеряв сына, умершего через несколько дней после рождения, Павлин удалился вместе с женой в Испанию, принял монашество и в конце 393 г., распродав все свое имущество и раздав деньги бедным, стал священником в Барциноне (Барселона). Решительный отказ от светской жизни и строгий аскетизм Павлина были горячо одобрены такими прославленными деятелями христианской церкви, как Августин, Иероним, Амвросий и Мартин. Когда Павлин приехал в Рим, он был с почетом принят там и народом и знатью, но, почувствовав недоброжелательство к себе папы Сириция и некоторых служителей римской церкви, переселился в Нолу (в Кампании), где и оставался в сане епископа до самой своей смерти. Жена его Терасия с ним не расталась, но, посвятив себя монашеской жизни, была ему верной помощницей в его христианской деятельности, о чем свидетельствуют некоторые из посланий Павлина, написанные от лица их обоих и подписанные «Paulinus et Terasia peccatores» (грешные Павлин и Терасия). Своей усердной деятельностью и милосердием Павлин заслужил глубокий почет и любовь не только окружавших его христиан, но и язычников и евреев, глубоко огорченных его смертью. О жизни и подвигах Павлина сложилось немало рассказов и легенд, далеко не всегда достоверных. Одна из таких легенд передана Григорием Великим (Диалоги, III, гл. 1); в ней рассказывается о том, как Павлин, не имея возможности освободить сына одной женщины, попавшего в плен к вандалам в Африке, дал продать себя самого в рабство.

Из произведений Павлина дошли до нас только те, какие были написаны им во второй половине его жизни, а из более ранних сохранились лишь шуточ-

ные записки со стихами о посылке некоему Гестидию птиц и устриц, да несколько строк из стихотворной перифразы утраченного сочинения Светония о царях (в 19-м письме Авсония Павлину). Все прочие сочинения Павлина написаны им уже после его обращения в христианство.

Из прозаических сочинений Павлина наибольший интерес представляют его 50 писем, или посланий разным лицам, в числе которых мы находим Сульпиция Севера и Августина. В них он рассуждает о промысле, о повреждении человеческой природы, о ходатайстве святых пред богом, о молитве за умерших, об иконопочитании и др., но избегает касаться более сложных вопросов христианского богословия. В письмах Павлина находятся и ценные сведения из области гражданского и церковного быта. Среди этих писем выделяется письмо Лицентию, в котором он убеждает Лицентия пренебречь мирскими соблазнами и стать истинным христианином. Бо́льшая часть этого письма написана в стихах, которые, как, очевидно, думает Павлин, лучше могут убедить Лицентия, чем прозаическая проповедь; заканчивается это письмо таким искусным дистихом:

Будь же здоров, но живи, посвящая жизнь Богу, не миру
Смертному: истинна жизнь, если для Бога живешь.

Из дошедших до нас более чем тридцати стихотворных произведений Понтия Меропия Павлина видно, что он обладал крупным поэтическим дарованием. Поэтическим искусством Павлин владел в совершенстве и, без сомнения, научился в совершенстве сочинять такие фокусные стихи, какими умел писать его учитель Авсоний; но в своих глубоких и серьезных произведениях он совершенно чужд какого бы то ни было вычурного мастерства.

Из классических латинских поэтов основными образцами для стихов Павлину служили Гораций и Вергилий. Особо следует отметить стихотворные парафразы 1, 2 и 136 псалмов (стихотворения 7, 8 и 9-е по счету Миня). Начало первой парафразы взято прямо из начального стиха второго эпода Горация («Beatus ille qui procul negotiis...»):

Beatus ille qui procul vitam suam
Ab impiorum segregarit coetibus...

(по славянскому переводу: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых»).

Здесь печатаются два письма из стихотворной переписки Павлина с его учителем Авсонием. Огорченный тем, что Павлин отказался от блестящей риторской карьеры и поселился монахом в Испании, Авсоний послал ему несколько писем в стихах, которые дошли до Павлина с большим опозданием. Павлин отвечал длинным посланием, три части которого написаны тремя разными стихотворными размерами.

ПЕРЕПИСКА ПАВЛИНА С АВСОНИЕМ

ПОСЛАНИЕ АВСОНИЯ К ПАВЛИНУ

(Авсоний, „Послания", 25)

Вот и в четвертом письме я несу к тебе те же упреки,
Твой охладелый слух тревожа ласковой речью.
Но ни единый доселе листок от друга-Павлина
Мне не порадовал глаз начертаньем приветного слова.
Чем заслужили отверженье это несчастные строки,
Долгим таким и надменным таким презреньем казнимы?
Недруга недруг — и тот на своем привечает наречьи
Грубом, и слово привета звучит средь лязга оружий.
Камни дают человеку ответ; от сводов пещеры
Звук отлетает; леса оглашаются призрачным эхом;
Стонет прибрежный утес; ручей лепечет журчащий;
Колкий кустарник шумит жужжаньем гиблейского роя;
В береговых камышах пробегает мусический трепет [1]
И с верховым ветерком сосновая шепчется хвоя.
Стоит чуткой листвы коснуться летучему Эвру,
Как Диндимейский напев огласит Гаргарийские рощи [2].
Нет в природе немот. Ни одна поднебесная птица,
Зверь ни один не лишен языка: шипят, пресмыкаясь,
Змеи; подобием голоса дышат подводные твари;
Звоном удару ответит кимвал; проснется в подмостках
Гул под пятой плясуна; взревут тугие тимпаны;
Мареотийские систры поднимут Изидину бурю [3];
И не умолкнет вовек в сени додонской дубравы [4]
Меди бряцающий звон, которым тяжкие чаши
Мерно дают послушный ответ ударяющим прутьям.
Ты же, словно рожден в безмолвном Эбаловом граде [5],
Словно мемфисский тебе Гарпократ уста запечатал [6],
Ты, Павлин, молчишь и молчишь... Твой стыд мне понятен:
Чем промедление дольше твое, тем глубже провинность,
Чем стыднее молчать, тем труднее нарушить молчанье,
Долгом долг отплатив: так праздность питает пороки.
Что же мешает тебе написать хоть два краткие слова,
Только «привет» и «прощай» — два слова, несущие радость?
Я не прошу, чтобы ты расшивал на длинных страницах
Ткань бесконечных стихов иль сплетал многословные речи.
Разве лаконяне встарь одной-единственной буквой,
Хоть и скрывавшей отказ, не смягчили царского гнева? [7]
Дружба и в краткости есть — Пифагор, многократно рожденный,
Так говорил; и когда перед ним со спорщиком спорщик
В долгих тягались словах, ответ он давал односложно:

«Да» или «нет». О, лучший предел любых красноречий!
Нет ничего короче и нет ничего полновесней
Двух этих слов, чтоб принять, что надежно, отвергнуть, что зыбко.
Только молчание — зло, а краткость — залог убежденья.
Впрочем, тогда зачем же я сам пишу так пространно?
Две несхожие есть ошибки, и обе опасны:
Много болтать и много молчать: виновны мы оба.
Но не могу я молчанье хранить, потому что свободна
Дружба моя, и правда для нас дороже ласкательств.
Милый, милый Павлин, ужели ты так изменился?
Так изменило тебя чужое далекое небо,
И Пиренеев снега, и васконские дикие чащи?
О, иберийцев земля, какою проклясть тебя клятвой?!
Пусть пунийцы тебя разорят, Ганнибал тебя выжжет.
Пусть с войною к тебе вернется изгнанник Серторий!
Как! неужель отчизны красу, сената опору
Скроет навек бильбилийская глушь, калагуррские скалы
Или сухая Илерда, над пенной водой Сикориса [8]
По каменистым холмам разбросавшая груды развалин?
Вот где решил ты, Павлин, зарыть и сенатскую тогу,
И остальные дары, какими почтен ты от Рима!
Кто ж, разрушитель дружб, запретил тебе вымолвить слово? [9]
Пусть за это язык его будет вовек бессловесен,
Будет безрадостна жизнь, пусть сладкие песни поэтов
Слух не ласкают его, ни скорбная нега свирели,
Крик зверей, мычание стад, щебетание птичье,
Или же та, что скрылась из глаз в пастушьей дубраве
И утешает людей, повторяя их жалобы,— Эхо!
Скорбен, нищ, одинок, пусть бродит он, речи лишенный,
В корчах альпийских хребтов — таков, как по древним преданьям
Некогда Беллерофонт блуждал, обезумлен богами,
По бездорожным путям, где ни люда, ни следа людского.
Вот пожеланье мое! беотийские музы [10], услышьте
Эту мольбу, и певца воротите латинским каменам.

ПОСЛАНИЕ ПАВЛИНА К АВСОНИЮ

Вот уж ко грубым жнецам подошло и четвертое лето,
Да и мороз леденил столько же раз все кругом,
Но от тебя не читал я за это же время ни слова
И не видал я совсем рукописаний твоих,
Вплоть до того как пришло, на счастье мне, снова посланье
И долгожданные вновь я получаю дары.
Правда, из разных цветов тройное письмо твое свито,
Но во единую ткань сплел ты страницы его.
Всяческих горечь твоих упреков мне подсластила

Искренность их, и любовь строгость смягчила судьи:
Мягкое слово отца мне умерило резкость укоров
Ласкою, и приговор твой не обидел меня.
К выговору твоему я вернусь однако, но веский
Пусть героический стих будет меня защищать.
Опережают его теперь только несколько ямбов
И отвечают тебе разным посменно стихом.
Я посылаю привет стихом элегическим; дальше
Путь уступая другим, он замолкает сейчас.

Зачем велишь ты к музам, мной отвергнутым,
Отец мой, снова прибегать?
Каменам, право, с Аполлоном места нет
В сердцах, Христу приверженных.
С тобой в согласье прежде, в меру сил своих,
Но не с твоею мощью, звал
Глухого из пещер Дельфийских Феба я,
А с ним и муз божественных
И Бога даром слова одарить меня
В нагорьях и лесах просил.
Теперь с иною силою сильнейший Бог
Мне нравы изменить велит,
За дар свой с человека ныне требуя,
Чтоб жизнь Отцу мы отдали.
Делам ничтожным предаваться в праздности
И вздорным сочинениям
Он запрещает нам законом собственным.
И зреть велит нам свет его,
Какой уловки мудрецов и риторов
Да и поэты нам темнят,
Сердца пустыми заражая мыслями
И оснащая лишь язык.
Не направляют нас они к спасению
И к истины познанию.
Но кто способен правду иль добро познать,
Не зная блага высшего,
Огня добра, истока правды — Господа,
Который зрим лишь во Христе?
Он — истинный нам светоч, наш жизненный,
Мощь, доблесть, ум, рука Отца,
Он солнце правды, благ источник, Бога цвет,
Создатель мира, Божий сын,
Податель жизни смертным людям, смерти смерть,
Наставник добродетели.
Он — Бог наш, человеком ставший ради нас,
И, дав свою одежду нам,
Людей навеки сочетавший с Господом

Взаимным единением.
И вот, когда он озарил сердца людей,
Блеснув с небес сиянием,
Смывает злую грязь он с тела нашего
И обновляет души нам.
Родник утех бывалых заменяет он
Водою чистой радости,
Себе ж велит отдать, по праву Господа,
Сердца, уста и наши дни.
Стремится мысли, веру обратить к себе
Со страхом и любовию.
Пустые бури, что вздымает жизни труд
В путине века нашего,
Смиряет вера в Бога и в грядущий век.
Что нами, видно, презрено,
Не отвергает вера как ничтожное,
Но убеждает, что ценней
На небе отданное Господу Христу,
Который бо́льшим нам воздаст,
Чтоб то, что дали мы иль, лучше, вверили,
Нам возместить сторицею.
Должник надежный, он своим верителям
Долги отдаст с избытками,
И с прибылью от Бога тот окажется,
Кто пренебрег имуществом.
Того, кто Богу предан честно, искренне
И кто ему доверился,
Ты совращенным не считай бездельником,
Не обвиняй в нечестии.
Христианину можно ль нечестивым быть?
А благочестье свойственно
Лишь христианам, ибо нечестив лишь тот,
Кто во Христа не верует.
И, в благочестьи наставляемый, могу ль
Я не считать отцом тебя,
Кого я почитать и восхвалять всегда
Обязан волей Господа?
Ты воспитал, возвысил, научил письму
И слову, тогу дал мне, честь,
Ты вывел в люди, ты кормил и пестовал,
Патрон, учитель, мой отец.
Но вот за то, что долго я отсутствую,
Коришь меня и сердишься.
Но, по нужде ли это, иль по прихоти,
Все это извинительно.
Прости же другу, коль живу я с пользою,
Поздравь, коль всем доволен я.

То, что отсутствую я из отечества целых три года,
Что для блужданий своих я другие края себе выбрал,
Вовсе о нашем забыв содружестве в годы былые,
Сердит тебя, и меня отечески ты упрекаешь.
Я понимаю твои задушевные чувства и мысли
И благодарен тебе за гнев, порожденный любовью,
Я бы хотел, чтоб просьба твоя о моем возвращеньи
Мне исполнимой была. Но могу ль я подумать об этом,
Если молитвы свои воссылаешь ты вовсе не к Богу,
Но в своей тщетной мольбе обращаешься к музам Кастальским?
Волею их не вернешь к себе ты меня и в отчизну:
Вздорную просьбу твою, с какой прибегаешь ко вздорным
Музам глухим, унесет у тебя дуновение ветра.
Эти пустые мольбы развеются вихрями бури
И в облаках пропадут, коль не Богу ты их посылаешь,
Не проникая в чертог царя небесного звездный.
Ежели ждешь ты меня, воззри на того ты с молитвой,
Кто потрясает грозой небес огневые высоты,
Молнией блещет тройной и вотще не грохочет громами,
Кто ущедряет с небес дождями и солнцем посевы,
Кто надо всем и во всем нераздельно всегда и повсюду —
Сей вездесущий Христос, управляющий всем мирозданьем,
Тот, кто и держит и движет умы, кто и время и место
Определяет всем нам. А коль его воля желаньям
Нашим противна, склонить к измененью ее помогает
Наша мольба. Что меня укорять? Коль тебе не угодно
Дело мое, то оно, не во грех будь сказано, божье:
Богу угодно мои направлять и улаживать мысли.
Ибо, коль вспомнить, каким я был в предыдущие годы,
То я сознáюсь тебе, что теперь совершенно иным я
Стал, чем в то время, когда не считали меня совращенным,
Хоть я и был совращен, туманами лжи ослепленный,
Бога не ведал, глупец, и питался тлетворною пищей.
Это простительно мне, ибо тем скорее дано мне
Было познать, что меня обновляет верховный Создатель.
И по-иному совсем я живу; не увидят, надеюсь,
Здесь поврежденье ума, в заблуждение впавшего, раз я
Сам откровенно признал и сознался по собственной воле
В том, что я жизнь изменил не по собственному разуменью.
Мной руководит теперь новый разум, не прежний мой разум,
Но обратившийся в мой по воле Бога, и если
Видит достойными он и мысли мои и поступки,
Благодарю я тебя и тебя первым делом я славлю
За наставленье тому, что Христу оказалось угодным.
Вот почему поздравлений я жду от тебя, а не жалоб,
Раз твой питомец Павлин, взращенный твоими трудами,
Бывший за сына тебе, чего отрицать ты не станешь,

Даже считая меня совращенным, так изменился,
Что угождает Христу, оставаясь, однако, при этом
Верным Авсонию; он прославит тебя непременно
И принесет тебе плод с твоего же дерева первый.
Так что не сетуй, прошу, не губи величайшей награды
И не гнушайся добром, которого сам ты источник.
Нет, не мятежен мой ум, но ведь также я чужд одинокой
Жизни, которую вел, как ты пишешь, в Ликийских пещерах
Всадник Пегаса [1]; хотя иные, ведомые волей
Бога, в пустыни идут, подобно философам древним,
Для размышлений и муз, как и ныне те, кто душою
Чистою принял Христа, усердствуют, так поступая.
Не скудоумие их и отнюдь не врожденная дикость
Гонит в пустынных местах обитать, но стремление к вышним
Звездам небесным влечет взирать на Бога, глубины
Истины зреть и досуг, без всяких забот, безмятежный
Предпочитать, а шум площадей и хлопот беспокойство,
Все, что враждебно дарам, посылаемым Господом Богом,
Воле Христа и любви к спасению, их ужасает.
Следуют Богу они, на дар уповая, который
Всем, кто надежду хранит, Создатель воздаст непременно,
Если мирской суете их никак одолеть не удастся
И коль их пламенный ум доступное взорам отвергнет,
Чтобы проникнуть он мог в незримые таинства неба.
Видимо тленное нам, а вечное скрыто от взоров,
И мы надеждой живем на то, что лишь мысли доступно:
Но что является нам под разными видами в мире,
Что соблазняет наш взор телесный, мы презираем.
Мненье, однако же, тем присуще такое, которым
Истины свет и добра уже воссиял и открылась
Века грядущего жизнь и дней ничтожество наших.
Но коли слава моя не столь велика, то зачем же
Славиться мне? Я по вере своей уповаю. Однако,
Если живу я еще на таком прелестном и щедром
Взморье, откуда ж к нему явилась внезапно такая
Ненависть? Пусть бы мое к нему отвращение стало
Праведным! Ради Христа возлюблю я свое униженье.
Богом мой дух укреплен: малодушию он не поддастся,
Презрел я здешнюю честь, но Христос мне ее возмещает.
Не поноси же моих, почтенный родитель, занятий,
Будто бы ложных; меня попрекать перестань ты супругой,
Иль сумасбродством: мой ум смятением Беллерофонта
Не поражен, а жена мне Лукреция, не Танаквила [2].
Не забывал я, как ты говоришь, и отчего неба:
Кто созерцает, как я, единого вышнего Бога,
Помнит о небе всегда. И мы, отец мой, поверь мне,
Не забываем о нем, да и разума мы не теряем,

Живучи в людных местах. И труды наши, право, достойны
Благочестивых людей; ни один ведь народ нечестивый
Бога не может познать. Хотя и многие страны
Без просвещенья живут, никаких не зная законов,
Где же обычаев нет, хоть и диких? Иль чем нечестивость
Может чужая во вред быть честным? Зачем же твердишь ты
Мне о васконских глухих ущельях [3], домах в Пиренеях
Снежных, где будто бы я прикован к испанской границе,
Где мне пристанища нет ни в городе или в деревне
Этой богатой страны, простертой до края земного,
Где виден солнца закат в глубины вод океана?
Но, коль судьбой занесен я в берлоги разбойников, все же
Не огрубел я у них, обратившись в такого же точно,
Как и они, дикаря, и свирепости их не набрался.
Чистого сердца никак порок не коснется, зараза
Не запятнает души благочестной; и кто беспорочно
В дебрях Васконии жизнь проводит среди нечестивых,
Нравов не портит своих, находясь между этих жестоких
Жителей. Но почему ж васконцем меня обозвал ты,
Если живу, как и жил, не у них, а в соседстве прекрасных
Я городов, на местах цветущих и полных народа?
Но, если мне бы пришлось в краю поселиться васконцев,
То почему же тогда это племя, узнав мои нравы,
Зверский свой норов сменить на наш не могло бы обычай?
Если жилище мое в городах иберийских далеких
Ты помещаешь, в стихах отводя ему лишь захолустье,
И попрекаешь меня Калагуррой гористой и в скалах
Бильбилой скрытой, и холм ты поносишь пологий Илерды [4],
Будто бы в этих краях я живу, как изгнанник бездомный,
Вне и дорог и домов, не считаешь ли это богатством
Ты Иберийской земли, по незнанью Испанского края,
Где пресловутый Атлант стал когда-то поддерживать небо
И, возвышаясь теперь горой на земельных пределах,
Против Кальпы стоит, двойным омываемой морем? [5]
Бильбила и Калагурра с Илердою малого стоят
Тем, кто привык к Барциноне и Цезарьавгусте прелестной [6]
И к Тарраконе, с высот взирающей гордо на море.
Что исчислять города, укрепленные в землях прекрасных,
Служит где гранью двойной счастливой Испании море,
Бетис течет в океан, Ибер — в Тирренские волны [7],
Соединяя в одно разделенные воды морские
Там, где по кругу земли мировая проходит граница?
Иль, коль описывать ты принялся бы, мой славный наставник,
Области, где ты живешь, замолчишь ли ты блеск Бурдигалы [8],
Вместо нее предпочтя закоптелых описывать бойев? [9]
А проводя свой досуг и нежась в маройальских термах [10],
И наслаждаясь житьем под сенью тенистого леса,

Где полюбился тебе уют прекрасного места,
Разве ты в курной избе или в хижине, крытой соломой,
Там обитаешь в глуши, как бигерр, одетый овчиной? [11]
Разве, о консул, презрев своего горделивого Рима
Стены высокие, ты пески отвергаешь вазатов? [12]
Если поместье твое процветает в пиктонских угодьях [13],
Мне ль горевать, что в Равран перешло авсонийское ныне [14]
Кресло курульное, иль что уж ветошью стала трабея [15],
Блеск коей все же горит в столице латинской Квирина [16]
И среди цезарьских тог, расшитых пальмами также,
Все продолжает сиять не тускнеющим золотом вечно,
Твой охраняя почет, который не может увянуть?
Или когда ты живешь в своем луканском поместье,
В доме, который готов со строеньями Рима поспорить [17],
Скажет ли кто, перепутав места соседние, будто
Переселился теперь в кондатскую ты деревушку [18]?
Хоть надо многим шутить и выдумывать всякое можно,
Но ведь чесать языком да и злобно еще зубоскалить,
Иль оскорбительно льстить, отпуская коварно остроты,
Их приправляя притом ядовитою желчью насмешки,
Это поэтам идет, но ничуть отцу не подходит.
Ибо и честь и любовь стремятся к тому, чтоб наветы
Сплетен, до чистых ушей проникающих, добрым отцовским
Уничтожались умом и чтоб он в сердцах вкорениться
Им не давал и отверг зловредные вымыслы черни.
В том, чтобы жизнь изменить и оставить привычные нравы,
Нет вины: что ведет нас к лучшему — благо. И если
Я изменился, то знай, что это мой долг и желанье.

Если добро на порок, на нечистое то, что священно,
Скромность на роскошь, и честь на постыдную ложь я меняю,
Я малодушен, отвержен и слаб: пожалей же ты друга,
Столь развращенного: гнев в душе да пробудит отцовской
Нежность, которая вновь образумить должна непременно
Блудного сына, на путь наставляя суровым внушеньем.
Но, коль ты слышишь, как я иду по пути, что избрал я,
Сердце свое посвятив благому Богу и чтимой
Власти Христа, как за ним я следую с полною верой,
Как убежден я, что Бог уготовил навеки награду
Смертным за зло, что они при жизни своей претерпели,
Я полагаю, отцу разумному это по сердцу:
Он не сочтет заблуждением жить по заветам Христовым
Христианину. И мне по душе эта жизнь и нисколько
Не досаждает: глупцом для идущих другою дорогой
Пусть буду я, коль решенье мое для предвечного Бога
Будет разумным. Ведь век человеческий краток, и тело
Бренно, а сам человек вне Христа — лишь призрак и пепел:

Что одобряет он или хулит, ничтожно, как сам он;
Гибнет он сам, и его заблуждения с ним погибают,
И приговоры его умирают вместе с судьею.

Но, если мы в отведенный нам срок не заботимся вовсе
С должной тревогою жить по премудрым Христа наставленьям,
Поздно будет о том горевать человеку по смерти,
Что, опасаясь пустых человеческих бредней зловредных,
Грозного он суда, ни судьи не страшился, который
Вечного Бога престол одесную Отца занимает
И, надо всеми царя, придет по скончании века,
Чтобы свой суд беспристрастный творить над народами всеми
И чтобы каждому мзду воздать по делам и поступкам.
Верую я и страшусь; и спешу, коли будет дано мне,
Все прегрешенья свои искупить до смертной кончины.
И, в ожиданье ее, содрогается полное веры
Сердце мое, и душа ожидает грядущего в страхе,
Как бы в заботах пустых о теле она не погрязла
И не осталась к нему привязанной в час, как в разверстом
Небе труба возгремит, а ей невозможно подняться
Будет на легких крылах, навстречу царю улетая
В сонмах блаженных святых в пространства небесного выси,
Где они все воспарят, мирские сбросив оковы;
К звездам высоким стремясь и, летя к ним без всяких усилий,
По облакам пройдут они легким между созвездий,
Чтобы царя воспевать небесного в безднах воздушных,
Воинством славным своим Христа восхваляя и славя.

Но опасаюсь того и боюсь я, что день мой последний
Сонным застанет меня и погрязшим в бесплодных заботах,
Если я жизнь проводить буду, тщетными занят трудами.
Как же мне быть, если вдруг, пока я, как во сне, забываюсь,
Передо мною Христос засияет в чертогах эфирных
И, пораженный лучами его, нисходящего долу
С неба отверстого, я, ослепнув от света, унылых
Буду убежищ искать в ночной темноте непроглядной?
Чтоб не явились во мне недоверие к истине, или
К нынешней жизни любовь и к мирским влеченье утехам,
Или тревоги забот, я решил все эти соблазны
Предотвратить и конец положить им в оставшейся жизни;
Богу на будущий век я вверил все, что имею,
И ожидаю теперь со спокойною совестью смерти.
Коль ты доволен, поздравь ты друга с богатой надеждой,
Если же нет, то Христу предоставь ты все это одобрить.

Сидоний Аполлинарий

Гай Соллий Сидоний Аполлинарий родился в 430 или 431 г. в Лугдуне (Лион), где и получил начальное образование, которое продолжал в Арелате (Арль), где его отец был одним из высших должностных лиц. По окончании учения, главными предметами которого были грамматика, риторика и поэзия, а затем философия и правоведение, Сидоний женился на дочери знатного уроженца Арвернской области (Овернь) Авита, провозглашенного в 455 г. римским императором. Вслед за Авитом Сидоний отправился в Рим, будучи уже известным поэтом, главную славу которому принес его панегирик Авиту в честь получения им консульского звания. Но осенью 456 г. Авит был свергнут с престола, и Сидонию пришлось вернуться в Галлию, где на исходе 458 г. императором был провозглашен Майориан, в честь которого Сидоний опять написал панегирик. В 461 г. Майориан был убит, и Сидоний, опасаясь распоряжавшегося римским престолом свева Рицимера, отстранился от политической деятельности и около семи лет провел в занятиях литературой; жил он в это время в своем имении Авитаке (Эйдат) и часто путешествовал по Галлии. В этот период своей жизни Сидоний все больше и больше сближается с представителями высшего духовенства Галлии (см. благодарственное послание епископу Фавсту). В 471 г. Сидоний возводится в сан епископа главного города арвернов (ныне Клермон-Ферран). Вскоре этот город был взят королем вестготов Эйрихом, и Сидоний отправился в ссылку в крепость Ливию около границ Испании. К концу 476 г. Сидоний получил относительную свободу и в 476 или 477 г. снова вернулся на свою епископскую кафедру. Умер Сидоний около 486 г.

До нас дошли только те произведения Сидония, какие он сам подготовил для издания. Это 9 книг писем и 24 отдельных стихотворения, не считая еще тринадцати стихотворений, входящих в письма.

Сидоний Аполлинарий жил в то время, когда Римская империя доживала свои последние дни. Он всеми силами старался охранить римскую культуру в Галлии, прибегая для этого ко всем, бывшим в его распоряжении, средствам и не считаясь с тем, что для этой цели ему приходилось подчиняться тем представителям верховной власти, какие в его время постоянно сменяли один другого. Но, при всей неустойчивости политической деятельности Сидония, при

всем стремлении к личному благополучию, он руководился желанием или, лучше сказать, мечтою о восстановлении могущества римской державы, при котором, как ему казалось, только и возможно процветание Галлии и, особенно, родной его Оверни.

16. БЛАГОДАРЕНИЕ ЕПИСКОПУ ФАВСТУ

Феба и всех девять муз с десятою к ним и Палладой,
Да и Орфея с водой баснословного конского тока [1],
С лирой фиванской [2], какой внимали послушные камни
И воздвигали под звук ее песни высокие стены,
Презри, струна; и теперь к святого отца прославленью
Ты вдохнови меня, Дух [3], вошедший некогда в сердце
Древней Марии, когда, схватив тимпаны, Израиль [4]
Посуху путь совершал по впадине грозной пучины,
И, в ограждении стен водяных проходя безопасно,
Пыльные толпы людей твое торжество воспевали;
Руку Юдифи ведь ты укрепил, когда ей обезглавлен
Был Олоферн и лежал на земле с перерубленной шеей,
Скрытую женщины мощь обнаружив при этом ударе;
Ты же росой из руна наполнил доверху чашу,
После ж, росою покрыв всю землю, руна не затронув,
Мощь в Гедеона вселил, ты, Дух, явившийся в звучных
Трубах, которых один лишь гром обеспечил победу;
Из Иесеева ты, скотовода богатого, рода
Одушевил и царя, когда был без вожатых отослан
На колеснице ковчег завета врагом, пораженным,
Что на заду у него желваки отвратительно вспухли;
Некогда также ты пел и трех отроков голосом, коих,
Ввергнутых в жаркую печь халдейского волей тирана,
Пламя не жгло, а росой орошало в огненном пекле;
Был и Иона тобой вдохновлен, когда он, пробираясь
В чреве кита, воспевал поражавшие чудище песни
Так, что от этих псалмов, из уст исходивших добычи,
Или от тяжести той, что в его животе очутилась,
Кит заикал и, хотя был голоден, но песнопевца
Вырыгнул он, наконец, из пасти, зубами не тронув;
Силой двойной вдохновил ты некогда грудь Елисея,
В день как на огненной был колеснице взнесен фесвитянин
Старец и, милоть свою разорвав, одарил ей пророка,
В пламенной сам улетев косматым возницей упряжке;
И, вознамерясь послать Илию второго на землю [5],
Праведного ты лишил Захарию благостно речи,
Вплоть до того как старуха-жена родила ему сына,
Повелевая молчать о пророчестве этом пророку
Так же, как Ветхий Завет умолкает в лучах Благодати;
Ты же в явленьи своем от девы, без семени рождшей,

Бог до начала времен и Христос во времени сущий,
В плоть облаченный, но сам себя во плоти сотворивший,
Зренье даешь ты слепым, хромым исцеляешь ты ноги,
Слух возвращаешь глухим, немых одаряешь ты речью,
И для того ты пришел, дабы умершие люди
Встать с постели могли или даже оставить могилы;
И во плоти перенес ты также телесные муки
И заушенья терпел, насмешки, удары и тернья,
Жребий, оковы и крест, желчь, гвозди, и раны, и уксус,
Смерть, наконец, но пришел для того, чтобы после, воскреснув,
Вырвать все то, что себе наш враг исконный присвоил
Нашего в силу греха, свершенного первой женою,
Строгий презревшей наказ и связавшей виною нас вечной.
Но, когда враг захотел тебя погубить, не нашел он
Вовсе в тебе ничего своего: потерял он
То, что Ева дала во грехе своем; рукописанье,
Коим введен был в соблазн человек, искуплено было.
Ты, непричастный греху, принес за грешников полный
Выкуп и, новый Адам, своей собственной ветхою смертью
Ты похищаешь и нас у смерти: смерть попрана смертью,
И оказалась она в свои же запутанной сети;
Ибо, преследуя всех без разбора — невинных, виновных,
Освободиться дала возможность даже преступным.
Праведных праху велел восстать совместно с тобою
Ты в положенный срок, когда к давно погребенным
Вдруг искупленье пришло, и жизнь, в них влитая снова,
Выбросила из могил облеченные плотью останки.
Дай же мне Фавста хвалить твоего, дай излить благодарность.
Коей и впредь я ему обязан. Ты же, святитель,
Будь воспеваем моей, пусть тебя недостойною, лирой.
Первой причиной хвалы, да и первым к ней побужденьем
Служит мне то, что мой брат в его опасные годы
Был охраняем тобой и, с помощью Господа Бога,
Был безупречен и чист; всем этим всецело обязан
Он попеченьям твоим, ему это будет во благо,
Но это благо твое. Хвала, что с пути он не сбился,
Но, что и сбиться не мог, всецело твое это дело.
Кроме того же, когда пришлось побывать мне у Рейов [6],
В пору как там бушевал Прокион [7], а знойное солнце,
Все иссушая поля, их покрыло извивами трещин,
Гостем твоим оказался я там, истомленный, и встретил
Мир, дом, воду и тень, стол, благословенье и ложе.
Но превосходней всего было то, разумеется, благо,
Что до святыни тобой святой матери был я допущен [8].
Оцепенел, сознаюсь, считая себя недостойным,
И покраснел я, главу склонивши благоговейно;
Вострепетал я тогда, как будто меня иль Израиль

Вел, сын Ревекки, иль влек Самуил длинновласый, сын Анны [9].
Вот потому-то, тебя поминая немолчно в молитвах,
В малых стихах любовь великую мы возглашаем.
В Сиртах [10] ли пламенных иль в песках неприютной пустыни,
В зеленоватой ли ты грязи болотной, иль скалы
Черные держат тебя одного в глубоких пещерах,
Где ты, как узник, живешь одиноко во мраке без солнца;
Иль как отшельник ушел ты в Альпы под грозные скалы,
Сном забываясь на миг, и дрожишь на дерне холодном
(Но и жестокий мороз никогда в тебе не осилит
И не умерит в тебе Христом зажженного пыла),
Всюду идешь ты, куда Илия, Иоанн повелели,
Иль два Макария, иль позвал достославный Пафнутий,
Или же Иларион, Ор, Аммон, иль Сармат приказали,
Или Антоний нагой в своей знаменитой тунике,
Что ему сделал его наставник из пальмовых листьев;
Или, как старый отец, ты приходишь в объятья Лирина,
Где ты, хотя утомлен, без отдыха снова и снова
Служишь наставником всем, о покое и сне забывая;
Пищи вареной почти не вкушаешь в своем воздержанье,
Только лишь туком псалмов облегчая свой пост непрестанный,
Братии всей говоря, какие сей низменный остров
В небо высоты вознес [11], каково житие на нем было
Старца Капрасия, как на нем прославились юный
Луп и честной отец Гонорат и достойнейший Максим,
Коего городом днесь и обителью правишь вторично,
Как настоятель и как епископ, немолчно хвалами
Славя Евхерия путь и Гилария вновь возвращенье;
Иль тебя держит народ, тебе вверенный, и, как ни мал он,
Смеет, когда ты при нем, противиться даже сильнейшим;
Иль ты тревожно следишь, какою больной иль пришелец
Пищей питается, как утоляет жажду и голод
Тот, кто томится в тюрьме и чьи ноги сжимают оковы;
Иль ты, печалясь о том, что останки нищих усопших
Без погребенья в земле загнить и заплесневеть могут,
Сам их в могилу несешь, не гнушаясь несчастного трупом;
Или же, видимый всем, с высоты ступеней алтарных
Проповедь ты говоришь, и народа тесные толпы
Внемлют тебе, услыхав целебное слово закона,—
Всюду в деяньях своих благим ты пребудешь мне Фавстом,
Чтимым, как Гонорат, и великим так же, как Максим [12].

12. СЕНАТОРУ КАТУЛЛИНУ [13]

Просишь ты, но мне, право, не под силу
Воспевать фесценнинскую Диону [14],
Раз живу я средь полчищ волосатых,

Принужденный терпеть германский говор
И хвалить, улыбаясь против воли,
Обожравшихся песенки бургундов,
Волоса умастивших тухлым жиром.
Хочешь знать, что стихам моим мешает?
Грубым сбитая варварским напевом
Шестистопный отвергла стих Талия,
Поглядев на патронов семистопных [15].
И глаза твои счастливы и уши,
Да и нос назову я твой счастливым,
Коль с утра в твоем доме не рыгают
Чесноком отвратительным и луком
И к тебе на рассвете, будто к деду
Иль к супругу кормилицы и няньки,
Не врываются толпы великанов,
Для каких Алкиноя кухни мало.
Но, потешив себя, умолкла муза,
Стих оставив одиннадцатисложный,
А не то его примут за сатиру [16].

3. КНИГЕ [17]

Как утучняют посев, какая пора плодотворней
Для урожая и стад, для винограда и пчел,
Было поведано встарь Меценату в особой поэме;
После ж посмел ты, Марон, брани и мужа воспеть.
Мне же теперь будет Петр Меценатом нашего века:
Я под звездою его по морю славы плыву.
В свет он выпустит то, что одобрит, негодное скроет,
Да и не фыркнет на нас носом он, что носорог.
В путь, моя книга! Поверь: он честь мою охраняет;
Отзыв такого судьи, даже нелестный, польстит.

18. КУПАНЬЕ В АВИТАКЕ [18]

Ежели наш Авитак почтишь ты своим посещеньем,
То не хули ты его: каждому любо свое.
Так воздымается он, что и с конусом в Байях поспорит,
А на его высоте так же верхушка блестит.
И говорливей воды, по склону сбегающей Гавра,
С ближнего гребня холма весело струи журчат.
И опротивел бы пруд Лукрина Кампании пышной,
Коль увидала б она озера нашего гладь.
Красными берег ее украшен морскими ежами,

Но и у нас ты, мой гость, рыб красноперых найдешь.
Если захочешь со мной поделить ты сердечную радость,
То приходи: отдохнешь, словно бы в Байях, у нас.

19. БАНЯ В АВИТАКЕ

В струи холодной воды окунитесь из бани горячей,
Чтоб разогретую в ней кожу свою освежить;
Но и в одну погрузясь лишь эту студеную влагу,
В озере плавать моем будете взорами вы.

20. ЭКДИЦИЮ![19]

Близится день моего рожденья — ноябрьские ноны [20],
И не прошу я, велю: в гости ко мне приходи
Вместе с женою своей. Не медлите оба! Но после
Этого года втроем вы посетите меня.

21. НОЧНОЙ УЛОВ

Первыми мне в эту ночь четыре рыбы попались;
Двух я оставил себе, двух и тебе я дарю,
Бóльших тебе отдаю и правильно я поступаю,
Ибо в душе у меня бóльшая доля твоя.

ПИСЬМА

КНИГА IV, ПИСЬМО 11

Сидоний приветствует своего Петрея.

1. Безмерно удручен я потерей нашего века, недавней утратой дяди твоего Клавдиана [1], равного которому нам вряд ли отныне придется увидеть. Ведь был он мужем заботливым, мудрым, ученым, красноречивым, проницательным из людей своего времени, своей страны, своего народа; он неуклонно философствовал, не оскорбляя религии, и, хотя не отпускал бороды и, бывало, посмеивался над плащом и посохом, а то и возмущался ими, он, однако, отличался от приверженцев Платона только обликом и верою.

2. Боже мой! что же это было, когда мы постоянно собирались у него для того только, чтобы посовещаться! Как он тотчас же без всякого колебания и досады принимал всех, считая лучшим для себя удовольствием, если случалось ему, при всей безвыходности из лабиринта каких-нибудь вопросов, обнаруживать сокровища своих знаний! А если сидело нас вокруг него много, то, давая всем воз-

можность слушать и только одному, кого мы и сами, пожалуй бы, выбрали, право говорить, он каждому по очереди, а не беспорядочно и не без соответствующего изящного движения, предоставлял богатства своей учености.

3. Затем каждый его довод мы тут же встречали опровергающими его противоположными силлогизмами. Но он отражал все наши безрассудные возражения. Таким образом, ничто не принималось не взвешенным и не доказанным. Причиной нашего глубочайшего к нему уважения было то, что он без малейшей досады сносил косное упрямство иных людей. Для него оно было виною вполне простительной, а мы восхищались его неподражаемым терпением. Кто не пожелал бы посоветоваться по затруднительным вопросам с человеком, не гнушавшимся совместного исследования их даже с людьми невежественными и несведущими?

4. Вот немного о его науке. А найдется ли достойный глашатай прочих достоинств того, кто, постоянно памятуя об участи человека, утешал священнослужителей своим трудом, речами народ, ободрением удрученных, покинутых сочувствием, пленных выкупом, голодных пищей, нагих одеждой? Напоминать об этих и еще бо́льших его заслугах я считаю излишним. Ибо свои благодеяния, какими он, совершенный бедняк, обогащал свою совесть, уповая на грядущее вознаграждение, он всячески старался утаивать.

5. Всем сердцем заботясь о своем старшем брате епископе, которого он любил, как сына, он почитал его, как отца. Но и тот взирал на него с великим уважением, находя в нем советника на судах, помощника в церковных нуждах, поверенного в делах, управителя поместий, сборщика податей, спутника при чтениях, толкователя при объяснениях, сотоварища в путешествиях. Так, неустанно соревнуясь, действовали они вме́сте, взаимно оказывая друг другу братскую доверенность и внимание.

6. Но к чему нам, в стремлении умерить нашу скорбь, всем этим разжигать ее еще сильнее? Поэтому, как мы и намеревались сказать, сложили мы, по слову Марона, «бездушному праху» [2], т. е. не смогущему душевно отблагодарить, печальную и горестную песнь, не без труда, поскольку нам мешала долгая отвычка от сочинения стихов; однако нашу крайнюю прирожденную леность воспламенила тяжкая и слезная скорбь. Вот это грустное стихотворение:

Честь и скорбь принеся Мамерту брату,
Всех епископов славой изумлявший
Клавдиан здесь под дерном похоронен.
Он тройным озаряет нас сияньем —
Рима, Аттики и Христовой веры;
Все постиг он еще монахом юным,
Припадая в тиши к истокам знанья.
Диалектик, оратор, стихотворец,
Геометр, музыкант, знаток Писанья,

Разрешавший труднейшие вопросы
И словесным мечом разивший ересь,
Угрожавшую вере православной;
Знал гласы он псалмов и, брату в радость,
Обучал он их пенью хор церковный,
Чтобы все согласованно звучало.
Учреждал он для праздников годичных
Весь порядок и чин церковных чтений.
И, второй лишь имея сан священный,
Он епископу брату был помощник,
Ибо тот, при своем верховном сане,
Возлагал на него свои заботы.
Ты же, друг мой читатель, огорчаясь,
Что он будто бесследно нас оставил,
Орошать перестань слезами мрамор:
Схоронить невозможно ум и славу.

Вот какие стихи я написал на смерть нашего общего брата, как только я прибыл. Ведь на похоронах его я не был; и я, однако, не совсем утратил возможность горько его оплакать. Ибо, пока я все размышлял и мне удалось облегчить свою томившуюся душу, дав волю слезам, я и сделал в эпитафии то, что другие делали на могиле. Итак, я написал тебе это, чтобы ты как-нибудь не подумал, будто я ценю содружество с одними лишь живыми, и чтобы ты не осудил меня за то, что я будто бы не вспоминаю постоянно о покойных друзьях так же, как о здравствующих. А, по правде сказать, из-за того, что у нас едва сохраняется смутная память даже и о живых, ты не без основания можешь заключить, как ничтожно мало найдется таких, кто любит умерших. Будь здоров.

КНИГА V, ПИСЬМО 12

Сидоний приветствует своего Кальминия [3].

1. Если до вас редко доходят наши письма, причиной тому не наша гордость, но непомерное могущество другого. Не расспрашивай об этом, потому что ваши собственные опасения могут объяснить наше вынужденное молчание. Я могу, однако, сожалеть открыто только о том, что, отделенные друг от друга столкновениями враждующих сил, мы не можем насладиться взаимным свиданием. Ты являешься беспокойным взорам отечества только тогда, когда страшная воля чужеземца заставляет прикрываться вас латами, а нас укреплениями. Тебя приводят сюда пленником, и ты принужден опорожнять свой колчан стрел, а глаза наполнять слезами; мы, однако же, не виним тебя, потому что твои желания направлены не туда, куда стрелы.

2. Но так как по временам, если не вследствие прочных договоров, то по крайней мере вследствие ненадежных перемирий, нам блестит надежда освобождения, я упрашиваю тебя как можно чаще беседовать с нами в письмах, раз тебе известно, что осажденные граждане хранят к тебе дружбу, заставляющую забывать о ненависти к осаждающему. Будь здоров.

КНИГА V, ПИСЬМО 17 [4]

Сидоний приветствует своего Эрифия.

1. Ты все таков же, мой Эрифий, и ни охота, ни город, ни деревенская жизнь не развлекают тебя настолько, чтобы ты с удовольствием не вспоминал мимоходом о литературе; поэтому пристрастие к ней не должно тебя отвращать от меня, который для тебя, как ты пишешь, надушен музами. Такое мнение, однако, очень далеко от истины и, очевидно, высказано тобою в шутку, если ты весел, или по дружбе, если ты строг. Впрочем, оно совершенно несправедливо, раз ты приписываешь мне то, что вряд ли вполне подходит даже и Марону, да и Гомеру.

2. Оставим это и поговорим о деле. Ты просишь послать тебе стихи, какие я сочинил, уступая твоему почтенному тестю, который в обществе ему равных живет так, что ему легко и повелевать и повиноваться. Но, чтобы лучше понять эти прямо-таки пустяки, тебе хочется знать и место и причины, их вызвавшие; так пеняй на себя, если предисловие будет многословнее самого сочинения.

3. Мы собрались у могилы святого Юста (тебе-то болезнь помешала быть с нами); перед рассветом совершено было ежегодное торжественное шествие при огромном стечении народа обоего пола, и обширная базилика не могла вместить присутствующих, несмотря на то, что крипта окружена просторными крытыми портиками. Монахи и белое духовенство, возносившие попеременно сладостное пение псалмов, отслужили заутреню, и мы разошлись в разные стороны, не отходя, однако же, далеко, чтобы быть наготове к третьему часу, когда священники должны совершать таинство.

4. От недостатка простора, теснящейся толпы и от множества горящих свеч мы задыхались; к тому же нас, бывших внутри церкви, томила и сырость позднего лета, хотя ее и умеряла свежесть предосеннего утра. И вот, когда разбрелись люди всех сословий, знатнейшие граждане сошлись у гробницы консула Сиагрия, отстоящей от церкви менее чем на перелет стрелы. Кто поместился под тенью решетки из высоких кольев, покрытой лозами уже зрелого винограда, кто сел на зеленом, но благоухающем цветами дерне.

5. Разговор шел приятно, весело, живо; ему придавало особенную прелесть то, что тут не было ни малейшего упоминания ни о властях, ни о податях, ни подозрительных слов, ни одного человека, какого можно было бы заподозрить. Кто мог занятно рассказать занимательный анекдот, того слушали с жадностью, хотя веселость

слушателей часто прерывала рассказ. Однако этот долгий отдых наскучил и захотелось чем-нибудь заняться.

6. Скоро мы разделились надвое по возрасту; одним на их крики приносят мячи, другим игральные доски. Игру в мяч начал я, потому что, тебе известно, я люблю эту игру не меньше книг. С другой стороны, мой брат Домниций, человек исключительно приятный и веселый, схватил кости и, гремя ими в рожке, будто сигнальной трубой, зазывал игроков. Мы же вместе с толпою школьников натешились вдоволь, чтобы здоровым движением размяться после долгого и утомительного стояния.

7. И славный Филиматий, по слову Мантуанского поэта,

Сам решив приложить свою руку к труду молодежи [5],

решительно вмешался в толпу игравших в мяч. Он ведь был отличным игроком, когда был помоложе. Но теперь напор бегущих то и дело сталкивал его со средины поля и, вступив в игру, он не мог перехватить летящего мимо или падающего на него мяча, ни от него уберечься, и поэтому его часто сбивали с ног, и он с трудом поднимался после неловкого падения и первый вышел из игры, запыхавшись и разгорячившись. Да и печенка у него раздулась и сильно разболелась от утомления.

8. Тут же остановился и я, чтобы, кончив игру в одно время с ним, великодушно скрыть замешательство усталого брата. Так вот, мы уселись, и сейчас же испарина принудила его попросить воды, чтобы умыть лицо; воду подали, а вместе с ней и мохнатое шерстяное полотенце, которое, вымытое от вчерашней грязи, случайно проветривалось на веревке, протянутой к растворенным половинкам двери привратника.

9. Отирая на досуге щеки, он сказал мне: «Мне бы хотелось, чтобы ты продиктовал какое-нибудь четверостишие об этой тряпке, которая так мне помогла». «Пожалуй»,— отвечал я. «Но пусть и мое имя,— сказал он,— войдет в эти стихи.» Я ответил, что и это можно сделать. «Так диктуй же»,— сказал он. «Знаешь,— возразил я с улыбкой,— ведь музы могут рассердиться, если я вмешаюсь в их хор при стольких свидетелях». Он отвечал мне живо, но и вежливо, как подобает человеку пылкому и неистощимому источнику красноречия: «Смотри, сударь Соллий, как бы скорее не разгневался Аполлон, если ты с глазу на глаз будешь соблазнять его питомиц». Можешь представить, какие рукоплескания вызвал этот и неожиданный и остроумный ответ.

10. Я не стал медлить и, подозвав своего писца, стоявшего вблизи вместе с табличками, сочинил такую эпиграмму:

Утром, когда выходить придется из бани горячей,
Иль когда пот увлажнит после охоты чело,
Пусть этой тряпкой лицо оботрет себе Филиматий,
И его влагу вопьет, словно как пьяница, шерсть.

И не успел наш Епифаний это записать, как нам сказали, что уже время идти, что епископ вышел из своего покоя, и мы поднялись. Будь снисходителен к этим стишкам, которых ты просил.

11. А то, более значительное стихотворение, какое вы оба заставили меня написать иносказательно, или образно на человека, не выносящего хороших дней, и которое будет отправлено завтра, просмотрите его тайком; и если оно понравится, благоволите его обнародовать, а если не понравится, уничтожьте и меня простите. До свиданья.

КНИГА VIII, ПИСЬМО 6

Сидоний приветствует своего Наматия [6].

1. Диктатора Юлия Цезаря, которого называют несравненным и опытнейшим знатоком военного дела, постоянно привлекали занятия и сочинением и чтением. И хотя в лице его, самого выдающегося человека его времени, знание ораторского искусства могло поспорить с военною славой, он, однако, считал себя не достаточно сильным ни в той, ни в другой науке, пока, по свидетельству вашего арпинца, не было признано его превосходство над остальными смертными.

2. Да и со мною, если допустимо сопоставлять великое с малым, при всем между нами несходстве, случилось, в мою собственную меру, нечто сходное. Это первым делом следует признать тебе, от забот которого больше всего зависит как моя слава, так и моя скромность. Флавий Никетий, человек благороднейшего происхождения, высокого звания, отменных заслуг и самый замечательный из наших соотечественников по своему благоразумию и вместе с тем опытности, превозносит, как я вижу, непомерными хвалами произведения моего теперешнего сборника, провозглашая к тому же, что я превзошел большинство молодых, да и некоторых стариков, в разного рода сочинениях и военных успехах, будучи еще в цветущем возрасте.

3. Конечно, поскольку это можно сделать без хвастовства, я радуюсь мнению такого выдающегося мужа, если он прав, и его любви, коль он ошибается: кто же, право, из наших современников не окажется пред делами предков полным бездельником, а пред их речами бессловесным младенцем? Ибо ведь дарованиями в этих искусствах правитель веков наделил по преимуществу древние века; когда же, с годами одряхления мира, дарования эти истощились и стали бесплодными, они в наше время и лишь у немногих являют что-либо удивительное и достопамятное.

4. Однако же, несмотря на первенство Никетия во всех науках и письменности и на мое к нему всегдашнее уважение, я опасаюсь, что его суждение высказано с бóльшим, чем того требует истина, пристрастием. И я не стану поэтому отрицать своего частого присутствия на его блестящих выступлениях, о которых мне,

пусть это и может показаться взаимной любезностью, следует хоть немного и бегло упомянуть.

5. Я слушал его в молодости и чуть ли не мальчиком, когда мой отец, как префект претория, ведал судами в Галлии, именно в то время, как, при исполнении им этой должности, облаченный в трабею консул Астерий[7] торжественно отворил двери года. Я находился у курульного кресла и, хоть не стоя в стороне, по своей знатности, но, конечно, не сидя, по своему возрасту; и, вмешавшись в толпу ближайших к консулу простых граждан, был очень от него близко. И вот, как только, ни мало не помедлив, раздали не малую спортулу[8] и были вручены фасции[9], все собрание галлов обратилось к виднейшим ораторам с просьбой выступить в эти предшествующие празднеству утренние часы, пока с нетерпением и в молчании ожидалось наступление дня, и подобающим похвальным словом почтить передачу новому консулу заслуженных им фасций.

6. Видные люди немедленно увидели Никетия; когда же его стали просить не потихоньку и не каждый порознь, а все наперерыв, он сначала стыдливо покраснел и скромно опустил голову. И эта его скромность, еще раньше, чем его красноречие, обеспечила ему величайший успех. Говорил он стройно, веско, горячо, с большой силой, с еще бо́льшим красноречием, с величайшим искусством, и напоенное сарранскими соками[10] одеяние с пальмовой вышивкой между звенящими блестками еще больше разукрасил и цветами и золотом своей речи.

7. Около этого времени был опубликован, по выражению децемвиров, закон о тридцатилетней давности, решительными постановлениями которого пресекалась всякая тяжба, затянувшаяся за шестое пятилетие. Этот закон, ранее в Галлии неизвестный. оратор, о коем мы говорим, приказал применять по инстанциям, обнародовал в судах, объявил тяжущимся сторонам и внес в документы многолюдного, но редко заседающего собрания с немногими замечаниями и с большими похвалами.

8. Кроме того и в других случаях, наблюдая за ним незаметно,— а таким образом легче всего изучать человека,— я мог оценить ученость Никетия, когда консульское правление провинциями управлялось его советами. Чего же больше? Я не слышал ничего, чего не пожелал бы сказать и сам, ничего, чем бы я не восхищался.

9. По причине всех этих достоинств, сосредоточенных в этом человеке. я радуюсь, что одобрил меня такой, всеми восхваляемый цензор. Каково бы ни было его суждение обо мне, оно чрезвычайно важно; если я уверен в его справедливости, оно настолько же меня успокаивает своей благожелательностью, насколько, будь оно враждебным, меня бы ужасало. Вообще я твердо и непременно решил, познакомившись с ним в полной мере, или давать поводья молчанию, или обуздывать свою болтовню. Итак, если я доверяю

тому, о ком я говорю, я буду речистее Афин, а если нет — молчаливее самих Амикл [11].

10. Но довольно говорить о моем друге. Ну а ты-то сам что теперь поделываешь? Мне ведь и о тебе искренне хотелось бы знать. Охотишься? Строишься? Живешь в деревне? Занят чем-нибудь из этого одним? Или то тем, то другим? Или всем одинаково? Что до Витрувия или Колумеллы, то, идешь ли ты по стопам кого-нибудь из двух, или их обоих, ты поступаешь прекрасно. Ведь ты можешь отлично следовать и тому и другому, став и выдающимся сельским хозяином и архитектором.

11. Что же до занятия охотой, то я очень тебе советую увлекаться ею как можно меньше. Ты ведь, право, напрасно заманиваешь на рогатины кабанов, которых с помощью множества преданных тебе собак, да и без них, ты способен скорее гнать, чем подгонять. И отлично: надо извинить твоих собачек, раз они боятся приближаться к зверям страшным и могучим; одного я не понимаю, как ты оправдываешь то, что они при их робости, сердцебиении, редких шагах и постоянном лае, гоняются за курносыми козами, а равно и за пугливыми ланями.

12. В конце концов тебе, неизменному охотнику, выгоднее опутывать сетями и тенетами крутые утесы и удобные для потаенных логовищ рощи; и ты, как-никак стыдишься опрометью скакать по полям и высматривать оларийских зайчиков [12], которыми редко удается тебе поживиться на охоте и которых не стоит травить сворами собак в открытом поле. И не лучше ли будет погоняться за ними, когда тебя и твоего отца посетит наш Аполлинарий.

13. Шутки в сторону: расскажи мне, как ты живешь, что у тебя делается. Но вот, только хотел я закончить свое письмо со всей его болтовней, как вдруг — вестник от Сантонов; в течение нескольких часов разговора о тебе, я достоверно от него узнал, что вы подали сигнал флоту о выступлении и что ты, то как матрос, то как солдат, блуждаешь по извилистым берегам Океана против изогнутых саксонских миопаронов [13], на которых скольких бы ты ни насчитал гребцов, всех их считай главарями морских разбойников: все они приказывают, подчиняются, учат и учатся разбою. Из-за этого я теперь и убеждаю тебя всеми силами всячески беречься.

14. Этот враг из всех врагов самый свирепый. Нападает он неожиданно, ускользает, коль ждешь его; ты наготове, он не готовится, беспечных поражает; проследит, коль преследует, коль бежит, убегает. К тому же кораблекрушения его изощряют, а не страшат. Борьбу с морем саксы не только хорошо знают, но сдружились с нею. Ибо, если даже буря и мешает их нападению, то она и не дает увидеть собирающихся напасть, и они средь волн и грозных подводных камней весело переносят опасности в надежде на внезапную высадку.

15. Кроме того, прежде чем поднять паруса для возвращения с материка на родину и вытащить с чужого дна цепкие якоря, у них

есть обычай умерщвлять в жестоких и равных для всех мучениях каждого десятого из пленников, обычай тем более мрачный, что основан на суеверии; при этом несправедливая смерть обреченной на гибель толпы оправдывается справедливым жребием. Такими жертвами они исполняют обеты; и не столько очищенные этим жертвоприношением, сколько оскверненные святотатством, они думают, совершая нечестивое убийство, что поступают благочестиво, если более требуют с пленника мучений, чем выкупа.

16. Вот почему я многого боюсь, разного опасаюсь, хотя еще большее должно бы, наоборот, меня ободрять: во-первых, ты выступаешь под знаменами народа-победителя; затем, люди мудрые, к числу которых ты по праву относишься, никогда, я уверен, не поступают опрометчиво; в-третьих, что касается верных, но отдаленных друзей, они часто беспокоятся даже о безопасном, так как того, что происходит вдали от них и внушает им сомнения, они склонны бояться и предугадывать всякие неудачи.

17. Но ты скажешь, пожалуй, что нечего так опасаться того, чего я так страшусь. Это, правда, справедливо; но не ложно и то, что мы больше беспокоимся за тех, кого сильнее любим. Ради этого, однако, я умоляю, как можно скорее осчастливь меня известиями о себе и уйми мое тоскливое волнение. Ибо никогда не смогу я перестать с ужасом думать о бедах, грозящих в пути друзьям, притом еще получившим приказ идти в сражение, пока не буду иметь благоприятных о них известий.

18. Я послал тебе по твоей просьбе логисторика Варрона и хронографа Евсевия; если дойдет до тебя их напильник, то, или в перерыве между стражами, поскольку ты на военной службе, или если случится тебе быть свободным, ты сможешь, почистив оружие, воспользоваться этим для того, чтобы снять со своих уст ржавчину речи. Будь здоров.

Сальвиан

Какие-либо определенные биографические сведения об этом писателе отсутствуют. Время написания главного его сочинения «О мироправлении божьем» относят обычно к самой середине V в. (439—450 гг.). Исходя из того, что произведение это принадлежит перу зрелого человека и писателя, предполагают, что Сальвиан родился либо в самые последние годы IV, либо в начале V в. Дожил Сальвиан, по-видимому, до глубокой старости, поскольку Геннадий в своем каталоге «О знаменитых людях» (гл. 68), датируемом 490—495 гг., сообщает, что он был еще в живых.

Место рождения Сальвиана спорно. Несколько ранних комментаторов считали, что он родился в Африке. Они ссылались на отдельные места «Миро-правления» (VII, 12—13 и др.). Однако другие места этого сочинения, особенно же VI книга, заставляют предположить, что он родился скорее где-то вблизи Рейна — в Трире или в Кёльне. Родители его принадлежали, по-видимому, к галло-романской аристократии. Судя по его сочинениям, он хорошо знал жизнь и нравы верхов современного ему общества. Сальвиан был женат и имел дочь — об этом говорится в четвертом из девяти сохранившихся его писем.

Геннадий, сообщая о последних годах жизни Сальвиана, называет его священником марсельской церкви. До переезда же в Марсель он жил в Лерэне, монастыри которого привлекали многих будущих крупных церковных сановников. Предполагается, что годы жизни в Лерэне сыграли большую роль в духовном и творческом формировании Сальвиана.

Помимо сочинения «О мироправлении божьем», до нас дошло сочинение «Против алчности» в четырех книгах и девять писем. Девятое письмо, под псевдонимом Тимофея и под заглавием «Ко вселенской церкви», предпослано сочинению «Против алчности», в котором Сальвиан бичует пороки духовенства.

Основное произведение Сальвиана «О мироправлении божьем» («De gubernatione Dei»), в древнейших списках носящее название «О провидении и справедливости божьей» («De providentia et iustitia Dei») состоит из 8 книг, из которых последняя осталась незавершенной. Первые две книги составляют как бы теоретическую основу сочинения. Следуя за классическим произведением Лактанция «Божественные установления» (III в.), Сальвиан показывает миропра-

ление и суд божий на примерах из ранних книг Ветхого Завета и подтверждает его «свидетельствами», взятыми из всей Библии. Начиная с III книги, внимание Сальвиана переключается со священной истории на современность. Он старается доказать, что в бедствиях, обрушившихся на римское государство накануне его окончательного падения, виновато не божественное провидение, как склонны считать некоторые, а само римское общество, погрязшее в пороках. Отдельные места из последних книг сочинения, где Сальвиан бичует легкомыслие, пьянство, разврат высшего общества, звучат как настоящий памфлет.

Сочинение Сальвиана отличает известный демократизм: он с сочувствием пишет о бедняках, которым особенно тяжело приходится от общественных несчастий. Обвиняя римлян во всех смертных грехах, Сальвиан противопоставляет их варварам, которым решительно отдает предпочтение.

Стиль Сальвиана не свободен от ошибок, свойственных его времени, но достаточно ясен, несмотря на обилие разнообразных риторических фигур, к которым писатель питает явную склонность.

ИЗ КНИГИ „О МИРОПРАВЛЕНИИ"

[РИМЛЯНЕ И ВАРВАРЫ]

(Книга V, глава 4—5)

4. Что же касается обращения готов и вандалов, то чем мы лучше их и почему нас нельзя сравнивать с ними?

В отношении любви и милосердия (а эту добродетель господь учит ставить на первое место и указывает на нее не только через Священное Писание, но и сам, говоря: «По тому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою» [1]) я бы сказал, что почти все варвары, которые принадлежат к одному племени и имеют одного короля, связаны друг с другом, почти же все римляне преследуют друг друга. В самом деле, какой гражданин у нас не ненавидит другого гражданина, кто выказывает полную расположенность к своему соседу? Все далеки друг от друга, если не местом, то сердцем, и даже объединенные одним домом, разъединены мыслями. О, если бы это худшее из всех зол касалось только сограждан и соседей: гораздо важнее, что родственники не чтут уз родства. В самом деле, кто платит близостью своим близким? Кто считает себя обязанным быть милосердным? Кого из родственников по сердцу или по крови не снедает злоба, чье чувство не облито желчью, кого не казнит благополучие другого? Кто не считает чужое счастье своим несчастьем? Кому хватает своего счастья настолько, чтобы желать счастья другому? Многие же заражены теперь новым и страшным пороком: для полного счастья им нужно, чтобы другой был несчастен. А другое жестокое зло, которое исходит из того же источника и которое чуждо варварам и привычно римлянам, зло, которое заключается в том, что они

разоряют друг друга налогами? Впрочем, не только друг друга: было бы гораздо сноснее, если бы каждый заставлял другого терпеть то, что он переносит сам; но хуже всего то, что большинство обирается меньшинством, и общественные подати обратились в частную добычу; так ведут себя не только высшие сановники, но и всякая мелочь, не только судьи, но и им подчиненные чиновники.

Найдется ли город, община или село, где не было бы столько же тиранов, сколько куриалов [2]? Чиновники гордятся таким прозвищем, потому что оно дает им силу и почести; подобно этому воры радуются и торжествуют, когда их считают более ужасными, чем они есть на самом деле. Еще раз повторяю, существует ли такой город, в котором начальники не поглощали бы имущество вдов и сирот, а вместе с тем и всякую святыню? Священники имеют ту же участь, что и вдовы и сироты, так как они или не хотят защищать себя по причине своего звания или не могут вследствие своей невинности и смирения. Таким образом, у нас никто не считает себя в безопасности; и если вы исключите тех, которые по своей власти и связям стоят вне грабежа или сами участвуют в нем, то ни один человек не ускользает от алчности этого рода воров. При таких условиях безопасен только тот, кто имеет силу ставить другого в опасность.

5. Но, очевидно, среди стольких негодяев, грабящих честных людей, найдется кто-нибудь, кто пришел бы им на помощь, кто, как говорит Писание, исторгнул бы бедного и нищего из рук грешников. «Нет делающего добро, нет ни одного» [3]. Потому он сказал: «нет ни одного», что добрый человек — большая редкость. Кажется, что есть только один. В самом деле, кто поможет страждущим и бедствующим, если даже служители господа не имеют сил сопротивляться насилию негодяев? Они или молчат, или говорят так, что лучше бы молчали; многих удерживает не отсутствие смелости, а расчет и политика. Они не хотят высказывать горькую истину, так как уши нечестивцев не могут ее вынести; они избегают ее и преследуют сказавшего ненавистью и проклятьями. Они не только не боятся и не уважают слов священника, но по своей необузданной гордости презирают его, и потому те, которые могли бы говорить, молчат, пока не трогают их самих. Они не хотят открыто показать силу истины, дабы не задеть нечестивцев и не побудить их к бóльшим преступлениям. А между тем бедняки подвергаются грабежу, вдовы стонут, права сирот попираются до того, что многие из них, принадлежа к известной фамилии и получив хорошее воспитание, ищут убежища у врагов римского народа, чтобы не сделаться жертвою несправедливых преследований; они ищут — о, чудо! — у варваров римского человеколюбия, так как не могут вынести варварской бесчеловечности у римлян. И хотя они отличаются от тех, к которым бегут, и нравом, и языком, и им не нравится, так сказать, их неопрятный образ жизни, они предпочитают привыкнуть к варварскому быту, чем переносить жестокую несправед-

ливость римлян. И, таким образом, мало-помалу, они переселяются к готам, багаудам [4] или к другим всюду господствующим варварам и не раскаиваются в том, что переселились. Ибо они предпочитают жить свободными под именем рабов, чем быть рабами под именем свободных. Некогда имя римского гражданина не только высоко ценилось, но и дорого покупалось; теперь же его отвергают и от него бегут, настолько оно считается презренным и даже почти ненавистным. Разве может быть большее свидетельство римской несправедливости, чем то, что лучшие люди, которым Рим обязан своей славой, доведены до того, что не хотят быть римлянами. Поэтому и те, которые не убежали к варварам, стараются стать варварами на месте; бóльшая часть Испании и немалая часть Галлии, и, наконец, все, кто во всем римском мире оскорблен римской несправедливостью, перестали называть себя римлянами.

[УПАДОК НРАВОВ В ГАЛЛИИ]

(Книга VI, главы 13 и 15)

13. Эти места, однако, находятся далеко от нас, почти в другом мире [5], и кажутся неотносящимися к спору, когда я обращаю внимание на то, что даже в моей собственной стране, в Галлии, почти все люди высокого общественного положения сделались хуже от своих несчастий. Я видел сам людей знатного происхождения, занимавших почетные должности, разоренных, в разграбленной провинции, обнаруживших, однако, упадок нравов еще больший, чем расстройство их имущественного состояния. Опустошение страны было не настолько велико, чтобы не оставалось какого-нибудь средства поправить дела, но не было никакого средства исправить нравы. Римляне гораздо бóльшие враги самим себе, чем их внешние неприятели, и хотя варвары уже нанесли им поражение, они теперь сами довершают свое собственное разорение. Печально описывать то, чему я был свидетелем: почтенные старцы, престарелые христиане, несмотря на гибель, грозящую их положению, становятся рабами чувственных наслаждений. Что должно быть первостепенным поводом для обвинения? Сан, возраст, имя христиан или опасность? Кто мог подумать, что со старыми людьми даже в мирное время возможны такие вещи, какие молодые могли позволить себе лишь на войне, а христиане не должны позволять никогда! Они предались наслаждению, забыв свой сан, свой возраст, веру и самое свое имя. И это были правители города, обожравшиеся, раскисшие от пьянства, с безумными возгласами, с головокружением от разгула, полностью потерявшие рассудок, или, скорее, так как это было их обычное состояние,— как раз в своем рассудке. Но то, что я сейчас скажу, еще хуже: даже разрушение города не положило конец их позорному поведению. Самый цветущий город Галлии [6] варвары

брали приступом не менее четырех раз. Легко узнать город, о котором я говорю. Первое падение должно было обратить граждан на путь раскаяния, чтобы вторичное падение не навлекло вторичного наказания. Но что последовало? Невероятная история! Пороки в этом городе возрастали вместе с постоянным повторением несчастий. Подобно тому сказочному чудовищу, головы которого отрастали по мере того, как их отрубали[7], в самом замечательном городе Галлии пороки набирали силу от каждого удара, которым их наказывали. Можно подумать, что наказание, вместо того, чтобы положить конец преступлениям этого народа, действовало как производитель пороков. Но что тогда? Ежедневное приумножение грехов привело город к такому положению, что легче было истребить в нем всех жителей, чем найти хоть одного, свободного от греха.

Вот то, что касается этого города. А что можно сказать о другом, находящемся неподалеку и почти равном ему по значению[8]? Не испытывает ли он то же крушение состояний и падение нравов? Кроме всего прочего, в этом городе преобладают два главных общих всем порока — алчность и пьянство; пьянство достигает таких размеров, что однажды отцы города отважились покинуть пирушку только тогда, когда враги по существу были уже внутри стен города. Бог пожелал яснее показать им, почему они гибнут, так как даже в самый последний момент перед бедствием они вели ту самую жизнь, которая привела их к гибели. Я сам видел там плачевное зрелище, где не было никакой разницы между поведением пожилых и молодых людей. Нескромность в разговоре, легкомыслие, роскошь, склонность к пьянству делали их похожими друг на друга. Люди преклонного возраста, занимавшие почетные должности, видя, что им осталось недолго жить, пили так, как могут пить только очень крепкие люди. Силы, которой им нехватало на то, чтобы ходить, хватало на то, чтобы пить. Их дрожащие ноги обретали твердость, когда им нужно было танцевать. Чего же более? Вследствие всего, о чем я рассказал, они превратились в таких подонков, что на них исполнились слова Священного Писания: «Вино и женщины развратят разумных» [9]. Ибо где так пьют, играют, безумствуют, там отрекаются от Христа? После всего этого можно ли удивляться, что они потеряли состояние, когда они уже давно потеряли ум! Никто не поверит, что этот город погиб от нашествия варваров, ибо смерть этого народа наступила раньше, чем их гибель от варваров.

15. Между тем подобные вещи случались в прошлом, есть сейчас и будут всегда. В самом деле, разве мы видим, что какой-нибудь город или провинция, завоеванные или разграбленные варварами, изменили свой образ жизни? Смирились ли, подумали ли о том, чтобы изменить нравы и исправиться? Таков уж римский характер: они гибнут, но не исправляются. У нас есть доказательство этого: три раза был разрушен первый город Галлии, три раза он служил как бы костром для своих жителей, но пороки после это-

го только возросли еще больше. Однако разрушение не было самым главным злом, которое испытал город; избежавшие гибели были подавлены нищетой. Тот, кого миновала смерть, стонал под бременем бедности. Одни, израненные, влачили жалкую жизнь; другие, наполовину обгоревшие, долго чувствовали на себе жестокие последствия ожогов. Одни погибали от холода, другие от наготы; огромное число людей погибло от болезней или от суровых холодов. Таким образом, смерть являлась в тысяче различных видов. Разрушение одного города стало всеобщим несчастьем. Я видел и не отказывал в своей помощи тем, которые бедствовали; везде валялись вперемешку трупы мужчин и женщин, нагие, истерзанные, являвшие печальное зрелище для жителей других городов и брошенные на съедение собакам и птицам. Тяжелый запах от гноившихся мертвых тел увеличивал смертность между живыми; смерть дышала смертью. Но что же вызвали все эти бедствия? Трудно представить, до чего могут дойти подобные люди: несколько знатных, уцелевших во время разорения города, как бы спеша на помощь разоренным, стали хлопотать перед императорами о разрешении на открытие игр в цирке. Для изобличения такого бесстыдства я хотел бы обладать силой красноречия, соответственной делу, и в своем обвинении обнаружить столько же доблести, сколько заключено горестного в самом иске. Кто подскажет мне, с чего начать обвинение? Говорить ли мне о безбожии, о глупости, о распутстве, о бездумии? У этих людей имеется все это в полной мере. Разве существует более безбожная просьба, чем просьба к Богу о том, что должно его оскорбить, или может ли быть глупее поступок, чем тот, когда думаешь, о чем просишь? Разве существует поведение беспутнее того, когда среди всеобщего плача, просят об увеселениях и можно ли быть таким безумным, чтобы, пребывая в печали, не сознавать ее? Меньше всего следует при этом обвинять человека в безумии, потому что преступление не имеет воли, когда человек находится в припадке. Те же, о которых мы говорим, виновны вдвойне, так как они безумствовали, обладая рассудком. Таким образом, вы, жители Трира, желали восстановления игрищ? Вы, разоренные, порабощенные, потерпевшие поражение, после крови, мук, плена, после полной разрухи в городе? Что может быть горше такой глупости, что печальнее вашего безумия? Я считал вас несчастнейшими людьми из-за разорения, которое вы пережили; но просьба об игрищах делает вас в моих глазах еще более несчастными. Я думал, что вы во время грабежа и пожаров потеряли имущество, но не знал, что вы лишились при этом также рассудка и чувства. Итак, вы просите зрелищ, вы требуете у государей представления в цирках. Но для кого, для какого народа, для какого города? Для сожженного и погибшего города, для плененного и погибающего народа, который страдает и плачет? Ведь оставшиеся в живых оплакивают свою судьбу, дрожат от страха, обливаются слезами и погрязли в нищете; не знаешь, кому лучше,

убитым или живым? Так бедственно положение оставшихся в живых, что они могут позавидовать несчастью павших.

Итак, ты, Трир, просишь публичных игр? Где же ты думаешь их устроить? Не на пожарище ли и пепле, не на костях ли и потоках крови погибших сограждан? Где же в целом городе ты найдешь место, не носящее на себе следов бедствия? Где не струится кровь, где не видно трупов или растерзанных членов тела? На ваш город наложена печать плена и ужаса, повсюду образ смерти. Спасшиеся остатки жителей лежат вместе с трупами погибших родственников, а ты просишь игрищ. Город почернел от пожара, а ты с праздничным лицом. Все плачут, а ты один смеешься. Все это вызывает суровый гнев бога, а ты своими гнусными предрассудками еще более раздражаешь гнев господень. Не удивляюсь бедствиям, постигшим тебя. Город, который не исправился от троекратного разорения, вполне заслужил и четвертый разгром.

Седулий

Поэт Седулий, главное произведение которого «Пасхальное стихотворение» («Carmen Paschale») в продолжение всего средневековья пользовалось широкой известностью, родился во второй половине IV в. Место его рождения остается неизвестным, но происходил он, вероятнее всего, из Италии. Деятельность его относится ко времени правления Феодосия Младшего и Валентиниана, т. е. к V в. «Пасхальное стихотворение» написано Седулием в Греции, где он под руководством своего друга Македония изучил христианские догматы и, вероятно, стал священником. Кроме «Пасхального стихотворения», из произведений Седулия сохранились два небольших стихотворения, прославляющие Христа; одно из них написано элегическим дистихом, другое четырехстопным ямбом. Последнее почти сплошь рифмовано и разделено на четырехстрочные строфы, каждая из которых начинается с новой буквы в порядке латинского алфавита. «Пасхальное стихотворение» разделяется на пять книг. В первой книге излагаются события Ветхого Завета, мистически предсказывающие события Нового Завета; во второй книге рассказывается жизнь Христа; в третьей и четвертой излагаются чудеса и беседы Христа главным образом по Евангелию от Матфея, пятая книга начинается с описания праздника Пасхи и кончается рассказом о смерти Христа. Все стихотворение, написанное прекрасным и ярким языком, послужило образцом для всей дальнейшей христианской поэзии. Седулий обнаруживает прекрасное знакомство с античной поэзией — Овидием, Вергилием, Луканом и даже Лукрецием, которым он во многом подражает, не теряя, однако, своей индивидуальности.

ПАСХАЛЬНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Кто бы ты ни был, вкусить желая пасхального брашна
    И не гнушаясь возлечь с нами совместно за стол,
Брови не хмурь, если нас за своих ты друзей почитаешь,
    Но хитроумного ты не ожидай ничего,
А удовольствуйся тут торжеством и скромною пищей:
    Душу, не тело свое здесь ты насытишь скорей.

Если же ты увлечен стремлением к великолепью,
Роскошь несметных богатств предпочитая всему,
То наслаждайся тогда пирами знатных ученых,
Яства которых никак и перечислить нельзя.
Там ты найдешь и все то, чем только ни кормит их море,
Все, что плодится землей, все, что летит к небесам.
Соты медовые там в самоцветных желтеют корзинах
И золотятся, блестя в золоте чаш дорогих.
Мы же, довольствуясь тем, что растет у нас в огороде,
Овощи лишь подадим в глиняной плошке тебе.

КНИГА I

Коль непрестанно поют стихотворцы язычников басни,
В слоге напыщенном их украшая трагическим воплем,
Или раба болтовней и любыми искусно стихами,
Иль непристойною все уснащая и мерзкою грязью,
И воспевают они преступленья былые и ловко
Выдумки передают, чертя на папирусе нильском,
Что же я, зная псалмы Давида и десятиструнной
Строй псалтири и то, как надо достойно и чинно
В хоре священном стоять, воспевая небесные выси,
Не прославляю чудес Христа, спасителя славных?
Если о явном могу говорить, то Господа Бога
Сладостно всею душой и всем сердцем мне исповедать:
Он в меня душу и сердце вложил, одному ему должно
Твари его услужать, и он нерушимо от века,
Неразделимо с Отцом, в небесных властвует высях,
Равен почетом ему, равносилен и равновозвышен,
Силой и доблестью с ним одинаков и царствует вечно,
Он изначален, един по державе и славе совместной,
И одинаково их величие: им ко спасенью
Путь указан, к дарам пасхальным открыта дорога.
Вот о чем буду я петь: внимательно слушайте это.
Стойко недужным умам окажите вы этим поддержку,
Тем, кого смертное зло бесплодных забот отравило
Ядом Кекроповым всех мудрований аттической мысли,
И, благовонный закон вдыхая жизненной силы,
Освободите себя от гнусной грязи афинской.
Что вам, Тезея сыны, в пещере блуждать лабиринта
И безысходно бродить в потемках Дедалова дома?
Дикий зачем виноград срывать вместо сладостных гроздьев
Или же, розы презрев, собирать полевую лаванду?
Можно ль от бронзовых ждать иль от мраморных вам изваяний
Помощи, если немым отдаете вы душу каменьям?

Пылью покрытые вы поля песчаные бросьте,
Бросьте в пустынях вы жить, где плодов никогда не приносит
Почва сухая, и там, из недр земли обагренной,
Не извлекайте отрав, смертоносным напитанных ядом
Для преисподних глубин, но в благоуханные рощи,
Полные вечных цветов, и в блаженную область идите
Вдоль по священным струям, где божественной жизненной влагой
Оживлены семена и где орошенные свыше
Радостно нивы растут, не стесненные терниeм жестким,
Чтобы для Бога была от них обильная жатва
И урожай на полях сторицею житницы полнил.
Боже всесильный всегда, надежда единая мира,
Вышнего неба творец, создатель всего мирозданья,
Ты, не дающий волнам многошумно поднявшейся бури
Натиском их потопить и разрушить прибрежные земли,
Ты заставляешь сиять и солнце и месяц рогатый,
Распределяя их свет между ночью и днем равномерно,
Ты лишь один и количество звезд и названья их знаешь,
Ведаешь знаменья, силу, места, и ход их, и скорость,
Ты из земли молодой тела различные создал,
Комья ее оживив и дав их членам дыханье,
Ты человека, запретным плодом соблазненного сладким,
Лучшею пищей живишь и, дав ему выпить священной
Крови, весь яд из него изгоняешь змеиной отравы,
Ты человеческий род (кроме тех, кто спасался в ковчеге),
В пенных погибший волнах, потопом застигнутый страшным,
Вновь воедино творишь, чтобы тайная сила явила,
При смертоносных грехах, главенство верховное древа [1]
И обновление всех погружением в светлые воды;
Ибо ты снова весь мир очищаешь единым крещеньем.
Ты мне спасительный путь укажи, что немногих ко граду
Узкой тропою ведет по горам, и светильником слова
Ноги мои освети, чтобы к жизни ведущей стезею
Я до овчарни достиг деревенской, где чистую добрый
Пастырь отару хранит, где агнец девы, сияя
Светлым руном, за собой ведет белоснежное стадо.
Не затруднителен путь за тобою, твоим повеленьям
Следует все естество и, былой оставляя порядок,
Все, подчиняясь тебе, свои изменяет обличья.
Если ты нивам велишь золотиться в морозную пору,
Вызовет в поле жнецов зима, повелишь винограду
Ты наливаться весной, в тот же час на цветущих лужайках
Грязный пойдет винодел топтать виноградные гроздья,
И подчинится вся смена времен божественной воле.
Этому веру дает несомненную древность и давних
Племя былое отцов, и этим вовеки нимало
Не умаляется мощь твоих знамений, посланных с неба.

Только немногое я поведать из этого смею
В повествованьи моем и, с душевным волненьем и страхом
В чащу лесную входя, коснусь я лишь нескольких веток.
Ибо, имей человек даже сотню уст и железный
Голос в груди, чтобы сто словес из нее вылетало,
Кто рассказал бы о всем, что числом своим превышает
Светлые звезды небес и влажные моря песчинки?
Долгую жизнь заслужил Енох [2], после Хаоса первый.
Много бесчисленных лет и веков довелось ему видеть,
Меру прейдя естества, земным уделенную тварям,
Но поразилась и смерть, что рожденный ей не достался.
Немощным стало нутро одряхлевшей от старости Сары [3],
Долгие годы ее истощили, детей не давала
Ей охладевшая кровь в ее увядающем теле.
Старше еще был и муж, но вот ее вялое чрево
Вздулось, она понесла и, от бремени в лоне холодном
Страхом объятая мать надежду великого рода,
Сына родив, наконец, его собственной грудью вскормила.
Богу его посвятил родитель в жертву, но овна
Вместо него заколол священного на всесожженье.
Свят был сей праведный муж: он, высшей любовью объятый,
К сыну любовь превозмог и заклать его не усомнился.
Ведал он Бога завет, предвещая, что помощь в грядущем
Жертвы пасхальной придет и спасет, свою кровь проливая,
Весь человеческий род добровольной кончиною Агнец.
В день, когда Лот [4] покидал Содом, обреченный на гибель,
Стала столпом соляным супруга его, оглянувшись.
Кару она понесла заслуженно, ибо не может
Быть спасенным никто, кто, гибельный мир покидая,
Взоры назад обратит, и, достойною занят работой,
Пахарь осматривать вновь начнет борозду, обернувшись [5],
Некогда куст пламенел терновый, огнем не палимый,
И, не сгорая, горел, а пожаром объятые ветви
Не были пищей ему, и ствол его жив оставался,
Не погибая в жару, но, листву его дружески грея
И обнимая ее, лизало могучее пламя.
Посох покорный змеей непокорною ожил и сразу,
В кольца свиваясь, пополз и, тройным языком угрожая,
Вздулся в чешуйчатый горб и, змей неприятельских разом
Пастью своей поглотив, снова сделался тростью сухою.
Моря лазурь раздалась, и проход в ней открылся свободный
Между водой по бокам оголенного дна без обычных
Волн, покрывавших его, и всею толпой пешеходы
Посуху морем идут вперед по пучине безводной,
Как между мраморных стен по чуждой ступая дороге.
Необычайным путем проходя глубиною морскою,
Подготовлялся народ тогда уже к тайне крещенья:

Руководил им Христос. Возглашает пророк: над водами
Многими Господа глас раздается. А глас — это слово,
Слово же — это Христос, по согласным законам заветов
Правивший ими и путь открывший чрез древнюю бездну,
Чтобы учение впредь по открытым полям проходило.
Что расскажу я о том, как несметные толпы сбирали
Ангельский хлеб с небеси, с облаков изливавшийся нектар,
Как насыщался народ воздушною сладкою пищей,
Корм от дождей находя и еду получая из ливней?
Мучиться стало опять томимое жаждою войско
При истощеньи земли от засухи долгой, и вовсе
Не было в почве воды, и надежда не только напиться,
Но даже выжить ушла, как вдруг из утеса сухого
Хлынул источник, струя по скале побежала безводной,
И напоил всех родник, из бесплодного мрамора выйдя.
Оживлены были все священным, таинственным даром:
Хлеб от Христа, и в камне Христос, и влага Христова.
Ангела видя, уста отверзла со страха ослица
И седоку, заревев своим зычным голосом, стала
Как человек говорить бессловесная эта скотина.
Над Гаваоном свой бег задержало на небе солнце
И отложило закат, неизменно пылая лучами
Дольше обычного днем, и луна, в нарушенье порядка,
Медлила, стоя дотоль, пока враг уже не был осилен
С помощью неба в бою, разъяренным мечом истребленный:
Видно уж было тогда светилам послушным, что имя
Войска вождя предвещает приход Иисуса грядущий.
Вороны встарь Илию кормили, как верные слуги
Пищу ему принося, не так, как хищная птица
Делает, глотку себе набивая прожорливым клювом,
Но, и голодный, еду доставлял ему в целости ворон,
Верный теперь Илии, неверный ранее Ною [6],
Он искупил на земле былой свой проступок на водах.
Но еще больше чудес Илия, преисполненный Бога,
Миру явил и своей достойным наследником сделал
Собственной доблести он своего неизменного друга,
По вознесеньи своем на объятой огнями четверке,
Не оставлявшей следов на дороге к небесным светилам.
Звездным он мчался путем, стремясь в колеснице блестящей
Истины высшей достичь, и был он торжественно встречен
На небе, не испытав кончины, положенной людям.
Так получил Илия заслуженно высшую почесть
На светоносной тропе по достоинству имени, ибо
Им он прославлен навек: если в нем изменить ударенье
В букве одной, то оно означает по-гречески солнце [7],
Некогда Бог пожалел царя перед самой кончиной [8]
И, милосердно ему еще три пятилетья добавив

Волей своей, затворил он ворота, отверстые настежь
Смерти, и жизнь повернул ему от заката к восходу.
Брошенный в море с ладьи и китом поглощенный Иона [9]
Заживо в море отнюдь не погиб, не могилу нашел он,
Бывши от смерти спасен в глубинах звериного чрева,
Где не добычею стал, но по волнам безмерной пучины
В землю чужую приплыл, принесенный враждебною силой.
Духом небесным дыша, нечестивый обряд вавилонский
Презрели трое мужей и жестоко подвергнуты были
Муке погибельной все халдейского волей тирана:
Ахеменийскою он разожжен был яростью гневной,
Печи сильнее своей, в которую отроков ввергли.
Но не осилил костер их пылко горящего сердца:
Одолевают они огонь измышленной кары
Духа гореньем. О, сколь прославлены верные! Пламя
Огненной печи огнем потушено пламенной веры [10],
Но поразила царя свирепого должная кара [11],
Бесчеловечно презрев благочестие, он, нечестивец,
Начал, подобно скотам, кормиться травой полевою
И, позабыв о дворцовых пирах, наедался он сеном;
Пил, припадая к ручьям до конца семилетнего срока;
Весь волосами оброс и блуждал по лесам и нагорьям.
Ярости той же полны повеления Дария были.
В гневе неистовом он громоздил на злодейства злодейства
И Даниила обрек неповинного, светоч евреев,
На растерзанье зверям голодавшим, но праведник диких
Сделал ручными: они святого не тронули тела,
Голод покорно стерпев; их жестокая злоба, унявшись,
Стихла, свирепая пасть забыла природную лютость,
И на добычу напасть укрощенные львы не посмели [12].
Где ж после этого все твои, природа, законы?
Кто столько раз нарушал права твои [13], чьим повеленьем
Ада не знал человек? Кто без мужнего ложа старуху
Плодною сделал; велел на алтарь добровольною жертвой
Овну пойти, а тело жены превратиться заставил
В столп соляной; допустил пожаром охваченным веткам
Не загораться в огне; кто посох сделал змеею;
В море сухую провел дорогу; чудесно из тучи
Манну излил; из скалы исторгнул водный источник;
Четвероногому дал говорить человеческой речью;
Ход светил задержал и суток теченье замедлил;
Птицам кормить приказал человека; на огненных конях
В небо его перенес; уделил отягченному смертью
Три пятилетья; пловца при кораблекрушеньи во чреве
Чудища хищного спас; в огне печи раскаленной
Праведных влагой росы охранил; царя, как скотину,
Пас и травою питал; кто хищные, лютые пасти

Изголодавшихся львов укротил повелением властным?
Это соделал Творец, по слову которого в мире
Явное, тайное всё во вселенной живет и творится,
Всё ему служит, его приказаниям следует строгим,
Всё, покоряясь, ему подчиняется беспрекословно.
Горе несчастным, кто вздор почитают, умом извращенным
Идолов чтят, хоть они изваяны ими, Творцом же
Пренебрегают, страшась того, что сделали сами!
Что за неистовство, что за безумие их обуяло,
Раз или птиц, или гнусных быков, иль извилистых змеев,
Или же полулюдей-полупсов человек обожает?
Ну а другие еще считают в своем ослепленьи
Солнце отцом всех вещей, ибо ясно, что должною мерой
Свет излучает оно и всё на земле озаряет,
Весь небосвод обегая; хотя по его же движеньям
И переменам огня при его беготне непрестанной
Видно служителя в нем, а не Бога: оно по порядку
То появляется вновь, то опять на закате уходит,
Ночью сменяясь в черед, не всегда оставаясь повсюду.
И не сиял его свет с самого зарождения мира,
Бывшего целых два дня от начала без всякого солнца.
Молятся также луне, хоть и видят ее разрастанье
И уменьшенье; звезда́м, прогоняемым утренним светом.
Эти — источники чтят, а те — очаги, но не смеют
Силы враждебные чтить, чтобы тотчас же жаркое пламя
Не иссушило воды, в борьбе одолев ее капли,
Или ничтожный огонь не угас от источников мощных.
Ставит иной алтари, корням поклоняясь древесным,
Иль учреждая пиры и ветви в слезах умоляя,
Чтобы детей его, дом, дорогой его сердцу, поместье,
Верность супруги, рабов и богатство они охраняли.
Чтишь ты, дубина, дубы, глухим ты кричишь понапрасну,
Просишь ответить немых, они же дома сберегают
Лишь при условии том, что топор из них сделает бревна,
Чтобы могли поддержать они дома стропила и крышу,
Или, в дрова обратясь, стали греть в очагах тебе пищу.
Даже и овощи чтят иные, богов в огородах
В засуху поят водой, убежденные в том, что растенья
Пересадивши к себе, божествам они верные слуги.
Совестно все-таки мне в священном стихотвореньи
Долго нечестье хулить, чтоб терновником нежных я лилий
Не заглушил и не стал подниматься на грядках фиалок
Темнолиловых волчец или заросли цепких колючек.
И заблужденья людей и чудовищ их, право, довольно
Мы осмеяли уже, а вернее оплакали горько.
Начатый путь продолжать мне отрадно, высокую гору
Одолевая теперь. Поспешим же ко граду, оплоту

Нашей свободы скорей, где блещет, лучами сверкая,
Царского купол дворца, где всем воздают по заслугам.
Ищущий там обретет искомое, сняты засовы
Будут; тому, кто стучит с чистым сердцем, отворятся двери.
Камень отвергнутый там: собой завершает он высший
Угол и нашим очам являет дивное чудо —
Бремя его легко, отрадно нести его бремя.
Я изложил чудеса, что соделаны некогда были
Доблестью Сына Творцом при содействии Духа Святого,
В том же порядке, в каком идут они в Ветхом Завете.
Я излагаю теперь чудеса, что соделаны были
Сыном совместно с Отцом при содействии Духа Святого
В том же порядке, в каком идут они в Новом Завете.
Вечно, во веки веков божество остается единым:
Троичен Бог, но един, во Троице неразделимый.
Истинна вера в нее, но спасение этою верой [14]
Арий несчастный отверг, который, кривыми путями
По бездорожью идти попытавшись, во мрачную яму
Рухнул и, вниз соскользнув, провалился в угрюмую бездну:
Разума так же лишен, как и срока заслуженной кары,
Был он и брюха лишен и внутренностей при кончине.
О, сумасшедший, права Отца предвечного смел он
Ко степеням приравнять человеческих почестей бренных!
Плоти закон у людей считает рожденного сына
Меньше отца, да и самый отец был ранее также
Сыном отца своего, а сын теперешний может
Вскоре родителем стать; так из рода в род постоянно
Новые дети идут и дедов число умножают.
Но ведь Господь наш — Христос, и слово, и доблесть, и мудрость,
Целое вкупе с Отцом, и свет, исходящий от света,
Единосущный Отцу, и ему одинаково равный,
Всесовершенный вовек, рожденный, не сотворенный.
Он — всеначало. И как всегда почитается славным
Он во Отце, точно так же Отец во Сыне преславен,
В нем пребывая, а мир — творенье единого Бога;
Не потому, что верховен Отец над собственным Сыном,
Но потому, что верховен Отец в единении с Сыном.
«Я во Отце и Отец мой во мне», говорит он, и также
«Я и Отец едино есма». И Арий «едино»
Должен признать, а «есма» Савеллий принять во вниманье.
Троицу не постигает один, а другой отвергает.
Оба неправы они, хотя и по-разному оба;
Словно сторонники школ различных в напрасных усильях
Руки свои обнажив, они бьются в отчаянной схватке,
Но доказать правоту учений своих неспособны.
Ловки они лишь на то, чтобы спорить, но их рассужденья
Глупы: пред Богом всегда пусты мудрования мира.

Тот многословен, тот скуп на слова, тот стоит, этот ходит,
Любит поплакать иной, а иной заливается смехом.
Разницы нет: все равно и те и другие безумны.
Мы же тем временем путь облегчаем беседою чинной,
Вера, надежда — мои сопутники к высям на кручах —
Мне услаждают восход на гору небесной твердыни.
Вот уж со знаком креста святые трепещут знамена,
Стан уже блещет царя, трубный глас в небесах раздается;
Войску отверсты врата, да входят воители: громко
Вечности дверь вас зовет — Христа эта дверь знаменует.
Здесь золотые дары вы получите жизни бессмертной.
Ибо оружием вы Господним доблестно бьетесь,
Ваша начертана честь на челе. Я же честь и оружье,
Царь благой, у тебя несу как последний носильщик.
Должное место мне здесь уготовь, в стенах сего града
Хижину малую дай, дабы мог обитать по заслугам
Я во священном краю, сопричисленный к сонму блаженных
Граждан, последним из них удостоенный жизни навеки.
Просьба моя велика, но ты ведь великое даришь:
Те унижают тебя, у кого остывает надежда.
Внемли моленью, Христе, ты, который уже умиравший
Мир восхотел оживить и некогда, сшедши на землю
С неба, принять на себя соизволивший плоть человека,
Но, и облекшись во плоть, своей сущности не оставлявший.
Как человек говоря, об этом Матфей повествует,
Марк, аки лев, вопиет, оглашая пространства пустыни,
Точно священный телец Лука возвещает законы,
Гласом орла Иоанн в небеса свое слово возносит [15],
Четверо этих отцов — что четыре времени года,
Хором согласным везде прославляют тебя во вселенной.
Так и двенадцатиглавый венец апостольской славы
Блещет, подобно часам и двенадцати месяцам года,
Неутомимо весь мир в служеньи тебе озаряя.
Помню поэтому я о смертности ветхого мира
И поспешаю достичь жизни новой. Посеявши слезы,
Долгую радость пожну: семена засевая в Адаме
Слезные в горе о них, возликуем мы в радости скоро,
При появленьи Христа снопы наши с поля сбирая.

Драконтий

Африканский поэт конца V в. Блоссий Эмилий Драконтий — один из тех авторов, в творчестве которых отчетливее всего сосуществовали, не смешиваясь, христианская и языческая культура. Христианские и языческие стихи Драконтия в течение долгого времени не только переписывались, но и издавались порознь: первое полное издание, объединившее те и другие его сочинения, появилось только в XX в.

Христианские стихи Драконтия — это поэма в четырех книгах под заглавием «Хвала господу». По содержанию она скорее лирична, чем эпична: сквозного повествования в ней нет, поэт восхваляет милосердие божье к роду человеческому сперва на материале ветхозаветной истории (книга I), потом — новозаветной (книга II), потом — на конкретных примерах покорности божьим велениям (книга III, в которой сопоставляется длинный ряд библейских героев-самопожертвователей, начиная с Авраама, и не менее длинный ряд античных героев-самопожертвователей, начиная с Менекея, Кодра и Леонида,— разумеется, вывод делается в пользу первых), и наконец, на общей картине современной греховности человечества, к которому бог так незаслуженно милосерд (книга IV). Таким образом, поэма легко распадается на отрывочные эпизоды; наибольшей славой из них пользовалось описание шести дней творения в первой книге — в VII в. оно было даже издано отдельно под редакцией испанского поэта Евгения Толедского. Эта часть поэмы приводится нами и здесь. Она обнаруживает любопытные отголоски античной поэзии: при изображении меняющегося облика творимого мира образцом автору служат «Метаморфозы» Овидия, а отдельные мотивы восходят к Лукану (описание змей), Стацию и Клавдиану. Стиль поэмы пышен и многословен, автор изощряется, вновь и вновь разными словами передавая одни и те же мотивы (например, зелень райского сада), поэтому повторения у него не редкость.

Языческие стихи Драконтия — это цикл 10 стихотворений под общим названием «Romulea»: два предисловия в стихах; три декламации — речь Геракла при виде отрастающих голов гидры, размышление Ахилла, выдавать или не выдавать Приаму тело Гектора, и контроверсия с запутанным судебным случаем «О статуе храброго мужа»; три эпиллия — о Гиласе, о похищении Елены и о Медее; и два эпиталамия, один из которых переведен ниже. Здесь стиль Драконтия становится еще изысканнее: он громоздит мифологические

имена и намеки, называет богиню любви в соседних строчках то Дионой, то Венерой, то Кипридой, и изъясняется так метафорически, что без всяких пояснений называет море «синим мрамором», а детей «залогом любви» — в переводе подобные тропы пришлось упростить. Этот пышный стиль позднеантичного барокко уже предвещает культ «темной поэзии» VI в. в Африке и в Тулузе.

В эпиталамий Иоанну и Витуле вставлено сетование поэта на свою горькую долю, в которой он ждет помощи от воспеваемых им родителей новобрачных. Другие подробности на этот счет содержатся в поэме «Хвала господу» и в отдельном стихотворении под заглавием «Оправдание». Из них мы узнаем, что Драконтий, уже известный поэт и судебный оратор, в царствование вандальского короля Гунтамунда (484—496 гг.) был обвинен в государственной измене за то, что сочинил стихи в честь чужого властителя (несомненно, константинопольского императора), попал в тюрьму, вынес пытки, и лишь с большим трудом, при помощи знатных заступников, был освобожден. Более о его жизни ничего не известно.

Кроме перечисленных произведений, Драконтию на основании стилистических признаков с довольно большой достоверностью приписываются еще два произведения языческого цикла: эпиллии об Оресте («Трагедия Орест» — т. е. «поэма на тему, обработанную трагиками») и о юноше Пердике, по воле Венеры влюбившемся в свою мать и скончавшемся от любви («Болезнь Пердики»).

ИЗ ПОЭМЫ „ХВАЛА ГОСПОДУ"

(КНИГА I)

Разве не чтит человеческий род творящего бога?
В день шестой сотворенный, не стал ли он, волею божьей,
Ныне владыкой всего, что создано в пять предыдущих?
В первый из дней был свет сотворен и тьма расточилась.
Свет был раньше небес, свет — ясного дня зачинатель,
Свет — сияние сфер, свет — грань для сумрака ночи,
Свет — природы лицо, свет — вождь в хороводе стихийном,
Свет — всех красок отец, свет — ясного солнца подарок,
Свет — украшение звезд, свет — желтой луны полумесяц,
Свет — зарница небес, свет — мира святое начало,
Свет — пыланье огня, свет — вестник великого срока,
Свет — первозданье творца, свет — ключ целомудренной жизни,
Свет — земледельцам привет, свет — страждущим ласковый отдых,
Свет — половина времен, свет — мера течению суток,
Свет поставил в начале вещей творимого мира
Славимый нами господь всеблагой, безупречный создатель.
Света сего не затмит ночной угрожающий сумрак,
Свету сему раскрывается все, что деется в мире;
Света творец сам светом явил начало творенья:
Свет в начале явив, дал светлую людям надежду.

В свете покоится мир — и свет предшествовал миру,
Солнца путям круговым и блеску его огневому,
Ибо светом господь осиял все творенье господне
День второй покатую твердь изгибает над миром.
Мощным потоком под ней разливаются горние реки —
И потекли благодетельных вод круговые потоки
Там, где в своде небес пылает эфирное пламя.
Трижды блаженна вода, заключенная в своде небесном,
Ибо воздвиг и вознес ее к высям господь-громовержец!
В смежных пределах своих замкнулися обе стихии:
Влага не гасит огня, и огонь, пламенеющий в тверди,
Водному хладу не враг: сохраняют и тот и другая
Цельной природу свою, покорны господним уставам,—
И нераздельны они, и неслитны вовек пребывают.
Третий день распростер морей лазурные глади:
Мир захлестнул седой океан необъятным разливом,
164 И судоносная зыбь всколебалася пенной волною.
151 Этот же день явил из воды и твердую сушу:
Встала над морем земля, разделяя безмерные хляби,
В шар сплотилась она и повисла в пустынном пространстве.
Неба кружащийся свод осенял ее, воды питали —
Быстрая влага несла основанья для будущей суши,
И оседали они, сухие, из водной утробы,
В землю — покуда не мать. Рассыпался песок по песчинкам,
Глина слипалась в комки, тяжелели булыжные камни,
Горы вставали стеной, прорезались глубокие реки,
Распростирались равнины, дугой выгибались заливы,
Нагромождались бугры, щетинились грозные скалы.
Круто взлетал неприступный утес, опускались долины,
163 Их окружали холмы, возвышаясь гряда за грядою,
165 И, за отрогом отрог, межевались луга по низинам,
А у подножий ложились поля, орошенные щедро.
Зеленью всходит трава, пробиваются к свету побеги,
Свежей одета листвой, зеленеет младая олива,
Зреют плоды на ветвях впервые родящих деревьев,
Лавр награду растит красноречью грядущих поэтов,
Плющ, извиваясь, ползет, и лозы кистятся кистями,
И раскачавшись, как бич, ударяют по пальмовым веткам;
А виноград, обвивая кусты, покрывая поляны,
Брызжет соком хмельным из низко свисающих гроздьев.
Все цветет и дышит вокруг земным ароматом,
Но хоть земля и одна, дыханье ее многовидно —
Сколько трав и цветов, столь много и благоуханий!
Мир в цвету, как Индия, был богат и роскошен:
Соки по травам текли, первородным гонимые солнцем.
Есть в подсолнечной сад, четырьмя орошенный реками,
Весь распестренный цветов амброзийных ковром многоцветным,

Благоухающий запахом трав, увяданья не знавших, 63
Божьей земли вертоград, совершеннейший всех вертоградов.
Здесь не сменяется лето зимой, здесь год многоплоден,
Здесь многоцветна земля, разукрашена вечной весною,
Здесь, словно хор, деревья стоят в одеяньи веселом;
Сучья в свежей листве сплелись тенистой стеною,
Всех деревьев плоды свисают бременем с веток,
И на траве врассыпную лежат. Ни жгучее солнце
Не опаляет тех мест, ни ветры его не колеблют,
Ни налетающий вихрь коварной неистовой бури;
Этой земли ни лед не скует, ни град не изранит,
И не покроет лугов сединою морозною иней.
Нет, здесь воздух так ласков и свеж, он нежным дыханьем
Веет от ясно струящихся вод господнего сада,
Кудри деревьев легко шевелит, и в ответ дуновеньям
Ходит под деревом тень от трепещущих веток и листьев,
Зыблется зелень-краса и кивают плоды налитые,—
Ибо весна, вековечно царя, укрощает порывы
Ветра, и листья щадит, и плодам доспевать позволяет.
Пчелы, и те без труда здесь лепят ячейки из воска —
Каждое дерево здесь медвяным нектаром дышит,
Он проступает росой, он каплями капает в листья,
Словно в раскрытые чаши, суля исцеленье болящим...[1]
Вот и заря четвертого дня взошла над волнами,
И заалел небосклон стыдливым румянцем рассвета.
Тут-то солнце зажглось, лучась сияющим шаром,
И заливая весь мир живительным пламенем света:
Все улыбнулись стихии навстречу живящему жару.
Вслед за солнцем взошла и луна, его порожденье,
Черные сумраки тьмы спеша расточить и рассеять,
Трепетный свет и сладкий покой неся мирозданью.
Небо ночное ясней, когда полумесяц дремотный
То округлится сполна, то вновь становится узким.
И, наконец, просиял небосвод многозвездным убранством:
Каждая в небе звезда обрела назначенье, названье,
Место в эфире свое, восходы свои и закаты,
Меру свою и предел, свой огненный блеск и сверканье,
Свой предназначенный путь в окружностях горнего неба.
Нет их сонму числа, и свет их пламенно-ясен,
Но неспособны они затмить сияние солнца,
Тонут они в потоках лучей дневного светила,
Меркнут, скрываясь из глаз, сколь ни светлые,— так светозарно
Солнце, которое мир из безмерного делает зримым,
Солнце, живящее жаром своим небо, море и сушу,
Божьих творение сил,— то солнце, которое ходит
В двух полушариях сферы небес, покорствуя богу,
Богу, что движет миры и над ними грохочет громами,

Божьему слову служа, по божьему движась уставу,—
Солнце, воитель господень, который и месяц и звезды
В небо ведет молодое над миром, впервые весенним,
С этого раннего дня и впредь на вечные веки.
В пятый день явились на свет живые созданья.
Струи воды сплотилися в плоть, натянулися в жилы,
Влага мышцами стала, теченье застыло костями,
И заблестели глаза, как капли, замерзшие льдинкой.
Сколько струек в воде, столько рыбок выплыло в море,
Резвой игрой веселясь в его бескрайней лазури,
И от подводного их дыханья волна зарябила.
А для еще не рожденных зверей, насельников суши,
Пищей готовые стать, взлетели пернатые птицы,
Шумом плещущих крыл наполняя отзывчивый воздух
И оглашая его разногласным, но сладостным пеньем,
В коем звучала хвала создателю птичьего рода.
Каждой птице — свое оперенье: одна в белоснежных
Перьях, та в багреце, а третья в шафранном наряде,
Золотом блещет четвертая, в искорках крылья у пятой,
А на груди и на шее горит переливчато яхонт.
Эту — пышный хохол украшает, ту — звонкое горло:
Видом невзрачна она, но пенье прекраснее перьев.
Ровный цвет у одной, у другой — разноперый и пестрый,
С птицы на птицу бежит разноцветный узор оперенья,
И на воздушных струях распластаны мощные крылья.
День шестой листву на ветвях и траву меж цветами
Выметал, и пронизались поля остриями колосьев,
Лес зеленеет в весенних кудрях, шумливые гнезда
В сучьях таятся, и крик щебетливый летит отовсюду.
Крыльями воздух пичуги не бьют, не парят в поднебесье —
Крепко в листьях засев, колышутся с листьями вместе,
Не выпуская из цепких когтей упругую ветку.
Роща весенним теплом зовет их лелеять потомство:
В гнездах, пригретые ими, твердеют круглые яйца,
В них созревают птенцы, пушатся, дышать начинают,
Клювом стучат, трещит скорлупа, птенец подрастает,
Кормится, рвется в полет и неловкими крыльями машет...
Мир, как пастбище, был, но пастись на нем некому было,
И на цветущих лугах без пользы бы старились травы,
Если бы матерь-земля скота для пастьбы не родила.
Вот молодые бычки наставили свежие рожки,
Бык пошел по полям, а за ним — послушная телка,
Быстрый помчался олень, потрясая ветвистой красою,
И легконогий конь, товарищ грядущих сражений.
Вышли свирепые львы из недр земли беспощадной,
И простодушные овцы, коварным волкам на поживу,
И за трепещущей ланью хрипящие псы устремились.

Вепрь, напенивши пасть, вострит свой клык смертоносный
И, раздувая бока, замышляет жестокую драку —
Чтоб из утробы своей изгнать массилический голод [2]
Или чтоб вепрь-соперник к нему не нагрянул войною.
Все породы скотов и все породы животных
По первозданным лугам кочуют, никем не хранимы.
Ходят звери, горам подобные ростом и видом,—
Вот гадюка шипит и ядом капает с десен,
И по расщелинам скал чешуею пятнистою вьется;
Губит дыханьем она: еще не коснувшись зубами [3],
Свистом шипящим одним она сеет мгновенную гибель;
Но из нее же зато и целебное варится зелье.
А для того, чтоб не все против всех, не всегда и повсюду
Бились, Господь указал для каждого место и время.
Обуревает их буйная ярость, но в разную пору —
Лев не вечно свиреп, скорпион ядовитое жало
Взносит не вечно, грозясь, не вечно смертельны укусы
Змей, и не вечно дракон, изгибаясь, готовится ранить.
Волны морские не вечно шумят, не вечно на сушу
Льется солнечный зной; жар слабеет от времени года
И от земной широты, а море от срока до срока
Тоже смиряет валы, и зыбь сменяется гладью.
Небо — и то не всегда грозит нам грохочущим громом:
Тучи уйдут, и в тиши чередой выплывают светила...
...Всем созданьям венец — существо, одаренное мыслью,
Обликом бог и достоинством бог, творится из глины:
В мир он приходит царить, но сам он — смиреннейший в мире.
Он над природою царь, над природою, все породившей,
Сам же он не был рожден ни землею, ни влагой морскою,
Ни небесами, ни звездным огнем, ни воздухом чистым,—
Нет, владыка-творец владыку творимого создал,
Член за членом слепив его тело из дольнего праха,
Персть, не имевшая вида, сплотилась в телесную форму,
Обликом став человек, а образом — божье подобье.
Тело сие без души пребывало недолгое время,
Но дуновение вдруг пробегает по глиняным членам,
И согревается алая кровь, наполняя предсердье,
Всходит румянец к щекам, становится розовой кожа,
В плоть превращается прах, вся кость наполняется мозгом,
И как колосья в полях, прорастают на темени кудри.
Вот из темных глазниц замерцали жемчужные очи,
Вот из сплетений грудных издает создание голос,
Радостно славя творца за радость быть сотворенным;
Вот он обводит глазами вокруг — дивится, как пышно
Цветом покрыты поля, дивится, как чистые воды
Рек четырех, волнами звеня, струи завивая,
Льются в зеленых брегах по полям и под сенью дубравной,

И на себя самого дивится: и кто он, и что он,
Хочет спросить в простоте, а к кому обратиться, не знает,
И для чего он живет, и за что получил в обладанье
Мир и обитель сию средь цветущего царства природы...

ЭПИТАЛАМИЙ ИОАННУ И ВИТУЛЕ

Ныне хочу я, певец, опьянеть идалийскою песней [4],
Брачный восславив чертог благородного Фабиев рода.
Если бы этот удел дала мне благая Фортуна —
Я бы достойным себя показал и ушел бы с победой.
Вновь бы я к жизни воскрес, возродившись не телом, но духом,
И воспевал Иоанна и Витулы свадебный факел,
Лавром кудри увив и миртом чело украшая.
Я бы поведал о том, как властительны брачные клятвы,
Как на любовный их зов нисходит благая Венера,
Вслед за собою ведя хороводы Амурова войска.
Юный Амур! Он нежен, жесток, самовластен и ласков,
Он молчалив и речист, он миролюбив и воинствен,
Гол и вооружен, зол и мягок, неистов и кроток,
Сеет любовь на лету, оттого он и дорог Венере.
Всем он знаком: не его ли стрелой Ахилла родитель,
Славный потомок Эака, вспылал любовию к нимфе? [5]
И не его ли огнем горел Аполлон-словодержец,
К Дафне любезной стремясь, а Вакх, индийский владыка,
Ясное видя лицо диктейской возлюбленной девы?
И не от этих ли стрел вскипело неистовство страсти
В Марсе, когда, возжелав белорукую деву-весталку,
Римлянам он подарил на вечные веки Квирина,
Ради него собравши богов в надзвездном сенате?
Ах, тому, кто томится в тюрьме, не к лицу песнопенья!
Но и молчать в столь праздничный день не пристало поэту.
Пусть же правдивую песню мою здесь отроки грянут,
В лад руками плеща, пусть нежные девы ударят
Бубнам в грубое дно, и пусть дуновенье дыханья,
Движимо легким перстом, прозвучит по скважинам флейты;
Пусть мусический плектр [6] коснется струны сладкозвонной,
Вслед людским голосам звуча говорливою лирой.
Пусть библиады сатирам, а нимфы дадут гименеям [7]
Руки, пусть в хоровод дриады пойдут и напеи,
Пусть ореады и фавны, вакханты и девы-наяды
Соединятся по воле Амура, под властью Дионы!
Пан козлоногий на дудке двойной подыграет припрыжке,
Пьяный Силен с осла своего кивнет благосклонно,
Пусть поцелуй с поцелуем сливается в розовых губках,
Жилы поют, и язык небывалые шепоты учит,

А шаловливый зубок прикусом живит наслажденье.
Нежная грация пусть сплетает весенние стоны,
Пусть целомудрие чистое, строгого мужа отрада,
Пестрые рвет цветы по лугам и венки завивает,
Лилии в них сочетав с гиацинтом, фиалкой и розой,
Пусть ее щеки горят розоватым жемчужным румянцем,
Пусть в ее сардском меду кипят ситифийские травы[8] —
Так идалийский юнец сливает усладу с отравой,
Роза шипами грозит, в сиропе таится лекарство,
И защищает пчелиное жало пчелиные соты.
Так же и девичий стыд — не схлынет он раньше, чем дева
Ногти супругу в лицо не вонзит, охраняя невинность,
И не почует сама, что кровавою ранена раной —
В первый раз причастившись священному пламени жизни.
Так вчерашние дети становятся взрослыми ныне,
Так человеческий род соблюдает закон вековечный.
Пусть же на них, новобрачных, прольются несчетные блага —
Столько благ, сколько пальм осеняют их свадьбу ветвями!
Пусть седовласая Честь, и Верность, и чистая Радость
Легкие руки сплетут в ожидании скорых потомков.
Вот и Юнона спешит, благие блюдущая браки,
С нею нисходит на зов прядильщица шерсти, Минерва,
Вместе справят они торжество святое Дионы.
Юноши, пойте о них! Подпевайте, юные жены!
Вторьте, отроки, в лад, и нежные отроковицы!
Пойте о них, ветераны любви, почтенные старцы —
Кто не поет о любви, тот еще не расчелся с любовью,
Ибо и белых седин не щадят Купидоновы стрелы.
Я же, увы, в темнице моей не в силах настроить
Лиру и песнь завести (ведь песни меня и сгубили!) —
И вдалеке я томлюсь от песен любезной Киприды,
Полон сомнений, тревог, смятенья, отваги и страха.
Так усталый от битв, на покой удалившийся воин
Весь рубцами покрытый, лелеющий томные раны,
Стоит ему услыхать боевые зовущие трубы —
Боль проходит, гнев приходит, рубцуются шрамы,
Вновь занимается дух боевой, он рвется к оружью,
Дух боевой целебней лекарств, он к Марсу взывает,
И от грохочущих труб наливаются силою члены.
Или как резвый скáкун, к ипподромному призванный бегу,
След круговой оставляющий в быстрокопытном полете,
Баловень шумных побед, опьяненный стремительным скоком,
Слишком умчится вперед, окутанный облаком пыли
Из-под сверкающих спиц, под пенье оси колесничной,
Вдруг сбивается с ног, на него налетают колеса,
Пыл обращается в боль, друзья и враги на трибунах
Стонут и плещут, кипя, а коня уже тащат в конюшню;

Но лишь услышит опять он колеса, и конское ржанье,
И рукоплещущий цирк от первых рядов до последних —
Тотчас уши насторожит и вытянет шею,
Тотчас понурую голову вскинет и весь затрепещет,
Оземь копытами бьет, оглашает ржанием стойло,
Землю у ног своих орошает брызгами пены,
Ищет зубами удил, забывает минувшие раны,
Рвется из стойл и бросается вскачь в запоздалом порыве.
Или как певчая птица, попавшая в тайную петлю,
Звонким пеньем своим оглашавшая некогда рощу
И услаждавшая слух земледельцев в их тяжких работах,
Вмиг замолкает в плену, тоскуя глубокой тоскою
О миновавшей свободе, о роще, о воздухе вольном,
Наглухо в горле замкнув трепетанье певучего звука;
Если же вдруг заслышит она щебетанье подруги —
Песня рвется на свет из пленной груди, как из вольной,
Словно поет она, сев на суку в зеленой дубраве;
Но и в такой ее песне звучат стенания жалоб.
    Вот таков же и я: из темницы взирая на праздник,
Скромную песню свою сплетаю возлюбленной паре,
Чтобы бряцанием струн прославить два славные рода.
Понтифик Оптатиан и товарищ его Статулений,
Оба — мужи, непорочные нравом, смиренные духом,
Благочестивые сердцем священнослужители храма,
Оба — доверьем сильны в высоких дворцовых палатах:
Первому тайны свои Палатин доверяет лацийский [9],
И посвящен второй в святыни данайского дома.
Кровь их родов сочетается днесь — да будет ей благо!
Как не лелеять мечту, что от этого знатного брака
Выпадет милость и мне, певцу, одетому в тогу?
Мне ведь в доле моей больнее всего от сознанья,
Что меж такими людьми не вспомнил никто о поэте,
Скрытом в мрачной тюрьме. Но если меня и терзают
Беды мои, то и вам забвение ваше не в радость:
Вам наказание — стыд, сотрясающий тело и душу,
Стыд, что с вашим умом и с вашей изысканной речью
Вы позабыли певца, презрев его скромную музу.
Много ли проку — спасти от смерти того, кто истерзан,
Чтобы оставить его в тюрьме умирать постепенно?
Невелико преступленье, которым навлек я немилость,
Но злоязычье людское меня клеветой уязвило,
Преувеличило зло и из легкого сделало тяжким.
Вместо того, чтоб прощенье обресть, обрел я гоненье,
И обратилася в гнев достохвальная царская милость.
Но всемогущий господь умягчает сердца властелинов
И милосердьем своим их учит прощенью и миру.
Что ж? когда от царя получу я прощенье и волю,

Между тем как ваши уста промолчат бесполезно,—
Кто же ваши тогда сохранит имена для потомства?
Но не хочу печально кончать я брачную песню —
Лучше о том я шепну, что сделает матерь Диона,
Свадебный кончив обряд и готовя отплытье в Каралы [10].
Вступит она в Эолов чертог, и умолит владыку
Бурные ветры унять над лазоревым мрамором моря,
В парус попутно дохнуть и направить морские теченья
Так, чтоб достигнул корабль невредимо сардинских пределов.
И не откажет Эол законной Кипридиной просьбе:
Двинется в путь по волнам в одеянии пышном Венера,
Следом за ней — тритоны-юнцы и нифмы морские,
Пенный хор нереид, и питомцы старинного Форка [11] —
Рыбы подводных пучин, и с ними киты-исполины;
Выплывут из глубины чудовища недр потаенных
И понесутся, резвясь, по вскинутым пенистым гребням.
Вот среди них Галатея, верхом на игривом дельфине,
Брызнет соленой росой струистой волны на Нептуна,
Бог встряхнет бородой, и смехом зальется Диона.
А легкокрылый Венерин стрелок, паря над зыбями,
Сеет розы в волнах и пускает огнистые стрелы
В поезд богини любви, и холодные синие воды
Пламенем жарким горят, и стихии приветствуют свадьбу.
Полно! Песне конец; а о чем промолчал я сегодня,
В должный о том я поведаю срок для любезных потомков.

Максимиан

Максимиан Этрусский — поэт, имеющий немало оснований притязать на столь удобное для историков литературы звание «последнего поэта языческой античности». Он жил в первой половине VI в.; жил в Италии, а не в провинции, как его африканские поэты-современники; писал в традиционном жанре элегии и в традиционном стиле элегии — настолько традиционном, что когда в 1501 г. его стихи были найдены и опубликованы, то издатель решил, что в его руках стихи первого римского элегика Корнелия Галла; наконец, содержание его стихов прямо-таки символично для «заката античности» — это непрерывные воспоминания и рассуждения о миновавшей юности и горькой бессильной старости.

Максимиан происходил из этрусского рода (об этом он дважды упоминает в переведенной нами элегии — в ст. 5 и 40). В другой элегии он говорит, что жил в Риме, был известным судебным оратором и смолоду получил славу как поэт. Его покровителем был знаменитый Боэтий, «изыскатель глубоких предметов», как его величает Максимиан. В третьей элегии поэт описывает, как когда-то впервые влюбился в девушку-сверстницу, но природная робость и сопротивление родителей мешали их встречам, как Боэтий, узнав об этом, рассмеялся и по доброте душевной устроил им возможность видеться, и как тотчас по исчезновении препятствий всякое желание покинуло их сердца, они расстались, а Боэтий дружески поздравил его с первой победой над любовной страстью. По-видимому, Максимиан занимал высокое положение при дворе остготских королей (его имя упоминается в переписке Кассиодора), а в преклонном уже возрасте он возглавлял посольство к Константинопольскому двору (к сожалению, дата этого посольства неизвестна); с упоминания об этом посольстве начинается переведенная нами элегия.

Максимиан оставил небольшой сборник из шести элегий: первая содержит общие скорбные рассуждения о былой юности и печальной старости; вторая посвящена некоей Ликориде, которая больше не хочет любить седого поэта, хоть и сама уже седая; третья (пересказанная выше) и четвертая — воспоминания о юношеских любовных приключениях; пятая, переведенная нами, представляет собою кульминацию этого контраста молодых желаний и старческого бессилия; шестая служит кратким эпилогом. Из этого обзора видно, что главным в элегической традиции для Максимиана была эротическая топика,

которую он всячески использует и развивает. В частности, наша элегия начинается как подражание самой откровенной из «Любовных элегий» Овидия (III, 7 — о приступе бессилия), но средняя часть элегии с ее «погребальным плачем» по фаллу (смягченном в переводе) уже выходит из всяких овидиевских рамок, а заключительная часть, рисующая космическую мощь плотской любви, достигает почти религиозного пафоса. Именно это искусство разработки и гиперболизации традиционных мотивов делает Максимиана поэтом и позволяет рассматривать его стихи как настоящую поэзию. Любопытно, что так ценили его уже в средневековье: его элегии усердно читались и изучались в средневековых школах, несмотря на самое, казалось бы, неподходящее для школьного чтения содержание.

ЭЛЕГИЯ V

Послан когда-то я был государем в восточную землю —
Мир и союз заключить, трижды желанный для всех.
Но между тем как слагал я для царств условия мира,
Вспыхнула злая война в недрах души у меня.
Ибо поймала меня, потомка этрусского рода,
В сети девица одна греческим нравом своим.
Ловко делая вид, что она влюблена в меня страстно,
Этим пленила она: страстно влюбился я сам.
Часто ко мне под окно она по ночам приходила,
Сладко, невнятно звучал греческих песен напев.
Слезы лились, бледнело лицо, со стоном, со вздохом —
Даже представить нельзя, как изнывала она.
Жалко мне стало смотреть на муки несчастной влюбленной,
И оттого-то теперь жалок, несчастен я сам.

Эта девица была красива лицом и пристойна,
Ярко горели глаза, был изощрен ее ум;
Пальцы — и те у нее говорили, и лира звенела,
Вторя искусной руке, и сочинялись стихи.
Я перед нею немел и, казалось, лишался рассудка
Словно напевом сирен завороженный Улисс.
И, как Улисс, ослеплен, я несся на скалы и мели,
Ибо не мог одолеть мощи любовных искусств.
Как рассказать мне о том, как умело она танцевала
И вызывала хвалу каждым движением ног?
Стройно вились надо лбом завитками несчетными кудри
И ниспадали волной, белую шею прикрыв.
Воспламеняли мой взгляд упруго стоящие груди —
Каждую можно прикрыть было ладонью одной.
Дух трепетал при виде одном ее крепкого стана,
Или изгиба боков, или крутого бедра.
Ах, как хотелось мне сжать в объятиях нежное тело,

Стиснуть его и сдавить, так, чтобы хруст по костям!
«Нет! — кричала она,— ты руками мне делаешь больно,
Слишком ты тяжко налег: так я тебя не сдержу!»
Тут-то я и застыл, и жар мои кости покинул,
И от большого стыда жилы ослабли мои.
Так молоко, обращаясь в творог, истекает отстоем,
Так на текучем меду пена всплывает, легка.
Вот как пал я во прах — незнакомый с уловками греков,
Вот как пал я, старик, в тусской своей простоте.
Хитростью Троя взята, хоть и был ей защитою Гектор,—
Ну, а меня, старика, хитростью как не свалить?!
Службу, что вверена мне, я оставил в своем небреженье,
Службе предавшись твоей, о жесточайший Амур!
Но не укор для меня, что такою я раною ранен —
Сам Юпитер, и тот в этом огне пламенел.

Первая ночь протекла, отслужил я Венерину службу,
Хоть и была тяжела служба для старческих лет.
А на вторую — увы! — меня покинули силы,
Жар мой угас, и опять стал я и слаб и убог.
Так; но подруга моя, законной требуя дани,
Не отставала, твердя: «Долг на тебе — так плати!»
Ах, оставался я глух и к крикам и к нежным упрекам:
Уж чего нет, того нет — спорить с природой невмочь.
Я покраснел, я оцепенел, не мог шевельнуться —
Стыд оковал меня, страх тяжестью лег на любовь.
Тщетно ласкала она мое охладевшее тело,
Тщетно касаньем руки к жизни пыталась воззвать:
Пальцы ее не могли возбудить того, что застыло,—
Холоден был я, как лед, в самом горниле огня.
«О! — восклицает она,— неужели разлучница злая
Выпила всю у тебя силу для сладостных битв?»
Я отвечал ей, что нет, что сам я казнюсь, угрызаясь,
Но не могу превозмочь сладостью скорбь моих мышц.
«Нет, не пытайся меня обмануть! — возражает подруга,—
Знай, хоть Амур и слепой,— тысячи глаз у него!
Не береги своих сил, отдайся игре вожделенной,
Мерзкую скорбь изгони, к радости сердце стреми!
Знаю: под гнетом забот тупеют телесные чувства —
Сбрось же заботы на миг: будешь сильней и бодрей».

Я же, всем телом нагим разметавшись на ложе любовном,
В горьких, горьких слезах вот что промолвил в ответ:
«Ах, злополучнейший я! Я должен признаться в бессилье,
Чтоб не казалось тебе, будто я мало люблю!
Не заслужило мое вожделенье твоих порицаний —
Нет, только немощь моя наших несчастий виной.

Вот пред тобою оружье мое, заржавелое праздно —
Верный служитель, тебе в дар я его приношу.
Сделай, что в силах твоих,— вверяюсь тебе беззаветно:
Если ты любишь меня, сможешь ты сладить с врагом».

Тут подруга моя, вспомнив все ухищрения греков,
Ринулась — жаром своим тело мое оживить.
Но увидав, что предмет любви ее мертв безвозвратно
И неспособен восстать к жизни под бременем лет,
С ложа вскочила она и бросилась снова на ложе,
И об утрате своей так зарыдала, стеня:
«Труженик нашей любви, отрада моя и опора,
Лучший свидетель и друг праздничной нашей поры,
Ах, достанет ли слез оплакать твое униженье,
Песню сложу ли, твоих славных достойную дел?
Изнемогающей мне так часто спешил ты на помощь,
Огнь, снедавший меня, в сладость умел превратить;
Ночь напролет на ложе моем мой лучший блюститель,
Верно делил ты со мной счастье и горе мое.
Наших полуночных служб неусыпный надежный участник,
Свято хранил ты от всех тайны, что ведомы нам.
Ах, куда же твоя расточилася жаркая сила,
Сила ударов твоих, ранивших сладко меня?
Ныне ты праздно лежишь, совсем не такой, как когда-то,—
Сникнув, опав, побледнев, ныне ты праздно лежишь.
Не утешают тебя ни игривые речи, ни ласки,
А ведь когда-то они так веселили тебя!
Да, это день похорон: о тебе, как о мертвом, я плачу —
Тот, кто бессилен вершить долг свой, тот истинно мертв».

Этому плачу в ответ, и жалобам тяжким, и стонам,
Так я, однако, сказал, колкость смешав и упрек:
«Женщина, слезы ты льешь о моем бессильном оружьи —
Верно, тебе, а не мне эта утрата больней!
Что ж, ступай себе прочь, дели со счастливцами счастье:
Много дано вам услад, ты в них хороший знаток».

В ярости мне отвечает она: «Ничего ты не понял!
Дело сейчас не во мне — мир в беспорядок пришел!
Тот, о ком я кричу,— он рождает людей и животных,
Птиц и всякую тварь — все, что под солнцем живет.
Тот, о ком я кричу, сопрягает два пола в союзе —
Нет без него ни жен, ни матерей, ни отцов.
Тот, о ком я кричу, две души сливает в едину
И поселяет ее в двух нераздельных телах.
Ежели этого нет — красота не утеха для женщин,
Ежели этого нет — сила мужчин ни к чему.

Ежели этот предмет не дороже нам чистого злата,
Вся наша жизнь — тщета и смертоносная ложь.
Ты — и веры залог, и тайны надежный хранитель,
Ты — драгоценнейший клад, всякого блага исток.
Все на земле покорно тебе, что высоко и низко:
Скиптры великих держав ниц пред тобой склонены.
Не тяжела твоя власть, но радостна всем, кто подвластен:
Лучше нам раны и боль, нежель немилость твоя.
Мудрость сама, что над миром царит, размеряя порядок,
Не посягает ни в чем на достоянье твое.
Дева, ложась под удары твои, тебя прославляет:
Ей, пронзенной тобой, сладостно кровью истечь.
Слезы глотая, смеется она раздирающей боли,
Рада над телом своим видеть твое торжество.
Ты гнушаешься всем, что скудно, бессильно и вяло:
Даже и в нежной игре мужества требуешь ты.
Служат тебе и разум людской и мышцы людские;
Самое зло, и оно власти покорно твоей.
Тщетно тебя одолеть враждебные силятся силы —
Труд, холода и дожди, ссоры, коварство и гнев.
Нет — и жестокому ты укрощаешь душу тирану,
И окровавленный Марс кроток становится вновь.
Нет — и когда сокрушил гигантов Юпитер перуном,
Ты из казнящей руки ласково вынул перун.
Нет — пред тобою и тигр признает владычество страсти,
Перед тобою и лев станет и нежен и мил.
Мощь необорна твоя, а милость твоя несравненна —
Сладко с тобой победить, сладко тебе уступить.
Даже в бессилье своем ты вновь исполняешься силой —
Снова готов побеждать, снова готов уступать.
Ярость твоя коротка, а нега твоя бесконечна —
Смерть свою духом поправ, вновь оживаешь и вновь».

Это сказав, удалилась она, пресытившись скорбью,
Я же остался лежать, словно мертвец, на одре.

Боэтий

Аниций Манлий Торкват Северин Боэтий родился в Риме около 480 г. и умер в Павии в 524 г. Осиротев после смерти своего отца, принадлежавшего к одной из знатных и богатых римских фамилий, Боэтий, благодаря заботам сенатора Симмаха, на дочери которого он впоследствии женился, получил отличное образование, законченное им в Афинах. Современник Боэтия, историк Кассиодор, в послании, написанном от лица остготского короля Теодориха, говорит, обращаясь к Боэтию: «Так ты вошел в школы афинян, далеко находясь от них, так к сонму одетых в греческие плащи ты приобщил тогу, дабы наставления греков сделать учением римским... Ты передал потомкам Ромула все замечательное, что даровали миру потомки Кекропа. Благодаря твоим переводам италийцы читают музыканта Пифагора и астронома Птолемея, сыны Авсонии внимают знатоку арифметики Никомаху и геометру Евклиду, теолог Платон и логик Аристотель спорят на языке Квирина, и механика Архимеда ты вернул сицилийцам в облачии римлянина. Какие бы науки и искусства ни создала силами своих мужей красноречивая Греция, все их от тебя одного Рим принял на родном своем наречии. Всех их ты сделал ясными посредством отменных слов, прозрачными — посредством точной речи, так что они предпочли бы твое произведение своему, если бы имели возможность сравнить свой труд с твоим» (В. П. Зубов. Аристотель. М., 1963, стр. 225). Войдя в доверие Теодориха, Боэтий достиг высоких государственных должностей и в 510 г. получил звание консула. Но, возбудив своим возвышением зависть приближенных Теодориха, Боэтий был обвинен в государственной измене, ввергнут в темницу в Павии и затем предан мучительной казни. Боэтий был последним римским неоплатоником, ознакомившим средневековых писателей с греческой философией и, главным образом, с логическими учениями Аристотеля. Его учебники по логике послужили основанием преподавания в средневековых школах. Но самым замечательным сочинением Боэтия, в котором проявилось его крупное литературное дарование, было «Утешение Философией» («De consolatione Philosophiae»), написанное им в тюрьме. Это сочинение оказало громадное влияние на мыслителей средневековья и Возрождения, и в частности на Данте, поместившего Боэтия в «Божественной комедии» среди великих мудрецов на небе Солнца («Рай», X, 124—129). Данте в своих сочинениях постоянно ссы-

лается на «Утешение Философией» и пересказывает слова Боэтия. Самый известный из этих пересказов — восклицание Франчески да Римини («Ад», V, 121—123): «Тот страждет высшей мукой, кто радостные помнит времена в несчастии». «Утешение Философией» состоит из пяти книг (или глав) беседы между заключенным в темнице Боэтием и явившейся к нему Философией. По своей форме оно относится к жанру античной «сатуры», т. е. сочетанию прозы и стихов, подобно сатуре Сенеки на смерть императора Клавдия, «Сатурам» Петрония и, наконец, сочинению Марциана Капеллы «О бракосочетании Меркурия и Филологии». По своему содержанию «Утешение Философией» примыкает гораздо ближе к античным образцам, чем к позднейшей христианской литературе. Говоря о непостоянстве земного счастия, о благе, доставляемом человеку добродетельной жизнью, о том, что злой человек всегда несчастен, Боэтий берет свои доказательства из античных источников и ни разу не обращается к источникам христианским. Несмотря на это, католическая церковь не только одобрительно отнеслась к «Утешению Философией», но даже канонизировала Боэтия (под именем Северина) как мученика. Этому способствовала и его мученическая смерть по приказу арианина Теодориха, и его христианско-теологические сочинения, как подлинные (по свидетельству Кассиодора), так и приписываемые ему.

«Утешение Философией», впервые изданное в 1473 г. в Нюренберге, постоянно переиздается и в подлиннике и в переводах на разные языки. На русский язык оно было переведено иеромонахом Феофилактом и издано в Петербурге в 1794 г.

УТЕШЕНИЕ ФИЛОСОФИЕЙ

КНИГА I

I. Прежде слагал я стихи в расцвете силы духовной,
Ныне, увы, принужден петь я на горестный лад.
Всё же к писанью меня угнетенные нудят Камены
И орошают уста мне они скорбным стихом.
Спутниц ведь этих моих устрашить ничем невозможно,
И не удастся никак их отпугнуть от меня.
Бодрой, счастливой моей они юности славою были
И утешают теперь тяжкую старость мою.
Сделался я стариком, повергнутый роком надменным,
И одолело меня в годы преклонные зло.
Кудри густые мои преждевременно стали седыми
И одряхлело уже тело в морщинах мое.
Радостна смерть для людей, коль она не в светлые годы
Явится, но подойдет, старческой внемля мольбе.
Неумолима, увы, и глуха она к воплям несчастных,
Не закрывает она, злобная, плачущих глаз.
Тешила раньше Судьба меня вздорная легкой удачей,
Но в это время едва я не сложил головы.

Ну а теперь, как лицо ее лживое сделалось мрачным,
Тягостно тянутся дни жизни постылой моей.
Что вам, друзья, называть меня было вечно счастливым?
Тот, кто упал, никогда поступью твердой не шел.

I. Пока я сам с собою это обдумывал и выводил свою слезную жалобу при помощи стиля, увидел я представшую над головой моей исполненную высокого достоинства жену с глазами горящими и несравненно более зоркими, чем у людей, живой окраски и неистощимой мощи; хотя обликом своим была она столь вековечна, что никоим образом нельзя было счесть ее нашей современницей, а рост ее был неопределим. Ибо то приноравливала она его к обычному человеческому размеру, то, казалось, упиралась теменем в небо; когда же она поднимала голову выше, то проникала в самое небо и пропадала из человеческих взоров, ее озирающих. Одежда ее была искуснейшим образом сплетена из тончайших нитей в неразрывную ткань, сотканную ею, как я позднее от нее самой узнал, собственноручно. Одежда эта, подобно закопченным картинам, казалась окутанной неким мраком забытой древности. На нижнем ее краю выткана была греческая буква П, а на верхнем — Θ[1]. А между буквами изображены были там ступени, как на лестнице, по которым шел подъем от начала низшего к высшему. Однако же эта ее одежда была изодрана некими руками и растащена по кусочкам, какие только кто мог ухватить. И в правой руке держала она книжные листы, а в левой — жезл. Лишь только увидела она стихотворческих муз, стоящих перед моим ложем и облекающих в слова мои рыдания, то слегка нахмурилась и с разгоревшимися от гнева глазами.

— Кто,— сказала,— позволил распутным актеркам приблизиться к этому страдальцу, раз они не только не утоляют печалей его никакими лекарствами, но еще разъедают их сладкими отравами? Ведь это они, засоряя бесплодными терниями, обильную жатву разума губят и умы людей приучают коснеть в их недуге, а не избавляют от него. Но если бы, как это вам привычно, ласкательства ваши соблазняли человека суетного, мне бы не было это столь невыносимым: это нисколько не подрывало бы моих стараний; а вы совращаете человека, воспитанного учениями элеатов и академиков? Но уходите-ка прочь, сирены, зачаровывающие до смерти, и предоставьте заботиться о нем и врачевать его моим музам.

Потрясенный этими словами пресловутый хор склонился долу и, покраснев в раскаянии от стыда, печально удалился за порог. А я со взором, затуманенным слезами, и будучи не в силах распознать, кто была эта, столь властно повелевающая жена, оцепенел и, потупив глаза в землю, стал в молчании ждать, что же наконец намерена она делать. Тогда она, приблизясь ко мне, села на край моей постели и, глядя на мое тяжко огорченное и опущенное долу лицо, посетовала о моем душевном смятении в таких стихах:

II. О, как тупеет душа в бездне глубокой,
Как ослепленная мысль, света не видя,
В мраке кромешном себе выхода ищет!
Но от земной суеты нет избавленья
И непомерно растет злая забота.
Некогда вольным он был, в небе открытом
Вышние видел пути, взором привычным
Смело смотря, наблюдал Солнца сиянье,
Хладной Луны изучал все перемены,
Да и движенья планет, в их обращеньи
Взад и вперед, постигал, как победитель,
Зная, какими они ходят путями.
Ведал и то, почему шумные ветры
Бурно вздымают валы в моря пучинах,
Дух вращает какой твердь небосвода,
Иль почему, на закат двигаясь, Солнце
Утром день золотит вновь на востоке;
Что управляет весны поступью нежной,
Как украшает она землю цветами,
Кто заставляет плоды осенью поздней
Зреть и лозу наливать гроздь виноградный.
Тайны природы умел распознавать он
И объяснял он ее действий причины.
Ныне, повержен, лежит он в отупеньи,
Стянута шея его тесною цепью,
Долу поникнул, скорбя в тяжких оковах
И цепенея в земных помыслах вздорных.

II.— Но теперь,— сказала она,— надо тебя лечить, а не попрекать.— И, обратив на меня пристальный и внимательный взор,— Ты ли,— сказала,— тот, кто некогда вспоенный моим молоком, вскормленный моею пищей, достиг мужественной твердости? Да ведь я вручила тебе и такое оружие, какое, если бы только ты его не забросил, обеспечило бы тебе несокрушимую стойкость. Узнаешь ли ты меня? Что ты молчишь? От стыда или от изумления ты не говоришь? Я предпочла бы, чтобы от стыда, но, как я вижу, поразило тебя изумление.— Когда же она увидела, что я не только молчу, но вовсе лишился языка и онемел, тихонько приложила к моей груди руку и сказала:

— Ничего опасного: он страдает простой сонной болезнью, обычной при расстроенном воображении. Он немного забылся и легко опомнится, раз был со мною знаком раньше. Чтобы помочь ему в этом, протрем-ка мы ему очи, затуманенные облаком суетных забот.

Сказав так, отерла она мои залитые слезами глаза скомканным краем своей одежды.

III. Тут разошелся туман, прояснилось мое помраченье,
Вновь засияли глаза светом разума.
Так, если Кавр налетит, облака густой пеленою
Небо затянут и дождь непрерывный льет,
Скроется Солнце, а звезд еще в небесах не явилось,
Ночь на землю тогда опускается.
Если же дунет Борей из пещеры фракийской, на тучи
Бросившись бурно, то вновь засияет день
Освобожденный, и Феб, сверкнув внезапно лучами,
Блеском их прояснит изумленный взор.

III. Только тут развеялись тучи моей печали, вдохнул я небесный воздух и стал способен распознать лицо моей целительницы. И вот, взглянув и пристально на нее посмотрев, вижу я перед собой кормилицу мою, Философию, на попечении которой находился я с малолетства.

— Зачем же,— говорю,— ты, о наставница всех добродетелей, явилась в уединенное мое заточение, спустившись с высоты небес? Или и тебя вместе со мною преследуют лживыми клеветами?

— Могла ли я,— отвечала она,— покинуть тебя, мой питомец, и не помочь тебе общими нашими силами нести тяжкое бремя, возложенное на тебя ненавистниками моего имени? Да ведь Философии не подобало оставить без сопоовождения неповинного путника. Мне ли бояться клеветы и ужасаться ей, точно чему-то неслыханному? Неужто ты думаешь, что только теперь, при извращении нравов, мудрость донимают гонениями? Не случалось ли мне и в древние времена, еще до моего Платона, не раз вступать в сражение с отчаянной глупостью? А при его жизни наставник его, Сократ, не с моей ли помощью одержал победу над беззаконной смертью? Когда и толпа эпикурейцев, и стоиков, да и всякие другие старались разграбить его наследие и, не взирая на мои возражения и сопротивление, растаскивали его, как добычу, изодрали они собственноручно сотканную мою одежду и, оторвав от нее лоскутья, ушли в уверенности, что я им всецело подчинилась. Поскольку у них видны были кое-какие следы моего облика, их сочли за моих близких, а недомыслие вовлекло некоторых из них в заблуждения невежественной толпы. А если неведомы тебе ни бегство Анаксагора, ни отрава Сократа, ни мучения Зенона, поскольку они для тебя чужие, то ты мог, однако, знать о Каниях, Сенеках, Соранах, память о которых не стерлась и не затмилась. Их повергло в гибель не что иное, как то, что они, следуя моим заветам, своими поступками явно отличались от нечестивцев. Поэтому нечего удивляться, если в этом море житейском нас отовсюду обуревают напасти, при которых главное — не угождать порокам. И, несмотря на многочисленность войска порочных, к нему, тем не менее, следует относиться с презрением, потому что оно не руководимо никаким вождем, но лишь мечется всюду в отчаянном и безрассудном за-

блуждении. Если когда-нибудь, построив войска, нападет на нас кто сильнейший, то наша водительница стягивает свои силы в крепость, а те занимаются расхищением бесполезных пустяков. А мы посмеиваемся над грабителями всяких ничтожнейших мелочей, не обращая внимания на всю эту бешеную суматоху, огражденные таким оплотом, какого безудержной глупости нет и надежды достичь.

IV. Всякий, кто, в тишине живя спокойно,
Рок надменный попрал ногою твердой,
Презирая и счастье, и несчастье,
Может бодро смотреть на все и смело:
Не страшит его в море ярость вихря,
Горы волн поднимающего к небу,
Ни Везувий изменчивый, когда он
Изрыгает из жерла дымный пламень
Или рушит громады крепких башен,
Поглощая их огненным потоком.
Что страшиться несчастным злых тиранов,
Негодующих в бешенстве бессильном?
Ни на что не надейся, не пугайся,
И ничтожного гнев обезоружишь.
Кто ж боязнью объят или желаньем,
Раз нет твердости в нем и силы духа,
Тот бросает свой щит и, сокрушенный,
Сам кует для себя цепей оковы.

IV.— Понятно ли тебе это,— сказала она,— и проникает ли в душу? Или ты ὄνος λύρας?[2] Что ты плачешь, что льешь слезы? ἐξαύδα μὴ κεῦθε νόῳ[3]. Если ждешь от целительницы помощи, покажи свою рану.

На это я, собравшись с духом:

— Неужели надо еще напоминать и не достаточно видна жестокость безжалостной ко мне Судьбы? Неужто тебя не поражает самый вид этого места? Разве это книгохранилище, какое ты сама себе определила как надежнейшее обиталище в моем доме? То, где ты, часто бывая со мною, вела ученую беседу о делах человеческих и божественных? Таков ли был мой облик, таково ли выражение лица, когда я исследовал вместе с тобою тайны природы, когда ты чертила мне палочкой пути светил, когда ты руководила моим поведением и строем всей моей жизни, согласно небесному распорядку? Это ли воздаяние мне за то, что я тебе повиновался? А между тем устами Платона ты объявила нерушимым такое суждение: «Государства будут благоденствовать, если будут править ими либо любомудры, либо правители окажутся покровителями мудрости»[4]. Ты устами того же мужа внушала, что необходимым условием устроения государства является отстранение от кормила городов граждан бессовестных и развращенных, дабы они не доводили до ничтожества и гибели людей благонамеренных. Поэтому, следуя тако-

му суждению, пожелал я применить в области государственной деятельности те знания, которые получил от тебя при наших уединенных занятиях на досуге.

Да, при исполнении своей государственной должности я заботился исключительно о благе всех благонамеренных людей: тому свидетели ты и Бог, приобщивший тебя умам мудрецов. Из-за этого-то возникли тяжкие и непримиримые раздоры и, как следствие независимости моих мыслей, постоянное мое презрение к негодованию сильнейших, ради соблюдения законности. Сколько раз противостоял я Конигасту, когда тот порывался отнять имущество у бессильных; сколько раз не допускал я начальника королевского двора, Тригвиллу, до задуманного и почти уже совершенного им насилия; сколько раз несчастных, постоянно угнетаемых бесконечными кознями своевольной алчности варваров, защищал я от опасностей своею властью! Никогда никто не отвратил меня от закона к беззаконию. Гибелью имений провинциалов — то ли от грабежей частными лицами, то ли от государственных налогов — огорчался я не меньше самих потерпевших. Когда назначенная во время жестокого неурожая принудительная и невыполнимая скупка хлеба обрекала на очевидную нужду провинцию Кампанию, я, ради общего блага, осмелился с ведома короля ополчиться на префекта претория и добился отмены этой скупки. Консуляра Павлина, состояние которого надеялись и страстно стремились пожрать дворцовые псы, я вызволил из самой разверстой их пасти. Стараясь уберечь консуляра Альбина от наказания по заранее обдуманному обвинению, возбудил я ненависть доносчика Киприана. Не довольно ли, как видно, нагромоздил я против себя раздражения? Но я должен был быть в большей безопасности у других, раз из любви к справедливости ничем не обеспечивал свою безопасность у придворных. Какие же доносчики меня погубили? Среди них был Василий, которого, уже отрешенного от должности, побудили сделать на меня донос обременявшие его долги. А когда Опилион и Гауденций были присуждены по королевскому приговору к ссылке за их бесчисленные и многоразличные преступления и когда они, не желая этому подчиниться, укрылись в священном храме, и это стало известно королю, он отдал приказ, чтобы, если они в назначенный день не покинут Равенны, их изгнали, заклеймив им лбы. Что можно было еще придумать при таком суровом приговоре? А между тем в тот же самый день от этих же доносчиков был принят донос на меня. Так что же? Этого ли заслужили мои достоинства? Или оправдывает таких обвинителей заранее измышленное осуждение? И Судьбе нисколько не стыдно, если не обвинения невинного, то бессовестности обвинителей?

Но ты спрашиваешь, в чем же состоит преступление, в каком меня обвиняют? Говорят, что я хотел спасти сенат. Ты желаешь узнать, каким образом? Меня чернят тем, что я помешал доносчику представить доказательства виновности сената в оскорблении

величества. Как же ты, моя наставница, об этом судишь? Отвести ли мне это обвинение, чтобы не устыдить тебя? Но такова была и будет моя неизменная воля. Повиниться? Но окажется тщетным старание помешать доносчику. Назвать ли мне беззаконным стремление спасти сенат? Правда, он своими обо мне постановлениями обратил это в беззаконие. Но постоянный безрассудный самообман не может унизить цены заслуг. И я не считаю позволительным Сократово правило, как и о сокрытии истины, так и о допустимости обмана.

Но, как бы то ни было, я оставляю это на суждение твое и мудрецов. Я сделал последовательную и правдивую запись этого дела, дабы не забыло его потомство. Но о подложных письмах, изобличающих мою надежду на свободу Рима, стоит ли говорить? Их ложь сразу бы обнаружилась, если бы мне было дано уличить в ней самих доносчиков, что во всех делах имеет наибольшую силу. Ибо на какую свободу оставалось нам надеяться? О, если бы хоть какая-нибудь была возможна! И я ответил бы им словами Кания, который, когда Гай Цезарь Германик обвинил его в том, что он знал о предпринятом против него заговоре, ответил ему: «Если бы я это знал, ты бы об этом не узнал». При всем этом скорбь не настолько притупила мой дух, чтобы жаловаться мне на нечестивцев, отважившихся на злодейства против добродетели; но меня крайне удивляет их надежда на успех задуманного. Ибо желать худшего — это, пожалуй, свойственный нам порок, но возможность исполнения всякого преступного замысла на глазах Бога — прямо чудовищна. И не напрасно задал такой вопрос один из твоих приверженцев: «Если,— сказал он,— Бог существует, то откуда же зло? И откуда же добро, если Бога нет?» Не следовало бы считать нечестивыми людьми тех, которые жаждут крови всех благонамеренных и сената в целом и желали погубить и меня, в котором они видели поборника благонамеренных и сената. Но разве того же ожидал я и от сенаторов? Ты помнишь, я думаю, всегдашняя моя руководительница и в словах и в делах, помнишь, говорю, с каким презрением к собственной опасности отстоял я в Вероне невиновность всего сената, когда король, жаждавший поголовного истребления сенаторов, старался перенести на все их сословие обвинение, изобличавшее в оскорблении величества одного Альбина.

Ты знаешь, что я излагаю дело и правдиво и никогда своею славой не похвалялся. Всякий ведь сознающий свои заслуги умаляет их достоинство, каждый раз выставляя их на вид и получая за них награду. Но ты видишь, какая участь постигла мою безупречность. Вместо наград за истинную доблесть я подвергся по ложному обвинению наказаниям. И какое явное сознание в преступлении побуждало когда-нибудь судей к такой единодушной жестокости, чтобы ни один из них не смягчился или по свойственному человеку заблуждению, или от неведения каждого о своей участи? Если бы говорили, что я намеревался сжечь святые храмы, или за-

колоть нечестивым мечом священнослужителей, или подготовлял убийство всех благонамеренных людей, то и тогда бы следовало меня наказать после личного моего признания и изобличения перед судом. Теперь же, когда я удален почти за пятьсот миль и лишен защиты, осужден я за чрезмерную преданность сенату на смерть в заточении. О, заслуженные, подобный моему поступок нельзя вменить в преступление. Ничтожество этого обвинения видно было самим доносчикам. Чтобы очернить меня еще каким-нибудь злодеянием, они, в обход заботы о достоинстве, измыслили, что я осквернил себя замыслом поругания святынь. А между тем ты, мне присущая, не допускала гнездиться в душе моей привязанности к вещам преходящим, а, при твоем попечении, святотатство было с тобой несовместимо: ты ведь повседневно напояла и уши мои и мысли пифагорейским изречением ἕπου θεῷ[5]. Не пристало прибегать к помощи презреннейших вдохновителей мне, которого ты старалась довести до такого совершенства, что он уподобился бы Богу. Кроме того, безупречная святыня моего дома, общество честнейших друзей и, наконец, добродетельный тесть мой Симмах, столь же чтимый, как и ты сама, очищают меня от всякого подозрения в злодействе.

Но какое нечестие! Все клеветники уверены в том, что причина такого ужасного преступления ты, а я оказываюсь причастным злодеянию именно потому, что, будучи напоен твоими наставлениями, я воспринял твои предписания. И так уважение к тебе послужило мне только к тому, что ты волей-неволей терзаема моим бедствием. К тому же несчастия мои усугубляет еще и то, что большинство людей обращает внимание не на действительные заслуги, а на удачу в них и считает благонамеренным лишь то, что счастливо завершается. Поэтому доброго мнения скорее всего лишаются несчастные. О теперешних пересудах в народе, о всех разногласных и разнородных толках досадно и вспоминать. Скажу только, что всего тяжелее переносить, когда несчастных, обвиняемых напрасно, считают страдающими по заслугам. Так вот и я, лишенный всего имущества, отрешенный от почетных должностей, покрытый позором, понес кару за благодеяние. И кажется мне, вижу я шайки нечестивцев, исполненных радости и веселья; каждого отъявленного негодяя грозящим новыми коварными доносами; благонамеренных людей поверженными ужасом моего бедствия; каждого преступника побуждаемым безнаказанностью за злодейство и за исполнение его получением награды, а невинных лишенными не только безопасности, но даже и защиты. Поэтому побужден я воскликнуть:

V. О создатель звездного свода небес,
Занимающий вечно стоящий престол,
Ты вращаешь стремительно вышнюю твердь
И светилам законы велишь соблюдать,
Дабы полным блистаньем сияла Луна,

Когда против огней она Феба стоит,
Затмевая меньшие звезды собой;
А когда приближается к брату она,
Непременно должна убывать и бледнеть.
Да и Геспер, который вечерней порой
За тобою дрожащие звезды ведет,
Должен, как Люцифер, бледнее гореть,
На востоке когда появляется Феб.
Ты, сдувающий листья морозной зимой,
Умеряешь сиянье короткого дня,
А к приходу знойной летней жары
Сокращать начинаешь ночные часы.
Руководишь ты сменою года времен,
И всю зелень, какую уносит Борей,
Возвращает дыханием нежным Зефир,
А посев, за которым Арктур наблюдал,
Летом Сириус жжет на высоких стеблях.
Ничему не дает вековечный закон
Нарушать своевольно веленья его.
И, своим подчинив приказаниям все,
Ты, правитель, одним только людям дела
Предоставил без должной управы свершать.
Почему же иначе обманчиво так
Все меняет Судьба и достойных гнетет,
Избавляя от кары виновных людей?
На высоком престоле пороки сидят,
Попирая святыню надменной пятой,
Не давая невинным свободно дышать.
Доблесть светлая ввергнута в мрачную тьму,
Справедливый же муж обречен выносить
Участь злодея.
Не карают ничем нарушителей клятв,
Их обман прикрывается краскою лжи.
А когда они вздумают силы собрать,
Пред которыми всюду трепещет народ,
То им любо себе подчинять и царей.
Пощади же несчастных людей на земле,
О зиждитель законов природы вещей!
Созданий твоих не последняя часть
Мы ведь носимся, люди, на волнах Судьбы.
Умерь ты, правитель, их бурную мощь
И, царя над безмерною бездной небес,
Нерушимым законом ты земли свяжи.

V. Спокойно выслушав все то, на что я горько жаловался, она сказала:

— Когда тебя увидела я в горе и в слезах, я тотчас поняла,

как несчастен ты в своем заточении. Но сколь длительно это заточение, я до твоей речи не знала. Но как бы далеко ты ни был от отечества, ты не только выслан, но и сбился с дороги; и если ты предпочитаешь считать себя изгнанником, то ты скорее сам себя изгнал. Ибо никому не дано было бы тебя изгнать. Ведь, если ты помнишь, в каком отечестве суждено было тебе родиться, ты знаешь, что им управляет не многовластие, как это некогда было у афинян, но εἷς κοίρανος ἔστιν, εἷς βασιλεύς[6], которого радует многочисленность граждан, а не их удаление: быть руководимым его уздой и подчиняться правосудию есть высшая свобода. Или тебе неизвестен тот старинный закон твоего государства, по которому запрещено применять изгнание к тому, кто захотел в нем обосноваться? Ибо тому, кто огражден его защитой и оплотом, нечего опасаться потерпеть изгнание. Но кто не пожелает в нем оставаться, тот, следовательно, не пожелал также и быть его достойным. Поэтому не так сокрушает меня вид этого места, как твой собственный вид[7]. И я забочусь не столько о стенах твоего книгохранилища, украшенного слоновою костью и стеклом, сколько о состоянии твоей души, в которую вместила я не книги, но то, что придает книгам ценность,— мысли, некогда помещенные мною в эти книги. И хотя ты о своих заслугах на общее благо сказал и правду, но, в сравнении с их большим числом, мало. О честности или бесчестности взведенных на тебя обвинений ты упомянул то, что всем известно. Злодейства и коварства клеветников ты счел нужным коснуться вскользь потому, что об этом лучше и подробнее будет известно из уст все обсудившего народа. Ты жестоко поносил и несправедливость поступка сената. Горевал ты о навете на меня. Оплакивал также потерю доброго мнения о себе. Потом воспламенила тебя скорбь на Судьбу и ты роптал на несправедливость воздания за заслуги. Наконец, ты голосом раздраженной музы взмолился о воцарении на земле такого же порядка, что и на небе. Но потому, что тебя охватило такое волнение чувств и рвут тебя на части горе, гнев и тоска, ты сейчас в таком состоянии духа, что тебе еще не годятся более сильные лекарства. Поэтому начнем со слабейших, чтобы то, что привело тебя в такое волнение и бурное смятение, утихло, и ты смягчился от более нежного на тебя воздействия и стал способен к принятию снадобий крепчайших.

VI. Кто под Рака звездой, когда
Зноем Феб распалит ее,
Доверяет обильный сев
Бороздам непитательным,
Тот, Церерой обманутый,
Пусть идет желудей искать, 7
Никогда ты в тенистый лес
Не ходи за фиалками,
Коль ревет Аквилонов вой

На полях обездоленных.
Жадной ты не спеши рукой
Рвать побеги весенних лоз,
Коль кистей виноградных ждешь,
Ибо Вакх только осенью
Нам дарует плоды свои.
Всякий долг исполнять велит
В надлежащее время Бог
И порядок, налаженный
Им самим, не дает менять.
Потому-то, коль что-нибудь
Опрометчиво бросит строй,
То поплатится горестно.

VI. Прежде всего позволь задать тебе несколько вопросов о состоянии твоей души и попытаться определить, каким способом надо тебя лечить.

— Спрашивай,— говорю я,— о чем угодно по твоему усмотрению, и я готов тебе отвечать.

— Тогда ответь мне,— сказала она,— не думаешь ли ты, что существующий мир есть создание случайное, или же в нем есть какое-нибудь разумное начало?

— Да нет,— говорю,— я никоим образом не полагал, что такое стройное творение движется каким-то случайным произволом. Я ведь знаю, что им руководит его создатель Бог, и не было ни одного дня, когда бы я усомнился в справедливости этого мнения.

— Да,— сказала она,— ибо ты только что об этом пел и плакался, что одни только люди непричастны божественной заботе. Ибо ты нимало не сомневался в том, что все остальное управляется разумно. Но, право, я крайне изумлена, почему, держась такой здравой мысли, ты болеешь. Исследую однако поглубже: не понимаю, где тут изъян. Но скажи мне, раз ты не сомневаешься в том, что миром руководит Бог, то по каким же, по-твоему, правилам?

— Мне,— отвечаю,— не совсем понятен твой вопрос и я даже не в состоянии на него ответить.

— Разве я,— говорит она,— обманулась в наличии у тебя какого-нибудь изъяна, через который, точно в трещину крепкой стены, проскользнула тебе в душу обуревающая тебя болезнь? Но скажи мне, помнишь ли ты, каково конечное назначение вещей? Или куда направлено стремление всей природы?

— Я слыхал об этом,— говорю,— но печаль притупила мне память.

— Но каким образом тебе известно, откуда все произошло?

— Я это знаю,— говорю я,— и признаю существование Бога.

— Как же возможно, что ты, познав начало вещей, не знаешь конечного их назначения? Правда, таковы бури страстей, такова их сила, что они могут человека как-то поколебать, но вот одолеть

его и всецело себе поработить они не могут. Но я хотела бы, чтобы ты мне вот еще на что ответил: помнишь ли ты, что ты человек?

— Как же,— говорю,— мне этого не помнить?

— Итак, можешь ли ты определить, что такое человек?

— Не спрашиваешь ли ты о том, известно ли мне, что я живое существо, разумное и смертное? Знаю и таковым себя сознаю.

На это она: — И ничем иным ты себя не признаешь?

— Ничем.

— Теперь мне ясна,— сказала она,— иная и главная причина твоей болезни: ты позабыл о своей собственной сущности. И так я полностью распознала и существо твоего недуга, и подход к восстановлению твоего здоровья. Ибо потому, что ты совсем обеспамятел, ты и загоревал о себе как изгнаннике и как о лишенном своего имущества. А потому, что не ведаешь конечного назначения вещей, ты и считаешь негодяев и нечестивцев преуспевающими счастливцами. И потому, что ты забыл, какими правилами руководим мир, ты полагаешь, что все эти превратности судеб текут без управителя: это существенные причины не только болезни, но и смерти. Но, благодарение творцу-спасителю, ты еще не целиком отвержен природой. У нас имеется вернейшее средство для твоего спасения — истинное суждение о руководстве мира: то, что ты веришь в подчинение его не игре случая, но божественному разуму. Итак, не страшись ничего. И вот от этой крохотной искорки воссияет уже животворный жар. Но, поскольку более сильные снадобья применять еще не время, а природа умов такова, что при всяком совращении их они заражаются ложными умствованиями, от которых поднимается затмевающий взоры истинного разума туман, я попытаюсь развеять его умеренными средствами, дабы, по рассеянии мрака обманчивых страстей, ты мог бы познать сияние истинного света.

VII. Тучею черной
Скрытые звезды
Лить никакого
Света не могут.
Коль налетает
Австр на пучину
И омрачает
Солнечный облик
Зеркала моря,
То перед взором
Тотчас мутятся
Чистые воды,
Грязью покрыты.
Часто теченье
Мчащихся быстро
Горных потоков

Остановляет
Камень упавший,
Став им преградой.
Ты же, коль хочешь
Быть озаренным
Истины светом
И не сбиваться
С верной дороги,
Брось все услады,
Брось всякий страх ты
И без надежды
Будь беспечален:
Ум затуманен
И не свободен
В этих оковах.

Кассиодор

Магн Аврелий Кассиодор Сенатор родился около 490 г. и был, таким образом, лет на десять моложе Боэтия, которого он знал и глубоко почитал. Он происходил из знатного рода, дед (или прадед) его защищал Рим во время вандальского нашествия, отец был префектом претория, т. е. чем-то вроде первого министра при Одоакре. Кассиодор начал службу квестором уже при Теодорихе готском, был в 514 г. консулом, потом начальником королевской канцелярии, а после смерти Теодориха в 526 г. — префектом претория при его преемниках Эвтерихе, Амаласунте, Теодахаде и Витиге. Его умение оставаться у власти в течение столь долгого времени в кипевшей интригами обстановке готского двора обличает в нем немалую политическую гибкость. Наконец, в 540 г. Кассиодор отказывается от политической деятельности, покидает двор, уезжает в свое родовое имение на юге Италии и основывает там монастырь Вивариум (получивший название от тамошних садков с живой рыбой), которым управляет сам. Год смерти его точно неизвестен, но дожил он до глубокой старости: в сочинении «О правописании» он упоминает, что ему уже минуло 92 года.

Таким образом, жизнь Кассиодора распадается на две разнородные части: в качестве префекта претория он ревностно проводил основную линию политики Теодориха — попытку слияния готов с римлянами и создания из тех и других единого мощного государства, способного сменить рухнувшую Западную империю; после же удаления от дел он с таким же усердием берется за устроение своего монастыря, работу над уставом монастырской жизни и за литературную деятельность. В этой области он явился предшественником Бенедикта Нурсийского: первой обязанностью монахов он счел не физический труд, а заботу о своем умственном и духовном развитии: первоначально он намеревался даже создать в Риме академию для изучения богословских наук, но, как он сам говорит во введении к сочинению «Об изучении наук божественных и человеческих», войны и прочие смуты, вызванные нашествием Юстиниана на Италию, не позволили этого, и он заменил свой план созданием большой библиотеки в своем монастыре, к работе в которой он ревностно побуждал монахов. Особенно поощрял он работу переписчиков (по его терминологии, «антиквариев»), говоря, что своим трудом они «борются тростником и чернилами против коварных козней диавола и наносят ему столько ран, сколько слов гос-

подних они переписывают». Он не запрещает и изучения светских наук, но ставит их на второе место и советует овладеть только самыми их началами; одобряет занятия лечебным делом и — для малоспособных к научным занятиям — садоводство, земледелие и рыболовство.

От Кассиодора дошло до нас довольно много произведений. Наибольший интерес представляет собрание писем и указов, писанных и редактированных им самим, изданное незадолго до его удаления от дел в двенадцати книгах под заглавием «Разное»: это — богатейший живой материал по истории первой четверти VI в. К сожалению, только в сокращенном изложении Иордана дошел до нас труд Кассиодора «История готов»; сохранившиеся же «Хроника» и «Трехчастная история» представляют собой лишь компиляции из произведений Иеронима, Руфина и других писателей, касающиеся всемирной и церковной истории. Чисто богословские темы разработаны в обширном «Истолковании псалмов» и в небольшом сочинении «О душе», в котором, между прочим, Кассиодор вдается в фантастические этимологии, считая, например, что anima («душа») происходит от греческого ἄναιμα (т. е. нечто, находящееся не в крови, в отличие от животных, у которых душа находится в крови), тогда как animus («дух») — от греческого ἄνεμος («ветер»). Наибольшее же значение для всех последующих веков имело его сочинение «Об изучении наук божественных и человеческих», послужившее основой уставов многих монашеских орденов.

Кассиодор отлично владел латинским языком, искусно используя различные его стили, о чем сам говорит в предисловии к «Разному».

ИЗ КНИГИ „РАЗНОЕ"

ПРЕДИСЛОВИЕ

(§§ 1—7) Ввиду того, что я заслужил благосклонность людей образованных благодаря как нашим с ними беседам, так и моим безвозмездным услугам, но отнюдь не моим действительным достоинствам, они стали уговаривать меня объединить в одно собрание мои писания, кои я, часто занимая почетные должности, рассылал с целью разъяснения различных дел, и сделать это для того, чтобы наши потомки в будущем оценили и тяготы моих трудов, предпринятых ради пользы общества, и неподкупную добросовестную мою деятельность. Я говорил им, что у меня такого желания нет, ибо то, что казалось приемлемым в качестве ответа на настоятельные мольбы просителей, впоследствии покажется читателям неуместным; сверх того, говорил я, следовало бы припомнить слова Флакка [1], указывающего, какие опасности грозят слову, высказанному поспешно, между тем как от меня все требуют именно быстроты,— думаете ли вы, что я могу сказать что-то, о чем впоследствии не придется пожалеть? Всегда бывает неотесанной та речь, которая не оттачивается обдуманно и длительно и пользуется словами, недостаточно к ней подходящими. Дар речи дан нам всем: но искушен в ней тот, кто умеет определить, искусен писа-

тель или нет. Поэтам для их сочинений предоставляется девятилетний срок; мне же не дается ни часа, ни мига. Только я начну какое-нибудь дело, оно прерывается криками, и его приходится делать в спешке, так что начатое не может быть закончено с надлежащей осмотрительностью: один торопит меня частыми и недоброжелательными возражениями, другой терзает описаниями своих тяжких бедствий, а некоторые осаждают яростными распрями и раздорами. Как вы можете при таких условиях требовать красноречивых посланий, если я едва успеваю подобрать нужные мне слова? Ведь даже по ночам кружат надо мной несказанные заботы о том, будет ли доставлено в города продовольствие, чего больше всего требует народ, радеющий о своем желудке, а не об услаждении слуха; потому-то я вынужден пробегать умом по всем провинциям и всюду расследовать неполадки, ибо недостаточно приказать воинам, что они должны делать, если за исполнением приказа не следит бдительный судья. Поэтому прошу я вас, друзья, не любите меня так, чтобы ваша любовь пошла мне во вред; а мне следует не поддаваться вашим уговорам, ибо послушание им принесет мне больше неприятностей, чем славы.

Но мои друзья все упорнее стояли на своем, говоря: «Все знают, что ты занимал должность префекта претория, а за этим почетным званием всегда как бы по пятам следуют различные государственные обязанности: от занимающего эту должность требуют определения расходов на войско, с него же спрашивают снабжение народа продовольствием в любое время года, на него же возлагаются тяготы судебных решений и на него же, как мы видим, наваливается безмерное бремя соблюдения законов; одним словом, с этим почетным званием связано решение почти всех дел. Сколько же времени ты можешь урвать от трудов на пользу государства, если все, чего требует общественное благо, как бы стекается в одни и те же руки? Прибавим еще, что нередко усложняются и дела по квестуре, и даже время досуга отнимают постоянные размышления, и когда ты уже обливаешься потом от обременяющей тебя ноши, правители возлагают на тебя и такие почетные обязанности, с которыми не справляются судьи, нарочно к этому приставленные. И все это ты делаешь совершенно безвозмездно, и по примеру твоего родителя не принимаешь от надеющихся на твою помощь ничего, кроме трудностей, и воздерживаясь от вознаграждения, ты своим заступничеством как бы продаешь просителям все, не беря с них за это ничего...»

(§§ 12—18) Моя осмотрительность, сознаюсь, была побеждена: я не мог долее противиться столь многим разумным мужам, когда увидел, что обвиняют меня лишь из любви ко мне. Теперь будьте же снисходительны, читатели, и если вы встретите какое-либо неосторожное высказывание, запишите его на счет тех, кто меня уговаривал, ибо суд надо мной должен вершить тот, кто решился меня обвинять. И то, что мне удалось найти из всего, что я должен был

в свое время писать по поводу различных государственных дел, занимая должности квестора, начальника канцелярии и префекта, я распределил по дважды шести книгам, чтобы, с одной стороны, интерес читателя возбуждался разнообразием дел, а с другой стороны, его ум оживлялся надеждою на приближение конца. Я не хотел, чтобы другим пришлось выносить то, что часто приходилось испытывать мне при назначении на должности, и посылать неотглаженные и необработанные письма; ведь их иногда требуют так внезапно, что едва можно успеть их написать. Поэтому формулы назначения на должность я собрал в шестой и седьмой книгах, чтобы и я сам мог их использовать впоследствии, и преемникам моим оказал помощь в трудные минуты: ведь то, что написано мною в прошлом, пригодится и в будущем — я изложил в этих письмах лишь то, что относится не к лицам, а к самим должностям.

В качестве заголовка для этих книг, указателя их содержания, провозвестника их порядка и самого краткого названия для всего сочинения я избрал слово «Разное». Мне ведь приходилось писать не одним и тем же слогом, обращаясь с увещаниями не к одним и тем же лицам: один удовлетворяется речью многословной, другому по вкусу средний стиль, а с третьим, не опьяненным ароматом искусства речи, следует говорить, заботясь только о доказательности, так что иногда человек опытный в своей речи вынужден избегать именно того, что нравится ученым ценителям. Поэтому прекрасно сказали наши предки: следует говорить так, чтобы ты мог убедить слушателей выполнить то, что намечено тобой. Ведь древняя мудрость различала три вида красноречия: низменный, который обслуживает обычную беседу; средний, не разбухший от многословия, но и не иссохший от скудости, а стоящий между тем и другим и ограничивающий себя одному ему присущими пределами изящества; и третий, возвышающийся до вершин беседы с умами изысканными. Очевидно, соответственно различию лиц избирается тот или иной способ речи, как бы изливаясь из одних и тех же уст, но поступая туда из различных источников. Однако красноречивым может быть назван только тот, кто готов мужественно взяться за любое дело, будучи как бы опоясан этой тройной доблестью. Ведь нам приходится говорить то с правителями, то с придворными, то с людьми самых низких сословий. Одним надо отвечать поспешно, другим следует предлагать продуманный ответ, так что поистине мы правильно называем «разным» то, что создается столь различными способами. Мы принимаем эти древние правила и постараемся соразмерять с ними наш слог; поэтому мы скромно обещаем давать слог «низкий», постараемся безупречно соблюсти и «средний», «высокого» же, стремящегося, в силу своего благородства, ввысь, мы достигнуть не надеемся. Впрочем, пусть умолкнут недопустимые эти наши предисловия: совершенно неуместно вводим мы наши рассуждения о самих себе, между тем как нам следует скорее подождать ваших суждений о нас.

КНИГА I, ПИСЬМО 24. КО ВСЕМ ГОТАМ ТЕОДОРИХ-КОРОЛЬ (508 г.)

Готам скорее приходится сообщать о возможности вступить в бой, чем побуждать их к этому: ведь для воинственного племени высшая радость — заслужить похвалу. Кто жаждет доблестью стяжать славу, тот трудностей не боится. Поэтому, с помощью бога, под чьим покровительством процветают все наши начинания, мы решили в целях общей пользы направить войско в Галлию, дабы и вы имели повод показать себя, и мы могли, согласно нашим намерениям, вознаграждать вас за подлинные заслуги; ибо достойное хвалы мужество в пору досуга незаметно и пока оно не имеет возможности проверить себя, блеск его достоинства скрыт от глаз. И потому мы дали распоряжение через нашего военачальника Нанда, чтобы вы, во имя божие, выступили в поход в восьмой день до ближайших июльских календ обычным порядком, в достаточной мере снабженные оружием, конями и всем необходимым, чтобы показать, что в вас жива доблесть отцов ваших, и чтобы успешно выполнить наше повеление. Приучите ваших юношей к науке Марса; пусть они на вашем примере увидят, какое наследие должны они передать своим потомкам: ибо чему не научишься в юности, того и в зрелом возрасте знать не будешь. Коршуны, всегда питающиеся добычей, своих птенцов, еще юных и слабых, выбрасывают из гнезда, чтобы они стали такими, какими хочет их видеть материнская любовь. А вы, кому и природа дала силу, и кого подстрекает любовь к доброй славе, постарайтесь оставить после себя таких сынов, каких, как нам известно, имели ваши отцы.

КНИГА I, ПИСЬМО 28. КО ВСЕМ ГОТАМ И РИМЛЯНАМ ТЕОДОРИХ-КОРОЛЬ (507—511 гг.)

Достоин уважения тот государственный строй, при котором во всем видима заботливость короля. Слава нашего времени — восстановление древних городов: они — украшение мирных лет и защита от военных опасностей. Поэтому настоящим нашим распоряжением мы приказываем на будущее время: если кто-нибудь на своем поле найдет любые каменные глыбы, пригодные для построения городских стен, пусть добровольно и без промедления сдаст их в распоряжение властей: он доподлинно сделает их своим достоянием, если принесет таким образом пользу всему своему городу. Ибо что может быть приятнее, чем видеть, как растет общественное благоустройство там, где польза каждого заключается в том, что полезно для всех? Кроме того, случается, что потери возмещаются тому, кто их потерпел, с большой выгодой для него; нередко бывает, что возмещение оказывается больше потери, и человек часто умножает собственный достаток щедростью к своему ближнему, если таковы условия времени.

КНИГА III, ПИСЬМО 7. ДОСТОПОЧТЕННОМУ ЯНУАРИЮ, ЕПИСКОПУ САЛОНСКОМУ [2], ТЕОДОРИХ-КОРОЛЬ

Чтить и соблюдать справедливость мы повелеваем всем, наипаче же тем, кто возвеличен почетным священным саном: они должны ближе всех стоять к благодати высшей, ибо они наиболее далеки от мирского стяжательства.

Некий Иоанн обратился к нам со слезной мольбою и жалобой: Ваше священство взяло у него для наполнения светильников шестьдесят бочонков масла, и он требует подобающего возмещения. Это — желание справедливое, если к нему не примешивается что-либо постороннее. Справедливость же требует блюсти во всех делах, особенно же в тех, кои предлежат очам божиим. Не следует нам думать, что бог не ведает, откуда он получает дары, если он не карает сразу за подношения, полученные путем обмана. Поэтому, если вы увидите, что жалоба истца обоснована, то из уважения к справедливости, которую вы сами проповедуете, следуя святому закону, без промедления примите меры, чтобы ему было возмещено все, что требуется по закону. Пусть никто не жалуется, что ему нанесли ущерб вы, которому следовало, напротив, скорее предоставить ему средства помощи. Посему будьте бдительны, чтобы, не совершая обычно проступков в делах важных, вы не оказались — чего да не будет! — погрешающими в малом.

КНИГА I, ПИСЬМО 31. НАРОДУ РИМСКОМУ ТЕОДОРИХ-КОРОЛЬ

Мы хотим, чтобы зрелища были для народа усладой и радостью, и то, что устроено (как известно) для отдохновения души, не должно вызывать взрывов гнева. Мы ведь берем на себя такие тяжкие расходы не для того, чтобы ваши сборища превращались в шумные распри, а чтобы они были украшением времен мирных. Откажитесь же от чуждых вам нравов; пусть голос толпы будет подлинным голосом Рима, услаждающим наш слух; раздоры же не порождают веселья и не отрадою порождены. А произошли ваши раздоры тогда, когда вы провинились перед чужеземцами; не затевайте же буйных склок, от которых, как вы видите, другие уже отказались [3]. Поэтому мы постановили нашим эдиктом, чтобы тот, кто осмелится без основания извергать грубые оскорбления против какого-либо сенатора, знал, что он будет согласно закону вызван к префекту города, и по выяснении его проступка будет оглашен приговор и исполнено наказание. А чтобы всякие начатки разлада были вырваны с корнем, мы предписываем пантомимам показывать свое искусство только в назначенных для этого местах, о чем вас будет извещать распоряжение, данное префекту города; это поведет к тому, что вы с должной сдержанностью будете участвовать в городских увеселениях. Ведь у нас нет более горячего желания, чем

то, чтобы вы сохранили унаследованные от предков правила поведения и чтобы все те похвальные качества, которые вы имели издревле, под нашим правлением возрастали. Так, у вас есть обычай единогласно оглашать воздух сладкозвучными возгласами, чему с удовольствием внимают даже дикие звери: ваши голоса благозвучнее органа, и весь театр откликается на них, подобно гармонии кифары, так что можно скорее принять это за пение, чем за крики. Разве допустимы при этом раздоры и яростные распри? Откажитесь же, возрадовавшись, от безумия и, возвеселясь, уймите гнев. Тем самым и нравы чужеземцев могут быть удовлетворены, если они услышат, сколь благопристойно выражаете вы свое одобрение.

ИЗ КНИГИ „ОБ ИЗУЧЕНИИ НАУК БОЖЕСТВЕННЫХ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ“

27. ...Итак, изучение древних да будет нашим делом, чтобы все изложенное ими во множестве рукописей мы в самой краткой форме (как уже сказано) собрали и сообщили во втором томе. И то, что они измыслили для изощренных хитросплетений, мы с похвальным благочестием воспроизведем для исследования истины: то, что там скрыто и высказано мимоходом, должно быть здесь честно передано для достижения правильного понимания. Это дело, по моему мнению, необходимое, но если принять во внимание все обстоятельства, то и в высшей степени трудное: охватить в двух книгах богатейшие источники наук божественных и человеческих. Следует вспомнить стихи Седулия:

Просьба моя велика, но ты ведь великое даришь:
Те унижают тебя, у кого остывает надежда[4].

28. ...Если же некоторым братьям по простоте ума их окажется не под силу изучить то, что вкратце изложено во второй книге — ведь всякая краткость влечет за собой темноту[5], то для них достаточно усвоить в целом порядок подразделений всего сущего, их цели и ценность, чтобы они с тем большим рвением стали стремиться к познанию закона божественного. Пусть из различных писаний святых отцов они узнают, где они смогут утолить свой голод изобильнейшей пищей. Лишь бы у них было влечение к чтению и искреннее желание дойти до постижения истины. Тогда спасительная усидчивость сделает учеными тех, кого на первых шагах испугало глубокомыслие читаемых ими книг; ибо не только неученые, но даже те, кто и читать не умеет, получают от Бога премудрость.

Нам следует знать, что разум дается не только науками, но что Бог дает совершенную мудрость, кому захочет. Ибо если бы познание блага было заключено только в науках, то не могли бы обладать совершенной мудростью те, кто наук не знает. Но по-

скольку многие неграмотные достигают истинного познания и получают истинную веру от вдохновения свыше, то, несомненно, Бог дарует чистым и благочестивым умам то, что полагает для них полезным.

Но если кому-либо из братьев, по слову Вергилия,

> Крови холодный поток мне близ сердца препятствовать станет...

и он не сможет изучить в совершенстве ни человеческих, ни божественных наук, но все же обладает некоторыми познаниями, то пусть изберет для себя следующий стих:

> Пусть мне всегда будут милы поля и потоки в долинах [6].

Ибо отнюдь не чуждое для монахов занятие — разводить сады, трудиться в полях и радоваться изобилию плодов земных: ведь и псалом 127 гласит: «Ты будешь есть от трудов рук твоих; блажен ты и благо тебе» (пс. 127, ст. 2).

[Далее Кассиодор рекомендует читать сочинения римских авторов о сельском хозяйстве.]

Когда вся эта пища приготовляется для странников и больных, она становится небесной, хотя по виду кажется земной. Разве это не так, если мы возвращаем силы истощенным, услаждая их нежными плодами, питая голубиным мясом или рыбой, утешая сладостью меда? Ибо если господь учил во имя свое напоить бедняка хотя бы чашею холодной воды (Матф. 10, 42), то насколько милосерднее давать различным нуждающимся вкусную пищу, за которую вы на Страшном суде получите многократную награду! Не следует пренебрегать ни единым случаем помочь человеку, где это возможно.

29. И вот зовет вас к себе местность, где расположен монастырь Вивариум, чтобы там было все приготовлено для приема странников и нуждающихся: есть там у вас по соседству и обильно орошенные сады, и струи богатой рыбою реки Пеллены; она не устрашает бурным течением, но и не слишком мелководна; она течет, умеряемая искусством, так, как это требуется и для орошения ваших садов, и для работы мельниц; она дает воду, когда это нужно, а когда потребность удовлетворена, она вновь отступает. Таким образом, она как бы по благочестию выполняет свою обязанность, не обременяя нас навязчивостью, но и не уклоняясь от своего дела, когда нам это потребно.

Море тоже находится от вас так близко, что можно даже ловить рыбу разными способами; а пойманных рыб, если захочется, можно пустить в виварии: ибо я, с божьей помощью, устроил там водохранилища, где под надежными запорами живет множество рыб; хранилища эти настолько похожи на прибрежные пещеры, что ни одна рыба не чувствует себя в неволе: она может добывать себе пищу и скрываться в привычных убежищах. Я велел также

устроить купальни, полезные для телесных болезней; туда спокойно втекает вода из прозрачных ручьев, приятная и для питья и для мытья. Поэтому в ваш монастырь скорее будут стараться попасть посторонние, чем вам самим захочется отправляться из него куда-то вдаль. Правда, как вы знаете, все это — услады здешней жизни, а не надежда верующих: они преходящи, она же пребывает бесконечно. Но, находясь здесь, мы можем легче направить ввысь наши стремления, которые приведут нас в царствие Христово....

И вот, если вам в монастыре Вивариуме (как можно надеяться) с помощью божией привычка к жизни в монашеской общине даст достаточное образование, очистит души от всякой скверны и побудит стремиться к высшему, то на горе Кастелле[7] найдутся для вас сокровенные убежища, где вы можете под защитой господа проводить блаженную жизнь в качестве отшельников,— ибо есть там отдаленные, подобные пустыне, места, окруженные и крепко замкнутые древними каменными стенами. Вам, уже искушенным и испытаннейшим, возможно будет избрать эти обиталища, если в сердце вашем вы почувствуете, что готовы к такому подвигу. Читая Писание, вы изберете тот или этот путь, поняв, чего вы хотите и что сможете вынести. И, сохраняя воздержанность в беседах, тот, кто не имеет силы поучать других словом, пусть подает им поучительный пример святостью своей жизни.

Венанций Фортунат

Венанций Фортунат (Venantius Honorius Clementinus Fortunatus), которого можно назвать либо последним римским, либо первым средневековым поэтом Франции, родился около 530 г. в окрестностях г. Тревизо (лат. Tarvisium) в северной Италии, а умер в Галлии после 600 г. Он обучался в школах Равенны, где еще удерживалась былая латинская ученость, и был одним из образованнейших людей своего времени. Первые стихотворные произведения Фортуната посвящены прославлению христианских святынь Равенны. В 60-х годах V в. Фортунат отправился в Галлию на поклонение гробнице св. Мартина и совершил большое путешествие, пристраиваясь в качестве поэта при дворах разных франкских королей, посвящая им и их приближенным льстивые панегирики, подобно будущим средневековым трубадурам. В течение долгого времени Фортунат оставался при дворе короля Сигиберта в г. Меце (лат. Divodurum), куда попал на его свадьбу с дочерью короля вестготов Брунгильдой. Этому бракосочетанию Фортунат посвятил большую эпиталаму, в которой новобрачных, сочетавшихся по чину христианской церкви, прославляют тем не менее Венера и Купидон (VI, 1). Купидон поражает своей стрелой сердце короля Сигиберта и торжественно объявляет об этом Венере:

Радостно он говорит Венере: «Окончил я битву!
Новый повержен Ахилл и теперь пылает любовью,
Жарко горит Сигиберт, объятый страстью к Брунгильде».

Затем Купидон начинает восхвалять Сигиберта, воспевая его знатность, его доблести, а Венера, в ответ ему, прославляет красоту Брунгильды, которая, по ее словам, не только прекраснее всех речных нимф, но, будучи жемчужиной Испании, превосходящей все драгоценные камни, является новою Венерой.

Такие напыщенные похвалы, взятые из арсенала языческой мифологии, несомненно были по вкусу знатным варварам, даже если многое в латыни Фортуната оставалось им мало понятным. В других своих хвалебных стихотворениях Фортунат не так злоупотребляет мифологическими образами, но все-таки даже в эпитафии Евсевии, в которой говорится, что она заслужила христиан-

ское бессмертие (non es mortua Christo), Фортунат сравнивает ее и с Минервой и с Венерой (IV, 28). Однако в некоторых стихотворениях он чувствует и должную меру, сообразуясь со вкусами своих покровителей и не прибегая к чрезмерным преувеличениям их заслуг; таковы, например, стихи о Бодегизиле (VII, 5) и королеве Теудехильде (VI, 3).

После пребывания в Меце Фортунат побывал и в других городах и замках, в которых пользовался гостеприимством франкских королей и знати, в том числе короля Хильпериха и королевы Фредегонды, в честь которых сочинил большой панегирик, где он использовал уже не мифологические, а библейские образы. Написал он им и утешительное послание по случаю смерти их сыновей, в котором дает картину природы, оживающей ко дню весеннего праздника Пасхи (IX, 3).

По окончании своих странствий по Франции Фортунат прибыл в г. Тур, где сблизился с будущим историком франков, епископом Григорием Турским, а затем обосновался в г. Пуатье (лат. Pictava), где вошел в милость нейстрийской королевы Радегунды, принявшей монашество и основавшей в Пуатье женский монастырь, игуменьей которого стала приятельница Радегунды, молодая Агнеса. Поселившись в Пуатье, Фортунат принял духовное звание и стал духовником Радегунды, а затем, уже незадолго до своей смерти, получил и сан епископа.

Ко времени пребывания Фортуната в Пуатье, где он скончался, относятся лучшие и наиболее искренние произведения Фортуната, а также прозаическое жизнеописание умершей в 587 г. Радегунды и, вероятно, другие прозаические жития святых. Бездомный италиец, принужденный искать себе пристанища при дворах варварских королей, непрерывно воевавших друг с другом, обрел наконец спокойное убежище при женском монастыре и мог прекратить свои непрерывные скитания, найдя себе надежный приют, в котором был обеспечен не только кровом и пищей, но и прекрасными условиями жизни. В обществе умной, образованной и приветливой дочери вестготского короля и ее духовной дочери Агнесы, поручивших ему управление всеми мирскими делами богатого монастыря, Фортунат мог отдаваться не только умственным, но и житейским интересам и удовлетворять свои вкусы к обильному и даже изысканному столу, бывшему всегда к его услугам. Сама Радегунда, соблюдавшая во всей строгости установленный ею монастырский устав и неуклонно выполнявшая все обязанности простой монахини, отнюдь, однако, не чуждалась общества и умела принимать у себя в обители не только людей нуждающихся и обремененных заботами, но и людей, привыкших к жизни богатой и обеспеченной. То довольство, которым мог наконец насладиться Фортунат, отражено лучше всего в его небольших стихотворениях книги XI, обращенных к Радегунде и Агнесе, и в двух начальных стихотворениях книги VIII.

Слава, которой пользовался Фортунат при жизни, сопутствовала ему и после смерти. Это видно из его краткой биографии, написанной в VIII в. ученым монахом Павлом Диаконом, считающим Венанция Фортуната «никем не превзойденным поэтом» (nulli poetarum secundus) и посвятившим ему эпитафию, в которой он восхваляет его светлый ум, находчивость, изящный язык, достойную жизнь и называет красою стихотворцев. Два стихотворения Фортуната (II, 2 и 6) и до сей поры входят в обиход католического богослужения.

Поэтические произведения Фортуната составляют: 1) Житие св. Мартина в четырех книгах, написанных между 573 и 576 гг.; 2) Одиннадцать книг разных стихотворений, из которых в первые восемь книг входят стихотворения, написанные до 576 г.; в книге 9 — стихи 577 — 584 гг.; в книгах 10 и 11, изданных после смерти Фортуната,— позднейшие его стихотворения, кончая 591 г.; 3) К этим книгам добавляется еще приложение из подлинных стихотворений Фортуната и стихотворений, ему приписываемых.

Писал Фортунат главным образом дактилическими гексаметрами и элегическими дистихами, но есть у него стихи, написанные и другими размерами. Имеются у него и акростихи и другие искусственные по форме стихотворения.

Сочинения Фортуната сохранились во многих списках, из которых один, относящийся к VIII в., хранится в Ленинградской государственной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина.

О СТРАСТЯХ ХРИСТОВЫХ

Знамена веют царские,
Вершится тайна крестная.
Создатель плоти плоть приял —
И предан на мучения.

Пронзили тело гвоздия,
Прибили к древу крестному.
Спасенья ради нашего
Здесь Жертва закалается!

И се — копье безжалостно
Терзает плоть священную.
Вода и кровь излилися —
И смыта скверна древняя.

Исполнились, исполнились
Давидовы речения,
Языкам возвещавшие:
«Се Царь ваш с древа
правит вас!»

О древо, древо дивное,
Убор твой — пурпур
царственный,
Сподобилось, блаженное,
Святых касаться членов ты.

О древо благодатное,
Весы, что выкуп взвесили,
За нас сполна отмеренный,
Отъяв стяжанье адово.

Струишь благоуханье ты,
Ты сладостнее нектара,
О древо, плод принесшее
Триумфа всепобедного.

Свят Агнец, свят и Жертвенник
Той муки достославнейшей,
Что жало смерти вырвала
И в смерти жизнь открыла нам!

НИКЕТИЮ,
ЕПИСКОПУ ТРЕВЕРСКОМУ, О ЗАМКЕ НАД МОЗЕЛЛОЙ

Высится гордо гора, над крутым нависая обрывом,
И подымает главу на берегу среди скал.
Между нагорий нагих вздымает лесистые гребни
И нерушимо царит грозной вершиной утес.
Пользу приносят холму по долинам идущие пашни

Узкой земли полосой всюду на склонах его.
С бурной Мозеллой течет вкруг берега маленький Родан,
Рыбою наперебой вдоволь питая поля.
Грабят повсюду они, эти реки-скиталицы, пищу
Вкусную, Медиолан, ею снабжая твой стол.
А разольется река, еще больше становится рыбы:
При половодье ее легче и ближе ловить.
Радует жителей вид борозды с изобильным посевом,
И плодовитый послать молят они урожай.
Пахарю тешит глаза богатая в будущем жатва:
Он уже видит вперед, что ему лето сулит.
Весело смотрят поля, зеленями заросшие густо,
Сладко глядеть на покров мягкий окрестных лугов.
Пастырь, апостольский муж посетил эти села Никетий,
Да и овчарню всему стаду желанную дал.
Башнями он тридцатью оградил этот холм отовсюду
И укрепленья возвел там, где был ранее лес.
Идя от гребня холма, его стены везде обнимают
Вплоть до Мозеллы, где круг их замыкает вода.
А на вершине скалы построен дворец величавый
И возвышается там, будто гора на горе.
Было угодно стеной опоясать широкое поле,
Где только это жилье, прямо, как замок, стоит.
Мраморным строем колонн дворцовая держится кровля,
Видны откуда суда, летом бегущие вдаль.
Тройственным рядом аркад еще окружен этот замок:
Кажется сверху, что он крышею площадь покрыл.
Башня пред нами стоит на склоне противоположном:
Это святыня — ее войско в оружье хранит.
Там и баллиста с двойным для метанья каменьев устройством:
Смертный удар нанеся, вновь она может разить.
По водостокам крутым поток, извиваясь, несется,
Жернов крутя, и всему мелет народу муку.
Сладкие лозы развел ты, Никетий, на склонах бесплодных,
И виноградник цветет там, где колючки росли.
Здесь привитые растут плодовитые яблони всюду,
Запахом пестрых цветов полнят округу они.
Все это мы в твою честь теперь восхваляем и славим:
Столькие блага несешь ты, щедрый пастырь, стадам.

VI, 3. О КОРОЛЕВЕ ТЕУДЕХИЛЬДЕ

Славная отрасль ствола блестящего царского древа,
Коему имя дала предков высокая честь!
Быстро по свету летит рода вашего новая слава:
Здесь подвизается брат, там — с ним совместно отец.

Но, несмотря на весь блеск благородных прадедов славы,
Больший гораздо еще вы заслужили почет.
Вы обладаете всем, что хвалят в родичах ваших:
Ты, Теудехильда, собой древний украсила род.
Славы достоин твой ум живой, благочестный, радушный:
Род возвеличила ты прелестью доброй души.
Светлою властью своей ты ненависть вырвала с корнем,
И не боязнь, а любовь ты порождаешь у всех.
Мягко твой голос звучит, из ласковых уст вылетая,
Сладостней меда слова нежной беседы твоей.
Женщин и девушек всех достоинством ты побеждаешь,
И благочестием их ты превосходишь всегда.
Коль незнакомый придет, ты его принимаешь радушно,
Будто уже угодил прежде он предкам твоим.
Щедрой десницею хлеб ты сеешь нищим убогим,
И ведь сторицей за то снимешь потом урожай.
А поделясь с бедняком, всегда ты останешься сытой:
Пищей, какую даешь, кормишь себя самое.
Все переходит Христу, чем делишься ты с неимущим,
Хоть и незримый для всех, не оскудеет твой дар.
Раз приближается день последний бренного мира,
То в общей гибели, верь, лучшее ты избрала.
Восстановляешь ты вновь щедротами церкви святые:
Дом созидаешь Христу, он — созидает тебе.
Строишь ему на земле, а он тебе — на высотах:
Ты получаешь взамен лучшее на небесах.
Твой без убытка талант останется, посланный к звездам:
Множишь богатства свои жертвами добрыми ты.
Не унижаешь себя ты жизнью для Господа Бога:
Царство земное твое будет твоим в небеси.
Долгим да будет твой век на благо мирскому народу,
И да прославишься ты радостным светом заслуг!

VII, 5. О БОДЕГИЗИЛЕ

Даже коль в скудной груди я таил бы словесное море,
Граф Бодегйзил, тебя я бы не смог восхвалить.
Благодеянья твои все мысли мои захватили,
И, забывая себя, быть я желаю твоим.
Лишь удостоился я познать твой благостный облик,
Речь твоя, словно елей, вновь оживила меня.
Сладкой беседой своей насытил ты мое сердце,
Вдоволь питая его щедрыми яствами слов.
Кормят другие людей лишь одною телесною пищей,
Досыта кормишь меня пищей духовною ты.
Так невозможно фалерн подсластить сытóю медовой,

Как услаждает мою душу трапе́за твоя.
Сколь утешителен ты для тех, кого издавна любишь,
Если меня в один час в друга себе превратил?
О, как хотелось бы мне прославить всю твою доблесть,
Но о великом нельзя жалкому мне говорить.
Я спотыкаюсь, бедняк, под бременем подвигов стольких,
Лучше скажу я о тех, кем управляешь ты сам.
Ты ведь Массилии дал своей властью великое счастье
И прославляет она вечно правленье твое.
Да и Германия с ней справедливо тебе рукоплещет:
Области обе хвалить не прекращают тебя.
Спорят они о тебе и твоей доброте непрерывно:
Та призывает к себе, эта не хочет отдать.
Бедных ведь ты никогда не лишишь справедливой защиты
И не даешь богачу взяткой себя подкупить.
Ты без вины не казнишь, не спасаешь ты виноватых
И в приговорах твоих лицеприятия нет.
Разум твой прозорлив, в душе твоей светоч сияет,
Неугасимо твоей чести сверкает венец.
Мудрым потоком твое красноречье целебное мчится,
Ты источаешь из уст реки сокровищ благих.
Ежели ты как-нибудь трудом истомленного видишь,
Ты, как египетский Нил, речью его оросишь.
Знаешь ты все и блюдешь отечества твердо законы,
Можешь распутать любой хитросплетений клубок.
Ты принимаешь к себе, всеми чтимый, голодные толпы
И не допустишь уйти, не накормив, никого.
Если в деревню придешь, народ на обед прибегает,
И угощаются все гостеприимно тобой.
Будь же здоров и живи на радость всем долгие годы,
И всенародно твоя да прославляется власть!

VIII. 2. О СВОЕМ ОТЪЕЗДЕ

Мне на заре в этот день придётся в дорогу пуститься,
Надобно выполнить долг мне на заре в этот день.
Путь указует отец, прославленный Герман епископ,
Мать не пускает, но мне путь указует отец.
Оба — и мать и отец — любви преисполнены к Богу
И привязались ко мне оба — и мать и отец.
Все же дороже мне мать, хоть отец и более славен
В подвигах жизни своей, все же дороже мне мать.
Мыслю о нем и о ней, и когда они шествуют оба
Ко благочестью, то я мыслю о нем и о ней.
Как и ему, так и ей на пользу их подвиги будут
И помогают они как и ему, так и ей.

Оба сердечно влекут: повеленьям и той и другого
Я повинуюсь: они оба сердечно влекут.
Нет, не уйду я отсель: хоть и новые храмы увижу
Взором телесным, но сам — нет, не уйду я отсель.
Здесь я останусь навек и сердцем и всею душою,
И, возвращаясь сюда, здесь я останусь навек.
Вооруженье дает мне небесное мать на дорогу
И на прибыток себе вооруженье дает.

IX. 3. УТЕШЕНИЕ ХИЛЬПЕРИХА И ФРЕДЕГОНДЫ

После неистовых бурь и грозной с небес непогоды,
После того, как сковал землю жестокий мороз,
После ненастья и вьюг пронзительных в зимнюю пору,
После того как в полях ветер свирепый ревел,
Вновь возвращается в мир благодатное теплое время
И растопляется лед милым дыханьем весны.
Снова цветут на лугах везде благовонные травы,
И покрывается лес новой зеленой листвой.
Сладкие гроздья плодов отягчают древесные ветви,
И улыбаются всем нивы и пашни опять.
Так же, владыки, и вы после вашей горькой утраты
Вновь ободритесь, прошу, и не скорбите в тоске.
Вот уже мягкие дни возвращает нам Пасха Христова
И оглашается все громкой молитвой людей.
Пусть же высокий дворец озарит благодатная радость,
Пусть с вами вместе справлять праздник и слуги пойдут.
И да пошлет вам Господь всемогущий здоровье и счастье,
Чтобы надолго могли вы над отчизной царить.

IX. 9. О СВОЕМ ПЛАВАНИИ

Раз королями [1] верхом у стен Меттийской твердыни
Был я замечен, и бег остановил я коня.
Там от владык получил приказ я поплыть по Мозелле,
Быстро на веслах идя вниз по бурливой реке.
Тотчас на легкий челнок пловец вскочил и отчалил;
Даже без ветра неслась лодка, скользя по воде.
А по реки берегам таятся подводные камни,
Русло сжимая ее и поднимая валы.
Билась о камни ладья, на них на бегу натыкаясь,
И захлебнуться легко в бурной стремнине могла.
Но, когда выбрался я из этой пучины, приятно
Было смотреть на поля и на веселый их вид.
К водовороту потом я несусь при впадении Орны [2],

И облегчает теперь путь мой двойная струя.
Сильный теченья напор заставляет нас плыть осторожней,
Чтоб вместе с рыбами нам не очутиться в воде.
Вдоль берегов, где везде дымятся кровли поселков,
Я достигаю затем устья и Суры-реки.
После, высоты холмов миновав и долин углубленья,
Мы по теченью реки к Сары [3] подходим струям.
Я дохожу и до стен высоких столицы Тревиров
Мощной, что славой своей там города превзошла.
Далее этой рекой мы к высотам подходим сената,
Где и развалины их честь сохраняют свою.
Нам отовсюду видны с вершинами грозными горы,
И, в облака уходя, острые скалы торчат.
Круто вздымаются их утесы с обрывами в небо,
Всюду шершавой грядой тянутся к небу холмы.
И не бесплодною здесь лежит каменистая почва,
Но плодородная; с гор влага струится вина.
Лозами всюду холмы покрыты, куда ни посмотришь,
И ветерок шелестит, их овевая листву.
Скалами сжаты, растут густые кусты винограда,
И наслаждается взор пестрою их чередой.
Между угрюмых камней поселяне возделали почву,
На сероватой земле ярко краснеет лоза.
Гроздья медвяные там родятся из жесткого щебня,
Любо в бесплодных камнях им наливаться вином.
С лысой вершиною кряж виноградники там покрывают
И каменистый хребет сенью зеленой порос.
Гроздья цветистые тут срезает с лоз виноградарь,
Кисти висящие рвет, сам над обрывом вися.
Вдоволь и взор мой и вкус усладил я пиршеством пышным,
Следуя вдоль берегов радостной этой страны.
В Контруе после нашел я ладьями богатую пристань [4],
Где возвышал в старину голову славный оплот.
После того я туда подхожу, где сливаются реки —
Пенистый Рена поток с плодной Мозеллы водой.
Весь этот путь я прошел, в изобилии рыбой питаясь:
Ею там воды кишат для королей и владык.
Но, чтобы мне на пути никакой не лишиться услады,
Музы питали меня, в уши мне песня лилась.
Громкие звуки рогов оглашали окрестные горы
И отражались опять от нависавших камней.
Медь начинала вдали издавать приветливый шепот,
И от нагорных кустов он уходил в камыши.
То раздавалось кругом дребезжанье, то нежное пенье:
Так, отдаваясь от скал, медные трубы звучат.
Тот и другой берега сочетает сладкая песня,
И на холмах и в реке голос единый поет.

Милость владык — отыскать, чем народ они могут потешить,
Это находит всегда тот, кто печется о нем.
Скоро затем подхожу к укреплениям я Антонака,
Не загружая ничем, кроме себя, челнока.
Там, хоть и много садов виноградных к нему примыкает,
И хлебородных полей также немало найдешь.
Но тем не менее вся эта область не этим богата:
Больший добыток народ там собирает в реке.
В дни же, когда короли решат посетить этот город
И во дворце у себя праздничный пир задают,
Смотрятся сети, в каких из заколов ловится семга;
Рыбам подсчеты ведет, в крепости сидя, король.
Он рукоплещет, когда из омута выскочит рыба,
И поздравляет ловцов, видя с добычею их.
Рад он удаче и весь его двор во дворце веселится:
Сладко смотреть на улов и насладиться едой.
А за столом короля — прибывший на Рен чужеземец,
И сотрапезники все славят и хвалят его.
Пусть же Господь, господа, дарует нам зрелища эти,
Вам же народу дарить надо счастливые дни.
Ласковым взором своим вы радости всем доставляйте,
Чтобы величием всех вам осчастливить своих.

XI, 13. КОРЗИНОЧКА С КАШТАНАМИ

Эту корзиночку я из ивовых прутьев, поверьте,
Сплел, дорогие мои мать и благая сестра.
В ней деревенские в дар подношу теперь из деревни
Вам я каштанов плоды вкусные, с дерева сняв.

Григорий Великий

Первые биографические сведения о римском папе Григории I Великом дает его современник Григорий Турский. «Он принадлежал к одному из первых сенаторских родов, с юности был благочестив, на свои собственные средства основал в Сицилии шесть монашеских общин, а седьмую — в Риме, и дал им столько земельных угодий, чтобы им хватало на ежедневное пропитание, остальное же имущество распродал и деньги раздал бедным; он, ходивший прежде по городу в сирийских шелках, усыпанных драгоценными каменьями, стал носить скромное платье и был посвящен в качестве седьмого диакона в помощь папе для служения престолу Господа» (Григорий Турский, X, 1). Григорий Великий родился около 540 г., в молодости занимал должность городского претора, а после посвящения был послан в качестве папского нунция в Византию, где пробыл с 579 по 585 г. (там он сдружился с испанским епископом Леандром, братом Исидора Севильского). По возвращении в Рим Григорий стал аббатом монастыря, основанного им в своем собственном доме.

В 590 г. в Риме произошло наводнение, и его последствием была эпидемия (чумы или холеры), от которой умерло множество людей, в том числе папа Пелагий II. На его место народ и духовенство избрали Григория. Он пытался уклониться от этой трудной должности, скрылся из Рима, писал к византийскому императору с просьбой не давать согласия на его избрание, но тщетно.

Григорий занимал папский престол 14 лет, до самой своей смерти в 604 г., и оказался крайне энергичным и рачительным правителем не только в чисто церковных делах, но и в делах хозяйственных и политических. Он заботился о снабжении Рима хлебом и о раздаче его беднейшему населению, сам посещал церковные имения, разбросанные по Италии и Галлии, в письмах своих (которых сохранилось около 900) входит во все подробности хозяйства и финансов. Ему не раз приходилось брать на себя переговоры с враждебными Риму лангобардскими королями и спасать город от разрушения и грабежа немалыми выкупами. Несмотря на эту загруженность «мирскими делами», на которую он часто сетует, Григорий усердно выполнял свои пастырские обязанности, много проповедовал и писал; ему хотелось даже самому поехать миссионером к далеким англо-саксам, а когда это не удалось, он отправил к ним своего ученика Августина.

Григорий пользовался славой высокообразованного и ученого человека: об этом пишут не только простодушный Григорий Турский, но и такие эрудиты, как Исидор Севильский и Павел Диакон. Действительно, его речи, проповеди и даже деловые письма обнаруживают владение богатой лексикой и разнообразными риторическими приемами. Можно думать, что он был знаком даже с греческим языком (хотя бы по своему пребыванию в Константинополе), хотя сам он это и отрицал. Однако в декларативных своих высказываниях он относился неодобрительно и к занятиям грамматикой и риторикой, и к изучению античных классиков: он считал «недостойным поступком подчинять слова небесного пророка грамматике Доната» (письма, V, 53) и порицал вьеннского епископа Дезидерия за то, что он учит своих учеников грамматике по произведениям язычников (письма, XI, 34); возможно, впрочем, что это был протест лишь против чисто формального изучения риторики и ее бессодержательных упражнений. Сам Григорий ссылается в своих писаниях только на Библию и не цитирует даже чтимых им Амвросия и Августина.

Толкованию Библии посвящены самые большие произведения Григория: 35 книг толкований на книгу Иова, известные под названием «Нравственные поучения» и посвященные Леандру (это посвящение приведено ниже) и более популярно написанные «22 проповеди на книгу пророка Иезекииля» и «40 проповедей на евангельские тексты». Но гораздо большую известность приобрели два других его произведения: «Пастырский устав» — руководство и наставления для священников и «Диалоги о житии и чудесах италийских отцов» — четыре книги очень просто и даже примитивно (в расчете на самых необразованных читателей) изложенных легенд о Бенедикте Нурсийском и других подвижниках. Четвертая книга «Диалогов» посвящена рассмотрению вопроса о судьбе бессмертной души после смерти тела; здесь впервые в средневековой литературе используются «видения», ставшие впоследствии распространенным самостоятельным жанром (IV, 37—38), и выдвигается учение об «очистительном огне», из которого впоследствии развилось представление о чистилище, ставшее догматом в западном католичестве, но оставшееся чуждым греческому православию. Григорию приписывают также сочинение нескольких церковных гимнов и установление твердого порядка богослужения, для которого им были написаны «Сакраментарий» (текст мессы) и «Антифонарий» (текст хоровых песнопений; известный термин «григорианское пение» происходит как раз от его имени), но эти сведения нельзя считать достоверными.

НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Поста уставы славные
Открыты волей горнею;
Христос, уставщик Истины,
В том дал пример и правило.

Тем Моисей сподобился
Законы дать блуждающим;

Тем Илия до звезд достичь
Возмог в квадриге огненной.

Тем Даниил, смиритель львов,
Проникнул в тайны Божии;
Тем Иоанн прославился,
Друг Жениха возлюбленный.

В них явлен путь для праведных:
Открой нам путь сей, Господи,
Умножь в нас силу твердую,
Дай свет духовной радости.

ПРОПОВЕДЬ ПЕРЕД НАРОДОМ

Подобает нам, любезнейшие братья, трепетать перед теми ударами бича Божия, коих прежде мы должны были страшиться в грядущем и кои мы испытываем ныне. Пусть же скорбь наша открывает нам двери к покаянию и пусть жесткость сердец наших смягчена будет самой той карой, которую мы претерпеваем. Как предсказано свидетельством пророка, «Меч доходит до души» (Иерем, 4,10); ибо вот пронзен острием гнева небесного весь народ и одного за одним уносит внезапная гибель. И не предваряется смерть недугом, но как видите воочию, медлительность недуга опережает сама смерть.

Пронзенный ударом похищается раньше, чем успевает обратиться к покаянным стенаниям. Помыслите же, каким предстанет перед лицом строгого судии тот, кому уже не дано срока оплакать содеянное им. Ибо не постепенно отторгаются от нас жители нашего города, но гибнут многие одновременно. Пустыми остаются дома, на погребение чад своих взирают родители, и их наследники на дороге к гибели опережают их.

Пусть же каждый из нас ищет прибежища в покаянных стенаниях, пока ему, до смертельного удара, еще дано время рыдать. Воскресим перед очами нашего ума все, что мы, заблуждаясь, совершили, и все, что содеяли недостойного, покараем своими слезами. «Предстанем лицу его со славословием» (Пс. 94 ст. 2) [1]. Так же наставляет нас пророк: «Вознесем сердца наши и руки к Богу (Плач Иеремии, 3, 41). Вознести к Богу сердца и руки означает — усердие молитвы нашей достойно укрепить свершением добрых дел. Ибо воистину подает нам, трепещущим в страхе, подает верную надежду тот, кто через пророка возглашает: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» (Иез. 33, 11). Посему пусть никто, видя безмерность грехов своих, не отчаивается. Ибо трехдневным покаянием стерты были в прах долголетние грехи ниневитян (Иона, 3), и разбойник покаявшийся при-

ял в своем смертном приговоре в награду жизнь (Лука, 23).

Изменим же сердца наши и уверуем, что мы уже получили то̀, о чем просим; ибо скорее склоняется судия к исполнению просьбы, если просящий сам исправился от своей порочности; и перед мечом, грозящим столь страшной карой, будем в мольбах своих настойчивы; ведь настойчивость, людям обычно досаждающая, праведному судии угодна; ибо Бог благой и милосердный хочет, чтобы своими мольбами мы исторгли у него помилование, а гневаться на нас, как мы того заслуживаем, ему не угодно. Потому он и говорит через псалмопевца: «Призови меня в день скорби; я избавлю тебя, и ты прославишь меня» (Пс. 49, 15). Итак, сам Бог свидетельствует о себе, что он хочет сжалиться над призывающими его, раз повелевает нам его призывать.

Посему, любезнейшие братья, с сокрушенными сердцами и совершив дела покаяния, завтра на рассвете четвертого (quartae feriae) праздничного дня соберемся для молебствия в семи шествиях в порядке, указанном далее, с благоговением и слезами.

Пусть никто из вас не выходит на поля для работ земледельческих, пусть никто не предпринимает никаких дел; но, собравшись в храм пресвятой Матери Божией, мы, все, кто вместе грешили, вместе станем оплакивать наши злые деяния, дабы строгий Судия, видя, что мы за свои грехи себя наказуем, сам пощадил нас и отказался от предуготованного нам смертного приговора.

Молебственное шествие (litania) духовенства выходит из церкви святого Иоанна Крестителя, шествие мужчин-мирян — из церкви блаженного мученика Марцелла, монахов — из церкви мучеников Иоанна и Павла, шествие служительниц Божиих — из церкви блаженных мучеников Космы и Дамиана, замужних женщин — из церкви блаженного первомученика Стефана, вдов — из церкви блаженного мученика Виталия, шествие бедняков и детей (infantium) — из церкви блаженной мученицы Цецилии.

ПРЕДИСЛОВИЕ К „КНИГЕ НРАВСТВЕННЫХ ПОУЧЕНИЙ, ИЛИ ТОЛКОВАНИЯМ НА КНИГУ ИОВА“

ПИСЬМО ДОСТОПОЧТЕННОМУ И СВЯТЕЙШЕМУ БРАТУ ЛЕАНДРУ, СОТОВАРИЩУ ПО САНУ ЕПИСКОПСКОМУ ГРИГОРИЙ, РАБ РАБОВ БОЖИИХ

Некогда, брат мой блаженнейший, познакомился я с тобой в граде Константинопольском, когда меня удерживали там поручения, данные мне апостольским престолом, а тебя привело туда же участие в посольстве по делам вероисповедания визиготов; тогда-то я поверял ушам твоим все, что во мне самом мне не нрави-

лось: ведь я в ту пору уже долго оттягивал решение полностью обратиться к благодатной вере и после того, как стремление к небесному уже коснулось меня своим дыханием, я все еще почитал за лучшее в быту оставаться мирянином (Иоанн Диакон, 1, 27)[2]. Мне уже было ясно, чего я должен искать, повинуясь любви к вечности, но укоренившиеся во мне привычки брали верх и убеждали меня не изменять внешнего образа жизни. Между тем, как до тех пор мой разум принуждал меня хотя бы по виду служить повседневным мирским делам, из этих самых забот мирских стало проистекать для меня многое, что было мне противно, и я оказался связан с миром уже не только по виду, но — что хуже — и своими мыслями. Стараясь убежать от всего этого, я направился в пристань монастыря и покинув дела мирские — на что я тогда надеялся, но тщетно — спасся нагим из крушения жизненного корабля. Однако часто бывает, что челн, небрежно закрепленный у причала, волны, если разразится гроза, отрывают даже от берега надежнейшей бухты. Так и я, согласно церковному уставу послушания, внезапно опять оказался в пучине мирских дел; и так как не сумел я ухватиться за тишину монастыря так крепко, как это следовало, я оценил ее, уже ее утратив. Ибо когда в силу добродетели послушания от меня потребовали принять обязанность служения священному престолу, я взял на себя, видя положение церкви, то, от чего я бы снова обратился в бегство, если бы это можно было сделать безнаказанно. После же того, как я упорно отказывался и сопротивлялся,— ибо тяжко служение престолу — к нему присоединилось еще и бремя пастырских забот. И терпеть все это мне еще труднее потому, что, чувствуя себя ко всему этому неспособным, я не могу найти утешения в уверенности в себе. Да и судьбы всего мира поколебались, бедствия все учащаются, ибо близится срок[3]; а мы сами, кто — как обычно полагают — усердно служили только таинствам духовным, опутаны сетью внешних забот. И вот в то самое время, как я приступил к служению престолу, произошло со мной, без моего ведения, то, я что я, приняв на себя бремя своего сана, должен был поселиться во дворце, полном земной роскоши; и сюда последовали за мной многие братья мои из монастыря, движимые братским милосердием. Произошло это, как я вижу, по Божьему соизволению; ведь их пример все время удерживал меня, подобно якорному канату, возле мирного берега проповеди, когда непрекращающийся прибой мирских дел бросал меня то туда, то сюда. Ведь в их общину я убегал, как в надежнейшую пристань в заливе, от бремени земных дел и тревог. Между тем как меня, расставшегося с монастырем, отрешенного от прежней покойной жизни, мое служение как бы пронзало острием моих обязанностей, общение с ними в беседе и усердном чтении оживляло меня своим бодрящим дуновением.

И вот этим братьям — да, как ты помнишь, и по твоему внушению — пришло на ум обратиться ко мне с просьбой истолковать

книгу блаженного Иова, и — насколько сама Истина дарует мне сил для этого дела — раскрыть им тайны, столь неизмеримо глубокие. К своей и без того трудной просьбе прибавили они еще вот что: чтобы я не только извлек из слов, излагающих историю Иова, их аллегорический смысл, но и развил дальше смысл этих аллегорий в сторону упражнений нравственных; к тому же просили они настоятельно подтверждать отвлеченные мысли свидетельствами Священного Писания, а приведенные свидетельства, если они подчас покажутся им слишком сложными, разъяснять особо, включая добавочные толкования их.

ИЗ „ДИАЛОГОВ О ЖИТИИ И ЧУДЕСАХ ИТАЛИЙСКИХ ОТЦОВ И О ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ ДУШИ“

ПРЕДИСЛОВИЕ

Однажды, когда я был особенно подавлен беспокойной назойливостью некоторых мирян, которым мы нередко вынуждены разрешать разные их деловые вопросы,— чего мы, несомненно, делать не обязаны,— я отыскал укромный уголок, целителя печали, чтобы мне воочию раскрылось все то, что мне было неприятно в моей должности, и чтобы все обстоятельства, обычно заставлявшие меня страдать, совокупно предстали перед моими глазами.

И вот, когда я, глубоко огорченный, уже долго сидел в молчании, ко мне подошел любезнейший сын мой, диакон Петр, связанный со мной узами теснейшей дружбы с первых дней цветущей юности и мой сотоварищ по изучению слова Божия.

Видя, что я погружен в глубокую скорбь, он сказал: «Что случилось с тобой, что повергло тебя в столь чрезвычайную печаль?» «Скорбь,— ответил я,— снедающая меня ежедневно, уже обветшала, ибо стала мне привычной, и в то же время свежа, ибо непрерывно возрастает. Несчастная душа моя, израненная земными заботами, вспоминает, какой она была некогда в монастыре, как все преходящее лежало во прахе ниже ее и сколь высоко она парила над всем, что подвержено изменению; только о небесном помышляла она, и, еще связанная плотью, разрушала ее границы, погружаясь в созерцание; даже о смерти, которую почти все люди считают мучительной карой, мыслила она с любовью, видя в ней врата, ведущие в жизнь, и награду за труды. А теперь из-за моих пастырских обязанностей должна она постоянно заниматься делами мирскими и, уже вкусив некогда столь прекрасный покой, оскверняться пылью дел земных. И когда она, уступая требованиям множества людей, распыляется по всяким мелочам внешнего мира, то, даже если ей и удается вернуться к себе самой, она, без сомнения, уже утратила часть своей ценности. Вот я и взвешиваю все то, что я терплю, и

сравниваю с тем, что потерял. Когда же я оцениваю мою утрату, бремя, лежащее на мне, становится еще тяжелее. Так я ношусь то туда, то сюда по волнам великого моря, и челн души моей колеблют мощные порывы страшной бури, а, вспоминая мою прежнюю жизнь, я как бы бросаю взгляд назад, вижу берег и тяжко вздыхаю. А что всего печальнее,— меня, беспомощного, все дальше уносят огромные морские валы, и мне уже почти не видна покинутая мной пристань. В этом-то и состоит падение души, что сперва, утратив какое-либо благо, прежде ей принадлежавшее, она еще помнит о своей утрате, потом, опускаясь все ниже, о ней забывает, и, наконец — в ее памяти не остается ничего из всего того, что приобрела она когда-то путем деятельных упражнений. Поэтому-то, как я сказал, мы, уплывая все дальше, уже теряем из глаз пристань тишины, нами покинутую. Порой же увеличивает мою скорбь и воспоминание о житии тех людей, которые всей душой отреклись от жизни нашего века. Чем больше я помышляю о том, как высоко стоят они, тем яснее понимаю, как низко я опустился. Почти все эти люди стали угодны Творцу, ведя жизнь, отрешенную от мира, и чтобы юность их душ не увяла от соприкосновения с делами человеческими, всемогущий Бог не захотел обременять их тяготами мира сего.

Чтобы яснее передать, о чем мы с Петром повели беседу, я изложу наши вопросы и ответы поименно.

[Диалоги, образцы которых мы приводим, носят разный характер: одни из них представляют собой исторические рассказы о мужественных людях, погибших за христианскую веру в столкновениях с лангобардами, чему свидетелем мог быть и сам Григорий; в другие вносится элемент чудесного — таким исповедникам христианства оказывается помощь свыше; далее, есть рассказы исключительно поучительного, а некоторые — почти сказочного характера.]

КНИГА I, ГЛАВА 12. БЕСЕДА О ЧУДЕСАХ

[Григорий рассказывает Петру о чуде, совершенном пресвитером Севером: Севера пригласили к умирающему, желавшему покаяться перед смертью; Север пошел к нему не сразу, заканчивая какое-то дело в монастыре, когда же он отправился в путь, его встретили по дороге родственники больного и сказали, что он уже умер. Север, почувствовав себя виновным в том, что больной умер без покаяния, пошел в его дом, долго молился и плакал у его тела и воскресил его; воскрешенный прожил неделю, принес покаяние, причастился и спокойно умер.

После этого между Петром и Григорием состоялась беседа о значении чудес.]

Петр. Весьма удивительно все то, что до сих пор, как я вижу, было от меня скрыто. Но как же мы объясним то, что таких мужей теперь встретить невозможно?

Григорий. Я полагаю, Петр, что и в наше время живет много таких людей; из того, что они не совершают таких чудес, нельзя заключать, что они не таковы, как те, кто их совершает. Истинная ценность жизни состоит в добрых деяниях, а не в явных чудесах: ибо многие, хотя они чудес и не совершают, ничем не хуже тех, кто их совершает.

Петр. А из каких признаков, спрошу я тебя, мне может стать ясным, что есть такие люди, которые, хотя чудес и не совершают, тем не менее подобны совершающим чудеса?

Григорий. А разве ты не знаешь, что апостол Павел — брат апостолу Петру, первому из апостолов на апостольском престоле?

Петр. Конечно, я это знаю и не сомневаюсь в том, что он, хотя и самый младший из всех апостолов, однако больше всех потрудился.

Григорий. Как ты сам хорошо помнишь, Петр ходил по морю (Матф., гл. 14), а Павел на море потерпел кораблекрушение (II Кор. гл. II). Значит, Павел не смог переплыть на корабле ту самую стихию, по которой Петр прошел пешком. Из этого явствует, что их сила в совершении чудес была различна, но по достоинству своему на небесах они равны.

Петр. Очень по душе мне, скажу я, все то, что ты говоришь. Теперь я твердо знаю, что надо высоко ценить не чудеса, а всю жизнь человека. Но так как само совершение чудес свидетельствует о добродетельной жизни, прошу тебя рассказать мне о том, что было до нашего времени, чтобы напитать меня, жаждущего, примерами жизни людей благочестных.

[Этой беседой заканчивается первая книга «Диалогов»; исполняя просьбу Петра, Григорий посвящает всю вторую книгу рассказам из жизни Бенедикта Нурсийского.]

КНИГА III, ГЛАВА 27. О СОРОКА КРЕСТЬЯНАХ, КОТОРЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ ВКУШАТЬ ЖЕРТВЕННОЕ МЯСО И ЗА ЭТО БЫЛИ УБИТЫ ЛАНГОБАРДАМИ

Около пятидесяти лет тому назад, как свидетельствуют те, кто могли присутствовать при этих событиях, сорока крестьянам, взятым в плен лангобардами, было приказано вкусить жертвенного мяса. Когда же они стали упорно сопротивляться и не захотели даже прикоснуться к кощунственной пище, лангобарды, державшие их в плену, стали угрожать им смертью, если они откажутся есть мясо животных, принесенных в жертву. Они же, возлюбив жизнь вечную больше, чем временную и преходящую, остались верны своему решению, и за свою твердость были все вместе убиты. Раз-

ве же они не заслуживают названия мучеников? они, кто, чтобы не оскорбить своего Творца вкушением запретной пищи, предпочли кончить свою жизнь под мечами врагов?

КНИГА III, ГЛАВА 12. О ФУЛЬГЕНЦИИ, ЕПИСКОПЕ УТРИКУЛАНСКОЙ ОБЛАСТИ[4]

Фульгенцию, епископу, управлявшему Утрикуланской церковной общиной, крайне враждебен был свирепейший король Тотила. Когда он со своим войском стал приближаться к этой местности, епископ позаботился о том, чтобы послать ему через своих клириков приветственные подношения и, если возможно, смягчить дарами его безрассудную ярость. Но когда король увидел эти дары, он отнесся к ним с презрением и, разгневавшись, приказал своим подчиненным схватить этого епископа, крепко его связать и привести на допрос к королю. И когда жестокие готы, как бы посланцы свирепости королевской, схватили его, то, окружив его со всех сторон, велели ему стоять, не сходя с места, и начертили на земле круг, за пределы которого он не смел сделать ни шага. Когда слуга Божий, стиснутый готской стражей и заключенный в начертанный круг, стал сильно страдать от жгучего солнца, внезапно засверкали молнии, загремел гром и хлынул такой сильный ливень, что те, кому было поручено его сторожить, не смогли выдержать напора дождевых потоков. И в то время, как началось сильнейшее наводнение, внутри начертанного круга, в котором стоял слуга Божий Фульгенций, не упало ни одной капли. И когда об этом возвестили свирепому королю, то его жестокая душа поколебалась, и он почувствовал величайшее почтение к тому, чьей казни он еще недавно жаждал в ненасытном бешенстве.

Так всемогущий Бог, вопреки высокомерным помышлениям людей плотских, являет чудеса своего могущества через людей незаметных; и тех, кто надменно восстает против повелений истины, сама истина через людей смиренных заставляет склонить голову.

[В начале этой главы Григорий сообщает, что об этом случае рассказал ему один старый клирик, который жив и до сих пор.]

КНИГА I, ГЛАВА 3. О МОНАХЕ-САДОВОДЕ

Феликс, прозванный Горбатым,— ты сам его хорошо знал,— который еще недавно стоял во главе этого самого монастыря[5], рассказывал мне о братии его много историй, достойных удивления: некоторые его рассказы, приходящие мне на память, я опущу, ибо

спешу поговорить о другом. Но один я передам, ибо пройти мимо этого его рассказа считаю невозможным.

Жил в этом монастыре некий монах высокой добродетели и был он садоводом. Повадился к нему ходить вор, перелезавший через изгородь и тайком уносивший с собой овощи. И монах, хотя сажал много, но собирал мало и видел, что некоторые гряды потоптаны, другие разорены. Обходя весь сад кругом, он заметил то место в изгороди, через которое обычно проникал вор, а гуляя по саду, увидел змею, и приказал ей: «Следуй за мной». Дойдя до воровского перелаза, он дал ей такое повеление: «Именем Иисуса приказываю тебе сторожить этот проход и не позволять вору войти». Змея тотчас же растянулась во всю длину возле изгороди, а монах вернулся в свою келью.

В полуденный час, когда вся братия отдыхала, вор, как обычно, пришел и влез на забор; но когда он уже спускал ногу, чтобы войти в сад, он внезапно увидел, что растянувшаяся у забора змея преградила его путь; задрожав от страха, он упал навзничь, но зацепился завязками башмака за один из кольев забора и висел головой вниз, пока не вернулся садовод. В свое обычное время садовод пришел, нашел вора, висящего вниз головой, и сказал змее: «Благодарение Богу, ты исполнила мой приказ; теперь удались». И змея тотчас же уползла.

Подойдя к вору, монах сказал: «Ну что же, брат мой? Бог отдал тебя в мои руки. Зачем ты столько раз обворовывал монахов, разрушая их труды?» И сказав это, он отцепил ногу вора от кола изгороди, на котором тот висел, и поставил его на землю без всякого повреждения. Потом сказал ему: «Следуй за мной». Он довел его до входа в сад и те овощи, которые вор намеревался украсть, дал ему сам, сказав при этом с величайшей кротостью: «Иди и не воруй больше. А когда будешь нуждаться, приходи сюда ко мне и то, что ты, совершая грех, старался похитить, я обещаю тебе дать добровольно».

Петр. Никогда, как я вижу, не знал я до сих пор, что в Италии жили отцы духовные, совершавшие чудеса.

КНИГА III, ГЛАВА 20. О СТЕФАНЕ, ПРЕСВИТЕРЕ ПРОВИНЦИИ ВАЛЕРИИ, КОТОРОМУ ДИАВОЛ ПОМОГАЛ СНЯТЬ САПОГИ

Муж достопочтенной жизни, по имени Стефан, близкий родич нашего диакона и церковного казначея Бонифация, был пресвитером в провинции Валерии [6]. Однажды, вернувшись домой из какой-то поездки, он обратился с небрежными словами к своему слуге, говоря: «Пойди-ка сюда, диавол, разуй меня». В ответ на эти слова завязки его походных сапог стали сами развязываться с чрезвычайной быстротой, так что было ясно — его приказа послушался

сам диавол, которого он только позвал и коему велел стащить с него сапоги. Как только пресвитер увидел это, он страшно испугался и стал кричать громким голосом: «Уходи, злосчастный, уходи! Я же не с тобой говорил, а с моим слугой». Услыхав эти слова, диавол сейчас же отступил, и оказалось, что завязки, которых большая часть уже распустилась, остались не до конца развязанными.

Из этого рассказа можно видеть, сколь хитрыми уловками наш исконный враг, всегда присутствующий в вещах материальных, упорно следит за нашими помыслами.

КНИГА III, ГЛАВА 36. О ТЕХ, КОИХ ЯКОБЫ ОШИБОЧНО СЧИТАЮТ РАССТАВШИМИСЯ С ТЕЛОМ, О ПРИЗВАНИИ И ВОЗВРАЩЕНИИ МОНАХА ПЕТРА И О ВИДЕНИИ НЕКОЕГО ИНОКА

Григорий. Когда, о Петр, подобное происходит, то это, если правильно рассудить, не ошибка, а предупреждение свыше. Ибо горнее Милосердие по щедрой милости своей соизволяет, чтобы некоторые, даже по выходе из тела, возвращались в него и, увидев, убоялись адских мучений, в которые не верили, когда слышали о них.

Некий иллирийский монах, который в этом городе вместе со мною проживал в обители[7], рассказывал мне, будто ему в прежнее время, когда он еще жил в пустыне, стало известно, что как-то монах Петр, родом из иберийской земли[8], живший с ним в обширном безлюдном краю, называемом Евасою, еще раньше, чем удалился в пустыню, был поражен болезнью, как явствует из собственного его рассказа, и скончался; но затем в скорости, возвращенный в тело, свидетельствовал, будто узрел адские казни и множество мест огненных. Передавал он также, что видел некоторых из сильных мира сего, подвешенных над этим пламенем.

Когда и его уже повели, чтобы погрузить туда же, вдруг, говорит он, появился ангел сверкающего вида, который запретил окунуть его в огонь. И сказал ему ангел: «Выйди и тщательно соблюдай себя в течение последующей жизни». После сих слов в члены его стало постепенно возвращаться тепло и, пробудясь от вечного сна смерти, рассказал он все, что происходило вокруг него. В последующее же время он так угнетал себя постами и бдениями, что самое его обращение свидетельствовало о виденных им и устрашивших его мучениях, если бы даже язык его умолчал о них. Так совершилось над мертвым, по дивной милости божией, что он не умер.

Но так как человеческое сердце бывает отягчено великою жестокостью, то это предъявление адских мук не для всех одинаково полезно. Именитый муж Стефан, которого ты хорошо знал, самолично рассказывал мне, что, пребывая по некоторой причине в городе

Константинополе, он, пораженный болезнью, скончался. Пока искали врача и умастителя, чтобы вскрыть его и набальзамировать, и в тот день не смогли найти, тело его лежало непогребенным в течение следующей ночи. Низведенный в разные части ада, увидел он многое, о чем раньше слышал, но не верил. Но когда его поставили перед восседавшим там судиею, тот его не принял и сказал: «Не этого я приказал привести, но Стефана-кузнеца». Немедленно же возвратили его в тело, а Стефан-кузнец, живший по соседству, с ним, в тот же час скончался. Так оправдались слышанные им слова, как это было доказано самою смертью Стефана-кузнеца.

Года три тому назад от поветрия, опустошившего город сей великою смертностью [9], во время коего воочию видели, как с неба падали стрелы и поражали отдельных людей, скончался, как ты знаешь, оный Стефан. В том же городе нашем некий воин, пораженный болезнью, приял конец. Испустив душу, лежал он бездыханный, но вскоре очнулся и рассказал, что с ним было. Говорил же он, как многим тогда стало известно, будто там был мост, под которым протекала река черная и мрачная, источавшая невыносимо зловонный пар. На противоположном же берегу расстилались луга приятные и зеленеющие, испещренные благоуханными полевыми цветами; на них виднелись сонмы людей, облаченных в белые одежды. Такое было в этих местах сладостное благовоние, что самый аромат сладостью своею насыщал расхаживающих там и живущих. Там же были отдельные жилища, исполненные сильным сиянием; там воздвигался некий дом, изумительной роскоши, который, казалось, строился из золотых кирпичиков, но чей был этот дом, он узнать не мог. Были на берегу означенной реки некие обиталища, но до одних доходили поднимавшиеся оттуда зловонные пары, других же источаемое рекою зловоние вовсе не касалось.

Мост сей служил для следующего испытания: если бы кто из неправедных хотел перейти по оному, он падал в мрачную и зловонную реку; праведные же, на коих не было вины, могли свободным и спокойным шагом проходить по нему в места приятные.

Он передавал также, будто видел там Петра, начальника церковной челяди, умершего года четыре тому назад, помещенного внизу в место претемное с привязанным к нему и придавившим его тяжелым грузом. Спросив, отчего это происходит, он, по его словам, услышал то, что помнили мы все, знавшие Петра в этом церковном доме и осведомленные о делах его. Ибо было сказано: «Потому он претерпевает сие, что, получая приказ о наложении какого-либо наказания, он наносил удары более из любви к мучительству, чем из послушания». Что это было именно так, известно всякому, знавшему его.

Там же он, как уверял, видел некоего героя-иноземца, который, дойдя до того моста, перешел по оному с уверенностью, соответствовавшей чистоте его земной жизни. Он свидетельствовал и о том, что узнал на этом же мосту вышеупомянутого оного Стефана: ког-

да этот пожелал перейти, нога его поскользнулась, и он до середины тела свалился с моста; некие пречерные мужи, вынырнувшие из реки, стали тащить его вниз за чресла, другие же мужи, в белое одетые и прекрасные,— вверх за руки. Пока происходила эта борьба, кто это видел, вернулся в тело и ничего не узнал о том, что сталось со Стефаном. Этим видением дается понять относительно жизни Стефана, что в нем боролись прегрешения плоти с раздачей милостыни. Из того, как его за чресла тащили вниз, а за руки вверх, ясно видно, что он любил милостыню, но не во всем противостоял плотским порокам, которые и тянули его книзу. Но что из двух одолело в нем на испытании пред тайным судиею, это скрыто и от нас, и от того, кто видел и был возвращен. Достоверно, однако, что оный Стефан, узрев, как я рассказывал выше, части преисподней и вернувшись, далеко не совсем исправил свое поведение; и вот через много лет вышел он из тела на борьбу жизни со смертью.

Из этого можно заключить, что когда показуются людям адские казни, это совершается над одними для предупреждения, над другими для сведения: дабы те увидали зло, которого должны опасаться, а эти тем строже наказывались, что не пожелали избежать адских казней, хотя видели и изведали оные.

Петр. Что это значит, что в месте приятном чей-то дом, казалось, воздвигался из золотых кирпичиков? Смешно было бы поверить, что в будущей жизни мы будем нуждаться в подобных металлах.

КНИГА III, ГЛАВА 37. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОСТРОЕНИЕ ДОМА В МЕСТАХ ПРИЯТНЫХ, И О ДЕУСДЕДИТЕ, ЧЕЙ ДОМ ЯКОБЫ ВОЗДВИГАЛСЯ В СУББОТУ, И О НАКАЗАНИИ СОДОМИТОВ

Григорий. Кто же из здравомыслящих поймет это так? Но кто бы ни был тот, для кого строилось это жилище, тем, что там показано, с ясностью истолковывается то, что здесь говорится. Ибо относительно заслужившего награду вечного сияния щедростью милостыни, безусловно явствует, что он из золота построил жилище свое. Но скажу то, о чем я прежде позабыл: воин, видевший это, рассказывал, что отцы и юноши, девочки и мальчики носили золотые кирпичики для построения дома. Из этого явствует, что те, кому здесь было оказано милосердие, сами являются там пособниками для прославления милостивца.

По соседству с нами жил тоже некто по имени Деусдедит, из духовного звания, изготовлявший обувь. О нем некто другой видел в откровении, будто для него воздвигался дом, но строители якобы работали только в день субботний. Расспросив впоследствии подробно о жизни мужа сего, ясновидец узнал, что весь освободив-

шийся от ежедневного заработка излишек в одежде или в съестных припасах он обыкновенно по субботним дням относил в церковь блаженного Петра и раздавал неимущим. Из этого ты поймешь, что недаром строение его дома подвигалось по субботам.

Петр. В этом отношении я вполне удовлетворен. Но, прошу тебя, скажи мне, как мы должны понимать, что до обиталищ иных доходил зловонный пар, иных же он не мог коснуться, и что означает, что он видел мост и реку?

Григорий. Из изображений вещей постигаем мы, о Петр, значение причин. Итак, он узрел, что праведные проходят по мосту в места приятные, ибо весьма узок путь, ведущий в жизнь (Матф. 7, 14). И видел он реку, бегущую, зловонную, ибо ежедневно стекает отсюда в преисподнюю скверна плотских грехов. И до жилищ иных доходил зловонный пар, иные же не могли быть им затронуты, ибо некоторые совершают много добрых дел, однако затронуты плотскими грехами и мысленными вожделениями. И вполне справедливо, что там зловонный пар окружает тех, которым здесь нравилось зловоние плоти. Поэтому и блаженный Иов, постигнув, что оное вожделение плоти состоит в зловонии, произнес изречение о блудливом и сладострастнике, говоря: «Пусть лакомится им червь» (Иов, 24, 20). Относительно же тех, кои очищают сердце от всякого плотского вожделения, совершенно ясно, почему обиталищ их не касается зловонный пар. И еще следует отметить, почему ему привиделись именно зловоние и пар: потому что плотское вожделение затуманивает разум, им пораженный, так что он не видит сияния вечного света, но снизу, откуда он черпал наслаждение, он получает наказание в виде мрака.

Петр. Можно ли доказать, опираясь на Священное Писание, что плотские грехи наказуются зловонием?

Григорий. Можно. Ибо из свидетельства книги Бытия мы узнаем, что «пролил Господь на Содом дождем серу и огонь» (Быт., 19, 24), дабы и огонь пожег их, и зловоние серы умертвило. Горя запретною любовью к легко совратимой плоти, погибли они сразу от пожара и зловония, дабы в наказании своем постигли они, что предали себя вечной смерти ради наслаждения зловонием.

Петр. Признаюсь, у меня нет больше вопросов относительно того, в чем я сомневался.

КНИГА IV, ГЛАВА 39. ИМЕЕТСЯ ЛИ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Петр. Я хотел бы узнать от тебя, следует ли верить в то, что после смерти существует очистительный огонь.

Григорий. Господь говорит в Евангелии: «Ходите, пока есть свет» (Иоанн, 12, 95); и через пророка сказано: «Во время благо-

приятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе» (Исх., 49, 8). Так же говорит апостол Павел: «Вот, теперь время благоприятное; вот, теперь день спасения» (II Кор., 6, 2). Соломон говорит то же: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай: ибо в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Екклес., 9, 10). И Давид говорит: «Велика милость Его к нам» (Пс. 116, 2).

Из всех этих изречений можно видеть, что человек предстанет на судилище таким, каким он выйдет отсюда. Но можно верить в то, что для некоторых не тяжких прегрешений еще до суда существует очистительный огонь, ибо истина глаголет: «Если кто скажет хулу на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Матф., 12, 32). Из этого речения можно понять, что некоторые грехи могут быть прощены в этом веке, а другие в будущем; ибо если отрицается возможность прощения относительно одного греха, то, следовательно, относительно других сказано, что они могут быть прощены. Однако, как я уже сказал, следует верить, что это касается только малых, совсем незначительных грехов, как-то: постоянное празднословие, неумеренный смех, отсутствие заботы о своих семейных делах; эти поступки некоторые люди совершают, не видя в них греха, другие, однако, совершают их, зная, что должны бы избегать их; иногда же незначительные грехи совершаются людьми по неведению, но после смерти и они отягощают душу, если в этой жизни остались не прощены. Ибо апостол Павел, называя Христа «основанием», прибавляет: «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится... ибо в огне все открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть» (I Кор., 3, 12—13). Хотя можно понимать эти слова и так, что они подразумевают огонь печалей, испытываемых нами уже в этой жизни; но если кто относит их к будущему очистительному огню, то он должен это тщательно обдумать: ведь апостол сказал, что спастись этим огнем может не тот, кто кладет на основание железо, медь или свинец, т. е. грехи большие и тяжелые, и поэтому не поддающиеся прощению; а вот дерево, сено и солома суть грехи легкие, которые огонь без труда пожирает. И все же следует знать, что даже и от самых малых грехов никто не получит очищения, если он, находясь еще в этой жизни, не заслужит добрыми делами прощения в будущей.

Григорий Турский

Григорий Турский (Георгий Флоренций), живший в 538—593 (или 539—594) гг., известен как автор «Истории франков» в десяти книгах — ценнейшего памятника культуры и исторического источника эпохи Меровингов.

Григорий происходил из знатной галло-римской семьи города Клермона, из которой вышло немало видных церковных деятелей. Он получил хорошее по тому времени образование. Но, по собственному признанию, он рано бросил занятия светскими науками ради церковных. Об ограниченности его латинской культуры говорит хотя бы то, что из всех писателей античности он упоминает только Вергилия и Саллюстия, влияние которых в какой-то мере чувствуется в его произведениях. В 573 г. Григорий с согласия Сигиберта, короля Австразии, получил сан епископа в городе Туре — религиозном центре тогдашней Галлии. На этом посту он провел двадцать лет, пользуясь влиянием и почетом у королей Сигиберта, Гунтрамна и Хильдеберта II(сына Сигиберта). Благодаря своей учености, религиозности и энергичной защите интересов католической церкви, Григорий Турский играл не последнюю роль в государственной жизни и сам был участником многих событий, описанных в его «Истории».

Григорий пишет простым и безыскусственным языком, который является ярким образцом народной латыни того времени; рассказ его сбивчив и не всегда последователен, но отдельные эпизоды его не лишены драматизма и художественной выразительности. Он не ограничивается простым перечнем имен и событий, а привлекает в качестве фона обширный бытовой, а нередко и социально-политический материал. Источниками его были несохранившиеся более ранние хроники, устные предания и рассказы, а также личные воспоминания.

Кроме «Истории франков», Григорию принадлежит несколько сочинений чисто религиозного характера: «Семь книг о чудесах», книга «О жизни отцов» и др., до нас не дошедшие.

ИЗ „ИСТОРИИ ФРАНКОВ"

ПРЕДИСЛОВИЕ

С тех пор, как изучение благородных наук в городах галльских пришло в упадок или, вернее сказать, пресеклось, и когда совершалось немало деяний как праведных, так и нечестивых, когда сви-

рействовала дикость язычников, росло неистовство королей, когда еретики нападали на церкви, а православные их защищали, когда вера Христова во многих пылала, а в иных едва теплилась, когда сами церкви то обогащались дарами людей благочестивых, то разграблялись нечестивцами,— в такое время не нашлось ни одного искушенного в красноречии знатока словесности, который бы изложил эти события или прозаическим складом или мерным стихом; потому и сетовали многие не раз, говоря: «Горе дням нашим, ибо угасло у нас усердие к наукам, и нельзя найти в народе такого человека, который бы на своих страницах поведал всем события наших дней».

Внимая постоянно таковым речам и подобным им, я, заботясь, чтобы память о прошлом достигла разума потомков, не решился умолчать ни о распрях злодеев, ни о житии праведников, хоть слог мой и неискусен; особливо же побудили меня к этому слова наших людей, много раз с удивлением слышанные мною: «Немногие понимают философствующего ритора, но многие — говорящего в простоте». И почел я за лучшее ради удобнейшего летоисчисления положить сотворение мира началом первой моей книге, перечень главам которой я здесь и прилагаю...

О КОНЧИНЕ СВЯТОГО МАРТИНА[1]

(книга I, глава 48)

На втором году правления Аркадия и Гонория с миром почил во Христе святой Мартин, епископ Турский, человек, преисполненный добродетели и святости, много помогавший слабым людям. Умер святой Мартин на 81 году своей жизни и на 26 году своей епископской службы в Кандах[2], деревне своей епархии. Умер он в полночь, в воскресенье, в консульство Аттика и Цезаря[3]. А во время его смерти многие слышали торжественное пение в небесах, о чем мы подробнее рассказали в первой книге сочинения о его деяниях[4].

Когда сей угодник божий, как мы сказали, занемог, то собрались в деревне Канды жители Пуатье и также жители Тура, чтобы присутствовать при его кончине. После же смерти его между жителями обоих этих городов поднялся большой спор. Жители Пуатье говорили: «Наш этот монах, у нас он сделался аббатом, мы требуем передать его нам. С вас достаточно того, что когда он был епископом, вы слушали его речи, были участниками его трапез, вас он укреплял благословением, вас преисполняли радостью чудесные его деяния. Достаточно с вас всего этого, нам же пусть будет дозволено взять хотя бы его бездыханное тело». На это жители Тура отвечали: «Если вы говорите, что нам достаточно его чудес, так знайте, что когда он был у вас, он больше совершил их, нежели здесь. В самом деле, не перечисляя всех чудес, достаточно сказать,

что у вас он воскресил двух умерших, у нас — одного. Он сам часто говорил о том, что чудотворная его сила была большей до получения сана епископа, нежели после получения этого сана. Вот почему необходимо, чтобы он совершил по смерти то, чего не сделал для нас при жизни. Ведь Бог взял от вас, а нам дал. Действительно, если следовать древнему обычаю, то по Божьему велению он должен быть похоронен в том городе, где он был посвящен в сан епископа. Но если вы требуете его тело на том основании, что оно по праву принадлежит его монастырю, то вспомните, что первым-то его монастырем был миланский».

Во время этого спора солнце зашло, и наступила ночь. Тогда они задвинули засовы на дверях и, положив тело святого Мартина посредине, стали на страже с двух сторон его. Жители Пуатье могли бы поутру силою унести тело святого Мартина, но всемогущий Бог не пожелал, чтобы город Тур лишился своего покровителя.

И вот в полночь всем отрядом жителей Пуатье овладел сон, и во всей их толпе не было ни одного бодрствующего. И когда жители Тура увидели, что жители Пуатье заснули, они схватили бренное тело своего святого, и одни выбросили его через окно, а другие приняли, стоя снаружи. Поместив тело на корабль, весь отряд жителей Тура поплыл по реке Вьенне. Когда же корабль вошел в русло Луары, они направились к городу Туру с громким пением хвалебных гимнов и многих псалмов. От пения их жители Пуатье проснулись и, не обретя сокровища, которое они охраняли, в смущении воротились домой.

Если кто спросит, почему после смерти епископа Катиана и до святого Мартина был в Туре только один епископ, по имени Литорий, пусть он знает, что из-за сопротивления язычников город Тур на долгое время был лишен священного благословения. Потому что в то время христиане совершали богослужение тайно и скрытно; тех же христиан, которых язычники обнаруживали, они либо избивали бичами, либо убивали мечом...

О ЕПИСКОПЕ СИДОНИИ

(книга II, глава 21—22)

...После кончины епископа Епархия [5] епископом становится Сидоний [6], бывший префект, по своему положению в свете знатнейший муж, происходивший от первых сенаторов в Галлии, так что даже император Авит отдал ему свою дочь в жены. Был святой Сидоний так красноречив, что часто мог без подготовки говорить проповеди на любую тему с большим блеском и без всякого затруднения. Однажды, когда его пригласили на праздник в церковь упомянутого монастыря [7], и он отправился туда, у него бессовестным образом унесли книжку, по которой он обычно служил мессу. Сидоний в одно мгновение собрался с мыслями и так отслужил всю празд-

ничную службу, что все присутствующие дивились, а стоявшим близко казалось, будто с ними говорит не человек, а ангел. Об этом мы подробнее рассказали в предисловии той книги, в которой мы поместили мессы, сочиненные Сидонием[8]. Так как Сидоний отличался замечательной набожностью и, как мы упоминали, принадлежал к числу первых сенаторов, он нередко тайком от жены уносил из дома серебряную посуду и раздавал ее бедным. Но когда она узнавала об этом, она сильно его бранила, и тогда Сидоний, выкупив посуду у бедняков, приносил ее домой.

О ПЛЕНЕНИИ АТТАЛА
(книга III, глава 15)

...А Теодорих[9] и Хильдеберт[10] заключили между собой союз и поклялись в том, что ни один из них не выступит в поход против другого; а для того, чтобы договор был прочнее, они обменялись заложниками. Среди заложников много в то время было сыновей сенаторов. Когда же между королями вновь вспыхнула ссора, заложники были обречены на рабскую службу в государстве, и каждый, кому их отдали под надзор, использовал их как рабов. Однако многие из них бежали и воротились на родину, но некоторые остались в рабстве. Среди них был Аттал, племянник блаженного Григория[11], епископа Лангрского; он также попал в рабство, и его назначили сторожить лошадей. А служил он у одного варвара[12] в Трирской области.

Наконец, блаженный Григорий послал на розыски Аттала своих слуг. Как только они нашли Аттала, они предложили его хозяину подарки за него, но тот отказался от них, говоря: «Человек из такого рода стоит десяти фунтов золота!» Когда слуги Григория возвратились домой, то некий Леон, который служил поваром у епископа, обратился к нему со словами: «Если бы ты мне разрешил, я бы, верно, мог его вызволить из плена». Так как его хозяин обрадовался этому предложению, то Леон прямо отправился на место и хотел тайно похитить мальчика. Но это ему не удалось. Тогда он, взяв с собой одного человека, сказал ему: «Пойдем со мной, и продай меня в дом того варвара, пусть плата за меня будет тебе наградой, только бы я смог свободно выполнить то, что задумал». Поклявшись, этот человек пошел вместе с Леоном и, продав его за 12 золотых, удалился. Когда покупатель стал расспрашивать нового слугу, что же он умеет делать, тот ответил: «Я умею очень хорошо готовить все, что нужно для господского стола; и едва ли можно найти равного мне в этом деле. Ведь правду я тебе говорю,— даже если короля ты пожелаешь угостить обедом, то и королевский стол я тебе смогу приготовить, и никто не сделает это лучше меня». Хозяин ему в ответ: «Вот уже приближается день солнца» (так обычно варвары называют день госпо-

день), «в этот день будут приглашены в мой дом соседи и мои родственники. Состряпай же мне, прошу тебя, такой обед, чтобы они поразились и сказали бы: даже во дворце короля ничего лучше мы не видывали!» А слуга говорит: «Пусть только мой господин прикажет доставить мне побольше цыплят, и я сделаю так, как ты приказываешь». Когда было подготовлено все, что просил слуга, наступило воскресенье, и состряпал он великолепный обед с изысканными блюдами. После того как все поели и похвалили обед, родственники хозяина ушли. Хозяин же проявил милость к этому слуге и вверил ему власть над всем добром, каким владел. Хозяин его любил и поручил ему самому распределять хлеб и мясо всем другим его товарищам-слугам.

По миновании года, когда хозяин вполне уже полагался на него, Леон пошел на луг, находившийся неподалеку от дома, и взял с собой сторожа при лошадях, мальчика Аттала. Он лег вместе с ним на землю, но на расстоянии от него, причем оба они лежали спиной друг к другу, чтобы никто не видел, как они разговаривают, и сказал ему: «Настало время нам подумать о родине. Вот почему я тебя предупреждаю: этой ночью, когда ты пригонишь лошадей в конюшню, не поддавайся сну, но как только я тебя позову, ты выйди, и мы отправимся в путь». Как раз в тот день варвар-хозяин созвал многих своих родственников на пир, и среди них был зять варвара, женатый на его дочери. В полночь, когда все встали из-за стола и легли спать, Леон с напитком последовал за хозяйским зятем в его комнату, предлагая ему выпить. Тот обратился к нему со словами: «Скажи мне, доверенный моего тестя, если ты имеешь здесь такую силу, то когда же у тебя появится желание взять хозяйских лошадей и пуститься в путь на родину?» Говорил он это, забавляясь, ради шутки, и Леон ответил ему тоже шутя, однако ответил правду: «Да, пожалуй, этой самой ночью, коли будет на то воля господня». А тот ему: «Ну, пусть только мои слуги меня стерегут, чтобы ты не унес ничего из моего добра». Так, смеясь, они расстались. Когда все заснули, Леон позвал Аттала и, после того как они оседлали лошадей, спросил, есть ли у него меч. «Нет,— ответил тот,— у меня есть только это маленькое копье». И Леон вошел в комнату своего хозяина, взял его щит и копье. Тот спросил, кто здесь и что ему надо? — а Леон ответил: «Это я, Леон, твой слуга, я бужу Аттала, чтобы он скорей поднимался и выводил коней на пастбище; а он спит, как пьяный». Хозяин в ответ: «Делай, как знаешь»,— и с этими словами он снова заснул. А Леон вышел из дома, дал мальчику оружие и увидел, что ворота усадьбы, которые он с наступлением ночи запер, вбив в них молотком клинья, для охраны лошадей, теперь по божьей воле открыты. Воздав благодарность Господу, они, захватив с собой оставшихся лошадей и кроме того один узел с одеждой, отправились в путь.

Когда они добрались до реки Мозель и собирались ее переплыть, их задержали какие-то люди. Оставив им лошадей и одеж-

ду, они лежа на щитах, переплыли реку. Достигнув противоположного берега, беглецы, польуязсь ночной темнотой, укрылись в лесу. Была уже третья ночь, как они продолжали свой путь, не евши. Но тут по воле божией они нашли дерево с обильными плодами, называемое в просторечии сливой. Поев и несколько восстановив силы, они отправились далее, держа путь в Шампань. Во время этого пути они услышали цокот скачущих лошадей и воскликнули: «Бросимся на землю, чтобы нас не увидели приближающиеся сюда люди!» К счастью их, тут оказался большой куст ежевики, за него-то они и легли с обнаженными мечами, чтобы, если их заметят, тотчас отбиваться от недобрых людей. Когда же и те всадники подошли к этому месту и остановились около ежевичного куста, то один из них, пока лошади мочились, промолвил: «Беда! сбежали эти мерзавцы, и никак их не найти! Но клянусь, если я их найду, то прикажу одного повесить, а другого изрубить мечом». Говоривший эти слова был, конечно, тот самый варвар: он ехал из Реймса и разыскивал их, и непременно настиг бы их на дороге, если бы ему не помешала ночь. Пришпорив лошадей, преследователи ускакали; беглецы же в эту ночь достигли города [13], вошли в него и у встречного там человека спросили, где находится дом священника Паулелла; и тот им его указал.

Когда они проходили через площадь, звонили к заутрене, так как было как раз воскресенье. Они постучали в дверь священника и вошли к нему, и юноша рассказал о своем хозяине. Священник на это сказал: «А ведь сон мой, выходит, был вещий: видел я этой ночью, как прилетели два голубя и сели на моей руке, и один из них был белый, а другой черный». А юноша сказал священнику: «Да простит нас Господь в этот святой день, но дай нам, умоляем, чего-нибудь поесть [14], ведь четыре дня мы не брали в рот ни мучного, ни мясного». Священник, спрятав у себя молодых людей, дал им кушанье, приправленное вином и хлебом, а сам ушел к заутрене. За ним последовал и варвар, который не переставал разыскивать юношей, но священник его обманул, и тот ушел. Ибо священник находился в дружбе с блаженным Григорием. А юноши, подкрепив свои силы едой и пробыв в доме священника два дня, отправились в путь и, наконец, добрались до самого святого Григория. При виде юношей Григорий обрадовался, расплакался на груди своего племянника Аттала; а Леона со всем его потомством отпустил на волю, дав ему в собственность землю, на которой он прожил с женой и детьми все дни своей жизни.

ВОССТАНИЕ ГУНДОВАЛЬДА[15]

IV. 24. О кознях епископа Теодора

Вторично возникла новая вражда против епископа Теодора [16]. А именно, из Константинополя в Марсель приехал Гундовальд, который считал себя сыном короля Хлотаря [17]. О происхождении это-

го человека я вкратце расскажу. Родился он в Галлии и получил хорошее воспитание, локоны его по обычаю франкских королей ниспадали на плечи; когда его обучили наукам, мать представила его королю Хильдеберту[18] с такими словами: «Вот твой племянник, сын короля Хлотаря; так как отец его ненавидит, возьми его к себе, ведь он одной с тобой плоти». Хильдеберт же, не имея сыновей, взял его и держал при себе. Об этом сообщили королю Хлотарю, и он послал к брату гонцов со словами: «Отпусти мальчика, пусть вернется ко мне». Тот немедленно отправил юношу к брату. Хлотарь, увидев его, приказал подстричь ему волосы, говоря при этом: «Такого сына у меня не было!» А после смерти короля Хлотаря его взял к себе король Хариберт. Затем вытребовал его к себе Сигиберт, снова подстриг и отослал в город Агриппину, который теперь называется Кельном. Он же оттуда бежал и, снова отпустив волосы, ушел к Нарситу[19], который тогда управлял Италией. Там он женился, породил на свет сыновей и приехал в Константинополь. Оттуда он, как говорят, спустя много времени, по приглашению некоего человека вернулся в Галлию и, пристав к берегам Марселя, был принят епископом Теодором.

Получив от Теодора лошадей, Гундовальд присоединился к герцогу Муммолу. Муммол же тогда находился, как мы сказали выше[20], в городе Авиньоне. Герцог же Гунтрамн[21] схватил епископа Теодора и отдал его за это под стражу: он обвинял его в том, что епископ впустил в Галлию чужестранца, желая этим отдать королевство франков под власть императора. Но епископ, говорят, предъявил письмо, подписанное рукою вельмож короля Хильдеберта[22], и сказал: «Я сделал только то, что было приказано моими господами и вельможами». Епископа содержали под стражей в келье и не разрешали приближаться к церкви. Но однажды ночью, когда епископ усердно молился господу богу, келья его осветилась ярким светом, так что граф, сторожививший его, сильно испугался: над головой епископа виден был в течение двух часов огромный светящийся нимб. А утром граф рассказал об этом своим остальным товарищам. После этого епископа Теодора вместе с епископом Епифанием, который тогда, бежав от лангобардов, находился в Марселе, и которого также причисляли к этому делу, привели к королю Гунтрамну. Король их допросил и нашел невиновными. Однако приказано было их содержать под стражей; здесь после долгих мучений и скончался епископ Епифаний. Гундовальд же удалился на остров в море, ожидая исхода дела. А герцог Гунтрамн вместе с герцогом короля Гунтрамна поделил имущество Гундовальда и, говорят, увез с собою в Клермон немалое количество серебра, золота и прочих вещей.

45. О свадьбе Ригунты, дочери Хильперика

Между тем наступили сентябрьские календы, и к королю Хильперику прибыло от готов великое посольство. Сам же Хильперик уже вернулся в Париж и приказал взять многих из слуг, принадлежавших королевским имениям, разместив их по повозкам; многих, которые плакали и не хотели уезжать, он приказал держать в тюрьме с тем, чтобы легче их потом отправить при дочери в Испанию. Говорят, что многие, боясь разлуки с родителями, удавились от такой горькой доли: ведь сына разлучали с отцом, мать — с дочерью, и они отъезжали с громким плачем и проклятиями: плач стоял в Париже такой, что его можно было сравнить с плачем египетским [23]. Многие же люди более знатные, которых силою заставляли ехать, оставили завещание и, отдав свое имущество церквам, попросили вскрыть эти завещания, тотчас как только невеста прибудет в Испанию,— как если бы они уже были в могиле. Тем временем прибыли послы короля Хильдеберта, заклиная короля Хильперика ничего не уносить из городов, принадлежавших отцу его Сигиберту, а ныне принадлежащих Хильперику, ни из сокровищ Сигиберта, коими тот одаривал его дочь, а также не касаться ни слуг, ни лошадей, ни вьючного скота и никакой другой вещи такого рода. Рассказывают, что один из этих послов был тайно умерщвлен, но неизвестно кем; однако подозрение падало на короля. Король же Хильперик, пообещав ничего этого не трогать, созвал знатных франков и остальных преданных людей и отпраздновал свадьбу своей дочери.

Передав ее послам готов, он дал за ней большое богатство. Мать ее тоже принесла много золота, серебра и одежды, так что при виде этого король даже подумал, что у него ничего больше не осталось. Королева [24], заметив его беспокойство, обратилась к франкам и сказала: «Не думайте, люди, будто я что-то взяла из сокровищ прежних королей: все, что вы здесь видите,— это из моей собственности, так как и славнейший король часто меня одаривал, и сама я скопила некоторые вещи своим старанием, и очень много принесли мне дохода уступленные мне имения, как натурой так и деньгами; да и сами вы часто дарили меня подарками. Вот откуда все, что вы видите теперь пред собой; из государственной же казны воистину ничего здесь нет». Так она успокоила короля. Действительно, такое множество было добра, что золото, серебро и прочие украшения поместили на пятидесяти повозках. Также и франки доставили много подарков, одни — золото, другие — серебро, некоторые — лошадей, и очень многие — одежду; каждый сделал подарок, какой мог. И девушка после слез и поцелуев уже сказала «прощай», как вдруг, когда она выезжала из ворот, сломалась одна ось у повозки, и все сказали: «В недобрый час!» — ибо некоторыми это было принято за предзнаменование.

Наконец, выехав из Парижа, она приказала разбить палатки в восьми милях от города. А ночью поднялись пятьдесят человек и, взяв сто самых лучших лошадей, столько же золотых уздечек и две большие цепи, убежали к королю Хильдеберту. И на протяжении всего пути каждый, кто мог, убегал и уносил с собою все, что удавалось взять. Во время пути была взыскана немалая сумма на расходы с различных городов, ибо король приказал ничего не давать из казны для этого путешествия, а все оплачивать за счет бедных. Так как король боялся, как бы его брат [25] или племянник [26] не причинили девушке какой-либо неприятности, он велел, чтобы в пути ее сопровождало войско. А находились при ней знатные мужи: герцог Бобон, сын Муммола, и его жена как подружка невесты, далее Домигизил и Ансовальд и майордом Ваддон, бывший граф Сента; остальных же людей было свыше четырех тысяч. Прочие герцоги и королевские служители, находившиеся при ней, оставили ее в Пуатье, эти же продолжали с ней путь, как могли. На этом пути они столько расхитили и награбили, что и рассказать нельзя. А именно, они грабили хижины бедных, опустошали виноградники, даже лозы с гроздьями ломали и уносили, отнимали скот и все, что могли найти, не оставляя ничего на своей дороге: исполнились слова пророка Иоиля: «Что оставила саранча, съела гусеница; что оставила гусеница, съел жук; что оставил жук, съела ржа» [27]. Так случилось и тут: град уничтожил остатки от мороза, засуха пожгла остатки от града, и войско унесло то, что осталось от засухи.

VII. 9. О том, как Ригунта была задержана Дезидерием

Между тем Ригунта, дочь короля Хильперика, прибыла в Тулузу с вышеописанным богатством. Видя, что она уже приближается к готской границе, она начала замедлять свое путешествие; да и окружающие говорили ей, что здесь следует задержаться, так как они-де устали от дороги, одежда у них грязная, обувь порвана, и даже украшения на лошадях и повозках, на которых они до сего времени передвигались, попортились. Лучше все это сперва привести в порядок, а там отправиться в путь, чтобы предстать перед женихом во всем блеске, а не являться на смех готам оборванцами. И вот, пока они задерживались по этим причинам, до слуха герцога Дезидерия доходит известие о смерти короля Хильперика. Тут-то он, собрав самых отважных своих людей, вторгся в город Тулузу, унес найденные у королевы сокровища, а ее поместил в каком-то доме, наложив на дверь печать и поставив туда стражу из смелых людей, а на пропитание королеве оставил лишь немного денег до своего возвращения. Сам же Дезидерий поспешил к Муммолу, с которым он заключил союз два года тому назад.

10. О том, как Гундовальд был провозглашен королем

Муммол же в то время находился вместе с Гундовальдом, о котором я упоминал в предыдущей книге, за стенами города Авиньона. Гундовальд с упомянутыми герцогами отправился по пути в Лимож, прибыл в деревню Брива-Курреция [28], где, по преданию, покоился святой Мартин, ученик нашего Мартина, и там его подняли на щит и провозгласили королем. Но когда в третий раз его обносили по кругу, тогда, говорят, он упал, так что его едва могли удержать стоящие по кругу люди. А Ригунта сидела в базилике святой Марии Тулузской.

26. О том, как Гундовальд объехал города

Гундовальд хотел отправиться в Пуатье, но не решался, так как слышал, что против него уже выступило войско [29]. Но в городах, принадлежавших некогда королю Сигиберту, он принимал присягу на имя короля Хильдеберта; в остальных же городах, принадлежавших Гунтрамну или Хильперику, жители приносили клятву в верности ему самому. После этого он прибыл в Ангулем и, приняв от жителей присягу и одарив вельмож, уехал в Перигё. Тяжко он тогда оскорбил епископа [30] за то, что тот не принял его с почетом.

28. О том, как войско Гунтрамна двигалось вперед [31]

Войско Гунтрамна, выступив из Пуатье, отправилось дальше за Гундовальдом. За войском последовали многие жители Тура корысти ради, но в пути подверглись нападению жителей Пуатье; некоторые были убиты, многие же — ограблены, и вернулись обратно, а за ними и те, которые присоединились к войску еще раньше. Войско подошло к реке Дордонь и стало ожидать известий о Гундовальде. А с Гундовальдом были, как я уже сказал, герцог Дезидерий и Бладаст с Ваддоном, майордомом королевы Ригунты. Особенно близко к нему стояли епископ Сагиттарий и Муммол; Сагиттарий этот уже получил обещание на должность епископа Тулузы.

30. О послах Гундовальда

И вот Гундовальд направил к своим друзьям двух послов; тот и другой были духовными лицами. Из них один, аббат города Кагора, спрятал письмо, которое он получил, в выдолбленной дощечке и залил его воском. Но люди короля Гунтрамна поймали аббата, нашли у него письмо и привели его к королю; аббата сильно избили и посадили в тюрьму.

32. О других послах Гундовальда

Тогда Гундовальд вторично отправил двух послов к королю, по обычаю франков, со священными веточками, чтобы никто к послам не прикасался и чтобы по выполнении поручения они вернулись с ответом. Но они действовали неосторожно и, прежде чем явиться лично к королю, многим объясняли цель своего приезда. Слух об этом быстро дошел до короля; вот почему их связали и привели к королю. Тогда, не смея отрицать, зачем, к кому и кем они были посланы, они сказали: «Гундовальд, недавно приехавший с Востока и считавший себя сыном вашего отца, короля Хлотаря, послал нас к тебе, чтобы получить причитающуюся ему часть королевства. Если же она не будет вами возвращена, знайте, что он придет с войском в эту область. Ведь к нему присоединились все храбрейшие мужи той галльской земли, которая простирается за рекой Дордонь». И говорит Гундовальд так: «Когда сойдемся мы на одном бранном поле, тогда Господь покажет, сын я Хлотаря или нет».

Тогда король, воспылав гневом, приказал их растянуть на дыбе и сильно бить: если правду они сказали, то чтобы яснее ее подтвердили, а если таят они в глубине сердца какую-либо хитрость, то чтобы вырвать у них тайну из-под пыток силою. И когда пытка стала непосильной, они сказали, что племянница его, дочь короля Хильперика [32] вместе с епископом Тулузы Магнульфом отправлена в изгнание; все ее богатства отняты самим Гундовальдом; и все вельможи короля Хильдеберта потребовали, чтобы сам Гундовальд был королем; а главное, пригласил Гундовальда в Галлию сам Гунтрамн Бозон, когда несколько лет назад был в Константинополе.

34. О том, как Гундовальд пришел в Комменж

И вот, когда Гундовальд услышал, что к нему приближается войско, он, покинутый герцогом Дезидерием, перешел вместе с епископом Сагиттарием и герцогами Муммолом и Бладастом Гаронну и устремился к Комменжу. А город этот был расположен на вершине одинокой горы, у подножия коей бил большой источник, заключенный в очень крепкую башню; к этому источнику из города по подземному ходу спускались люди и незаметно черпали из него воду. Придя в этот город в начале великого поста, Гундовальд обратился к жителям со следующими словами: «Знайте, что все в королевстве Хильдеберта избрали меня королем, и у меня есть немалая поддержка. Но так как брат мой, король Гунтрамн, двинул против меня огромное войско, то должны вы укрыть за крепостными стенами города продукты и весь свой скарб, чтобы не погибнуть от голода, пока божественное милосердие не окажет нам

поддержки». Жители поверили его словам и укрыли в городе все, что смогли, а сами стали готовиться к сопротивлению.

В это время король Гунтрамн послал письмо Гундовальду от имени королевы Брунгильды, в котором предлагалось ему распустить войско по домам, а самому отступить к городу Бордо и там провести зиму. А написал он это письмо с хитростью, чтобы точнее узнать о том, что Гундовальд делает.

Итак, когда Гундовальд находился в городе Комменже, он обратился к жителям со словами: «Вот войско уже приближается, выходите же, чтобы оказать сопротивление». И когда жители вышли, люди Гундовальда захватили ворота и закрыли их, оставив жителей вместе с их епископом за городскими воротами. И разграблено было все, что можно было найти в городе; а там был такой запас хлеба и вина, что если бы они сопротивлялись упорно, то продуктов хватило бы на много лет.

35. Ограбление базилики святого Винценция, мученика

А в это время герцоги короля Гунтрамна узнали, что Гундовальд находится по ту сторону реки Гаронны с большим войском, и с ним — те самые сокровища, которые он унес у Ригунты. Тогда они совершили нападение и на конях переплыли Гаронну; некоторые из войска потонули в реке, а остальные вступили на берег и, ища Гундовальда, наткнулись на верблюдов с большим грузом золота и серебра и на измученных лошадей, которых он бросал по дорогам. Потом герцоги узнали, что Гундовальд со своими людьми находится за стенами города Комменжа; и оставив повозки и всякую поклажу с простым людом, они решили преследовать его самого с более сильными воинами, переплывшими Гаронну.

Во время своего пути они пришли к базилике святого Винценция, что в области Ажан; говорят, здесь этот мученик принял свои мучения во имя Христа. Они нашли ее наполненной различными драгоценностями, принадлежавшими жителям, ибо те надеялись, что христиане не нанесут оскорбления базилике такого великого мученика. Двери ее были крепко закрыты. Так как подошедшее войско не могло открыть двери храма, оно тут же подожгло их. После того, как двери сгорели, они унесли все добро и все убранство, которое могли найти в ней, вместе со священной утварью. Но многих там настигло божественное возмездие. А именно, у большинства по воле божией горели руки, и от них шел густой дым, как обычно при пожаре. В некоторых вселился злой дух, и они в диком неистовстве громко призывали мученика. Очень многие схватились друг с другом и ранили себя собственными копьями. Остаток войска продолжал свой путь с великим страхом.

Что же дальше? Собравшись около Комменжа,— так ведь я назвал этот город,— весь отряд расположился лагерем в пригородной

деревне и там, разбив палатки, остановился. Опустошали вокруг всю область; но некоторые из войска, обуреваемые непомерною жадностью, углублялись подальше и были убиваемы жителями.

36. О разговоре Гундовальда с войском

Многие же взбирались на холм и часто разговаривали с Гундовальдом, браня его и говоря: «Не ты ли тот маляр, который во времена короля Хлотаря размалевал дворы и своды молельни? Не ты ли тот, которого жители Галлии часто звали Балломером[33]? Не ты ли тот, которого франкские короли за непомерные притязания подстригли и выгнали? Скажи же, несчастнейший из людей, кто тебя привел в эти места? Кто тебе внушил такую дерзость, что ты осмелился дойти до границы наших господ и королей? Если кто тебя пригласил, назови того громким голосом. Вот перед твоими глазами уготованная стоит смерть, которую ты долго искал, вот перед тобой ров погибели, в который тебя бросят вниз головой. Назови имена твоих спутников и выдай тех, кто тебя пригласил».

А Гундовальд на это подходил близко и, стоя на воротах, отвечал: «Что меня отец мой возненавидел, это каждому известно; известно и то, что он меня подстриг, а потом подстригли и братья. Оттого-то я и сблизился с Нарситом, префектом Италии, там женился и стал отцом двух сыновей. После смерти жены я с детьми приехал в Константинополь. Императоры меня приняли очень радушно, и там я жил до сего времени. Когда был в Константинополе Гунтрамн Бозон, я его расспрашивал, обеспокоенный, о делах моих братьев; и я узнал, что род наш сильно обезлюдел, и от корня нашего остались только короли Хильдеберт и Гунтрамн, то есть брат мой и сын моего брата; король Хильперик и сыновья его умерли[34], остался только один малыш; брат мой Гунтрамн детей не имел, а Хильдеберт, наш племянник, не был еще в силе. Все это тщательно изложив, Гунтрамн Бозон пригласил меня сюда, говоря: «Приходи, ибо тебя зовут все знатные мужи в королевстве Хильдеберта, и никто не посмеет слова молвить против тебя. Ведь все мы знаем, что ты сын Хлотаря, и если ты не придешь, то в Галлии никого не останется, кто мог бы править королевством». А я, дав ему много подарков, взял с него в двенадцати священных местах клятву о том, что пребуду здесь невредим. Вот почему я прибыл в Марсель, и там меня принял с величайшим радушием епископ, так как у него были письма от знатных лиц из королевства моего племянника; а оттуда по желанию патриция Муммола переехал в Авиньон. Гунтрамн же (Бозон), забыв о клятве и о своем обещании, отнял у меня мои богатства и присвоил себе. Знайте, что я такой же король, как и брат мой Гунтрамн; и если ваш ум переполнен такой лютой ненавистью ко мне, то отведите

меня к вашему королю, пусть он признает меня своим братом и делает то, что ему захочется; если же вы этого не захотите, то дайте мне уйти туда, откуда я пришел. Я и вправду уйду, никому не причинив обиды. А чтобы убедиться в том, что это правда, спросите Радегунду из Пуатье и Инготруду [35] из Тура; и они подтвердят вам, что я говорю правдиво». Так он говорил, а многие сопровождали его слова бранью и упреками.

37. Об осаде города

Прошло уже пятнадцать дней с начала осады, и Левдегизил [36] готовил новые машины для разрушения города; а были это телеги с таранами, покрытые фашинами и досками, под защитой которых продвигалось войско для разрушения стен. Но когда они приближались, то на них обрушивалось столько камней, что все, кто приближался к стене, падали. На них выливали чаны с горящей смолой и жиром, сбрасывали горшки, наполненные камнями. Но с наступлением ночи сражение стало невозможным, и враги вернулись в лагерь. Был с Гундовальдом некий Хариульф, человек богатый и могущественный, чьих подвалов и складов много было в городе; из его запасов они, главным образом, и питались. Бладаст же, напротив, видя происходящее и боясь, что Левдегизил в случае победы их погубит, поджег епископский дом и, в то время как осажденные сбегались тушить пожар, обратился в бегство и исчез.

Утром войско вторично поднялось к бою. Оно сделало вязанки из прутьев, чтобы заполнить глубокий ров на восточной стороне; но этот способ не увенчался успехом. А епископ Сагиттарий часто кружил по стенам с оружием и много раз бросал со стены собственноручно камни во врага.

38. О гибели Гундовальда

Наконец, когда осаждающие увидели, что они ничего не могут сделать, они тайно отправили послов к Муммолу со словами: «Признай своего господина и оставь, наконец, свое вероломство. Что за безумие на тебя напало, что ты связался с неизвестным тебе человеком? Ведь жена твоя в плену, а сыновья твои уже убиты; куда ты катишься, разве не ждет тебя гибель?» Муммол, получив это послание, сказал: «Вижу я, власть наша уже приходит к концу, и могущество рушится. Одно остается: если бы я был уверен, что жизнь моя будет вне опасности, то я мог бы освободить вас от большого труда».

После ухода послов епископ Сагиттарий вместе с Муммолом, Хариульфом и Ваддоном устремился в церковь, и там они взаимно

поклялись, что если им пообещают сохранить жизнь, то они нарушат дружбу с Гундовальдом и выдадут его врагам. Снова пришли послы и обещали им сохранить жизнь. Но Муммол сказал: «Только пусть так и будет: я его выдам в ваши руки, а сам, признав своего господина королем, поспешу к нему». Тогда послы обещали, что если он это сделает, они примут его с любовью, и если даже не смогут вымолить у короля ему прощения, то укроют его в церкви, чтобы спасти ему жизнь. Подтвердив обещание клятвой, послы удалились.

А Муммол с епископом Сагиттарием и Ваддоном пришли к Гундовальду и сказали: «Ты знаешь, мы клялись тебе в верности; так вот, послушай наш спасительный совет: выйди из этого города и предстань перед своим братом, как ты сам этого часто желал. Ведь мы уже говорили с этими людьми, и они сами сказали, что король не хочет лишаться твоей поддержки, так как мало осталось людей из вашего рода». Гундовальд, поняв их хитрость, залился слезами и сказал: «По вашему зову занесло меня в эту Галлию; и часть моего богатства, состоящего из большого количества золота, серебра и разных драгоценностей, находится в Авиньоне, а другую часть унес Гунтрамн Бозон. Я же с божьей помощью во всем положился на вас, доверил вам свой замысел, вас хотел иметь помощниками. Теперь же, если вы в чем-либо мне солгали, будь вашему поступку Бог судьей: ибо сам он и рассудит мое дело» [37]. Как только он произнес эти слова, Муммол сказал: «Ни в чем мы тебя не обманываем. Вот, смотри: у ворот стоят самые храбрые мужи в ожидании твоего прихода. Теперь же сними мой золотой пояс, которым ты опоясан, чтобы не казалось, что идешь ты в гордыне своей; и своим опояшься мечом [38], а мой верни». И тот отвечал: «Ясны мне твои слова: ты хочешь отнять у меня твой подарок, который носил я в знак твоей дружбы». Но Муммол клятвенно уверял, что с ним ничего дурного не случится.

И вот, когда они вышли за ворота, его приняли Оллон, граф Буржа и Бозон. А Муммол вернулся со своими спутниками в город и накрепко закрыл ворота. Когда Гундовальд увидел, что его предали в руки врагов, сказал он, подняв в горе руки и глаза [39]: «О вечный судия и истинный мститель за невинных, о Господь наш, от коего исходит всякая справедливость, кому неугодна ложь, в ком нет никакого коварства [40] и никакой злой хитрости, тебе я вручаю мое дело, молясь о том, чтобы ты не замедлил отомстить тем, кто меня, невинного, предал в руки врагов [41]». После этих слов он, осенясь крестом господним, пустился в путь с названными людьми.

Когда они были уже далеко от ворот, Оллон толкнул его и, так как вал городской здесь спускался круто, Гундовальд упал, а Оллон воскликнул: «Вот вам ваш Балломер, звавший себя сыном и братом короля!» Метнув копье, он хотел пронзить его, но копье отскочило от выпуклого панциря, не причинив вреда; Гундовальд

встал и пытался взойти на холм, но тут Бозон, пустив в него камень, разбил ему голову, и Гундовальд упал замертво. И подошел весь народ, и, воткнув в него копья и связав ему ноги веревкою, протащили его по всему лагерю; у него вырвали волосы и бороду и оставили его непогребенным на том самом месте, где он был убит.

На следующую ночь знатные люди тайно унесли все сокровища, какие могли найти в городе, вместе с церковной утварью. Утром же, когда открыли ворота и впустили войско, они предали мечу весь народ, не щадя даже священников и их прислужников в самих церковных алтарях. Когда они всех перебили, так что не осталось никого из мужского пола, они сожгли весь город вместе с церквами и остальными зданиями, не оставив ничего, кроме голой земли [42].

Исидор Севильский

Среди писателей VI—VII вв. севильскому епископу Исидору (570—638 гг.) принадлежит особое место, сопоставимое с местом Августина в культуре IV—V вв. Деятельность Исидора непосредственно связана с той политикой укрепления испанской государственности, которую проводило вестготское королевство после отказа короля Реккареда от арианства (587 г.) и принятия вестготами римско-католического исповедания. Эта политика требовала идеологической консолидации общества, и епископ Севильи взял на себя задачу систематизации всего известного тогда знания и изложения его в понятной для современников форме. Его труд приобрел огромное историческое значение для всего позднего средневековья, став главным источником образованности для ряда поколений и тем самым во многом определив интеллектуальный кругозор средневекового человека и методы его мышления.

Сообразуясь с общим стремлением толедского двора встать вровень с «ромейской» империей, для чего проводилась и редакция законов, и чеканка монет с королевским изображением, Исидор предпринял своеобразную «реставрацию» латинской культуры IV—V вв., использовав для этого еще не угасшую в Испании и в соседней с ней Африке античную и христианскую традицию. В распоряжении Исидора, как это удается установить, были позднеантичные комментарии к школьным авторам, схолии, справочные пособия типа грамматик и словарей, а также произведения латинской патристики и некоторых классических писателей, что позволило ему осуществить работу, завещанную еще Августином в сочинении «О христианской науке».

Сжато и упрощенно, в небольших хрониках («Хроника», «История царей готов»), изложениях Библии («О рождении и смерти отцов»), в аллегорических толкованиях («Некоторые аллегории Священного Писания») и моральноназидательных сборниках («Сентенции»), а также в естественно-научных трактатах («О порядке творений», «О природе вещей») и, наконец, в огромной толковой энциклопедии («Этимологии, или Начала») Исидор знакомил своих современников с историей, географией, космологией, антропологией, теологией, грамматикой, предлагая читателю собранные им отовсюду знания как твердую норму, оправданную авторитетом христианской и античной традиции. Отбирая сведения у тех и других писателей без предвзятой вражды к языческой литературе, Исидор стремился установить конечную, бесспорную истину о каждом

предмете. При этом не только многие определения и факты, но и сами методы подхода к материалу оказывались взятыми из античной науки. Двумя такими методами были аналогия и этимология, разработанные эллинистическими грамматиками и превращенные Исидором в универсальный инструмент научного анализа. Этимология как поиск первооснов дала ему возможность представить все знание как сумму первоэлементов, а аналогия позволила установить связь между макро- и микромиром. Трактаты Исидора приняли вид терминологических исследований, разъясняющих смысл и содержание главнейших понятий, которыми оперировал средневековый человек. Широкое использование в них греко-римских источников не означало, конечно, возврата к античному миропредставлению, но определяло тем не менее качества того материала, из которого потом синтезировалась европейская культура. Оно наложило отпечаток и на духовный облик самого Исидора, которому стала ближе статическая безмятежность стоической морали, чем мистика Григория Великого или взволнованная динамика Августина: свой опыт самоанализа, составленный в форме риторического увещания («Синонимы»), Исидор заканчивает заимствованным у Цицерона гимном разуму и фактически не оставляет места христианской аскезе. Призыв «познай свою природу» для него важнее призыва «переделай ее».

Потомки ценили Исидора не только как ученого, но и как стилиста, называя «исидоровским» возвышенный слог риторической молитвенной прозы. В «Божественной Комедии» его имя названо рядом с Бедой Достопочтенным:

За ним пылают, продолжая круг,
Исидор, Беда и Рикард с ним рядом,
Нечеловек в превысшей из наук.

(«Рай», X, 130—132; перевод М. Лозинского)

ИЗ „ИСТОРИИ О ЦАРЯХ ГОТОВ, ВАНДАЛОВ И СВЕВОВ“

ПРОЛОГ

1. О священная Испания, вечно счастливая мать вождей и народов, прекраснее ты всех земель от запада до самых индусов. Ты теперь по праву царица всех провинций, излучающая свет не только западу, но и востоку. Ты — честь и краса мира, славнейший край земли, в котором изобильно процветает в великой радости славное готское племя.

2. По заслугам одарила тебя милостивая природа плодовитостью всего живого. Ты богата ягодами, ты — сила неиссякаемая, тебя радуют жатвы, ты одета нивой, осенена оливами и разукрашена узором лоз. Цветут твои луга, горы зеленеют и берега обильны рыбой. Лежишь ты в самой лучшей стране света, не выгораешь летом от солнечного жара и не чахнешь от ледяного холода, но,

окруженная умеренным небесным поясом, питаешься счастливыми зефирами. Рождаешь ты все, что есть плодоносного в пашнях, драгоценного в металлах, красивого и полезного в живых существах. Не хуже ты тех потоков, которые славятся своими знаменитыми стадами.

3. Не сравнится с тобой ни Алфей [1] своими конями, ни Клитумн скотом, хотя мчит крылатые квадриги Алфей, посвященный олимпийским пальмам, и огромных быков приносил некогда Клитумн в жертву капитолийцам. Даже в Этрурии не найти таких жирных пастбищ, как у тебя, и рощам Молорха ты не дивишься, полная пальм, и не боишься признать своих коней в беге на годовых скачках. Богата ты полноводными реками и желта от золотоносных потоков. У тебя источник конеродный. У тебя руно от природного пурпура пламенеет, как тирский багрянец. У тебя камень, сверкающий среди мрака обрывистых гор, светится блеском солнца, которое рядом.

4. Богата ты и реками, и драгоценными камнями, и пурпуром, рождаешь ты и правителей, и то, что прилагается к власти. Ты столь же щедра на украшения вождям, сколь счастлива бываешь рождать их. Уже в давнее время тебя законным путем полюбил златой Рим, глава народов, и хотя в первый брак тебя взяла эта римская доблесть [2], однако процветающее готское племя после многих побед по всей земле захватило тебя силой и полюбило, и до сих пор наслаждается прочной властью среди царских островов и многих богатств.

НАЧАЛО ИСТОРИИ

1. Несомненно, что племя готов очень древнее; некоторые возводят его происхождение к Магогу, сыну Иафета, судя об этом по сходству последнего слога и заключая так, главным образом, из слов пророка Иезекииля. Ученые, напротив, привыкли чаще называть их «геты», чем «Гог и Магог» [3]. Их описывают как очень храбрый народ, который стремился опустошить даже Иудею.

2. На нашем языке их имя истолковывается «покрытые», и этим указывается храбрость. И в самом деле, ни одно племя на земле не доставило Римской империи стольких хлопот, как они. Ведь их даже Александр велел избегать, их боялся Пирр, и Цезарь страшился. На протяжении многих веков ими правили сначала вожди, а затем цари. По порядку их царствования следует излагать последовательный ход событий и соединять куски из рассказов о том. под каким именем они правили и как действовали.

3. В год XII до установления эры [4], когда Гней Помпей и Юлий Цезарь начали гражданскую войну за власть, готы пришли в Фессалию на помощь Гнею Помпею против Цезаря. В войске Помпея сражались эфиопы, индусы, персы, мидяне, греки, армяне, скифы и иные восточные народы, собранные против Юлия, однако

мужественнее всех сопротивлялись Цезарю готы. Рассказывают, что Цезарь, пораженный их числом и доблестью, уже думал о бегстве, если бы ночь не положила конец сражению. Цезарь тогда сказал, что Помпей не умеет побеждать, а Цезарь не может быть побежден, потому что если бы Помпей умел побеждать, то с такими стойкими силами он одержал бы сегодня верх над Цезарем.

4. Эра CCXCIV. В первый год царствования Валериана и Галлиена готы спустились с альпийских гор, где они жили, и опустошили Грецию, Македонию, Понт, Азию и Иллирик. Почти пятнадцать лет они держали в своей власти Иллирик и Македонию, пока император Клавдий не разбил их и они не вернулись на свои места. Августа Клавдия римляне почтили почестями за то, что он отогнал от границ республики такое сильное племя. Ему поставили золотой щит на форуме и золотую статую на Капитолии.

ИЗ „ЭТИМОЛОГИЙ“

КНИГА VI

Глава 3. О библиотеках

1. Библиотека получила название от греческого слова, потому что в ней хранятся книги. Ведь «библион» — в переводе значит «книга», а «тека» — «хранилище».

2. Библиотеку Ветхого Завета заново собрал писец Ездра, действовавший по божественному вдохновению, когда иудеи возвратились в Иерусалим после того, как закон попран был халдеями [1]. Он исправил все поврежденные язычниками тома закона и разделил весь Ветхий Завет на 22 книги, чтобы книг в законе было столько же, сколько есть букв.

3. У греков первый создал библиотеку, как полагают, Писистрат, афинский тиран [2]. Потом афиняне ее пополнили, но после пожара Афин Ксеркс увез ее к персам [3], и лишь много лет спустя ее вернул в Грецию Селевк Никанор.

4. С тех пор цари и государства усердно занимались сравнением разночтений в томах и заставляли толковников переводить их на греческий язык.

5. Потом Александр или его преемники стали печься об устройстве библиотек, где бы имелись все книги, и больше всего стараний прилагал к этому Птолемей по прозвищу Филадельф, весьма тонкий ценитель всякой литературы [4]. Подражая Писистрату в его заботах о библиотеке, он собрал у себя не только языческие книги, но и божественные писания. При нем ведь в Александрии было 70 тысяч книг.

Глава 4. О переводчиках

1. Он испросил также и у священника Елеазара писания Ветхого Завета и позаботился, чтобы 70 толковников переложили с еврейского на греческий язык те книги, которые хранились в александрийской библиотеке.

2. Толковники были посажены поодиночке в отдельные помещения, однако действием Святого Духа они перевели все так, что в каждой рукописи все вплоть до порядка слов совпало с прочими.

3. Были и другие переводчики священных книг с еврейского языка на греческий: Аквила, Симмах, Феодотион, а также был и неизвестно чей просторечный перевод, называемый «Пятое издание» без упоминаний переводчика.

4. После них Ориген [5] положил великий труд и выпустил шестое и седьмое издание, сличив их с прежними изданиями.

5. Пресвитер же Иероним, знаток трех языков [6], перевел те же книги с еврейского языка на латинский и дело свое выполнил весьма искусно, так что его перевод недаром предпочитают прочим, потому что он и в словах более точен и мысли излагает яснее и, как христианский толкователь, более правильно.

Глава 5. О том, кто первый привез книги в Рим

1. В Рим большое количество книг впервые привез Эмилий Павел после победы над македонским царем Персеем [7], а вслед за ним Лукулл — из понтийской добычи [8]. После них Цезарь поручил Марку Варрону устраивать как можно больше библиотек.

2. Общественные библиотеки, греческие и латинские, учредил в Риме впервые Поллион [9] и поставил там в атриуме изображения писателей, роскошно украсив его отнятой у врага добычей.

Глава 6. О том, кто учредил библиотеки у нас

1. У нас первый, кто старался подражать Писистрату в любви к священной библиотеке, был мученик Памфил [10], чью жизнь описал Евсевий Кесарийский. В своей библиотеке он собрал около 30 тысяч томов.

2. Иероним и Геннадий [11] по всей земле собирали [сочинения] церковных писателей, установили между ними последовательность и в кратком перечне на свитке дали описание их трудов.

Глава 7. О тех, кто много писал

1. У латинян бессчетное число книг писал Марк Терренций Варрон [12]. У греков хвалят и славят также Халкентера [13] за то, что он сочинил столько книг, что любому из нас не под силу даже переписать их своей рукой.

2. Из наших же грек Ориген, трудившийся над толкованием писаний, превзошел множеством своих сочинений и греков и римлян. Иероним признается, что отобрал 6 тысяч его книг.

3. Выше всех, впрочем, и по уму и по знаниям, стоит Августин [14], потому что столько, сколько написал он, никто не в силах не только написать, но даже и прочесть, хотя бы и тратил на это день и ночь.

ИЗ „СИНОНИМОВ, [ИЛИ] О СТЕНАНИИ ГРЕШНОЙ ДУШИ“

ПРОЛОГ ВТОРОЙ
ИСИДОР ПРИВЕТСТВУЕТ ЧИТАТЕЛЯ

3. Недавно мне в руки попал листок, который называют «Синонимы», и его вид внушил мне мысль и самому составить жалобный плач для себя или для других горемычных. Писал я, конечно, не в подражание слогу того сочинения, а водимый собственным желанием.

4. Кто бы ты ни был, не поленись, прочти его, и когда коснутся тебя превратности мира, то сам рассуди себя строгим судом и сразу поймешь, за что в этом веке терпишь ты невзгоды и получаешь праведное воздаяние. Тут показаны лица двоих: плачущего человека и увещающего разума.

КНИГА I

5. Душа моя стеснена во мне, дух мой горит, сердце мятется, скорбь душевная овладела мной. Скорбь душевная гнетет меня, и окруженный всеми бедами, заваленный тяготами, зажатый напастями, осажденный невзгодами, беззащитный перед несчастьем, задавленный скорбями, я нигде не обретаю убежища, не нахожу доводов для оправдания этой муки, не вижу указания, как избавиться от бедствия, не могу привести доводов, чтобы умалить боль, не знаю, куда идти, чтобы избегнуть смерти, повсюду преследует меня мое несчастье, ни в доме, ни вне его не отступает от меня моя беда.

6. Куда бы ни пошел я, злоключения мои настигают меня, куда бы ни обратился, тень моих бед сопутствует мне; как от телесной тени, не могу убежать от несчастий моих. Человек-то я неименитый, темный, низкого роду, знаемый только сам по себе, знакомый только самому себе; никому никогда не причинял я зла, ни на кого не клеветал, ни с кем не враждовал, никого не беспокоил, жил среди людей, ни с кем не ссорясь. И вот все спешат опорочить мою жизнь, неистово злобствуют, ополчаются против меня и строят мне ковы, тянут к гибели, наталкивают на опасность, на саму жизнь мою покушаются.

7. Никто не покровительствует мне, не встает на защиту, не заступается, не помогает в бедах; я всеми людьми оставлен, все, завидя меня, бегут прочь или преследуют, разглядывают как несчастливца, и я сам не знаю, какая хитрость скрыта за их миролюбивыми словами. Льстивой речью они прикрашивают свое тайное зложелательство и языком говорят одно, а в сердце помышляют другое. Делом разрушают то, что обещают устами. Нося вид благочестия, ходят с отравленной душой. Злокозненность облекают в притворную доброту, за простодушием прячут лукавство, юлят, изображая дружбу, лицом показывая то, чего нет на сердце. Кому верить? На кого положиться? Кого считать своим ближним? Где теперь вера? Вера погибла, вера отнята, чистой веры нет.

Если ничто не делается по закону, если судят без всякой правды, если не смотрят на справедливость и законному праву ни в чем не верят, если все правосудие отметается, то гибнут законы, и суд вершит любостяжание.

22. О человек, почему столь недоверчив ты к своему духу? Почему так ослабел умом? Зачем оставил всякую надежду и потерял веру? Зачем пал духом? Почему повергся в такое малодушие? Почему дал сломить себя невзгодам? Оставь печаль, перестань печалиться, гони печаль от себя прочь, не впадай в уныние, не смей предаваться унынию, вырви из сердца боль, от духа убери боль, сдержи натиск боли, не упорствуй в боли, побеждай боль духа, побеждай боль ума.

23. Как? Каким образом? Каким способом? Какими средствами? Каким путем? Каким искусством? По какому совету? Каким разумом?

24. Всеми средствами, всей силой, всем разумом, со всей доблестью, со всем искусством, со всем разумением, со всей рассудительностью и со всей настойчивостью веди борьбу против плотских досаждений. Во всех случаях будь тверд, все переноси терпеливо, спокойно сноси все превратности. Не смотри на свое положение, как на особенное. Не думай, что только у тебя такая скорбь, не смотри на свое бедствие так, как будто оно постигло только тебя. Взгляни на других, с кем приключилось то же самое. обрати взор на несчастье тех, кому выпало какое-либо горе. Пока будешь помнить о чужих невзгодах, спокойнее станешь переносить свои, ведь примеры других людей усмиряют боль, и в чужих бедах человек весьма легко находит себе утешение.

25. Что ты жалуешься на жестокость вынесенных решений? Зачем так скорбишь из-за причин, навлекших на тебя опасность? Страдания твои не новы, есть у тебя примеры несчастий. Сколько людей уже попадало в такие обстоятельства, в такие бедствия! То, что многие сумели вынести, один должен сносить с терпением! Не долго длится мука этой жизни. Смертен и тот, кто мучает, и тот, кто мучается. Страдание века сего имеет конец.

2. Самого себя познай человек, познай, кто ты, откуда твое начало, почему ты родился и на какую потребу произведен на свет, [познай], как ты устроен, в каких условиях воспитан и для чего сотворен в этом мире. Помни свое звание, храни чин, свойственный твоей природе. Будь таким, каким ты сотворен, кем создал тебя бог, каким устроил тебя творец, каким положил тебе быть создатель...

67. Учись тому, чего не знаешь, чтобы не оказаться тебе негодным наставником; сначала стань слушателем, а уже потом наставляй: звание учителя прими, пройдя науку. Если услышишь что-либо доброе — расскажи, если выучишься хорошему — обучи. Не ослабевай в усердии учиться и учить. Знание, вошедшее в твое ухо, излей через рот. Твоя мудрость приумножится, если поделишься ею с другими. Мудрость растет, когда ее дарят, и умаляется, когда ее удерживают. Знание, щедро раздаваемое, становится полнее, и чем больше его черпают, тем оно обильнее.

68. Словам, однако, пусть предшествуют поступки. Делом исполняй то, что провозглашаешь устами, примером подтверждай то, чему учишь на словах. Будь не только наставником, но и подражателем добродетели. Тогда прославишься ты, когда сам выполнишь то, чему учишь. Словесные похвалы мало что значат, если с ними не соединены поступки. Учительствуя, сам не стремись к безмерной человеческой славе. Наставляя других, наблюдай и за собой. Так обучай, чтобы не утратить тебе благодати смирения. Смотри, чтобы похвала не сразила тебя самого, пока ты учишь и воспитываешь других. Когда обучаешь, не употребляй неясных слов, говори понятно, не вызывай недовольства простолюдина и не оскорбляй [слуха] людей сведущих.

69. Речь наставника должна соответствовать восприятию слушателя, раздаваемое учение должно быть сообразовано с нравами. Лекарство, которое следует применять, зависит от того, каковы раны. Каждого нужно обучать так, как этого требует род его занятий. Нужно разумевать, что лица несхожи и что у каждого надо вызвать рвение. О вещах обычных рассказывай всем, о редкостных — лишь самым лучшим, о явных возвещай пред всеми, о тайных — лишь пред немногими. Об иных вещах бывает нужда поведать многим, о других — только нескольким.

70. Всегда будь готов отдать себя учению и пусть не остается у тебя праздного времени, времени, когда бы ты ничего не творил. Пусть не протекает ни одного часа, в который бы ты не предавался изучению наук. Непрестанно и открыто проповедуй словеса добрые. А если видишь, что знаний недостает тебе, то спрашивай у других, потому что от сопоставлений непонятное делается ясным и трудности исчезают, когда проведено бывает сличение...

75. Если получишь приказ делать зло, не мирись с этим. Если прикажут тебе поступать дурно, не повинуйся. От какой бы власти ни исходил приказ, никогда не соглашайся творить зло, хотя бы постигло тебя за это наказание, хотя бы грозили тебе муки и ждали тебя пытки. Умереть не так страшно, как выполнить губительный приказ. Пусть лучше убьет тебя человек, чем быть тебе прокляту на Вечном суде. Ведь виновными в грехе признаются не только совершающие грех, но и сочувствующие ему, поэтому не свободен от преступления и тот, кто поступает по чужому велению. Подчиняющийся злу не отличается от того, кто производит зло, одинаковая кара связывает и творящего и угождающего ему.

Альдхельм

Альдхельм был первым латинским поэтом англо-саксонского происхождения. Потомок знатного рода, он начал свое образование под руководством ирландского наставника Майлдуба, а закончил его под руководством африканца Адриана, начальника кентерберийской школы, основанной присланным из Рима архиепископом Теодором. И Теодор и Адриан знали греческий язык (Теодор сам был грек и учился в Афинах); Альдхельм перенял от них эти знания и даже, по его словам, читал некоторые книги Библии по-еврейски. Эта образованность, редчайшая в пору «темных веков», доставила Альдхельму громкую славу: Этельвальд, будущий король Мерсии, воспевал его в латинских стихах, а Беда Достопочтенный посвятил ему панегирик в своей «Истории». Родился Альдхельм около 650 г., был монахом в Мальмсбери, после поездки в Рим в 690 г. стал аббатом этого монастыря, в 705 г. сделался епископом в Шерборне и умер в этом сане в 709 г.

Наиболее любопытное произведение Альдхельма — сто «Загадок» в стихах, расположенных в последовательности объема: четверостишия, потом пятистишия, шестистишия и т. д.; самая длинная загадка насчитывает 83 стиха. Их сопровождало посвящение с акростихом и телестихом: «В тысяче строчек сложил Альдхельм сие сочиненье». Образцом для Альдхельма были «Загадки Симфосия» — сто загадок-трехстиший, сочиненные в Африке в V—VI вв. и получившие широкую популярность в варварской Европе; еще до Альдхельма им подражал неизвестный ирландский поэт в так называемых «Бернских загадках» (начало VII в.), также известных Альдхельму и использованных им. Предметы загадок Альдхельма — главным образом, животные, травы, камни, звезды, небесные явления, утварь, оружие и т. п.; последняя загадка посвящена отвлеченному понятию «тварь». Стиль загадок, в соответствии с жанром, вычурен и темен, в нем всюду чувствуются следы ирландской выучки с ее стремлением к непонятности и сложности. Как источник естественнонаучных сведений Альдхельму служат сочинения Исидора Севильского; часты библейские мотивы (в таких темах, как яблоко, змея, голубь и пр.). Загадки Альдхельма пользовались большой известностью и в свою очередь вызвали ряд подражаний (Татуина, кентерберийского архиепископа; Хветбрехта, друга Беды Достопочтенного). Секрет англо-саксонской моды на загадки, по-видимому, лежит в том, что они напоминали читателю формы и мотивы его родного фольклора: вспом-

ним широкую распространенность загадки-«кеннинга» как стилистического приема в скандинавской поэзии.

Кроме «Загадок», Альдхельму принадлежит огромное сочинение «Похвала девственности» с параллельным прозаическим и стихотворным текстом (по образцу «Пасхального стихотворения» Седулия), посвященное аббатиссе Максиме,— стиль его еще более высокопарен и темен, чем в «Загадках». Стих Альдхельма отличается редкой для его времени правильностью; в нем много реминисценций из Вергилия и Седулия, есть следы хорошего знакомства с Овидием, Горацием, Теренцием, Персием, Ювеналом, Луканом, Ювенком и более поздними поэтами: слава учености была Альдхельмом заслужена. (Это не мешает ему в «загадках» путать слова camelus — «верблюд» и Camillus — имя римского полководца Камилла.) Альдхельмом написано также много надписей для церковных зданий и предметов обихода, и несколько гимнов ритмическим стихом.

ЗАГАДКИ

I. ЗЕМЛЯ

Общей кормилицей всех, кто на свете живет, повсеместно
Я называюсь, и впрямь никакие бесстыдные дети
Так не терзают сосцов материнских, как грудь мою зубом.
Пышно я летом цвету, зимою холодною мерзну.

II. ВЕТЕР

Видеть меня никому и руками схватить невозможно,
Резкий голоса звук разношу я сейчас же далеко,
Грохотом страшным гремя, дубы сокрушать я способен,
Ибо я весь небосвод и все на земле потрясаю.

III. ОБЛАКО

Цвет изменяя, бегу, покидаю и небо и землю,
Ни в небесах постоянного нет, ни на суше мне места.
Нет никого, кто бы так терпел постоянно изгнанье,
Но зеленеет весь мир, орошенный дождем моих капель.

IV. ПРИРОДА

Существовать без меня ничто, поверь мне, не может,
Но и обличье мое и лицо навеки сокрыто.
Кто же не знает, что мной руководится все мирозданье,
Весь небосвод, и движенья луны, и сияние солнца?

V. РАДУГА

Дочкой Тавмантовой я считаюсь по древним сказаньям,
Но я открою сама, откуда на деле я родом:
Солнца румяный приплод, рождена дождевою я тучей,
Но, хоть и весь небосвод озарю, не вздымаюсь ко звездам.

VII. СУДЬБА

Некогда пел поэт, своим красноречием славный:
«Бросимся вместе туда, куда Бог и Фортуна прикажет!»
Древние люди меня госпожой называли напрасно,
Ибо всем миром один управляет Христос милосердный.

XXI. НАПИЛЬНИК

Тело в морщинах мое, и все оно бурой покрыто
Ржавчиной, ибо я тру шершавый металл заскорузлый.
Золото также лощить мне привычно и мрамора глыбы,
Будучи тверже всего, я ровняю любую поверхность.
Голоса нет у меня, и я лязгаю с визгом и скрипом.

XXII. СОЛОВЕЙ

Разнообразно звучит, заливаясь, мой голос певучий,
И никогда не издаст мой клюв хрипящего звука,
Цвет мой невзрачен, но песнь отнюдь моя не презренна.
Я неустанно пою, судьбы не пугаясь грядущей:
Пусть меня гонит зима, но ведь летом опять прилечу я.

LXXIX. СОЛНЦЕ И ЛУНА

Нам не Юпитер отец, Сатурна мерзостный отпрыск,
Коего, в песнях хваля, превозносят облыжно поэты,
И не Латона на свет на Делосе нас породила.
Вовсе не Цинтия я, да и брата не звать Аполлоном,
Горнего нас породил верховный владыка Олимпа,
Что восседает теперь на престоле небесной твердыни.
Мы меж собою на равных правах мироздание делим,
Правя теченьем ночей и движением дней управляя.
Если бы брат и сестра вековым их не ведали ходом,
Хаос покрыл бы, увы, непомерной все сущее тьмою
И воцарился бы мрак Эреба кромешного в мире.

XC. РОЖЕНИЦА БЛИЗНЕЦОВ

Шесть очей у меня и слышу шестью я ушами,
Пальцев десятью шесть на теле своем я имею;
Если бы даже отнять из них четырежды десять,
Все-таки вижу, что мне четырежды пять остается.

XCVII. НОЧЬ

Черное тело мое — цветоносной земли порожденье,
Плодного я ничего не рожаю утробой неплодной,
Хоть и вещают певцы в стихах своих, будто бы мною
Порождено Евменид преисподнее, мрачное племя.
Вовсе мне не под стать воплощенье вещественных тварей,
Только я тьмою своей объемлю все мирозданье.
Вечно враждебно мне то, что всем на радость — сиянье
Солнечных Феба лучей, озаряющих все поколенья.
Злобным разбойникам я всегда пребываю любезна,
Ибо стараюсь укрыть в своем их сумрачном лоне.
Мне дорогую сестру воспел, как известно, Вергилий:
«Всюду идя по земле, она голову в тучах скрывает.
Чудище, страшное всем, у которого сколько всех перьев,
Столько ж и бдительных глаз, а под ними (и вымолвить дивно)
Столько же и языков; столько уст и ушей у ней столько ж.
Ночью меж небом она и землею летает во мраке».

XCIX. ВЕРБЛЮД

Некогда консулом был я римским, воином конным,
Законодателем встарь, когда управлял государством,
Ныне же я на горбах тащу тяжелейшую ношу,
И тяготит меня груз своей непомерной громадой.
Я устрашаю теперь коней табуны рогоногих,
И убегают они от четвероногого зверя,
Только завидят мое непомерное, страшное тело.

Беда Достопочтенный

Беда, автор первой истории Англии, сакс по национальности, родился в 674 г. Биография его мало известна. Немногие факты его жизни, так же, как и перечень его различных работ, даются в последней главе V книги его «Истории». О семье его нет сведений. Известно только, что семилетним мальчиком он был отдан в монастырь, в Уирмаутское аббатство, и, следовательно, окончил монастырскую школу и получил соответствующее монастырское воспитание. Монастырь Уирмаут так же, как и соседний монастырь Ярроу, принадлежал к ордену св. Бенедикта, обычно проявлявшего заботу о том, чтобы в монастырях были хорошие библиотеки. Беда говорит о книгах, которые настоятель монастыря привозил из Рима. Сам Беда, по-видимому, редко покидал пределы монастыря и проводил время в чтении, учении и писании. Он был для своего времени очень образованным человеком, знал латынь, греческий и, повидимому, немного еврейский. Он писал трактаты по истории, философии, теологии, орфографии, математике, астрономии, музыке, метрике, собирая в них ученость, сложившуюся до него в Европе, и предлагая ее в доступной форме своим соотечественникам.

Его теологические работы, толкования отдельных книг Священного Писания, основаны на сочинениях латинских отцов церкви (Иеронима, Амвросия, Августина). Из древних авторов у него можно найти отзвуки поэзии Вергилия, реже Овидия и Горация, но вряд ли он читал их сам, а, скорее, нашел цитаты из них у поздних авторов.

Главная работа Беды, не потерявшая своей ценности до настоящего времени,— это «Церковная история англов» в пяти книгах, которая является чуть ли ни единственным источником по ранней истории Англии. Она охватывает период от времен Юлия Цезаря до 731 г. Однако Беда дает лишь очень беглый очерк истории дохристианской Англии (он занимает у него только 25 глав первой книги), уделяя основное внимание истории ее христианизации. Истинная история нации начинается, по его мнению, с приходом в Англию в 597 г. посланного папой Григорием Великим миссионера Августина. После этого он рассказывает поочередно о разных графствах в связи с проникновением туда христианства. Следовательно, интерес его перемещается из одной части Британии в другую, и книга представляет собой собрание отдельных исторических очерков. Но для разделения на книги он выбирает важные моменты в разви-

тии церкви в Англии, вокруг которых группируются разные отступления. Так, первая книга представляет собой нечто вроде введения с кратким очерком доавгустиновской истории Англии, включает рассказ о приходе Августина, христианизации саксов и заканчивается смертью папы Григория Великого. Вторая книга рассказывает о провале переговоров по поводу объединения британской и ирландской церкви и о смерти короля Нортумбрии Эдвина, в чье царствование в этом графстве было принято христианство. Третья рассказывает историю Освальда и шотландской миссии и об отправлении Вигхарда в Рим для посвящения в архиепископы. В четвертой книге говорится о посвящении Теодора Кентерберийского и его церковной деятельности, в пятой о фризской миссии и карьере Вилфрида и дается заключительный обзор положения церкви в 731 г.

Доавгустиновская часть «Истории» Беды носит компилятивный характер. Его источники здесь — Плиний, Солин, Орозий, Гилдас, подкрепленные добавлениями Беды, основанными на преданиях и местной информации. Начиная же с миссии Августина, Беда выступает как самостоятельный историк, чередуя свой рассказ с цитированием различных документов, писем (посланиями папского двора к королям и церковникам Англии, письмами архиепископов). Иногда он отсылает к уже опубликованным произведениям и документам (например, к трактату Аркульфа «О святых местах»). Можно думать, что епископы различных графств (например, Нотхельм Лондонский) снабжали его хроникой жизни королей и прочими сведениями. Кроме того, он, по-видимому, основывается и на каких-то уже существовавших в его время анналах или хронологических таблицах. История миссионерских предприятий и описания жизни в монастыре чередуются у него с анекдотами о жизни и нравах королей, рассказами о чудесах, бытовыми картинками. Беда — страстный пропагандист христианства. Идея превосходства новой веры над всеми прочими пронизывает каждую строку его произведения. Стиль его изложения ясен и естествен.

Умер Беда в 734 г. Первый перевод Беды на староанглийский приписывается королю Альфреду Великому (X в.). Небезынтересно заметить, что в отделе рукописей Ленинградской публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина имеется рукопись Беды, относящаяся к VIII в. и представляющая собою большую ценность ввиду ее прекрасной сохранности. Это одна из двух самых ранних рукописей Беды.

ИЗ „ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ НАРОДА АНГЛОВ“

КНИГА I

4.12. О том, как Луций, король бриттов, послал папе Элевтеру письмо, выражая стремление стать христианином

В году 156-м от воплощения Господня власть принял вместе с братом Аврелием Коммодом Марк Антонин Вер, четырнадцатый после Августа император; в их время, когда во главе римской

церкви стоял святой муж Элевтер, Луций, король бриттов, послал ему письмо, выражая желание стать христианином с его благословения; вскоре последовало исполнение его благочестивой просьбы, и бритты, приняв веру, хранили ее нерушимой и неприкосновенной в мире и спокойствии до времени царствования императора Диоклетиана.

4.13. О том, как Север, получив часть Британии, отделил ее от остальной части валом

В году от воплощения Господня 189-м власть принял и держал семнадцать лет Север, семнадцатый после Августа император, родом африканец, из города Лептиса, вблизи Триполи. Этот человек, жестокий по природе, вел бесконечные войны, государством же правил круто, но трудолюбиво.

Выйдя победителем из гражданских смут, в которых ему пришлось очень тяжко, покинутый почти всеми своими союзниками, он устремился в Британию, где после многих тяжелых сражений решил отделить завоеванную часть острова от остальных непокоренных племен не стеной, как считают некоторые, а валом. Ибо стена строится из камня, вал же, которым укрепляется лагерь для отражения вражеской силы, делается из кусков дерна; из этих кусков, вырезанных из земли, возводится нечто вроде стены высоко над землей так, что впереди находится ров, из которого вынули дерн, а выше втыкаются колья из самого крепкого дерева.

Таким образом, Север прорыл от одного моря до другого большой ров и соорудил крепчайший вал, укрепленный сверх того еще многочисленными башнями; и там, у города Эборака, он заболел и умер. Он оставил после себя двух сыновей, Бассиана и Гету; из них Гета погиб, обвиненный в государственной измене, Бассиан же, приняв имя Антонина, стал хозяином империи.

6, 14—15. Об империи Диоклетиана и о том, как он преследовал христиан

В году 286-м от воплощения Господня императором был выбранный войском и правивший двадцать лет Диоклетиан, тридцать третий после Августа император; он назначил своим соправителем Максимиана по прозвищу Геракл. В их время некий Каравзий, человек незнатного происхождения, но храбрый в военном деле и ловкий в политике, назначенный для охраны морских границ, которым тогда угрожали франки и саксы, действовал скорее во вред, чем на пользу государству; ибо из отнятой у разбойников добычи он ничего не возвращал законным владельцам, а оставлял все одному себе. Он вскоре возбудил подозрения, так как искусно разыгранной беспечностью помогал врагам совершать набеги на гра-

ницы. Поэтому, осужденный Максимианом на смерть, он захватывает власть и завладевает Британией. Присвоив власть, он энергично удерживал ее в течение семи лет, пока, наконец, не был убит своим сподвижником Алектом. Алект, вырвав остров у Каравзия, удерживал его после этого три года. Асклепиодот, префект претория, одолел его и получил Британию в свое владение после десяти лет узурпации.

Между тем Диоклетиан на востоке, Максимиан Геракл на западе дали приказ — в десятый раз после Нерона — грабить церкви, мучить и убивать христиан. Это преследование было более продолжительным и более жестоким, чем почти все учиненные раньше, ибо в течение десяти лет не прекращались пожары церквей, объявление вне закона невинных, убийства жертв. Наконец, величайшая слава преданности вере вознесла Британию к богу.

КНИГА II

2. 91—94. О том, как Августин[1] убедил епископов из бриттов с помощью свершившегося на их глазах чуда небесного сохранять между собой католический мир; и о том, какая месть последовала им за то, что они презрели его слова

Между тем Августин, пользуясь содействием короля Эдильберта (Этельберта), пригласил к себе епископов или ученых богословов ближайшей провинции бриттов, назначив для сбора место, которое до сих пор на языке англов называется «Augustinaes Ac», т. е. «сила Августина» и находится на границе гуикциев [2] и западных саксов. И начал он по-братски убеждать их, чтобы они, сохраняя между собой католический мир, взяли на себя сообща труд во имя Божие распространять Евангелие среди язычников. Ибо они праздновали светлое воскресенье не в свое время, а от четырнадцатого до двадцатого дня луны; и многое другое совершалось ими в противоположность духовному единению. После долгого спора, когда ни мольбы, ни убеждения, ни упреки Августина и его друзей не подействовали, и епископы предпочли свои традиции учению вселенской церкви, которое одинаково во всем мире, тогда святой отец Августин положил предел этому долгому и тяжкому спору, сказав: «Помолим Господа, радеющего за единодушие обитающих в доме Отца своего, чтобы он удостоил нас знамения, из которого было бы ясно, каким обычаям следовать и какими путями скорее достигнуть его царствия. Пусть приведут какого-нибудь несчастного, и чьи молитвы его излечат, вере того и богопочитанию все и должны будут следовать». Противники его неохотно приняли это предложение; однако тем временем принесли какого-то англа, лишенного зрения; бриттские священники, подой-

дя к нему, ничего не могли сделать для его лечения или исцеления. Наконец, Августин, побуждаемый крайностью, преклонил колена пред отцом Господа нашего Иисуса Христа, моля возвратить слепому утраченное зрение и этим телесным светом, данным одному, зажечь луч духовной благодати в сердцах многих верных. Слепой немедленно прозрел, а Августин был объявлен всеми глашатаем истинной веры. Тогда и бритты сознались, что путь правды, проповедуемой Августином, должен считаться непогрешимым; но они не могли без согласия и одобрения своих отказаться от древних обычаев. Поэтому они попросили созвать синод вторично с бо́льшим числом участников. Чтобы воспрепятствовать принятому решению, собралось семь епископов из бриттов и множество ученейших мужей, преимущественно из самого знаменитого их монастыря, который на языке англов носит название Банкорнабург [3]. В то время, как рассказывают, главой этого монастыря был аббат Диноот.

Отправляясь на этот собор, они зашли сначала к некоему святому и мудрому мужу, который обычно вел жизнь отшельника, чтобы посоветоваться с ним, должны ли они, по увещанию Августина, отступиться от своих преданий? Он ответил: «Если он божий человек, то следуйте за ним». «А откуда мы можем это узнать?» — спросили они. На что он ответил: «Господь сказал: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня; ибо я кроток и смирен сердцем» [4]. Если Августин кроток и смирен сердцем, то, нося на себе иго Христа, он и вам, вероятно, предложит нести то же самое; если же он не кроток, а горд, то ясно, что он не от Бога, и нет надобности обращать внимание на его речи». А они снова спрашивают: «А откуда же мы сможем узнать и это?» «Постарайтесь,— говорит он,— чтобы Августин со своими сподвижниками пришел на место сбора первый. Если при вашем приближении он встанет, то знайте, что он слуга Христов: слушайте его и повинуйтесь. Если же он выскажет к вам пренебрежение и не захочет встать при вашем появлении, то пусть он и сам испытает ваше пренебрежение, к тому же вы в большем числе».

Они сделали так, как он сказал, и случилось так, что Августин остался сидеть в своем кресле, когда они вошли. Увидев это, они тут же разгневались и, порицая его за гордость, старались противоречить ему во всем, что бы он ни говорил. Он же говорил им: «Несмотря на то, что вы во многом не соглашаетесь с нашими обычаями и даже с обычаями вселенской церкви, мы будем спокойно переносить все то, в чем у нас с вами разногласия, если только вы окажете повиновение в трех пунктах: будете праздновать пасху в свое время, совершать таинство крещения, которым мы возрождаемся в Боге по обычаю святой римской церкви и вместе с нами проповедовать слово божье народу англов». Но они ни на что не согласились и ответили, что и его не желают признавать архиепископом. Они рассуждали так: «Если он теперь не пожелал

встать перед нами, то если мы станем ему подчиняться, он тем более ни во что не будет нас ставить».

Рассказывают, что божий человек Августин, угрожая им, предсказал, что если они не хотят сохранить мира с братьями, то будут вынуждены вступить в войну с неприятелями, и если они не хотят проповедовать англам путь жизни, то от их мстительной руки получат смерть. И все это свершилось над ними Божьим соизволением так, как он предсказал.

Некоторое время спустя после этого, могущественнейший король англов Эдильфрид, о котором мы говорили, собрав огромное войско при городе Легионе, который англы называют Легакэстир, а бритты правильней — Карлегион, нанес страшное поражение вероломному народу. Случилось так, что отправляясь на войну, он увидел священников бриттов, собравшихся в безопасном месте, чтобы молиться о победе для своих воинов. Он поинтересовался, кто они такие и зачем здесь собрались. Бóльшая часть их была из монастыря Банкор, в котором, как рассказывают, было так много монахов, что хотя монастырь разделен на семь частей и каждая со своим отдельным ректором, но тем не менее нет ни одной части, в которой было бы меньше трехсот человек, живущих трудами своих рук. Бóльшая их часть накануне упомянутого сражения, выдержав предварительно трехдневный пост, собралась вместе с прочими на молитву о победе, а Брокмаил стоял на страже на случай защиты их от меча неприятеля. Когда король Эдильфрид узнал о цели их собрания, то он сказал: «Ведь если они обращаются к своему богу против нас, то, следовательно, они, хотя и не носят оружия, сражаются с нами, так как преследуют нас враждебными пожеланиями». Поэтому он приказал против них первых обратить оружие и таким образом истребил остальную массу нечестивого воинства, но не без ущерба для своего войска. Как рассказывают, в этом бою пало из собравшихся на молитву около тысячи двухсот человек и только пятьдесят спаслось бегством. Брокмаил при первом появлении неприятеля покинул свое место и оставил тех, кого должен был защищать, безоружными на избиение. Так исполнилось предсказание святого первосвященника Августина, хотя он сам задолго перед этим отошел в царство небесное; вероломные получили воздаяние временной погибелью за то, что презрели предлагаемые им советы для вечного спасения.

3. 95—96. О поставлении епископов Мелиттэ и Юста и о кончине архиепископа Августина

В год от воплощения Господня 604 Августин, архиепископ всей Британии, поставил двух епископов, а именно Мелитта и Юста: Мелитта для проповеди в провинции восточной Саксонии[5], которая отделяется от Кантии рекой Темзой и прилегает к Восточному

морю[6]. Столица ее город Лундония[7], расположенный на упомянутой реке и служащий главным рынком для людей, приходящих морем и сухим путем. Среди этого народа правил в то время Саберт, внук Эдильберта по сестре его Рикуле; впрочем, он находился в зависимости от того же Эдильберта, который господствовал над всеми народами англов до пределов реки Гумбера. Когда и эта провинция проповедью Мелитта была обращена, король Эдильберт построил в Лондоне церковь святого апостола Павла, в которой и Мелитт и все его преемники имели свой епископский престол. Юста же Августин поставил епископом в самой Кантии в городе Доруверне[8], который англы называли по имени своего древнего предводителя, носившего имя Гроф — Грофэкэстир. То место, где король Эдильберт построил церковь блаженному апостолу Андрею, отстоит от Доруверна[9] на тысячу двадцать четыре шага к западу. Епископы обеих церквей получили от короля большие дары, а те, кто составлял их свиту, приобрели от него в пользование земли и угодья.

Возлюбленный богом отец Августин скончался, и тело его положили снаружи вблизи церкви блаженных апостолов Петра и Павла, о которой мы упоминали выше, так как она в то время была еще не готова и не освящена. По освящении ее, тело его было немедленно перенесено внутрь и с почестями положено в северном портике. Там же погребены и тела следующих епископов, за исключением двух, Теодора и Берктуальда, которые положены в самой церкви, так как упомянутый выше портик не мог более вмещать. Почти посередине этой церкви находится алтарь, посвященный памяти блаженного папы Григория, на котором каждую субботу священник того места торжественно читает о его деяниях. На могиле Августина находится следующая эпитафия:

«Здесь покоится владыка Августин, первый Дорувернский архиепископ, который был некогда направлен сюда первосвященником города Рима блаженным Григорием; наделенный от бога даром чудес, он обратил короля Эдильберта и его народ от почитания идолов к вере Христа и, завершив дни своего служения в мире, почил в седьмой день июньских календ в правление того же короля».

КНИГА IV

22. 317—321. О том, как у некоего пленника разорвались цепи когда по нему отслужили мессу

В том сражении, в котором был убит король Элфуин[10], произошло, как известно, одно заслуживающее упоминания событие; его, я думаю, никак нельзя обойти молчанием, поскольку рассказ о нем послужит спасению многих.

Среди других был убит тогда молодой воин короля по имени Имма; пролежав подобно мертвому день и следующую ночь среди трупов других убитых, он, наконец, обрел дыхание и ожил. Сев, он перевязал, как мог, себе раны, и затем, отдохнув немного, поднялся и пустился в путь, надеясь найти друзей, которые бы о нем позаботились. Так он шел, пока на него не наткнулись и не взяли его в плен люди из вражеского войска: они привели его к своему господину, по-видимому, приближенному короля Эдильреда. Когда этот вассал спросил его, кто он такой, Имма побоялся признаться, что он солдат, и предпочел ответить, что он бедный крестьянин, к тому же семейный; он утверждал, что отправился в путь вместе с другими, такими же, как он, чтобы доставить провиант солдатам. И вассал, приняв его, приказал позаботиться о его ранах; а когда Имма начал выздоравливать, велел заковать его в цепи, чтобы он не убежал ночью. Заковать его, однако, он не смог, потому что стоило тем, которые должны были это сделать, приблизиться к Имме, как цепи тут же разрывались.

Дело в том, что у него был родной брат по имени Тунна, священник и аббат монастыря в городе, по сей день носящем его имя — Туннакэстир. Когда он узнал, что Имма пал в битве, то пришел поискать, не найдется ли случайно его тело; он нашел другого, по всему очень на Имму похожего, и, решив, что это он и есть, отнес его в свой монастырь, похоронил с почестями и позаботился о том, чтобы почаще читать молитвы за спасение его души. По причине этих церковных служб и случилось то, о чем я рассказал, т. е. что никто не смог заковать Имму, так как цепь немедленно разрывалась. Между тем вассал, у которого он находился, начал удивляться и допытываться, почему его невозможно сковать, не знает ли он случайно каких-нибудь заклинаний, о которых ходят легенды и благодаря которым его невозможно сковать. На это Имма ответил, что ничего такого он не знает: «Но,— добавил он,— у меня есть брат, священник в моей провинции, и я знаю, что он, считая меня убитым, творит по мне частые молитвы; и если бы я был теперь на том свете, душа моя, благодаря его заступничеству, была бы свободна от наказаний».

И пока он еще некоторое время находился у вассала, те, которые рассматривали его более внимательно, по выражению лица, манерам и разговору, заметили, что он был не из простых людей, как он сказал, а из знати. Тогда вассал, позвав его тайно к себе, спросил его строже, откуда он, обещая, что не причинит ему никакого зла, если он прямо скажет, кто он такой. И когда Имма это сделал, открыв, что он был приближенным короля, вассал сказал: «По некоторым твоим ответам я и раньше знал, что ты не простой крестьянин, и теперь ты, конечно, заслуживаешь смерти, так как все мои братья погибли в том сражении. Но я тебя не убью, чтобы не нарушить свое обещание».

Поэтому когда Имма поправился, вассал продал его некоему фризу, ехавшему в Лондон. Но тот, когда повез его туда, тоже никак не мог его сковать. Враги накладывали на него то одни, то другие оковы, и, когда купивший Имму увидел, что его невозможно сковать, он предложил пленнику выкупить себя, если он может. После третьего часа, когда обыкновенно служили мессу, цепи разрывались на Имме чаще всего.

И Имма, поклявшись, что он или вернется, или пришлет за себя деньги, пришел в Кантию, к королю Лотеру, сыну сестры королевы Эдильтриды, о которой говорилось выше; и так как он сам был некогда приближенным этой королевы, он попросил и получил от короля деньги на выкуп и послал их, как обещал, своему господину.

После этого он вернулся к себе на родину и, придя к брату, рассказал по порядку о всех несчастьях, которые с ним приключились, и о том, какое утешение он имел в этих несчастьях. Из рассказа брата он понял, что цепи его разрывались чаще всего именно в те часы, когда по нему справляли торжественную мессу. Он узнал, что и все другие счастливые удачи, которые выпали ему в испытаниях, были дарованы ему свыше благодаря заступничеству брата и приношению спасительных жертв.

Многие, слыша подобное от упомянутого выше человека, зажглись верой и дали благочестивый обет молиться, подавать милостыню, жертвовать Господу святые дары, дабы спасти своих друзей, которые покинули этот мир; ибо они поняли, что спасительная жертва послужит вечному искуплению грехов и души, и тела. Эту историю рассказал мне один из тех, кто слышал ее от человека, с которым она приключилась. Уверенный в ее достоверности, я без колебаний включил ее в свою «Церковную историю».

24. 331—334. О том, как в монастыре был брат, который свыше был наделен даром слагать стихи

В монастыре этой аббатиссы был некий брат [11], особо отмеченный милостью Божьей, так как он имел обыкновение очень складно сочинять религиозные и благочестивые стихи; что бы он ни узнавал из Священного Писания через рассказчиков [12], он, спустя небольшой промежуток времени, перелагал это на стихи в высшей степени приятные и трогающие сердце, составленные на своем, т. е. на английском, языке. Во многих душах возжег он своими стихами презрение к мирской жизни и стремление к жизни небесной. Конечно, были после него среди английского народа и другие, которые пытались сочинять религиозные стихи; но никто не смог с ним сравняться. Ибо сам он познал искусство слагать стихи не от людей и не человеком был обучен, но получил он этот дар с помощью

божьей как милость. Поэтому он никогда не мог сочинять стихов пустых и бесполезных; только стихи, относящиеся к вере, приличествовали его благочестивым устам. В самом деле, за все то время, пока он жил на земле, до самого преклонного возраста он не узнал других стихов. Иногда во время застолья, когда его участники решали, что ради веселья каждый по очереди должен что-то спеть, он, завидев, что кифара приближается к нему, поднимался и, в разгаре трапезы выйдя из-за стола, шел к себе домой.

И вот, когда он однажды поступил подобным образом и, оставив дом пирующих, отправился в хлев к вьючным животным, которых ему было поручено охранять этой ночью и там в положенный час дал своему телу отдых, ему предстал во сне некий человек. «Кэдмон,— сказал он, здороваясь и называя его по имени,— спой мне что-нибудь». На что Кэдмон ответил: «Не знаю, что тебе спеть. Ведь поэтому я и пришел сюда, выйдя из-за стола, что не смог ничего спеть». Но тот, который с ним разговаривал,— опять: «Однако,— говорит,— у тебя есть, что мне спеть». «Что же,— спрашивает Кэдмон,— я должен спеть?» А тот отвечает: «Спой,— говорит,— о начале Творения». Услышав ответ, Кэдмон тотчас начал петь во славу Бога Творца стихи, которые сам никогда до той поры не слышал и смысл которых такой: «Теперь должны мы хвалить Творца царства небесного, могущество Создателя и его разум, деяния Отца славы; то, каким образом он стал вдохновителем всех чудес, как он сначала создал для детей человеческих небо, служащее кровлей их обиталищу, а затем всемогущий хранитель рода человеческого создал землю» [13].

Таков смысл, но не порядок слов, которые он произносил во сне, ибо невозможно стихи, хотя и отлично сложенные, перевести с одного языка на другой слово в слово без ущерба для их красоты и достоинства.

Пробудясь ото сна, он восстановил в памяти все, что читал во сне, и вскоре присоединил к этому еще много достойных Бога стихов, составленных тем же размером.

Придя утром к управляющему поместьем, у которого он был в услужении, Кэдмон открыл ему, какой дар он получил, а тот приказал отвести его к аббатиссе. Когда в присутствии многих ученых мужей он рассказал сон и прочел стихи, то все, что он прочел, откуда бы оно ни шло, было одобрено всеобщим мнением. Однако всем показалось, что на него снизошла Божеская милость. И они пересказали ему какой-то отрывок из Священной истории или учения, предложив переложить его на мелодию стиха, если он может. И он, обязавшись сделать это, ушел, а придя на следующее утро, изложил то, что приказывали, прекрасными стихами. Поэтому вскоре аббатисса, высоко оценив милость Божью, снизошедшую на этого человека, дала ему наказ оставить жизнь в миру и принять монашеский обет; и когда он был принят в монастырь со всем тем, что у него было, она присоединила его к монаше-

ствующей братии и приказала учить по порядку Священную историю. А он, вспоминая про себя все, что он мог узнать и услышать, и обдумывая это вновь и вновь наподобие того, как животные пережевывают свою жвачку, обращал узнанное в прелестнейшие стихи; и сладкими звуками стихов он в свою очередь превращал своих учителей в своих слушателей.

Он слагал стихи о сотворении мира, о возникновении человеческого рода и о всей истории Бытия, об исходе Израиля из Египта и вступлении на землю обетованную, и о многих других историях из Священного Писания, о воплощении Господнем, о страстях, воскресении и вознесении его на небо, о сошествии Святого Духа и учении апостолов. Он сложил также много стихов о страхе пред будущим судом и ужасе наказания в аду и, кроме того, о сладкой жизни в царстве небесном и еще много других стихов о милостях и судах Божьих.

Во всех этих стихах он заботился о том, чтобы отвратить людей от любви к порокам и возбудить в них желание и готовность делать добро. Ибо был он человек очень благочестивый, смиренно соблюдал установленные правила и очень ревностно и пылко ненавидел тех, кто предпочитал поступать иначе; поэтому и жизнь свою он завершил прекрасным концом.

В самом деле, когда приблизился час его кончины, он был подготовлен к нему телесным недугом, который беспокоил его вот уже четырнадцать дней, однако так умеренно, что он мог все это время и говорить, и ходить. Поблизости от монастыря была хижина, в которую обыкновенно приводили тех, кто был болен, и тех, которые, как казалось, были близки к смерти. Итак, с наступлением вечера, он попросил своего служку приготовить ему место для отдыха в этой хижине на ту ночь, в которую он думал покинуть мир. Тот, удивленный, спросил, зачем он обращается к нему с такой просьбой, когда он совсем не похож на умирающего. Однако сделал то, что ему сказали. И когда Кэдмон, расположившись там, в радостном настроении поговорил и пошутил по очереди со всеми, кто уже находился там до него, время перешагнуло за полночь. И тогда он спросил, есть ли у них здесь святые дары? А они ответили: «Зачем тебе святые дары? Не подошло еще время тебе умереть, раз ты говоришь с нами так радостно, как человек, находящийся в добром здоровьи». «И, однако,— повторил он опять,— принесите мне святые дары». Взяв святые дары в руки, он спросил, все ли они настроены к нему миролюбиво, нет ли у них каких-нибудь жалоб на его враждебность или грубость. Все ответили, что расположены к нему самым миролюбивым образом и далеки от всякого гнева; и они, в свою очередь, просили его отнестись к ним миролюбиво. И он незамедлительно ответил: «Я, дети мои, питаю миролюбивые чувства ко всем рабам божьим». Так, снарядившись в небесную дорогу, он подготовил себя к вступлению в другую жизнь. Он спросил также, близок ли тот час, когда братья

должны возносить к Богу свои ночные молитвы. Ему ответили: «Он недалек». Тогда он сказал: «Хорошо, подождем этого часа». И, осенив себя крестным знамением, опустился на изголовье и, погрузившись в легкий сон, молча окончил жизнь.

Известно, что как служил он Господу бесхитростно и чистосердечно, со спокойной преданностью, так и умирая он спокойно оставил этот мир и мог предстать перед его ликом; и тем языком, которым он произнес столько благодарных слов во славу Творца, он, осенив себя крестом и отдавая свой дух под его покровительство, мог произнести последние слова тоже в его похвалу.

Из нашего рассказа явствует также, что он предугадал день своей смерти.

КАРОЛИНГСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ (VIII–IX вв.)

«Каролингское возрождение» — это понятие принадлежит к числу самых спорных в истории европейской литературы. В какой мере возможно говорить о «возрождении» применительно к литературным явлениям VIII—IX вв. и какое содержание следует вкладывать в этот термин,— об этом до сих пор нет единогласия.

Слово «Возрождение», как известно, впервые появилось и прочнее всего закрепилось в науке применительно к итальянскому (и, шире, общеевропейскому) культурному движению XV—XVI вв. Поэтому ответ на вопрос, можно ли тем же словом называть и культурное движение времен Карла Великого и его преемников, зависит от ответа на вопрос, что́ мы будем считать главной чертой Возрождения XV—XVI вв. Если считать, что главное в Возрождении — это светский антицерковный дух, или что главное — это обращение за образцами к «классической» эпохе античности, к демосфеновским Афинам и цицероновскому Риму,— тогда, конечно, о «каролингском возрождении» говорить невозможно: «дух» латинской культуры каролингской эпохи оставался религиозным, церковным во всех своих основаниях, образцом же и идеалом для нее служили не республики цветущей античности, а христианская империя Константина. Однако легко заметить, что в самом слове, в самом термине «возрождение» никаких указаний ни на антицерковный дух, ни на «классичность» образцов не содержится. «Возрождение» означает просто резкий культурный подъем после долгого (относительно) культурного упадка, подъем, при котором культура обращается в поисках образцов не к непосредственно предшествующей эпохе, а через ее голову к более отдаленным. Именно в таком расширительном смысле термин «возрождение» употребляется современной наукой, когда она говорит о «китайском возрождении», «мусульманском возрождении» и пр. В таком расширительном смысле этот термин с полным правом применим и к средневековой латинской литературе IX—X вв.

Действительно, мы видели, в каком глубоком культурном упадке находилась Европа — особенно центральная Европа — в VII—VIII вв. Ярче всего говорит об этом тот факт, что за пол-

тора столетия Италия и Галлия, две самые богатые и развитые области Европы, не произвели ни одного писателя — ни прозаика, ни поэта. Культурные очаги теплились только на окраинах Европы — в Испании, Ирландии, Англии,— лишенные всякой связи друг с другом, то слабо вспыхивая, то надолго замирая. Для наступления нового культурного подъема прежде всего необходимо было воссоединить эти скудные остатки античной и христианской культуры в общем центре. Этим центром стала франкская держава Каролингов, прежде всего — двор Карла Великого. Далее необходимо было, чтобы эта ученая, книжная культура вступила во взаимодействие с народной германской и романской культурой, обогатила их и обогатилась ими. Эта встреча и взаимопроникновение двух культур произошли в монастырях и монастырских школах, рассеявшихся по владениям преемников Карла Великого. И, наконец, после того, как росток древней культуры был привит к крепкому стволу новой культуры, можно было со временем ожидать первых плодов. Это время наступило в X в., в пору правления немецких Оттонов, и с этих пор культурное развитие Европы более не прерывалось: переход от X к XI в., от XI к XII в. и т. д. плавен, постепенен, и ни разу не прерывается ни такими долгими культурными застоями, как между VI и IX в., ни даже такими краткими, как между IX и X в.

Таковы три этапа культурного возрождения Европы по миновании «темных веков»: время Карла Великого, время Каролингов, время Оттонов. Каждый из этих этапов обладает своими особенностями и требует отдельного рассмотрения.

1

Предпосылкой культурного воссоединения Европы было политическое воссоединение Европы франкскими королями. Укрепление и расширение франкской державы в VIII в. было ответом западноевропейской романо-германской цивилизации на двойной натиск — арабов с юга, из-за Пиренеев, славян и аваров с востока, из-за Эльбы и Дуная. В этой борьбе на два фронта романо-германская Европа впервые сплотилась вокруг нового для нее центра — не средиземноморского, как раньше, а континентального, лежащего в северноевропейской равнине, где было ядро государства франков. Дед Карла Великого Карл Мартел (у власти в 714—741 гг.) отразил в семидневной битве 732 г. при Пуатье нашествие арабов. Отец Карла Великого Пипин Короткий (у власти в 741—768 гг., король с 754 г.), поддерживая деятельность Бонифация, готовился к наступлению на восток и обеспечивал себе союз с папским престолом. Наконец, сам Карл Великий (768—814 гг.) предпринял наступление по всем границам, присоединил к франкскому королевству Италию и Баварию, покорил Саксонию, разбил

аваров, отодвинул испанскую границу до Эбро, увеличив территорию франкской державы почти вдвое и объединив в ней, по существу, всю христианскую Европу, кроме лишь Англии и Астурии. Это воссоединение западного христианства было торжественно санкционировано папским престолом, когда на рождество 800 г., накануне нового века, папа Лев III в Риме возложил на Карла Великого императорскую корону.

Карл Великий унаследовал от Карла Мартела отлично действующую систему военной организации, а от Пипина Короткого — систему духовной организации франкского общества. Ему оставалось только совершенствовать эту государственную машину и пользоваться ей, чтобы придать возможное единство своей разношерстной державе. Карл воевал всю жизнь, но мирные дела всегда были ему по сердцу, и его указы-капитулярии обнаруживают в нем деятельного и рачительного хозяина своего государства. Единство державы он, по-видимому, понимал так, как только и можно было понимать в ту пору натурального хозяйства: как совокупность сельских областей, экономически замкнутых, живущих местными законами и обычаями, а политически объединенных, во-первых, сетью императорских графов-наместников и разъездных ревизоров, а во-вторых, сетью приходов, епископств и архиепископств. Из этих двух опор государственного единства и благосостояния для Карла Великого, бесспорно, была важнее вторая — церковь. Только духовенство было грамотно, хранило кое-какие навыки управления, хозяйствования и суда; только духовенство в пору местной раздробленности и замкнутости поддерживало постоянную, хотя и слабую, связь между епископскими кафедрами, архиепископскими метрополиями и папским Римом; только духовенство могло свободно пополнять свои ряды самыми способными людьми из самых широких народных масс — очень многие даже среди высших церковных деятелей были выходцами из низов, для которых светская карьера выше их сословия была бы немыслима. Кадры церковной администрации были в распоряжении Карла готовыми, кадры светской администрации еще необходимо было создать. Карл должен был приложить все усилия, чтобы как можно плодотворнее использовать первые и как можно скорее приобрести вторые. Этим определилось все направление его культурной политики.

Для того чтобы церковь могла играть свою роль объединяющей силы в разноплеменной империи, нужно было, чтобы ее средства и действия во всех концах державы были едины. Карл организует при дворе комиссию, чтобы очистить канонический текст Библии от накопившихся при переписке ошибок и распространить его по всей стране; довершает реформу местных литургических обрядов по единому римскому образцу, начатую еще Пипином Коротким; выписывает из Рима авторитетный текст устава св. Бенедикта для реорганизации всех монастырей; заказывает Павлу Диакону образцовый гомилиарий — сборник проповедей на все

дни, откуда могли бы черпать все священники. Но мало было обеспечить церковь книгами — нужно было обеспечить церковь людьми, способными пользоваться этими книгами. Отсюда забота Карла о просвещении духовенства. Наиболее известный акт этой заботы — так называемый «капитулярий о науках» (около 787 г.), предписывавший при каждом монастыре и при каждой епископской кафедре открывать школы для всех, кто способен учиться («...как соблюдение монастырских уставов хранит чистоту нравов, так образование устрояет и украшает слова речи; поэтому те, кои стремятся угодить богу праведной жизнью, пусть не пренебрегают угождать ему также и правильной речью... ибо хотя лучше правильно поступать, чем правильно знать, но сначала нужно знать, а потом поступать»). Это означало, что обучение молодых монахов и клириков переставало быть одной из тысячи забот хлопотливого епископа или аббата и становилось заботой специального учителя, который мог образовать учеников больше и лучше. Сеть таких школ быстро раскинулась по всем епархиям франкской державы; были даже сделаны попытки привлечь в них мирян («чтобы каждый посылал детей своих в школу, которую дети должны прилежно посещать, пока они достойно не обучатся»,— говорится в капитулярии 802 г.), но, конечно, это в значительной мере осталось благим пожеланием.

Центром этой сети школ и питомником той скороспелой культурной элиты, в которой так нуждалась франкская держава, была придворная школа в столице Карла — в Ахене. Придворная школа для детей короля и высших вельмож, будущих государственных сановников, существовала у франков и раньше, но при Меровингах она служила, главным образом, воспитанию воинских доблестей,— при Карле Великом она стала служить обучению латинскому языку, классикам, Библии и семи благородным наукам. Учителями здесь были лучшие ученые, съехавшиеся со всех концов христианской Европы к новому ее политическому и духовному средоточию, учениками были франки из лучших родов, предназначенные Карлом для политической карьеры. Здесь, на стыке двора и школы, среди ученых, учащихся, любителей и покровителей учености и сложилось то своеобразное общество, за которым в науке закрепилось название «академии Карла Великого». Это была как бы сразу академия наук, министерство просвещения и дружеский кружок: здесь обсуждались серьезные богословские вопросы, читались лекции, толковались авторы и устраивались пиры, где застольники сочиняли изысканные комплиментарные стихи и развлекались решением замысловатых вопросов и загадок. Членами ее были сам Карл со своим многочисленным семейством, виднейшие духовные и светские сановники, учителя и лучшие ученики придворной школы. Каждый член академии принимал античный или библейский псевдоним (это было полузабытой традицией галльских и британских ученых обществ — вспомним

«Вергилия Марона», грамматика из Тулузы). Карл звался «Давид», его двоюродный брат Адельхард, аббат Корбийский — «Августин», его дочери и придворные дамы — «Луция», «Евлалия», «Математика», Алкуин был «Флакк», Муадвин — «Назон», Ангильберт — «Гомер», Эйнхард — «Веселиил», среди придворных имелись «Неемия», «Сульпиций», «Тирсис» и «Тимофей».

Академия Карла Великого стала началом большого культурного движения; к ней сходятся нити всех традиций европейской латинской культуры почти за два столетия. Традиции передавались от учителей к ученикам, и развитие их может быть прослежено поколение за поколением.

У начала каролингского возрождения стоит поколение иноземных учителей — тех, кто принес во франкскую столицу остатки знаний, разметанные предшествующей эпохой по окраинам Европы: из Италии, Испании, Ирландии, Англии.

Италия была первой страной, завоеванной Карлом и поразившей его своей непривычной культурой. Уровень этой культуры не следует преувеличивать: школьное образование и здесь было в упадке, Рим (по гиперболическим выражениям поэтов) лежал в развалинах, а стихотворное послание, которое Карл получил от папы в 774 г., ужасало метрической безграмотностью. Но в итальянских монастырях пылились книги, и эти книги были необходимы для культурного дела Карла. За Альпы потянулись из Италии те рукописи, которым суждено было стать архетипами большинства латинских текстов, дошедших до нас: сперва богослужебные книги и учебники грамматики, потом сочинения отцов церкви, потом античные классики. А вслед за книгами направились на север и люди — те немногие, которые имели знания и чувствовали, что при франкском дворе эти знания нужнее, чем в Италии. Таких людей было трое: Петр, диакон Пизанский, грамматик, ставший первым возродителем научных занятий в придворной школе и посвятивший свой учебник грамматики самому Карлу Великому; Павлин, патриарх аквилейский, один из виднейших богословов своего поколения, первый советник Карла по вопросам церковной политики; и самый талантливый из них — Павел Диакон, бывший придворный учитель лангобардского короля, автор исторического учебника и искусных стихотворений, впоследствии прославившийся своей «Историей лангобардов». Их пребывание при франкском дворе продолжалось не более десяти лет: к началу 790-х годов они все уже вернулись в Италию: Павлин в свою Аквилею, Павел Диакон в Монтекассино, дряхлый Петр — тоже в какой-то монастырь. Но результаты их деятельности были крайне важны: именно они заложили основу всего последующего культурного возрождения, и 780-е годы по праву считаются «итальянским периодом» в истории придворной академии.

За «итальянским периодом» последовал «англо-саксонский» — 790-е годы: новым главой придворной школы и придворной акаде-

мии стал англо-сакс Алкуин (впрочем, и с ним Карл Великий познакомился в Италии). На долю Алкуина выпало упорядочение и организация того образовательного материала, который накопился в придворной школе при итальянцах: Алкуину принадлежала выработка связной программы обучения в придворной школе (латынь — семь благородных наук — богословие), составление учебников по основным предметам (учебники эти не выходили из употребления несколько столетий), выработка методики преподавания. Алкуин был талантливый педагог, среди его учебников можно даже легко различить те, которые написаны для начинающих, и те, которые предназначены для уже подготовленных учеников; а диалогическая форма его учебных трактатов представляется не только литературной условностью, но и отголоском подлинной классной практики. Образцом для его образовательной системы послужила, по-видимому, его родная Йоркская школа. Алкуин остался в памяти потомства центральной фигурой духовной жизни своего времени. «Он говорил, жил и писал в полную меру своего достоинства, а достоинством он превосходил всех, кроме разве что могущественнейших королей»,— восторженно писал о нем столетие спустя Ноткер Заика.

Ирландия, третий культурный центр предшествующей эпохи, тоже внесла свой вклад в труды первого поколения Возрождения. Ирландия к концу VIII в. стала жертвой все усиливавшихся норманских набегов; спасаясь от них, ирландские ученые вновь, как когда-то при Колумбане, потянулись на континент. Красочной легендой о том, как два ученых ирландца высадились на франкском берегу и обратились к народу с возгласом: «Кто хочет мудрости, пусть придет и возьмет ее у нас — мы ее держим на продажу!» — начинаются полусказочные санкт-галленские «Деяния Карла Великого». Ирландские эмигранты дали каролингскому возрождению знакомство с элементами греческого языка, вкус к изысканно-темному стилю и расширенные познания по географии и астрономии. Виднейшими фигурами этой ученой эмиграции были три человека: Дунгал, подписывавший свои стихотворные послания к Карлу «ирландский изгнанник», дававший ему консультации по научным вопросам и в богословских спорах аргументировавший цитатами не только из отцов церкви, но и из христианских поэтов; Клемент, сменивший (по-видимому) Алкуина во главе придворной школы и написавший грамматику, вытеснившую грамматику Петра Пизанского; Дикуйл, автор географического трактата, в котором к толковым сведениям о провинциях Римской империи были добавлены сведения об Ирландии, Фарерах и Исландии, где летние ночи так светлы, «что можно вшей обирать с рубашки». Жизнь ирландских эмигрантов была нелегка, всякий был готов посмеяться над их бездомностью и надменностью (например, Теодульф в «Послании королю»), а они отвечали соперникам попреками за невежество и дурной латинский стиль.

Наконец, готская Испания тоже дала каролингскому возрождению нескольких видных его представителей; но все они были не столько учеными и учителями, сколько практиками — администраторами, дипломатами, полемистами. Это — лионский архиепископ Агобард, один из просвещеннейших людей своего времени, осуждавший поклонение иконам и обычай «суда божьего», отрицавший ведовство и колдовство; это — Клавдий, епископ Туринский, мечтавший возродить чистоту раннего христианства и ради этого начавший такое гонение на иконы, которое всколыхнуло на несколько лет всю франкскую церковь. Самым крупным и талантливым деятелем в этой плеяде был орлеанский епископ Теодульф, администратор, дипломат, моралист и покровитель искусств; как кажется, он даже не был членом академии (мы не знаем его академического прозвища), но он был поэтом, и притом одним из самых талантливых в своем поколении; его стихи больше, чем чьи-нибудь, позволяют нам заглянуть в жизнь двора и империи Карла.

Плоды деятельности этих разноплеменных культурных сил, собранных к ахенскому двору, явились скоро. Уже приблизительно к 800 г. на сцену выступает второе поколение каролингского возрождения — германские выученики иноземных учителей. Это — те новые люди, на которых хотел опереться Карл в своей государственной политике; среди них — не только духовные, но и светские лица, не только люди неведомого происхождения, но и представители знатных родов, до того времени обычно обходившиеся без грамотности.

Таков Эйнхард, приближенный Карла, автор его жизнеописания, оставшегося лучшим для своего времени образцом владения латинским слогом. Таков Ангильберт, морганатический зять Карла, поэт, носивший в академии прозвище «Гомер». Таков Муадвин (или Модоин), ученик и друг Теодульфа, подражавший ему в пышном жанре стихотворных панегириков. Таков Амаларий Трирский, ученик Алкуина, ездивший от Карла послом в Константинополь, первый латинский богослов, занявшийся аллегорическим толкованием литургических обрядов. Таков Фридугис, другой ученик Алкуина, автор сочинения «О субстанции небытия и мрака» — редкой для своего времени попытки упражнения мысли вне круга традиционных патристических вопросов. Таков Смарагд Сент-Михиельский, автор 15 книг комментария к грамматике Доната, единственный человек во франкском государстве, прямо побуждавший императора (Людовика Благочестивого, сына Карла) отменить в своих владениях рабство. Таковы, наконец, два «просветителя Германии» — Храбан Мавр, аббат Фульдский, и Гримальд, аббат Санкт-Галленский, трудами которых руководимые ими монастыри стали крупнейшими центрами латинской культуры за Рейном, в недавно лишь приобщенных к христианской цивилизации восточногерманских областях.

Именно Муадвину, поэту этого поколения, принадлежат программные строки, давшие ученым основание для термина «каролингское возрождение»:

К древним обычаям вновь возвращаются нравы людские:
Снова Рим золотой, обновясь, возродился для мира...

Это было выражением мысли, общей всем современникам: уже у Алкуина звучит она в таком виде: «Не новые ли Афины сотворились во франкской земле, только многажды блистательнейшие, ибо они, прославленные учительством господа Христа, превосходят всю премудрость академических упражнений». Возрождение античной культуры на новой, христианской основе было общим идеалом современников Карла Великого: античные поэты должны были дать созидаемой литературе блеск формы, христианство должно было дать ей истинность содержания, сочетание того и другого было признаком, отличающим истинно культурного, «вежественного» мужа от презираемого им носителя «грубости» (rusticitas), причем под «грубостью» одинаково понималась и простодушная неграмотность германских мужиков и изысканная «безнравственность» Вергилия и Овидия. Царство божие на земле, объединенное христовой верой и латинским языком, языком церкви; во главе его — вселенский император, Карл-Давид, избранник божий, в чьих руках — и светская и духовная власть; вокруг него — его сподвижники и певцы, утверждающие его власть и славу по всему латинскому миру франкским мечом, христианской мыслью и античным словом,— таков был идеал двора и академии Карла.

Античные, языческие, и новые, христианские, элементы сочетались в этом идеале с удивительной простотой. Это объяснялось только тем низким культурным уровнем, с которого приходилось начинать каролингскому возрождению. «Возрождать» приходилось прежде всего те начатки знаний, которые были необходимыми и общими для какой бы то ни было латинской культуры, языческой или христианской,— владение языком, стилем, стихом, основы семи наук. Здесь и Библия и Вергилий были одинаково необходимы и полезны. Но как только эта ступень была пройдена, противоречие между библейским и вергилианским духовным идеалом начало ощущаться и вселять смятение в души тех, кто дорос до этого. Уже об Алкуине его биограф сообщает: «В юности читал оный муж Господень книги древних философов и лживые россказни Вергилия, но после не хотел их ни сам читать, ни позволять ученикам своим, говоря: «Достаточно с вас божественных поэтов, нет вам нужды пятнать себя сладострастным краснобайством Вергилиевой речи!» А прошло лишь десять лет после смерти Алкуина, и разрыв между светской и духовной культурой стал повсеместным.

В 814 г. Карла Великого сменил на императорском престоле его сын, Людовик Благочестивый (814—840 гг.). Он не был бездарен, он не был обскурант, но он уже не опережал свою эпоху, как его отец, а шел в ногу с ней. То объединение духовной и светской власти, к которому стремился Карл Великий, было для него непосильно. Его правление было решающим шагом к децентрализации империи и сакрализации культуры. «Он так много заботился о возвышении церкви, что по праву должен бы быть назван не королем, а иереем»,— говорит его биограф. Его духовным советником был Бенедикт Анианский, аквитанский гот, аскет, собственноручно пахавший и жавший, реформатор бенедиктинского устава, увеличивший для монахов занятия физическим трудом и уменьшивший занятия трудом умственным. По приходе к власти Людовик первым делом положил конец светскому духу и привольной жизни ахенского двора, распорядившись выслать всех любовниц своего отца и любовников своих сестер. Придворная академия быстро захирела: Алкуин и Ангильберт были в могиле, Теодульф — в изгнании, Эйнхард удалился в германский монастырь. Монастырским школам было предписано не принимать учеников из мирян, а обучать только послушников, готовящихся в монахи. Вергилианский идеал был резко отстранен идеалом Библии и отцов церкви.

Конечно, светские традиции предшествующего периода пресеклись не сразу. При сыне Людовика, Пипине Аквитанском, жил и писал о войнах и победах талантливый поэт Эрмольд Нигелл, многим предвещающий французский героический эпос; но и он, по-видимому, умер в изгнании. При самом дворе Людовика покровительницей наук и искусств выступала его вторая жена, императрица Юдифь, мать принца Карла (будущего Карла Лысого). Воспитателем принца был приглашен Валахфрид Страбон, лучший поэт своего поколения, в изысканных эклогах прославлявший своих высоких покровителей по лучшим традициям панегирической поэзии времен Карла Великого; но тот же Валахфрид Страбон писал стихи на случаи монастырской жизни, перелагал в стихи загробное видение, пользовался большим авторитетом как богослов,— это был писатель на стыке двух эпох, придворной культуры и монастырской культуры. Каролингский двор переставал быть культурным центром — латинская культура опять уходила в монастыри.

Центральная фигура этого времени, знаменующая своей деятельностью это начало новой полосы в культурной истории Европы,— Храбан Мавр (784—856 гг.), ученик Алкуина, аббат Фульды и потом майнцский архиепископ. В своем поколении он был тем же, чем Алкуин в своем,— всеобщим наставником, учителем, просветителем; особенно важна была его работа для культурного подъема зарейнской Германии, еще полуварварской. Он писал и стихи, но без дарования; он никогда не был при дворе, а работал

в своем монастыре; он никогда не увлекался изящной словесностью, и подавляющее большинство его работ — это пространные комментарии библейских книг, представляющие собой целые антологии выписок из отцов церкви, очень полезные для своего бескнижного времени и очень малоинтересные сейчас. Его представление о культурном идеале изложено в трактате «О воспитании клириков» (любопытная средневековая параллель квинтилиановскому «О воспитании оратора»), тоже представляющем собой преимущественно компиляцию из отцов церкви. Но основная мысль его принадлежит самому Храбану: науки делятся на две части, «божественные» (богословие) и «человеческие» (все остальные); первые для человека необходимы, вторые отчасти вредны (мантика, астрология), отчасти полезны (семь благородных наук); знания, содержащиеся в книгах языческих писателей, усваивать можно, но лишь потому, что они представляют собой случайно попавшие в их книги осколки истинной божественной мудрости — так Моисей, выводя евреев из Египта, забирал с собою добро египтян, полученное ими от евреев же (это августиновское сравнение широко будет использоваться и позднейшими писателями в спорах об античном наследстве). Насколько подчиненное место в этой картине занимает забота о художественных достоинствах античной и современной словесности, видно с первого взгляда. Разница этой концепции с концепцией «академического» поколения ясна.

С Храбана Мавра начинается новый период каролингского возрождения — период монастырский.

2

Карл Великий не любил монастырей. Для его централизаторской политики они были камнями преткновения — неподведомственные епископальной сети, тесно связанные с местной сепаратистски настроенной знатью, укрывающие в своих стенах сотни сильных мужчин от военной повинности. Тем не менее уже при Карле завязалась связь двора с крупнейшими монастырями страны: в Корби стал аббатом Адальхард, двоюродный брат Карла, в Шелле — Гисла, его сестра, в Туре — Алкуин, в Сен-Рикье — Ангильберт. В следующем поколении эта сеть межмонастырских культурных связей раскинулась еще шире — в Фульде занял пост Храбан Мавр, в Санкт-Галлене — Гримальд, в германской части империи возвысились Лорш, Рейхенау, Корвей, в романской — Ферьер, Оксерр, Турнэ, Флёри и епископский город Реймс. Поэтому когда при Людовике Благочестивом была разогнана придворная академия, культуре уже было куда отступать.

В 840 г. умер Людовик Благочестивый, в 841 г. три его сына сошлись в братоубийственной битве при Фонтанете, в 843 г. они поделили между собой империю в Вердене; началась долгая история

каролингских междоусобиц, разделов и переделов. Смуту усиливали разорительные набеги внешних народов — норманнов с северного побережья, арабов — со средиземноморского. Политическое единство империи кончилось. Церковное единство сохранилось, но и в нем произошли сдвиги: усилилась местная власть епископов, ослабела централизующая власть архиепископов, возвысился верховный авторитет римского папы (эти изменения были санкционированы так называемыми «лжеисидоровскими декреталиями» — составленной в середине IX в. серией поддельных документов от имени древнейших римских пап). Последним человеком, заботившимся о поддержании единства франкской империи, был Хинкмар, реймсский архиепископ 845—882 гг., первый советник Карла Лысого, автор 66 книг, отличавшийся не столько глубиной мысли, сколько твердостью характера и неиссякаемой энергией. После его смерти глубокий развал западнофранкского государства стал очевиден, а еще поколение спустя, когда с востока на империю ударило новое нашествие — венгров, упадок этот распространился и на восточнофранкское государство.

В эти 60—70 бурных лет — вплоть до первых десятилетий X в. — монастыри вновь оказались самым жизнеспособным социальным организмом западной Европы. Они были хорошо укреплены и считались обителями божьими, поэтому погромы и грабежи коснулись их меньше, чем замков и городов. Они были богаты, ибо приток пожертвований им не прекращался, земля их не дробилась, и сельское хозяйство (которому монахи учились по Варрону и Колумелле) было поставлено лучше. Они были независимы от внешней власти — если не по имени, то фактически — и безукоризненно организованы внутренне: сплоченная масса монахов по уставу безоговорочно должна была повиноваться аббату. Наконец, они были теснее всего связаны с народной жизнью: монашеские кадры попрежнему в основном рекрутировались из низов; и в хозяйстве, и в управлении имениями, и в церкви, и в школе монашество соприкасалось с крестьянством; оно облекало для него религиозные темы в народный язык и перенимало у него темы германского и романского фольклора для переложения на латинский язык. Монастыри унаследовали от академии вкус к книжной культуре, но не унаследовали презрения к «мужицкой грубости» народной культуры; от скрещения этих двух начал в монастырских кельях обновилась латинская и родилась немецкая и французская литература.

Точкой наиболее тесного соприкосновения монастырской культуры с народной была школа. По большей части монастырская школа воспитывала только будущих монахов, но местами, несмотря на запрет Людовика Благочестивого, существовали и школы для детей мирян. Связь между монашескими учениками и их мирскими родственниками порывалась не сразу: сохранились любопытные записочки на латинском языке от мальчика-школьника на волю —

«Батюшке и матушке своим (имярек), барашек, ими вздоенный, добросыновнее блеяньице свое посылает...» и затем просьбы о разных мелочах. Латинский язык в стенах школы был единственно дозволенным: санкт-галленский аббат Соломон требовал, чтобы младшие ученики приветствовали его латинской прозой, средние — ритмическими стихами (более простыми, сочиняемыми на слух), старшие — метрическими стихами (более сложными, сочиняемыми по книгам).

Школьная программа оставалась Алкуинова: сперва начатки чтения, счета и церковного пения, потом грамматика с чтением доступных авторов и с элементами остальных «благородных наук», потом — для немногих способных — индивидуальные занятия по богословию. Учебниками служили сочинения Алкуина, Беды, Исидора Севильского, Боэтия, Марциана Капеллы, Доната; их комментировали, на полях их выписывали германский перевод латинских слов (так называемые глоссы). Упражнениями были вопросы и ответы, «диктамены» для совершенствования латинского стиля, выписки, толкования и пр. Использование античных авторов в монастырских школах почти не вызывало возражений; первым чтением были «Дистихи Катона» и, быть может, басни Авиана, затем сосредоточивались, главным образом, на Вергилии. Перед греческим языком благоговели, но вчуже: из него знали только азбуку, отдельные слова из глоссариев, отдельные фразы из символа веры, молитв и литургии, но не более того.

Более основательные знания были только у ирландцев и у жителей южной Италии; единственными писателями этого времени, способными переводить с греческого, были ирландский философ Иоанн Эриугена (о котором речь впереди) и итальянец Анастасий (ум. в 897 г.), человек с бурной жизнью, смутьян, антипапа, отлученный одно время от церкви, а потом ставший папским библиотекарем, послом в Константинополь и присяжным переводчиком греческих житий.

Школа требовала книг. Мастерские для переписки книг имелись в каждом хорошем монастыре. Рукописи, вывезенные при Карле Великом из Италии, рассеялись по монастырям, бережно переписывались, с надежными людьми перевозились с места на место, выменивались. Подавляющее большинство рукописей, по которым издаются теперь античные авторы, относится именно к IX в. и было написано именно в этих монастырских скрипториях. Эти рукописи были еще разрознены: так, Цицерон был известен почти весь, за исключением трех-четырех трактатов, но в каждом монастыре было не более двух-трех его сочинений; единый общеевропейский фонд латинских классиков сложился лишь позднее, к XII в., когда кое-что уже успело вновь затеряться. Однако уже IX в. дал такую фигуру, как Серват Луп, аббат Ферьерский (около 805—862 гг.), ученик Храбана Мавра, неутомимый собиратель рукописей, знаток самых малоизвестных латинских классиков, лучший

стилист своего времени, организовавший у себя в монастыре не только переписку, но и сверку текстов, опередив своими критическими приемами не только современников, но и дальних потомков. Письма Сервата Лупа напоминают письма итальянских гуманистов: он советуется о толковании трудных мест, просит одни рукописи и обещает другие, заботится хранить эти книгообмены в тайне, обсуждает орфографию и просодию; ему принадлежит фраза, немыслимая ни у какого другого человека его времени: «Мудрость, по-моему, заслуживает достижения уже ради ее самой». Те, кто не имел возможности обеспечить себя и свой монастырь такой библиотекой, как у Лупа, обзаводились сборниками эксцерптов, выписок, преимущественно философского и моралистического содержания; подчас такие выписки охватывали очень широкий круг авторов (конечно, часто из вторых рук). Сохранилось даже любопытное произведение с попыткой придать такому сборнику художественную форму — письмо Эрменриха Эльвангенского (тоже ученика Храбана Мавра) Гримальду Санкт-Галленскому (около 854 г.): оно начинается похвалой учености Гримальда, затем говорится о пользе философии, о частях диалектики, о долгих и кратких гласных, о буквах и спряжениях, о жизни созерцательной и деятельной, о Вергилии, которого он видел во сне, положив под голову «Энеиду», о пользе древних поэтов для понимания Писания, опять об учености санкт-галленцев, о прилагаемом при письме житии Гермольфа Лангрского, потом следуют выписки из стихов Теодульфа, Муадвина и Авсония, рассуждение в прозе и стихах о Троице, выписки по географии с большими стихотворными цитатами и, наконец, шутливый рассказ о том, как некий «новый Гомер», объевшись полбенного хлеба, увидел во сне самого Орка, коловшего вшей трезубцем, но только рассмеялся, перекрестился, выбросил из головы мифологию и решил взяться за воспевание св. Галла, основателя Санкт-Галлена.

Однако главной заботой монастырских писателей была, конечно, не филология, а богословие. Комментарии к Священному Писанию составлялись повсюду, потому что без них невозможно было изучать Библию в школе. Они тоже представляли собой не что иное, как собрание эксцерптов из отцов церкви и позднейших толкователей — Беды, Алкуина, Храбана; они тоже сплошь и рядом переписывались из комментария в комментарий без обращения к первоисточникам. Исторические и реальные пояснения занимали здесь самое скромное место; главное внимание уделялось толкованиям аллегорическим, которые подразделялись на собственно аллегорические («Иерусалим есть образ церкви христовой»), анагогические («Иерусалим есть образ царствия небесного») и тропологические («Иерусалим есть образ души страждущей»). Храбан Мавр оставил целый словарь библейских аллегорий: так, «вода» есть Святой Дух, Христос, высшая мудрость, многоглаголание, пре-

ходящая жажда, крещение, тайная речь пророков и т. д., всего 28 значений, каждое проиллюстрированное библейским текстом.

Точно так же, как экзегетическая литература, строилась на цитатах и полемическая литература. Феликс Урхельский, инакомыслящий богослов при Карле Великом, признал себя побежденным в споре с Алкуином потому, что Алкуин привел такие цитаты из отцов церкви, которых Феликс не знал. Богословские споры этих лет происходили, главным образом, из-за того, что из сочинений отцов церкви извлекались противоречащие друг другу суждения (таких было много) и примирялись у разных толкователей разными способами. Таковы были два самых беспокойных спора этого времени: о причащении (истинно или только символически превращается хлеб и вино в плоть и кровь Христову?) и о предопределении (божья воля или человеческая воля предопределяет спасение души или ее погибель?). Особенно бурным был второй спор. Его начал Годескальк, дерзкий ученик Храбана, выдвинув на обсуждение несколько высказываний Августина (которые обычно замалчивались), позволявших думать, что бог предопределяет людей не только к спасению, но и к вечной гибели. Хинкмар, блюститель ортодоксии, поручил написать опровержение ученому ирландцу Иоанну Эриугене. Тот написал, что предопределение ко злу невозможно, ибо зло есть небытие (отсутствие добра), и даже загробный огонь не есть зло — в нем обитают равно и праведники и грешники, но первым он сладок, а вторым мучителен (как солнечный свет для здоровых и для больных глаз): таким образом, не бог, а грех сам себе служит наказанием. Такая диалектика была совершенно непривычна для ученой Европы; богословы бросились спорить уже не с Годескальком, а с Эриугеной, обвиняя его в том, что он подменяет богословие философией, а доводы святых отцов — софистикой; с трудом Хинкмару удалось положить спору конец компромиссом, похожим на игру слов: не человек предопределен к наказанию, а наказание предопределено человеку.

Иоанн Скотт Эриугена был единственным богословом своего времени, заслуживающим имени философа. Он один среди современников позволил себе повторить сентенцию Августина, что истинная философия и религия — одно и то же, и сказать, что разум может иметь силу без авторитета, а авторитет без разума не может. Среди современников он чувствовал себя белой вороной; Карл Лысый держал его при своем дворе не столько как учителя, сколько как диковинку учености. Греческая культура была ему ближе, чем латинская; неоплатоническое христианство сочинений Дионисия Ареопагита, которые он переводил на латинский язык, было его духовной пищей; по неоплатоническому образцу он построил свою философскую систему четвероякой природы, в которой не было места троице, а творец был един с творением. Если бы его сочинения были поняты современниками, он погиб бы как еретик; но

они остались непонятны, и только в XIII в. были запрещены как подспорье альбигойства.

Ближе к художественной прозе стояли два другие жанра монастырской литературы — жития и видения. Жития сочинялись в IX в. во множестве; можно сказать, что это было массовое чтение своего времени, привлекавшее читателей нравственной поучительностью, описанием дальних странствий, опасностей и спасений, благочестивых чудес, подчас даже юмором; все они сочинялись по одному образцу, рисовали один и тот же облик идеального христианина, целые эпизоды из разных житий совпадают дословно во всем, кроме имен, но это только содействовало их доходчивости. Язык их прост, близок к разговорному и далек от литературной правильности, хотя ученые писатели и старались время от времени пересказывать бесхитростные старые жития изысканным новомодным слогом и даже перелагать их в стихи. Интересно, что аскетические мотивы в житиях IX в. подчеркнуты слабо и учащаются только к X в.; зато приметы местного патриотизма и политики выступают в них нередко, так что жития св. Бонифация или св. Галла то и дело отражают столкновения основанных ими аббатств Фульды или Санкт-Галлена с соседними владетелями. Еще более интенсивно проникает современность в жанр видений. В видениях описывались для назидания верующих картины загробных кар и загробного блаженства, явившиеся во сне или в галлюцинации тому или иному ясновидцу; первые в латинской литературе образцы этого жанра мы видели в «Диалогах» Григория Великого, с IX в. видения выделяются из богословских трактатов, житий и хроник в самостоятельные произведения («Видение Веттина» Хейтона), а потом объединяются в целые сборники. Злободневные мотивы составляют почти непременную часть видений: ясновидец или встречает в раю и в аду своих недавно скончавшихся современников или слышит от небесных сил прямые указания возвестить ближним то-то и то-то («Вот Господь соизволил услышать меня и, сойдя с неба, сиянием своим озарил меня... и сказал: «Прокляни тот день, когда Буркхард будет епископом!»). Эта тенденция оказалась очень живучей и дошла до завершающего и самого знаменитого из «видений» средневековой литературы — до «Божественной Комедии» Данте.

Переходя от прозы к поэзии, мы находим в монастырской литературе целый ряд интенсивно разрабатываемых жанров. Во-первых, это панегирическое послание, обращенное к духовным или светским властям; по сравнению с эпохой Карла Великого, когда в придворной поэзии панегирик был едва ли не господствующим жанром, теперь он отступает на второй план, но все же сохраняет значение. Во-вторых, это дружеское послание, обращенное не к высшему, а к равному; лучшие образцы этого жанра оставил тот же Валахфрид Страбон; здесь изливался тот лиризм, который для монаха не мог найти выхода в любовной поэзии. В-третьих, это поучительные послания и медитации в стихах преимущественно на бого-

словские темы, иногда разрастающиеся до огромных поэм («Об умеренности» Милона). В-четвертых, это описательная поэзия, которая то и дело перекидывается с духовных предметов на светские: описание монастыря переходит в описание прекрасной местности, среди которой он стоит, а описание церковных праздников каждого месяца дополняется описанием картин природы и сельских работ. В-пятых, это «надписи» на различных церковных строениях, предметах утвари, книгах, подписи к картинам, эпитафии и пр.— прямое развитие жанра античной эпиграммы. В-шестых, наконец, это бесчисленные гимны и стихотворные молитвы, которые писались и пелись на протяжении всего средневековья. Все эти жанры варьировались на самые разные лады; в частности, в большой моде была форма эклоги (следствие культа Вергилия) — любая тема могла быть развернута (подчас довольно насильственно) в стихотворный диалог. Стихи объединялись в циклы, циклы обрастали предисловиями, посвящениями, молитвами, заключительными надписями и пр., по возможности — в разных стихотворных размерах. Образцами стиля неизменно служили античные поэты (из языческих — преимущественно Вергилий, из христианских — Пруденций); из их стихов заимствовались слова, словесные обороты и даже целые полустишия. Поэты наперебой старались щегольнуть богатством стиля и для этого извлекали из глоссариев самые редкие и малопонятные слова, вставляли все грецизмы, какие знали, играли обилием синонимов, плеоназмами, гиперболическим нагромождением сравнений, эпитетов и пр. К началу X в. дело дошло до того, что иным поэтам приходилось писать на полях комментарии к собственным стихам.

Стихотворная техника каролингской поэзии требует особых пояснений. Здесь приходится различать целых три системы стихосложения — метрическую («метры»), силлабо-тоническую («ритмы») и силлабическую («секвенции»).

Метрическое стихосложение было унаследовано средневековьем от классической античности. Оно основывалось на упорядоченном чередовании долгих и кратких слогов, независимых от ударения. В живом языке различение долготы и краткости слога давно утратилось, поэтому писать такие стихи приходилось не «по слуху», а «по науке». «Наука» состояла в том, что нужно было читать и заучивать во множестве стихи старых поэтов, запоминая, какие слова могут стоять на каком месте в стихе; был даже справочник, «Труд просодийный» Микона из Сен-Рикье (около 825 г.), в котором были выписаны примеры на употребление в стихе нескольких сотен слов (такие просодические словари для обучающихся латинскому стихосложению составлялись и издавались вплоть до XIX в.— обычно под заглавием «Gradus ad Parnassum»). Самыми употребительными размерами были, конечно, гексаметр и элегический дистих, лирические метры представлялись роскошью, употреблялись реже и осваивались постепенно. Алкуин пользовался (очень скупо) пятью лирическими размерами, поколение Храбана Мавра знало

их уже одиннадцать, поколение Валахфрида Страбона — семнадцать, поколение Хейрика Оксеррского — двадцать, причем среди них были не только завещанные античностью, но и новоизобретенные. Это была вершина развития средневековой латинской метрики: более она никогда не достигала такого богатства. В разработке метрических размеров каролингскими поэтами заметна та же погоня за диковинками, что и в разработке стиля: например, такой странный прием, как рассечение слова, «тмесис» («ЭР — сладкозвучные эти стихи написаны — МОЛЬДОМ») у римских поэтов был редчайшим, а у средневековых поэтов встречается то и дело. Особенно бурное распространение получила в стихе так называемая «леонинская рифма» — созвучие конца первого полустишия с концом второго: в стихах начала IX в. такие строки еще единичны, а в начале X в. такими строками уже пишутся целые поэмы. Примером леонин в переводе может служить «Послание о пяти чувствах» Ноткера Заики. На современный слух эти рифмы почти не ощущаются, но средневековье ими упивалось. В метрическую поэзию мода на них перешла, конечно, из ритмической поэзии.

Ритмическим стихосложением в средние века называлось то, что теперь называется силлабо-тоникой: упорядоченное чередование ударных и безударных слогов, независимо от их долготы. Такие стихи могли писаться непосредственно на слух, без книжной выучки; поэтому ценились они меньше и считались уделом малообразованных писателей и читателей. Августин, одним из первых обратившийся к ритмам при сочинении гимнов, мотивировал это тем, что в них слова располагаются естественнее и, стало быть, понятнее простому народу. Основным образцом при разработке ритмических размеров были, конечно, старые метрические размеры: расположение ударных и безударных слогов копировало расположение долгот и краткостей в ямбическом диметре (излюбленный размер гимнов), хореическом тетраметре (излюбленный размер лиро-эпических произведений) и других метрах. Были и иные образцы: в ритмах ирландских поэтов чувствуется традиция национального кельтского силлабического семисложника, в ритмах готской графини Дуоды — влияние национального германского тонического стиха; наконец, были и интересные попытки создания оригинальных ритмических стихов и даже ритмических строф, подчас довольно сложных — например, в талантливых экспериментах Годескалька. Чем сложнее и непривычнее был ритм, тем больше он нуждался в дополнительном стиховом признаке, отмечающем границы стихотворных строк; таким признаком стала рифма, обычно очень простая, односложная, напоминающая ассонанс. В начале IX в. рифма была лишь необязательным украшением в ритмических стихах, к началу X в. стала непременной: безрифменные ритмы полностью выходят из употребления.

Секвенции были самой своеобразной стихотворной формой каролингской поэзии. Это была проза, положенная на музыку.

В западной литургии между чтением апостольского послания и чтением Евангелия пелись стихи псалмов, завершаемые возгласом «аллилуйа». Последнее «а» в этом возгласе протягивалось в очень долгую и сложную колоратуру. С VIII в. к этим колоратурам стали сочиняться прозаические подтекстовки с прославлением бога, святых или соответственного праздника; сочинялись они с таким расчетом, чтобы каждой ноте напева соответствовал один слог текста. Так как в пении участвовали два полухория — взрослых монахов и мальчиков,— то на каждую колоратуру сочинялось два текста, со строго одинаковым количеством слогов, одинаковым расположением главнейших пауз и стремлением к одинаковому расположению ударений. По существу это были строфа и антистрофа, составленные из силлабически (а не метрически, как в древности) тождественных стихов; художественный эффект достигался сочетанием свободы построения каждого стиха и строгости повторения его из строфы в антистрофу. Из цепочки таких строф и антистроф состояла вся секвенция; только начальная и заключительная строфы пелись обоими полухориями вместе. Эта стихотворно-музыкальная форма была разработана в IX в. в северной Франции и доведена до совершенства на исходе IX в. в южной Германии санкт-галленской школой поэтов во главе с Ноткером Заикой.

Не следует, однако, думать, что монастырской религиозной тематикой исчерпывалась вся латинская поэзия IX в. Хотя и на подчиненном положении, но в ней существовала и светская традиция — отчасти унаследованная от придворной культуры предшествующего периода, отчасти развившаяся уже в новых исторических условиях.

Во-первых, это — творчество Седулия Скотта, ирландского эмигранта, бездомного «ученого поэта», зарабатывавшего на жизнь талантливыми славословиями своим покровителям — люттихским епископам, королю Карлу Лысому (любившему подражать великому деду в роли мецената), а заодно и другим вельможам и королям. Он продолжает традицию придворной панегирической поэзии, но любопытным образом вульгаризирует ее применительно к своему положению: он просит о вознаграждении, жалуется на бедность, голод и жажду, угождает покровителям не только чинной хвалой, но и веселыми шутками,— короче говоря, разрабатывает те мотивы и жанры, которые через два с лишним столетия станут центральными в поэзии вагантов. Что в этом Седулий не был одинок, показывают и некоторые другие стихотворения той же эпохи (например, анонимный «Стих об аббате Адаме»); но, понятным образом, сохранилось их лишь немного.

Во-вторых, это — жанр исторических поэм, идущий от псевдо-Ангильберта и Эрмольда Нигелла и питаемый обильными заимствованиями из античного эпоса. К этому жанру относятся три произведения данной эпохи — «Деяния императора Карла Великого» неизвестного «саксонского пиита» (около 888 г.) — пересказ

летописи и Эйнхарда, с особым вниманием покорению и крещению саксов; «Парижская война» Аббона Сен-Жерменского — описание осады Парижа норманнами в 885/886 г. и отражения их епископом Гозлином и графом Одоном, с добавлением нравственных наставлений для клира; «Славословие Беренгарию, непобедимому кесарю», анонимная поэма в честь итальянского короля, в 915 г. принявшего императорский венец. Художественными достоинствами эти поэмы не отличаются и потому в нашем сборнике не представлены; интересно лишь, что в них достигает предела ученая темнота словаря и вычурность стиля — особенно у Аббона Сен-Жерменского, набравшего для своей поэмы из глоссариев самые фантастические слова.

В-третьих, это — злободневная дружинная и городская поэзия. Города северной Италии в IX в. еще сохраняли память об античной древности: должностные лица здесь назывались консулами и трибунами, люди помнили мифы, Комо гордился Плинием, Мантуя Вергилием, латинский язык был понятен всем, и жители сочиняли патриотические стихи во славу собственного города и в поношение соседних (например, «Молитва о сохранении моденских стен»). Разумеется, такие стихи писались не метрами, а ритмами, и их поэтический язык питался не античными реминисценциями, а общедоступными библеизмами. На том же приблизительно уровне стояли и латинские кантилены, сочинявшиеся грамотными дружинниками (например, плач о битве при Фонтанете, автор которого принадлежал к итальянской дружине императора Лотаря). Из этой среды выйдет в следующих столетиях поэзия министериалов-шпильманов. Ниже этого социального уровня латинская поэзия уже не спускалась: дальше начиналось царство народных языков.

В-четвертых, это — латинские переложения сюжетов германского фольклора — такой же естественный результат соприкосновения двух культур в монастырской школе, как и германские переложения христианских сюжетов («Муспилли», «Хелианд», евангельская поэма Отфрида Вейссенбургского),— появляющиеся впервые в том же IX в. Во главе этой группы произведений стоит, бесспорно, «Вальтарий» — загадочная поэма загадочного автора, в которой содержание древнегерманских героических сказаний получает форму вергилианского эпоса, почти центона из вергилиевских стихов и полустиший. К этой же группе принадлежат немногочисленные новеллы в стихах (вроде сказки о быке и трех братьях), здесь же следует вспомнить — переходя от поэзии к прозе — о «Деяниях Карла Великого», коллекции народных легенд, составленной на латинском языке Ноткером Заикой. Все это — памятники самого конца IX в., результат долгого развития монастырской культуры и далеко продвинувшегося сближения ее с культурой народной.

Но это сближение монастырской культуры с народной имело не только положительные, но и отрицательные стороны. Не получая новых толчков извне, обреченная перерабатывать вновь и вновь

культурное наследие времен Алкуина и Храбана, скудеющее с каждым поколением, разобщенная в разобщенной Европе, лишенная воздействия более культурных кругов, вынужденная применяться к нуждам безостановочного притока полуграмотных и вовсе безграмотных неофитов, монастырская культура стояла перед угрозой постепенной варваризации, полного растворения в народной культуре. Признаки этой опасности были вполне реальны: если вторая половина IX в. была временем обильнейшей и разнообразнейшей литературной продукции, то первая половина X в. поражает совершенным бесплодием. Ни одного сколько-нибудь значительного памятника к этому времени не восходит; монастырские хроники этих лет отличаются подчас такой фантастической испорченностью латинского языка, какая не имеет равных во всем средневековье. Императорской власти не существовало, папский авторитет был подорван лютой борьбой аристократических партий в Риме, с севера и запада Европу опустошали норманны, с востока — венгры; политический упадок сопутствовал культурному. Казалось, что вновь настали «темные века».

Из этого кризиса Европу вывело восстановление и укрепление императорской власти в X в. и папской власти в XI в.

Павел Диакон

Павел Варнефрид Диакон происходил из древней и знатной лангобардской семьи, родился он около 725 г. в Фриуле. Прозвище «Диакон» он получил, по-видимому, по своему духовному сану. Предполагают, что он был близок к королевскому дому и обучался при дворе короля Ратхиса в Павии, где получил превосходное классическое образование. В дальнейшем он был придворным писателем короля Дезидерия и учителем его дочери. По ее просьбе он написал в 774 г. «Римскую историю», сочинение компилятивного характера, продолжавшее Евтропия в христианском духе до Юстиниана. После подавления фриульского восстания лангобардов в 776 г., когда Карл Великий за участие в восстании увез в Галлию как заложника брата Павла Арихиса, Павел удалился в монастырь Монте-Кассино. В 782 г., во время пребывания Карла в Италии, Павел обратился к нему с просьбой в форме элегии об освобождении брата. Карл заинтересовался Павлом, уже тогда завоевавшим репутацию ученейшего человека, писателя и поэта, и пригласил его в Галлию. Здесь в придворной «академии» Павел продолжал литературные занятия (писал церковные гимны, стихотворные послания, акростихи, эпитафии) и стал одним из самых авторитетных ее членов. Через 5 лет, в 787 г., Павел получил, наконец, возможность вернуться в монастырь Монте-Кассино, где он прожил последние годы своей жизни, умер и похоронен (около 799 г.) В монастыре он и написал свое лучшее произведение, задуманное, по-видимому, еще в Галлии, «Историю лангобардов в 6 книгах» («De gestis Longobardorum libri VI»). При написании этого труда Павел использовал сочинения Беды, Аврелия Виктора, Иордана, Венанция Фортуната, Плиния Старшего, Григория Турского, Оригена, Исидора Севильского, Григория Великого. Многое он заимствовал из сочинения по истории лангобардов Секунда Тридентского (ум. в 612 г.), не сохранившегося до настоящего времени (у Павла имеются на него прямые ссылки в III, 29; в IV, 27; IV, 40). Кроме того, источниками Павла были Беневентские и Сполетские анналы и «Liber pontificalis». В «Истории лангобардов» широко использована и устная традиция — историчсские народные сказания, родовые предания, героические песни. При этом для ранних периодов истории более широко использована устная традиция, а для поздних — письменные источники и свидетельства очевидцев событий.

Историю своего народа Павел начинает с древнейших времен, с момента передвижения лангобардов из Скандинавии в Италию в 568 г. и доводит ее

до смерти короля Лиутпранда, т. е. до 744 г., охватывая период почти в два столетия. В труде нет лишь последнего периода истории лангобардов (правлений Ратхиса, Айстульфа, Дезидерия), когда была утрачена политическая независимость этого народа, периода, о котором Павел мог бы писать уже по собственным воспоминаниям. Но этого не случилось. Помешала ли Павлу в этом смерть, как полагают некоторые ученые (Ваттенбах), или же что-то другое — судить трудно. Представляется вполне логичной все же точка зрения (Добиаш-Рождественской) о сознательном завершении «Истории лангобардов» временем высшего расцвета лангобардского государства: Павел из патриотических соображений не хотел писать о падении своего народа, свидетелем которого он был. Действительно, изобразить борьбу лангобардов с франками в профранкском духе Павел не хотел как патриот, изобразить ее с патриотической точки зрения остерегался (ведь Карл оставался всемогущим правителем Италии, к тому же Павел был обязан ему освобождением брата), а быть бесстрастным хронистом не мог — слишком тяжело отразилось на нем падение его родного народа, столь могущественного в прошлом. Обращаясь к прошлому лангобардов, Павел делит его на определенные исторические периоды, распределяя по шести книгам в тщательно продуманном порядке так, что каждая книга заканчивается каким-то узловым, переломным событием: 1-я — вступлением лангобардов в Италию, 2-я — десятилетним междуцарствием, 3-я — смертью короля Автари и т. д. до последней, кончающейся смертью Лиутпранда. Внутри каждой книги порядок размещения материала произвольный: исторические факты перемежаются с воспоминаниями о подвигах предков, родовыми преданиями, народными сказаниями. Павел не отграничивает вымысел от исторической действительности и, таким образом, отходит от традиций античной историографии, утверждая метод механической компиляции литературных источников. Лишь изредка он сопровождает легкими критическими замечаниями приводимые им легенды, называя их, например, «смешной сказкой» (I, 8). Общий характер «Истории лангобардов» историко-беллетристический. Хронология в нем не отличается точностью и порой даже спутана. События, почерпнутые из разных источников, чаще всего скрепляются между собой весьма неопределенными временными обозначениями: «спустя несколько лет», «в то же время», «между тем» и т. п. Почти нигде в сочинении нет точных ссылок и на источники («один правдолюбивый старец рассказывал...», «некий воин, участвовавший в сражении, говорил...» и т. п.). Историческое повествование перебивается разнородными отступлениями: описаниями Италии, памятников искусства и архитектуры, романтическими рассказами, фантастической этимологией географических названий, иногда рассказами о чудесах и сказками и т. д. Язык сочинения ясный и чистый, близкий к классическому. Тон повествования живой, местами романтичный. «История лангобардов» пользовалась большой популярностью в средние века. Об этом свидетельствуют 114 ее рукописей (IX—XVI вв.), несколько переработок и продолжений, более 15 извлечений из нее. И для нас она представляет несомненный историко-литературный интерес, в качестве единственного источника для ознакомления с историей лангобардов, и как образец историографии VIII в.

ИЗ „ИСТОРИИ ЛАНГОБАРДОВ“

[ДРЕВНЕЙШИЕ ВРЕМЕНА]

I, 1. Чем дальше северная страна удалена от жара солнца и чем холоднее она от снега и льда, тем она здоровее для человеческого тела и благоприятнее для увеличения населения; напротив, во всех полуденных странах, чем ближе они к солнечному зною, тем больше в них болезней и тем менее они способствуют развитию человека. Потому и получилось, что на севере образовалось такое множество народов, и по всей справедливости весь тот край, от Танаиса [1] до самого запада, называется одним общим именем — Германия [2], хотя отдельные ее местности и носят свои особенные названия. Впрочем, римляне, когда они владели этими местами, называли только две зарейнские провинции Верхней и Нижней Германией. Из этой многолюдной Германии часто увозились бесчисленные толпы пленников и продавались южным народам. Нередко многие племена уходили из тех мест и сами, потому что людей рождалось столько, что они едва могли прокормиться; частично они переселялись в Азию, но преимущественно в близлежащую Европу. Об этом свидетельствуют всюду разоренные города во всей Иллирии и Галлии, а в особенности в несчастной Италии, которая испытала на себе свирепость почти всех тех народов. Готы, вандалы, руги, герулы, турцилинги, а также и другие дикие и варварские племена пришли из Германии. Равным образом народ винилов, или лангобардов, который впоследствии счастливо господствовал в Италии, происходил от германского племени и переселился с острова Скандинавии, хотя их переселение объясняют и другими причинами.

2. Плиний Старший в книге, которую он написал о природе вещей [3], упоминает об этом острове. Этот остров, как рассказывали мне люди, посещавшие его, расположен, собственно говоря, не среди моря, но только омывается морскими волнами вследствие отлогости своих берегов. И вот когда население этого острова так умножилось, что не могло уже более помещаться на нем, жители, как рассказывают, разделились на три части и решили по жребию, какая из них должна оставить родину и искать себе новое местожительство.

3. Итак, те, кому выпал жребий покинуть родную землю и следовать на чужбину, назначили себе предводителями двух братьев, Ибора и Агиона, юношей еще в самом цветущем возрасте, отличавшихся перед прочими; простившись с соотечественниками и родиной, они отправились в путь, чтобы искать землю, которую бы они могли заселить и там обосноваться. Мать этих предводителей, по имени Гамбара, была женщиной, прославившейся между своими и острым умом, и предусмотрительностью; в затруднительных обстоятельствах ее благоразумию весьма доверяли...

7. Выселившись таким образом из Скандинавии, винилы, под предводительством Ибора и Агиона, пришли в страну, называемую Скоринга, и жили здесь в продолжение нескольких лет.

В то время два предводителя вандальских дружин, по имени Амбри и Асси, повсюду в соседних странах затевали войну. Гордые своими многочисленными победами они теперь отправили послов также и к винилам и приказали объявить им, что они должны или платить дань вандалам, или готовиться к войне. Тогда Ибор и Агион, с согласия своей матери Гамбары, заявили, что лучше защищать свободу с оружием в руках, чем осквернять ее платежом дани; а вандалам через послов ответили, что они охотнее станут сражаться, чем служить. Хотя все винилы были тогда в цветущем возрасте, но число их было невелико, так как они составляли всего лишь треть населения не слишком-то большого острова.

8. Старое предание рассказывает по этому поводу забавную сказку: будто бы вандалы обратились к Годану [4] с просьбой даровать им победу над винилами и он ответил им, что даст победу тем, кого прежде увидит при восходе солнца. После этого, будто бы Гамбара обратилась к Фрее, супруге Годана, и умоляла ее о победе для винилов. И Фрея дала совет приказать винильским женщинам распустить волосы по лицу так, чтобы они казались бородой, затем, с утра пораньше, вместе со своими мужьями, выйти на поле сражения и стать там, где Годан мог бы их увидеть, когда он, по обыкновению, смотрит утром в окно. Все так и случилось. Лишь только Годан при восходе солнца увидел их, как спросил: «Кто эти длиннобородые?» Тогда Фрея и настояла на том, чтобы он даровал победу тем, кого сам наделил именем. И таким образом Годан даровал победу винилам. Все это, конечно, смешно и ничего не стоит, потому что победа не зависит от человеческой воли, а скорее даруется провидением.

9. И тем не менее верно то, что лангобарды, первоначально называвшиеся винилами, впоследствии получили свое название от длинных бород, не тронутых бритвой. Ведь на их языке слово «lang» означает «длинный», а «bart» — борода» [5]. А Годан, которого они, прибавив одну букву, называли Гводаном, это тот самый, кто у римлян зовется Меркурием и кому поклонялись как богу все народы Германии, не наших, однако, времен, а гораздо более древних. И не Германии он собственно принадлежит, а Греции.

[КОРОЛЬ АЛЬБОИН]

23. Тогда-то [6] вспыхнул, наконец, давно уже таившийся раздор между гепидами [7] и лангобардами, и обе стороны приготовились к войне. И вот в происшедшем сражении, в то время как оба войска дрались храбро и ни одно не уступало другому, случилось, что Альбоин, сын Аудуина [8], в самом сражении сошелся с Турисмодом,

сыном Туризинда [9]. Альбоин пронзил его мечом, так что тот мертвый упал с лошади. Гепиды, увидев, что сын короля, главный их предводитель на войне, убит, пали духом и тут же обратились в бегство. Лангобарды преследовали их жестоко и, перебив из них большинство, вернулись назад снимать с убитых вооружение. По одержании победы лангобарды возвратились домой и начали упрашивать своего короля Аудуина, чтобы он позволил сидеть вместе с ним за столом Альбоину, благодаря мужеству которого они одержали победу в битве, и чтобы таким образом он разделял с отцом стол, как разделял опасность. Аудуин ответил им, что никак не может этого сделать, не нарушая народного обычая. «Вы знаете,— сказал он,— какой у нас существует обычай: сын короля может садиться за стол вместе с отцом не раньше, чем получит оружие от короля какой-нибудь другой нации».

24. Альбоин, услышав такие слова своего отца, взял с собой только сорок юношей и отправился к Туризинду, королю гепидов, с которым он недавно воевал; ему он объявил о причине своего прибытия. Тот, приняв его благосклонно, пригласил к своему столу и посадил справа от себя, где когда-то обычно сидел его сын. Когда уже были поданы различные яства, Туризинд, глядя на место, где прежде сидел его сын, а теперь сидит его убийца, вспомнил о сыне, о его смерти и начал громко вздыхать; наконец, не в силах сдержать себя, он дал волю своему горю и воскликнул: «Мило мне это место, да слишком тяжело видеть человека, который сейчас сидит на нем». Тогда второй сын короля, присутствовавший на обеде и поощренный словами отца, начал издеваться над лангобардами, говоря, что они похожи на кобылиц с белыми до колен ногами (ибо лангобарды носили на икрах белые чулки): «Кобылы, на которых вы похожи, считаются самыми плодовитыми». Тогда один из лангобардов ответил на это так: «Выйди, говорит, на поле Асфельд [10], и там ты несомненно сможешь убедиться, как крепко эти твои кобылы бьют копытами; там же лежат кости твоего брата, рассеянные по полю, как от какой-нибудь ничтожной скотины». Гепиды, услыхав это, не могли более скрыть своего негодования; охваченные сильным гневом, они уже намеревались на деле отомстить за обиду. Да и лангобарды, готовые на битву, положили руки на мечи. Тогда король вскочил из-за стола, бросился между ними и укротил гнев своих людей и их жажду к бою, угрожая неизбежным наказанием тому, кто первый осмелится начать битву; ибо, сказал он, такая победа не может быть приятна Богу, когда в своем собственном доме убивают гостя. Таким образом, наконец, раздор был устранен, и все в веселом расположении духа продолжали пир. Туризинд снял оружие своего сына Турисмода, вручил его Альбоину и отпустил его с миром, целым и невредимым, в королевство его отца. По возвращении Альбоин был, наконец, допущен своим отцом к его столу. Довольный, вкушал он яства за королевским столом и рассказывал по порядку все, что приключилось с ним у

гепидов во дворце Туризинда. Все присутствующие удивлялись и хвалили храбрость Альбоина, но не менее прославляли и величайшую честность Туризинда.

27. Таким образом, Аудуин, король лангобардов, о котором я говорил выше, был женат на Роделинде; она и родила ему Альбоина, воинственного и во всех отношениях доблестного мужа. Аудуин умер, и тогда по всеобщему желанию власть получил Альбоин, десятый по счету король. Так как он за свое могущество пользовался у всех великим и славным именем, то Клотарь, король франков, отдал ему в жены свою дочь, Клодзуинду, которая родила ему только одну дочь по имени Альбизунда. Между тем умер Туризинд, король гепидов, и ему наследовал Кунимунд, который, желая отомстить старые оскорбления, разорвал союз с лангобардами и предпочел войну мирным отношениям [11]. Но Альбоин вступил в вечный союз с аварами, которые первоначально назывались гуннами, а впоследствии, по имени своего короля Авара, были названы аварами. Затем он отправился на войну, на которую вынудили его гепиды. Когда гепиды с поспешностью двинулись против него, авары, по договору, заключенному ими с Альбоином, вторглись в их землю. Печальный прибыл к Кунимунду вестник и возвестил ему о вторжении аваров в его страну. Кунимунд, хотя и был очень удручен и стеснен с двух сторон, все же убеждал своих воинов сразиться сначала с лангобардами и, если удастся победить их, изгнать после этого войско гуннов из своей земли. Итак, началась битва. Сражались изо всех сил. Лангобарды остались победителями и так свирепствовали против гепидов, что почти совершенно истребили их, и от многочисленного войска едва выжил вестник поражения. В этом сражении Альбоин убил Кунимунда, отсек у него голову и приказал из черепа сделать себе бокал. Этот род бокала у них [12] называется «скала», а на латинском языке patera. Он увел с собой в плен дочь Кунимунда, Розамунду, вместе с множеством людей всякого возраста и пола. Когда умерла Клодзуинда, он взял себе в жены Розамунду, но, как оказалось впоследствии, на свою погибель [13]. Тогда лангобарды увезли с собой столь большую добычу, что сделались обладателями огромнейшего богатства. Племя же гепидов так пало, что с того времени они не имели уж более никогда собственного короля, и все, кто пережил войну, или подчинились лангобардам, или до сегодняшнего дня стонут под тяжким игом, потому что гунны продолжают владеть их землей. Имя же Альбоина прославилось везде и всюду так, что даже и до сих пор его благородство и слава, его счастье и храбрость в бою вспоминаются в песнях у баваров, саксов и других народов, говорящих на том же языке. От многих можно слышать и теперь, что во время его правления изготовлялось совсем особенное оружие.

[ЗАВОЕВАНИЕ ИТАЛИИ]

II, 1. Когда слух о многочисленных победах лангобардов распространился повсюду, Нарзес [14], императорский секретарь [15], который в то время управлял Италией и теперь вооружался на войну против Тотилы, короля готов, отправил посольство к Альбоину [16] и просил его, так как он уже и прежде был в союзе с лангобардами, помочь ему в борьбе с готами. Альбоин послал ему тогда отборное войско, чтобы поддержать римлян против готов. Лангобарды, переплыв через Адриатическое море в Италию, соединились с римлянами и начали войну с готами. Победив готов вместе с их королем Тотилой почти до полного их истребления, они вернулись домой победителями, удостоенные богатых даров. И все время, пока лангобарды владели Паннонией, они помогали римскому государству против их неприятелей...

6. Собираясь в поход на Италию с лангобардами [17], Альбоин послал за помощью к своим старым друзьям, саксам, желая, чтобы завоевателей такой обширной страны, какой была Италия, было как можно больше [18]. Свыше 20 тысяч саксов, вместе с женами и детьми, поднялись со своих мест, чтобы, по его желанию, отправиться в Италию. Клотарь и Сигиберт, франкские короли, услышав об этом, переселили швабов и другие народы на земли, оставленные саксами.

7. Затем Альбоин предоставил собственную землю Паннонию своим друзьям гуннам [19], однако с условием: если лангобарды когда-нибудь будут принуждены вернуться назад, то они оставляют за собой право требовать обратно свою прежнюю землю. Итак, лангобарды, оставив Паннонию, отправились с женами, детьми и со всем имуществом в Италию, чтобы овладеть ею. Прожили они в Паннонии 42 года и вышли оттуда в апреле, в первый индиктион [20], на другой день святой пасхи, которая по вычислению в том году пришлась на календы апреля [21], в 568 год воплощения Господа.

8. И вот когда Альбоин, со всем своим войском и с множеством людей разного рода, подошел к границам Италии, то поднялся он на одну гору, которая возвышалась над этой страной, и оттуда, насколько можно было видеть с той высоты, обозревал Италию. Поэтому-то, с того времени, как говорят, гора эта получила название Королевской [22]. На этой горе водятся дикие бизоны, что ничуть не удивительно, так как Паннония, изобилующая этими животными, простирается до тех мест. Мне рассказывал один правдолюбивый старец, что он видел на этой горе разостланную бизонью шкуру, на которой, по его словам, могли улечься рядом пятнадцать человек [23]...

26. Город Тицин [24] выдержал тогда более чем трехлетнюю осаду и защищался мужественно. Войско лангобардов было расположено лагерем невдалеке от города, с южной его части. В течение этого времени Альбоин овладел всеми городами вплоть до Тусции, за

исключением Рима, Равенны и еще некоторых приморских укреплений. Римляне не имели достаточных сил к сопротивлению, потому что свирепствовавшая еще во времена Нарзеса моровая язва унесла бо́льшую часть населения Лигурии и Венеции, а год спустя, после наводнения, о котором я уже говорил [25], сильнейший голод опустошил всю Италию. Но известно, что Альбоин привез с собой тогда в Италию людей самых различных народностей, которые были покорены им самим или его предшественниками; поэтому и до сих пор мы называем местности, в которых они живут, гепидскими, болгарскими, сарматскими, паннонскими, швабскими, норическими и т. д.

27. Все же после трехлетней, с несколькими месяцами, осады, город Тицин в конце концов сдался Альбоину и осаждавшим его лангобардам. И вот, когда Альбоин въезжал в город через восточные ворота св. Иоанна, его конь упал в воротах и не мог подняться, сколько бы ни побуждали его к этому шпоры всадника и удары плетьми со всех сторон. Тогда один из лангобардов обратился к королю с такими словами: «Вспомни, мой господин и король, какой ты дал обет. Откажись от этого жестокого обета, и ты вступишь в город; ведь жители этого города истинные христиане». Альбоин клялся истребить мечом все население города за то, что оно не хотело сдаваться. Лишь только он отказался от своей клятвы и обещал жителям пощаду, как конь его тут же встал на ноги; сам он, вступив в город, сдержал свое слово и никому не причинил зла. Весь народ устремился к нему во дворец, некогда построенный королем Теодорихом [26], и после стольких страданий вновь стал лелеять утешительную надежду на будущее.

[АЛЬБОИН И РОЗАМУНДА]

28. Альбоин, после трех лет и шести месяцев правления в Италии, погиб в результате заговора своей супруги. Причина же его убийства была следующая. Однажды в Вероне Альбоин, веселясь на пиру и оставаясь там дольше, чем следовало бы, приказал поднести королеве бокал, сделанный из черепа его тестя, короля Кунимунда, и потребовал, чтобы она весело пила вместе со своим отцом. Пусть никому не покажется это невероятным — клянусь Христом, я говорю сущую правду: я сам однажды, в какой-то праздник, видел этот бокал в руках короля Ратхиса [27], когда он показывал его своим гостям. И вот когда Розамунда осознала это, сердце ее поразила жгучая обида, которую она была не в силах подавить; в ней зажглось желание убийством мужа отмстить смерть своего отца. И вскоре она вступила в заговор об убийстве короля с Гельмигисом, скильпором, т. е. оруженосцем, короля и его молочным братом. Гельмигис посоветовал королеве вовлечь в заговор Передея,

человека необычайной силы. Но когда Передей не захотел согласиться на соучастие в таком тяжком злодеянии, королева ночью легла в кровать своей служанки, с которой Передей находился в преступной связи; а он, ни о чем не подозревая, пришел и лег вместе с королевой. И вот, когда блудодеяние было совершено, и она спросила его, за кого он ее принимает, а он назвал имя своей наложницы, за которую ее принял, то королева ответила: «Вовсе не та я, за кого меня принимаешь, я — Розамунда! Теперь, Передей, ты совершил такое преступление, что должен или убить Альбоина, или сам погибнуть от его меча». И тогда он понял, какое преступление совершил, и был вынужден согласиться на участие в убийстве короля, на что добровольно не мог решиться.

Около полудня, когда Альбоин прилег отдохнуть, Розамунда распорядилась, чтобы во дворце была полная тишина, тайком унесла всякое оружие, а меч Альбоина туго привязала к изголовью кровати, так чтобы его нельзя было поднять или вытащить из ножен, и затем, по совету Гельмигиса, эта чудовищно жестокая женщина впустила убийцу Передея. Альбоин внезапно проснувшись, ощутил опасность, которой подвергался, и мгновенно схватился рукой за меч; но он был так крепко привязан, что Альбоин не в силах был его оторвать; тогда, схватив скамейку для ног, он некоторое время защищался ею; но увы — о горе! этот доблестный и отважнейший человек не мог одолеть врага и погиб как малодушный; он, который завоевал себе величайшую воинскую славу победой над бесчисленными врагами, пал жертвой коварства одной ничтожной женщины. Лангобарды с плачем и рыданием похоронили его тело под одной из лестниц, ведущих во дворец. У Альбоина был гибкий стан и все его тело подходило для битвы. В наше время Гизельперт, прежний герцог веронский, приказал открыть гробницу Альбоина, вынул оттуда его меч и все находившиеся там украшения, и после, со свойственным ему легкомыслием, хвастался перед необразованными людьми, будто он виделся с Альбоином.

29. И вот, по умерщвлении Альбоина, Гельмигис попытался захватить власть в свои руки, что ему, однако, не удалось, потому что лангобарды, скорбевшие о смерти своего короля, замыслили умертвить его. Тогда Розамунда немедленно послала к Лонгину [28], префекту Равенны, просить, чтобы он как можно скорее прислал ей корабль, на котором она могла бы бежать. Лонгин, обрадованный таким известием, тотчас отправил корабль, на котором ночью и спаслись бегством Гельмигис и Розамунда, тогда уже его супруга; взяв с собой дочь короля Альбизунду и все лангобардские сокровища, они скоро прибыли в Равенну. Тогда префект Лонгин начал уговаривать Розамунду умертвить Гельмигиса и вступить с ним в брак. Способная на всякое зло и горя желанием сделаться владетельницей Равенны, она дала согласие на такое злодеяние. Когда однажды Гельмигис вернулся после принятия ванны, она поднесла ему чашу с ядом, которую она выдала за какой-то це-

лебный напиток. Почувствовав, что он выпил смертельный яд, Гельмигис занес над Розамундой обнаженный меч и заставил ее выпить остаток. И так по правосудию всемогущего Бога в один час погибли вместе гнусные убийцы [29].

30. Пока это происходило, префект Лонгин отправил к императору в Константинополь Альбизунду вместе со всеми лангобардскими сокровищами. Некоторые уверяют, что и Передей прибыл в Равенну вместе с Гельмигисом и Розамундой и оттуда был отправлен в Константинополь, где он на играх перед народом и на глазах у императора убил поразительной величины льва. Как рассказывают, ему, по повелению императора, вырвали глаза, чтобы он, обладая могучей силой, не натворил какого-либо зла в королевском городе [30]. А спустя некоторое время он, приготовив себе два ножа и спрятав их под рукава, пошел ко дворцу и обещал сообщить императору нечто весьма важное, если его допустят к нему. Император выслал к нему двух патрициев из числа своих приближенных, чтобы они выслушали его. Когда они подошли к Передею, он приблизился к ним, как бы намереваясь сказать им что-то совершенно секретное, и, схватив в обе руки спрятанные им ножи, нанес им столь тяжелые раны, что они тут же рухнули на землю, испустив дух. Так отомстил он, напоминая собой могущественного Самсона [31], за причиненные ему страдания и, за потерю своих двух глаз, убил двух самых полезных для императора людей.

[КОРОЛЬ АВТАРИ]

III, 16. Лангобарды, управляемые в течение 10 лет герцогами, поставили, по общему решению, своим королем Автари, сына вышеупомянутого короля Клефа [32]. За его достоинства, они дали ему прозвище Флавия [33]. Это прозвище счастливо удерживалось с того времени всеми лангобардскими королями. В то же время, по случаю восстановления королевства, все тогдашние герцоги уступили половину своего имущества на покрытие королевских расходов, чтобы король мог на это содержать свою свиту и всех, кто служил ему в различных должностях. Порабощенные же народы были разделены между лангобардскими пришельцами [34]. Это было поистине удивительно в королевстве лангобардов: в нем не было никакого насилия, не замышлялся никакой тайный заговор, никого несправедливым образом не принуждали к повинности, никого не грабили; не было ни воровства, ни грабежей, и каждый мог спокойно и без страха идти, куда ему угодно...

23. В это время случилось наводнение в областях Венеции, Лигурии и в других частях Италии, какого, говорят, не было со времени Ноя. Погибло много имущества, загородных домов, а также людей и животных. Улицы были разрушены, дороги размыты, и река Атезис [35] так тогда разлилась, что в базилике св. мученика

Зенона, которая находилась вне стен города Вероны, вода достигла верхних окон; впрочем св. Григорий [36], впоследствии папа, писал, что во внутренность базилики вода не проникла совсем. Также стены того же города Вероны частично были разрушены наводнением. Случилось же это наводнение в шестнадцатый день до ноябрьских календ [37]; при этом сверкала молния и раздавались такие сильные удары грома, какие не часто случается видеть и в летнее время. Спустя два месяца пожаром была выжжена бóльшая часть этого же города.

24. Во время того наводнения воды реки Тибра, в Риме, также поднялись выше стен города и залили в нем бóльшую часть кварталов. Тогда же появился в русле реки дракон удивительной величины, сопровождаемый множеством змей, который и уплыл в море. Вскоре за этим наводнением последовала тяжкая моровая язва, которую называют inguinaria [38]. Она произвела в народе такое опустошение, что из бесчисленного множества остались в живых лишь немногие...

28. Между тем король Флавий Автари отправил послов к королю франков Гильдеперту и просил у него руки его сестры. Хотя Гильдеперт, приняв богатые подарки от послов лангобардских, обещал выдать сестру за их короля, но когда явились послы готов из Испании и он услышал, что народ готов перешел в католичество [39], то обещал уже свою сестру готскому королю.

29. В то же время Гильдеперт отправил послов к императору Маврикию [40] и велел ему передать, что он теперь предпримет войну против лангобардов, чего прежде он не сделал [41], с тем, чтобы по его совету изгнать их из Италии. И он без промедления отправил свое войско в Италию для подчинения лангобардов. Но король Автари вместе с лангобардами быстро выступает ему навстречу и мужественно сражается за свою свободу. В этом сражении лангобарды одерживают победу. А франки потерпели жестокое поражение: некоторые из них попали в плен, очень многие бежали и едва добрались до отечества. Войско франков понесло здесь такой урон, какого нигде больше не помнят. Поистине удивительно, что Секунд [42], который много писал о деяниях лангобардов, обошел молчанием такую их победу, тогда как мой рассказ о поражении франков приводится в их Истории [43] чуть ли не в тех же самых выражениях.

30. После этого король Флавий Автари отправил послов в Баварию просить себе в жены дочь короля Гарибальда. И он, приняв их благосклонно, обещал выдать дочь свою Теоделинду за Автари. Когда послы, по возвращении, известили об этом Автари, то он, желая собственными глазами увидеть свою невесту, пригласил немногих, но надежных лангобардов, и, назначив одного из них, наиболее ему преданного, будто бы главным над ними, без промедления отправился вместе с ними в Баварию. Когда они по посольскому обычаю были представлены королю Гарибальду, и тот, кого

Автари поставил главой посольства, произнес, после приветственных слов, речь, то Автари, никем не узнанный, приблизился к королю Гарибальду и сказал: «Мой господин, король Автари направил меня к Вам, собственно, затем, чтобы я, посмотрев Вашу дочь, его невесту и нашу будущую госпожу, мог вернее рассказать ему о ее красоте». Услышав это, король приказал позвать свою дочь. Автари молча разглядывал ее и, так как была она очень красива и ему во всех отношениях очень нравилась, сказал королю: «Видя такую красоту Вашей дочери, мы желаем, чтобы она как достойная сделалась нашей королевой, а прежде мы хотели бы, если это будет угодно Вашему Величеству, выпить кубок вина из ее рук, как впоследствии она должна будет это делать для нас». Когда король дал согласие на то, чтобы она это сделала, она, взяв кубок вина, поднесла его сначала тому, кто, казалось, был старшим послом. Потом, когда она предложила кубок Автари, не подозревая, что это был ее жених, он, выпив вино и возвратив кубок, незаметно для всех коснулся ее руки пальцем и провел правой рукой по ее лицу ото лба к носу. Красная от смущения, рассказала Теоделинда об этом своей кормилице. Кормилица ответила ей: «Не будь этот человек королем и твоим женихом, не осмелился бы он ни в коем случае коснуться тебя. Впрочем, давай помолчим, чтобы не узнал об этом твой отец; потому что в самом деле это человек, который достоин править королевством и жениться на тебе». А был в ту пору Автари юношей в цветущем возрасте, стройный, с белокурыми волосами и весьма красивой наружности. Вскоре после этого, получив от короля провожатых, они отправились обратно в отечество и быстро прошли по земле нориков. Провинция же нориков, которую населяет племя баваров, граничит с востока с Паннонией, с запада со Швабией, с юга с Италией, а на севере омывается Дунаем. И вот когда Автари, все еще сопровождаемый баварами, приблизился к границам Италии, привстал он, насколько мог, на своем коне и изо всех сил вонзил секиру, которую держал в руке, в ближайшее дерево; оставив ее там вонзенной, он промолвил: «Вот так обыкновенно поражает Автари». Когда он это сказал, сопровождавшие его бавары поняли, что это и был сам король Автари. Спустя немного времени, когда из-за нашествия франков король Гарибальд оказался в бедственном положении, дочь его со своим братом, Гундоальдом, бежала в Италию и дала знать Автари, что она прибыла к своему жениху. Он тотчас же отправился к ней навстречу, чтобы пышно отпраздновать свадьбу, на поле Сардис, выше Вероны, и женился на ней при всеобщем веселье в майские иды [44]. Был там, между прочими лангобардскими герцогами, Агилульф [45], герцог Туринский. Во время разразившейся в этом месте грозы было поражено ударом молнии, сопровождаемой сильным раскатом грома, дерево на королевском дворе; тогда один юноша из свиты Агилульфа, который был гадателем и дьявольским искусством постигал то, что предвещал в будущем удар молнии, сказал украдкой Агилуль-

фу, когда тот по естественной надобности отошел в сторону: «Эта женщина, на которой женился теперь наш король, в скором времени станет твоей женой». Услышав это, Агилульф пригрозил, что снимет с него голову, если он хоть заикнется кому-нибудь об этом. Но тот возразил: «Убить меня, конечно, можно, но ведь неминуемо то, что эта женщина пришла в нашу страну, чтобы сочетаться с тобой браком». Впоследствии все так и случилось...

32. Полагают, что к этому же времени [46] относится событие, рассказываемое из жизни короля Автари. По преданию, в это самое время, король через Сполето дошел до Беневента, занял эту область и достиг даже Регия, крайнего города Италии, соседнего с Сицилией. Там-то, среди морских волн, высится, говорят, столб. Автари подъехал к нему на коне, коснулся его острием своего копья и сказал: «До этого места должны простираться границы лангобардов». Этот столб, говорят, стоит там и до сегодняшнего дня и называется колонной Автари...

34. Между тем король Автари отправил послов с мирными предложениями к королю франков, Гунтрамну, дяде короля Гильдеперта. Послы были приняты им благосклонно, но отправлены затем к Гильдеперту, сыну его брата, с тем, чтобы и тот присоединился к договору и тем самым укрепил мир с лангобардами. А был этот Гунтрамн, о котором я говорю, самым миролюбивым королем и во всем самым благонамеренным человеком. Один весьма удивительный случай из его жизни хочется мне вкратце вставить здесь в мою историю, тем более, что, как мне известно, в истории франков [47] о нем совсем не упоминается. Случилось ему однажды быть в лесу на охоте, и, как это обыкновенно бывает, его спутники разбежались в разные стороны, а сам он остался только с одним самым верным ему человеком; тут стал одолевать его сильный сон и он, склонив голову на колени своего спутника, крепко заснул. И вот выползло из его рта маленькое существо, вроде ящерицы, и стало пытаться переползти узкий ручей, протекавший поблизости. Тогда тот, на коленях которого отдыхал король, вынув свой меч из ножен, протянул его над ручьем, и по нему эта ящерица, о которой я говорю, перебралась на другую сторону. Потом она заползла в какую-то неглубокую щель в горе и, спустя некоторое время, выползла оттуда, перешла по мечу через упомянутый ручей и опять скользнула в рот Гунтрамну, откуда вышла. Гунтрамн, проснувшись, рассказал, что он видел чудесное видение. Он говорил, что привиделось ему во сне, будто перешел он по железному мосту реку и, взобравшись на какую-то гору, нашел там огромную кучу золота. Тот же, у кого на коленях лежала голова спящего короля, в свою очередь рассказал ему по порядку, что он видел. Короче говоря, то место было прорыто и были найдены там несметные сокровища, положенные туда еще в древние времена. Впоследствии король приказал из этого золота отлить кубок [48], необыкновенной величины и тяжеловесный, и, украсив его множеством драгоценных камней, намере-

вался отправить его в Иерусалим к гробу Господню. Но когда ему не удалось исполнить этого, приказал он поставить его над гробницей св. мученика Марцелла, похороненного в Кабаллоне [49] (где была резиденция короля); там она находится и до сего дня. Нигде нет ни одной вещи, сделанной из золота, которая могла бы с ней сравниться. Но коснувшись мимоходом этого достойного упоминания случая, я возвращаюсь к своему рассказу.

35. В то время как послы короля Автари оставались во Франции, король Автари умер, как говорят, от яда, который принял, в сентябрьские ноны [50], в городе Тицине, после 6 лет правления. Тотчас лангобарды отправили посольство к Гильдеперту, королю франков, с тем, чтобы оно известило его о смерти короля Автари, и просило у него мира [51]. Гильдеперт же, услышав об этом, принял послов и даже обещал сохранить мир на будущее. Спустя несколько дней он отпустил упомянутых послов с этим обещанием. А королеве Теоделинде, которую лангобарды очень любили, было позволено сохранить королевское достоинство; ей посоветовали выбрать себе из всех лангобардов мужа, какого она сама пожелает, лишь бы у него было достаточно сил для управления государством. И она, посоветовавшись с разумными людьми, выбрала себе в мужья, а лангобардам в короли, Агилульфа, герцога Туринского. Был этот Агилульф доблестным и воинственным человеком, способным принять бразды правления, как по своей телесной, так и духовной силе. Королева немедленно пригласила его к себе и сама вышла ему навстречу до города Лаумелла [52]. Когда он явился к ней, она после нескольких слов, приказала подать ей кубок с вином и, первая отпив из него, поднесла остальное Агилульфу. Он, взяв кубок, почтительно поцеловал руку королеве, а она, улыбнувшись, с краской на лице, заметила: «Тому, кто может поцеловать меня в уста, не следует целовать мне руки». Затем она, предложив ему встать и поцеловать ее, объявила о свадьбе и о возведении его в королевское достоинство. Что дальше? Свадьбу отпраздновали с большим ликованием, и Агилульф, бывший родственником короля Автари, принял на себя в начале ноября королевский титул. Но на престол его возвели только в мае месяце, на всеобщем собрании лангобардов в городе Милане.

Алкуин

Настоящее, англосаксонское имя писателя — Алхвине (Alchvine), но сам он предпочитал употреблять одну из латинизированных форм своего имени — Алкуин (Alcuinus) или Альбин (Albinus, что звучало почти как «Алвинус»), часто в сочетании со своим академическим прозвищем — Флакк. Алкуин — центральная фигура первого этапа каролингского возрождения; лично он внес мало нового в средневековую литературу и науку, но он много сделал для сохранения и распространения старого — того, что было унаследовано от античной литературы. Развитием и пополнением этого наследия занялись уже его ученики.

Алкуин родился около 730 г. в Нортумбрии, в знатном англосаксонском роду. Образование он получил в Йорке, в школе, руководимой архиепископами Эгбертом и его преемником Элбертом; быстро выдвинулся, стал помощником Элберта, а с 778 г. в сане диакона сменил его во главе школы. Здесь он написал свои первые стихи и трактаты, вырастил многих способных учеников, отсюда несколько раз сопровождал Элберта на континент, где завязал первые сношения с франкскими клириками и вельможами. Ему было уже около 50 лет, когда в 781 г. ему пришлось поехать в Рим получать паллий для своего ученика Эанбальда, ставшего новым Йоркским архиепископом. На обратном пути в Парме он встретился с Карлом Великим, и король убедил ученого диакона перейти к нему на службу. Алкуин решился на это не сразу: еще долго он делил свое время между Йорком и Ахеном, и только с 793 г. окончательно переселился на континент вместе с группой учеников. Характер его деятельности не изменился: как в Йорке он стоял во главе архиепископской школы, так здесь он стал во главе придворной школы и неутомимо заботился о распространении культуры среди франкского духовенства. Он пользовался неизменной любовью Карла и его семьи, почитался первым среди академического кружка, был советником короля во всех делах культуры, школы и церкви, но в политические вопросы, как кажется, не вмешивался. Карл дал ему в управление аббатство св. Мартина в Туре; здесь Алкуин провел свои последние годы, обширной перепиской поддерживая связь с двором, и здесь он умер 19 мая 804 г.

Алкуин был не столько ученый, сколько учитель, и это чувствуется по всему характеру его произведений. Они возникли в ходе преподавания и как пособия для преподавания; диалогическая форма некоторых из них, быть может, не только дань традиции, но и отголосок подлинных школьных уроков. Учебник грамматики написан Алкуином в виде диалога двух учеников, 14-лет-

него франка и 15-летнего сакса (этим учебником пользовались в некоторых школах вплоть до XV в.); учебник риторики (с приложением об этике) и учебник диалектики — в виде диалога Алкуина с королем Карлом. Кроме того, Алкуину принадлежат маленький трактат об орфографии (извлечение из Беды), комментарий к латинской грамматике Присциана, астрономический трактат о луне и високосном годе и сборник арифметических «задач для изощрения ума юношей». Из богословских его сочинений сохранился трактат о св. троице и часть компилятивного толкования к Святому Писанию; кроме того, по просьбе своих учеников и друзей он составил несколько житий (в том числе одно в стихах). Об обширной переписке Алкуина (около 300 писем) уже говорилось; для историка она представляет драгоценный источник сведений о высшем франкском обществе и его интересах.

Стихи Алкуина многочисленны, но они обнаруживают в авторе не столько талант, сколько хорошее знание версификации и хорошую начитанность в античной поэзии (главным образом — в Вергилии); впрочем, именно этим они и вызывали особенный восторг у современников. Почти все они имеют официальный характер: это большая поэма «О святых Йоркской церкви», писанная еще в Англии и в значительной части перефразирующая Беду; это послания к королю, придворным и духовным лицам (среди них отличаются более живым чувством те, в которых он скорбит о недостойном поведении своих учеников,— «К Коридону», «Кукушка»); это надписи на книгах, на церковных строениях, эпитафии и пр. Изяществом и живостью выделяется стоящий особняком среди его сочинений дебат «Прение Весны с Зимою»: впрочем, принадлежность его Алкуину сомнительна, так как в нем встречается реминисценция из Горация, которого Алкуин (несмотря на свое прозвище «Флакк»), по-видимому, не читал.

Особого замечания требует приводимый диалог «Словопрение Пипина с Альбином» (этот Пипин — второй сын Карла Великого, будущий вице-король Италии). В популярных книгах, осуждающих пустоту и суесловие средневековой культуры, нередко приводятся в доказательство цитаты из этого диалога — замысловатые определения самых простых понятий. Это несправедливо. Достаточно взглянуть на весь контекст диалога, чтобы понять, что это не учебник, а художественное произведение, в котором главное — не содержание определений, а как раз замысловатая их форма. Это не что иное, как сборник загадок и отгадок — сперва в виде простых перифраз (типа скандинавских кеннингов), потом в виде более сложных иносказаний (какими забавлялся, как известно, еще Леонардо да Винчи). Загадки были традиционным жанром англосаксонских латинистов, и Алкуин отдал дань этому жанру и в стихах и в прозе.

ПОСЛАНИЕ К КОРОЛЮ

СТИХИ ГЕРОИЧЕСКИЕ [1]

Пусть прочитает меня, кто мысль хочет древних постигнуть:
Тот, кто меня поймет, грубость отбросит навек.
Я не хочу, чтобы был мой читатель лживым и чванным —
Преданной, скромной души я возлюбил глубину.

Пусть же любитель наук не брезгует этим богатством,
Кое привозит ему с родины дальней пловец [2].
Пусть прочитает меня, кто древних язык изучает:
Кто не за мною идет, хочет без правил болтать [3].

ПОСЛАНИЕ К КОРИДОНУ[4]

Вот твой Альбин восвояси, злых волн избежав, возвратился [5];
Высокостольный помог путнику благостный бог.
Ныне он рад тебя при-пилигримским-зывать песнопеньем [6],
О, Коридон, Коридон, о, многосладостный друг.
Ты же порхаешь теперь по обширным дворцам королевским,
Напоминая шальной птицы полет над волной,
Ты, что с младенческих лет, взалкавший премудрости млека,
К груди священной приник, знанья вбирая из книг.
Но, пока время текло, и входил постепенно ты в возраст,
Начал ты сердцем вкушать много питательных яств.
Крепкий фалернского сок из погреба древности пил ты:
Все это ты без труда быстрым умом одолел.
Все, что святые отцы измыслили в давнее время,
Все благородный тебе разум умел открывать.
Часто в речах разъяснял ты тайны Святого Писанья,
В час, когда в божьих церквах голос твой громко звучал.
Стану ль теперь вспоминать, певец, твои школьные песни,
Коими ты побеждал опытных старцев не раз?
Прежде все пело в тебе: вся внутренность, волосы даже,—
Ныне язык твой молчит! Что же язык твой молчит?
Или, быть может, отвык язык твой. слагать песнопенья?
Или, быть может, заснул днесь твой язык, Коридон?
Дремлет и сам Коридон, когда-то схоласт многоумный;
Бахусом он усыплен. Проклят будь, Бахус-отец!
Проклят будь, ибо ты рад смущать освященные души,
И Коридон мой тобой ныне молчать осужден.
Пьяненьким мой Коридон в покоях дворцовых блуждает,
Он про Альбина забыл и про себя позабыл.
Песни своей не послал отцу своему ты навстречу,
Чтобы привет принести. Я же промолвлю: «Прости!»
Неучем стал Коридон, ибо так в стародавние годы
Молвил Вергилий-пророк: «Ты селянин, Коридон» [7].
Лучше же вспомни слова второго Назона-пиита: [8]
«Ты иерей, Коридон!» Будь же во веки здоров.

НАДПИСЬ НА КНИГЕ „ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ“

В книгу сию Соломон вложил несказанную сладость:
Все в ней полно Жениха и Невесты возвышенных песен,
Сиречь же Церкви с Христом, славословящих попеременно [9],

Дружек венчальных своих и верных подруг поминая.
Ты ж, юный отрок, прошу, не забудь эти песни усвоить:
Много прекрасней они, чем оный Марон лжеязычный.
Те нам правдивый урок вещают о будущей жизни,
Этот лишь уши тебе прожужжит легкомысленной ложью.

СТИХ О КУКУШКЕ

«Дафнис, оплачем кукушку, оплачем нашу кукушку! [10]
Мачеха злая ее, ах, отторгает от нас [11].
Голосом слезным звеня, вдвоем мы оплачем кукушку:
Ты, о Меналк, начинай — старшему первая песнь».
— С нами, кукушка, жила ты и тешила нас кукованьем —
Ах, в злополучнейший час ты улетела от нас!
Где ты теперь, в каком далеке от меня ты сокрылась?
Горько нам памятен день нашей разлуки с тобой.
Род людской, и лесное зверье, и крылатое племя —
Плачут теперь о тебе, нашему плачу вослед.
Род людской, о кукушке рыдай везде и повсюду —
Ах, погибла она, ах, погубили ее.
Пусть не погибнет она! пусть она возвратится весною!
Пусть, возвращаясь, споет сладкие песни для нас!
Может, она прилетит, а может, и нет: я боюся,
Злые волны могли птичку в пучину увлечь.
Горе мне, ежели Вакх увлек кукушку в пучину —
Вакх, обольститель юнцов, пагубный омут для всех!
Если кукушка спаслась — пускай же воротится к гнездам,
Воронов злых миновав — тех, что пернатых когтят.
Кто же, кукушка, тебя похитил из отчих гнездовий?
Кто-то похитил, увы; и возвратит ли, бог весть.
Если услышишь, кукушка, ты песню мою,— возвращайся!
Да, возвращайся, прошу, да, возвращайся скорей!
Не замедляй же полета, молю, коли ты уж в полете —
Дафнис, пастух молодой, жаждет приветить тебя.
Время весны настает, прерви же, кукушка, дремоту:
Ждет тебя добрый Меналк в отчие руки свои.
Вот на полях страниц пасутся быки молодые —
Только кукушки здесь нет — где же пасется она?
Горе! Пастырь ее — тот самый Вакх нечестивый,
Коему любо в сердцах севы дурные растить.
Плачьте же все о кукушке, кукушку в слезах поминая —
Весел ее был отлет, будет плачевен возврат.
Но и плачевная пусть к друзьям возвратится кукушка —
Слезы ее разделить каждый из нас поспешит.
Так не жалей же ты слез, оплачь, дорогой, свою долю
Так, как плачешь сейчас где-то в глубинах души!

Ты ведь не камнем рожден бездушным — излейся же в плаче:
Припоминая себя, трудно сдержаться от слез.
Сладкая к детям любовь источает у матери слезы,
Если внезапная смерть сына ее унесет.
Если любящий брат теряет любимого брата,
Плачет он горько о нем — плачу и я по тебе.
Трое нас было друзей, и жили мы духом единым —
Двое осталось теперь, третий от нас далеко.
Ах, покинул он нас, кукушка моя улетела,
И остается для нас только страданье и плач.
Песни ему посылаем вдогон, тоскливые песни —
Может быть, песни вернут друга-кукушку домой!
Будь же ты счастлив всегда, куда бы судьба ни умчала;
Всюду, везде и всегда помни о нас и прости.

НАДПИСЬ НА ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ПЕРЕПИСЫВАНИЯ КНИГ

Пусть в этой келье сидят переписчики Божьего слова
И сочинений святых достопочтенных отцов;
Пусть берегутся они предерзко вносить добавленья,
Дерзкой небрежностью пусть не погрешает рука.
Верную рукопись пусть поищут себе поприлежней,
Где по неложной тропе шло неизменно перо.
Точкою иль запятой пусть смысл пояснят без ошибки,
Знак препинанья любой ставят на месте своем,
Чтобы чтецу не пришлось сбиваться иль смолкнуть нежданно,
Братье читая честной или толпе прихожан.
Нет благородней труда, чем работать над книгой святою,
И переписчик свою будет награду иметь.
Лучше книги писать, чем растить виноградные лозы:
Трудится ради души первый, для чрева — второй.
Мудрости древней и новой учителем сведущим станет,
Кто сочиненья прочтет достопочтенных отцов.

К СВОЕЙ КЕЛЬЕ

Милая келья моя, приют мой сладчайший, любимый,
Ныне во веки веков, милая келья, прощай.
Шумные ветви дерев окружают тебя отовсюду,
Рощица вся убрана в роскошь зеленых кудрей.
Много целительных трав в луговой мураве расцветают,
Ищет с усердием их лекарь прилежной рукой.
Здесь и там меж цветов струятся светлые реки,
В них, веселяся душой, невод бросает рыбарь.

Благоухает твой сад, отягченный плодами обильно:
Там с белизною лилей розочки алость слита.
Песни свои на заре племена распевают пернатых,
Бога, творца своего, славя напевом простым.
Помнишь? Тебя наполнял наставника доброго голос,
Мудрость писаний благих с уст многочтимых лилась.
В должный час оглашала тебя хвала Громовержцу:
Мир был в напеве святом, мир — в умиленных сердцах.

Милая келья моя, о тебе моя плачет камена,
Плачет о новой твоей, о неизвестной судьбе!
Вмиг довелось позабыть тебе песнопевца и лиру,
И завладела тобой властно рука пришлеца.
Уж не видать тебе боле ни Флакка-певца, ни Гомера,
Боле под кровлей твоей детский напев не звучит!

Всякая радость земная проходит в стремительном беге,
Быстро сменяется все в пестрой, неверной чреде.
Что нам вечным назвать, что неложно назвать неизменным?
Вот полунощная тень скрыла сияние дня;
Вот убранство лугов снесено суровой зимою,
Яростный натиск ветров моря покой возмутил;
Только что гнал по лугам оленей юноша бодрый —
Вот уж, на посох склонясь, немощный старец бредет...
Горе нам, горе! К чему ж любить сей мир быстротечный?
Он убегает от нас в вечном движеньи своем.
Что ж, убегай! Христа одного мы возлюбим навеки,
Вечно в наших сердцах жить будет к Богу любовь.
Он, благодатный, рабов сохранит от погибели страшной,
Наши сердца вознося к горним чертогам своим.
Всею душой, всем сердцем его мы восхвалим, возлюбим:
Он, благодатный, для нас слава, спасение, жизнь.

СЛОВОПРЕНИЕ ВЕСНЫ С ЗИМОЙ

Сразу все вместе в кружок, спустившись со склонов высоких,
Пастыри стад собрались при свете весеннем под тенью
Дерева, чтоб сообща веселых камен возвеличить.
Юноша Дафнис пришел, и с ним престарелый Палемон;
Стали готовиться все сложить славословье кукушке.
Гений Весны подошел, опоясан гирляндой цветочной,
Злая явилась Зима с торчащею мерзлой щетиной;
Спор превеликий меж них возник из-за гимна кукушке.
Гений Весны приступил к хваленью тройными стихами.

Весна:

Пусть же кукушка моя возвратится, любезная птица,
Та, что во всяком дому является гостьей желанной,
Добрые песни свои распевая коричневым клювом.

Зима:

Тут ледяная Зима ответила голосом строгим [12]:
Пусть не вернется совсем, но дремлет в глубоких пещерах,
Ибо обычно она голодовку приносит с собою.

Весна:

Пусть же кукушка моя возвратится со всходом веселым,
Пусть прогоняет мороз благотворная спутница Феба,
Любит сам Феб ей внимать при ясной заре восходящей.

Зима:

Пусть не вернется совсем, ибо труд она тяжкий приносит,
Войнам начало дает и любимый покой нарушает,
Сеет повсюду раздор, так что страждут и море и земли.

Весна:

Что ты, лентяйка-Зима, на кукушку хулу воздвигаешь?
Грузно сама ты лежишь в беспамятстве в темных пещерах
После Венеры пиров, после чаш неразумного Вакха.

Зима:

Много богатств у меня — так много и пиршеств веселых,
Есть и приятный покой, есть огонь согревающий в доме.
Нет у кукушки того, но должна она, лгунья, работать.

Весна:

С песней приносит цветы и меда расточает кукушка,
Сооружает дома и пускает суда в тихих водах,
Людям потомство несет и в весельи поля одевает.

Зима:

Мне ненавистно все то, что тебе представляется светлым:
Нравится мне в сундуках пересчитывать груды сокровищ,
Яствами дух веселить и всегда наслаждаться покоем.

Весна:

Кто бы, лентяйка-Зима, постоянно готовая к спячке,
Клады тебе собирал и сокровища эти скопил бы,
Если бы Лето с Весной сперва за тебя не трудились?

Зима:

Правда твоя, ибо так на меня суждено им трудиться:
Оба они, как рабы, подвластные нашей державе,
Мне, как своей госпоже, усердною служат работой.

Весна:

Где тебе быть госпожой, хвастливая ты побирушка!
Ты и своей головы сама прокормить неспособна,
Если тебе, прилетев, кукушка не даст пропитанья.

Палемон:

Тут провещал с торжеством с высокого трона Палемон,
Дафнис же вторил ему и толпа пастухов добронравных:
Будет с тебя, о Зима! Ты, злодейка, лишь тратить умеешь.
Пусть же кукушка придет, пастухов дорогая подруга.
Пусть и на наших полях созревают веселые всходы,
Будет трава для скота и покой вожделенный на нивах,
Ветви зеленые вновь да прострут свою тень над усталым,
С выменем полным пойдут опять на удой наши козы,
Птицы на все голоса будут снова приветствовать Феба.
Вот почему поскорей вернись, дорогая кукушка,
Сладкая наша любовь, для всех ты желанная гостья:
Ждет тебя жадно весь мир,— и небо, и море, и земли.
Здравствуй, кукушка-краса, во веки ты вечные здравствуй!

ЗАГАДКИ

1. ОЧАГ

Хочешь даров ты моих, дождями измоченный путник?
Дай же мне прежде всего: так ты стяжаешь мои.
Мой ненасытный живот питается пламенем жгучим,
Из головы у меня дымный идет аромат.
В хладные дни декабря ко мне прибегает прохожий,
Что для цветущих полей в августе бросил меня.

2. БАНЯ

Гость обнаженным войдет, если хочет играть он со мною,
Тело желая свое влагой моей усладить.
Та, что некогда рыб в студеных волнах порождала,
Ныне, согревшись, должна стать человеку рабой.
Дерево ныне несет ту, что прежде носила деревья,
Та, что неслась по лугам, в доме лениво лежит.

Гость, если голым войдет в согретые эти покои,
Чтобы волною моей члены очистить свои,
Пусть он свой взор отвратит, я молю, чтоб того не увидеть,
Что греховной рукой праотец первый прикрыл.
Учит природа сему, и скромность нам то же прикажет,
Дабы, о мальчик, твой взор скромным остался навек.

СЛОВОПРЕНИЕ ВЫСОКОРОДНЕЙШЕГО ЮНОШИ ПИПИНА С АЛЬБИНОМ СХОЛАСТИКОМ

1. Пипин. Что такое буква? — Алкуин. Страж истории.

2. Пипин. Что такое слово? — Алкуин. Изменник души.

3. Пипин. Кто рождает слово? — Алкуин. Язык.

4. Пипин. Что такое язык? — Алкуин. Бич воздуха.

5. Пипин. Что такое воздух? — Алкуин. Хранитель жизни.

6. Пипин. Что такое жизнь? — Алкуин. Счастливым радость, несчастным горе, ожиданье смерти.

7. Пипин. Что такое смерть? — Алкуин. Неизбежный исход, неизвестный путь, живущих рыдание, завещаний исполнение, хищник человеков.

8. Пипин. Что такое человек? — Алкуин. Раб смерти, мимоидущий путник, гость в своем доме.

9. Пипин. На что похож человек? — Алкуин. На плод.

10. Пипин. Как помещен человек? — Алкуин. Как лампада на ветру.

11. Пипин. Как он окружен? — Алкуин. Шестью стенами.

12. Пипин. Какими? — Алкуин. Сверху, снизу, спереди, сзади, справа и слева.

13. Пипин. Сколько у него спутников? — Алкуин. Четыре.

14. Пипин. Какие? — Алкуин. Жар, холод, сухость, влажность.

15. Пипин. Сколько с ним происходит перемен? — Алкуин. Шесть.

16. Пипин. Какие именно? — Алкуин. Голод и насыщение, покой и труд, бодрствование и сон.

17. Пипин. Что такое сон? — Алкуин. Образ смерти.

18. Пипин. Что составляет свободу человека? — Алкуин. Невинность.

19. Пипин. Что такое голова? — Алкуин. Вершина тела.

20. Пипин. Что такое тело? — Алкуин. Жилище души.

21. Пипин. Что такое волосы? — Алкуин. Одежда головы.

22. Пипин. Что такое борода? — Алкуин. Различие полов и почет зрелого возраста.

23. Пипин. Что такое мозг? — Алкуин. Хранитель памяти.

24. Пипин. Что такое глаза? — Алкуин. Вожди тела, сосуды света, истолкователи души.

25. Пипин. Что такое ноздри? — Алкуин. Проводники запаха.
26. Пипин. Что такое уши? — Алкуин. Собиратели звуков.
27. Пипин. Что такое лоб? — Алкуин. Образ души.
28. Пипин. Что такое рот? — Алкуин. Питатель тела.
29. Пипин. Что такое зубы? — Алкуин. Жернова кусания...
47. Пипин. Что такое небо? — Алкуин. Вращающаяся сфера, неизмеримый свод.
48. Пипин. Что такое свет? — Алкуин. Лик всех вещей.
49. Пипин. Что такое день? — Алкуин. Возбуждение к труду.
50. Пипин. Что такое солнце? — Алкуин. Светоч мира, краса небес, счастие природы, честь дня, распределитель часов.
51. Пипин. Что такое луна? — Алкуин. Око ночи, подательница росы, вещунья непогоды.
52. Пипин. Что такое звезды? — Алкуин. Роспись свода, водители мореходов, краса ночи.
53. Пипин. Что такое дождь? — Алкуин. Зачатие земли, зарождение плодов.
54. Пипин. Что такое туман? — Алкуин. Ночь среди дня, тяжесть для глаз.
55. Пипин. Что такое ветер? — Алкуин. Движение воздуха, волнение воды, осушение земли.
56. Пипин. Что такое земля? — Алкуин. Мать рождающихся, кормилица живущих, келья жизни, пожирательница всего.
59. Пипин. Что такое вода? — Алкуин. Подпора жизни, омовение нечистот...
64. Пипин. Что такое зима? — Алкуин. Изгнанница лета.
65. Пипин. Что такое весна? — Алкуин. Живописец земли.
66. Пипин. Что такое лето? — Алкуин. Облачение земли, спелость плодов.
67. Пипин. Что такое осень? — Алкуин. Житница года.
68. Пипин. Что такое год? — Алкуин. Колесница мира.
69. Пипин. Кто ее везет? — Алкуин. Ночь и день, холод и жар.
70. Пипин. Кто ее возницы? — Алкуин. Солнце и луна.
71. Пипин. Сколько у них дворцов? — Алкуин. Двенадцать.
72. Пипин. Кто в них распоряжается? — Алкуин. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.
73. Пипин. Сколько дней живет год в каждом из дворцов? — Алкуин. Солнце 30 дней и 10 с половиною часов, а луна двумя днями и восемью часами меньше.
74. Пипин. Учитель! я боюсь пускаться в море.— Алкуин. Кто же тебя заставляет? — Пипин. Любопытство.— Алкуин. Если ты боишься, я сяду с тобой и последую, куда бы ты ни на-

правился.— Пипин. Если бы я знал, что такое корабль, я бы устроил такой для тебя, чтобы ты отправился со мною.— Алкуин. Корабль есть странствующий дом, повсеместная гостиница, гость без следа, сосед берегов.

75. Пипин. Что такое берег? — Алкуин. Стена земли.

76. Пипин. Что такое трава? — Алкуин. Одежда земли.

77. Пипин. Что такое коренья? — Алкуин. Друзья лекарей, слава поваров.

78. Пипин. Что делает горькое сладким? — Алкуин. Голод.

79. Пипин. Что не утоляет человека? — Алкуин. Прибыль.

80. Пипин. Что такое сон наяву? — Алкуин. Надежда.

81. Пипин. Что такое надежда? — Алкуин. Освежение от труда, сомнительное достояние.

82. Пипин. Что такое дружба? — Алкуин. Равенство душ.

83. Пипин. Что такое вера? — Алкуин. Уверенность в том, чего не понимаешь и что считаешь чудесным.

84. Пипин. Что такое чудесное? — Алкуин. Я видел, например, человека на ногах, прогуливающегося мертвеца, который никогда не существовал.— Пипин. Как это возможно, объясни мне! — Алкуин. Это отражение в воде.— Пипин. Почему же я сам не понял того, что столько раз видел? — Алкуин. Так как ты добронравен и одарен природным умом, то я тебе предложу несколько примеров чудесного: постарайся их сам разгадать.— Пипин. Хорошо; но если я скажу не так, как следует, поправь меня.— Алкуин. Изволь!

85. Один незнакомец говорил со мною без языка и голоса; его никогда не было и не будет; я его никогда не слыхал и не знал.— Пипин. Быть может, учитель, это был тяжелый сон? — Алкуин. Именно так, сын мой.

86. Послушай еще: я видел, как мертвое родило живое, и дыхание живого истребило мертвое.— Пипин. От трения дерева рождается огонь, пожирающий дерево.— Алкуин. Так.

87. Я слышал мертвых, много болтающих.— Пипин. Это бывает, когда они высоко подвешены [13].— Алкуин. Так.

88. Я видел огонь, который не гаснет в воде.— Пипин. Думаю, что ты говоришь об извести.— Алкуин. Ты верно думаешь.

89. Я видел мертвого, который сидит на живом, и от смеха мертвого умер живой.— Пипин. Это знают наши повара.— Алкуин. Да; но положи палец на уста, чтобы дети не услышали, что это такое.

90. Был я на охоте с другими, и что мы поймали, того домой не принесли, а чего не поймали, то принесли.— Пипин. Непристойная это была охота.— Алкуин. Так.

91. Я видел, как некто был раньше рожден, чем зачат.— Пипин.— И не только видел, но и ел? —Алкуин. Да, и ел.

92. Кто есть и не есть, имеет имя и отвечает на голос? — Пипин. Спроси лесные заросли.

93. Алкуин. Видел я, как житель бежал вместе с домом, и дом шумел, а житель безмолвствовал.— Пипин. Дай мне невод, и я отвечу тебе.

94. Алкуин. Кого нельзя видеть, не закрыв глаза? — Пипин. Храпящий тебе покажет.

95. Алкуин. Я видел, как некто держал в руках восемь, уронил семь, а осталось шесть.— Пипин. Это знают школьники.

96. Алкуин. У кого можно отнять голову, и он только поднимется выше? — Пипин. Иди к постели, там найдешь его.

97. Алкуин. Было трое: первый ни разу не рождался и единожды умер, второй единожды родился и ни разу не умер, третий единожды родился и дважды умер.— Пипин. Первый созвучен земле, второй — Богу моему, третий — нищему...

98. Алкуин. Видел я, как женщина летела с железным носом, деревянным телом и пернатым хвостом, неся за собою смерть. — Пипин. Это спутница воина.

99. Алкуин. Что такое воин? — Пипин. Стена государства, страх для неприятеля, служба, полная славы.

100. Алкуин. Что вместе и существует и не существует? — Пипин. Ничто.— Алкуин. Как это может быть? — Пипин. По имени существует, а на деле нет.

101. Алкуин. Какой вестник бывает нем? — Пипин. Тот, которого я держу в руке.— Алкуин. Что же ты держишь в руке? — Пипин. Твое письмо.— Алкуин. Читай же его благополучно, сын мой.

Теодульф

Теодульф, епископ орлеанский, один из самых талантливых и ученых поэтов при дворе Карла Великого, был по происхождению испанский гот: об испанце Пруденции он говорит как о земляке. По неизвестной нам причине он должен был бежать из родных мест, был ласково принят Карлом, получил в управление орлеанское епископство и несколько окрестных аббатств; в 800 г. сопровождал Карла в Рим и заседал в суде, созванном для оправдания папы Льва III, после чего получил от папы архиепископский сан. В своем епископстве он жил как меценат, любитель искусства и роскоши,— построил в Жерминьи церковь, которая считалась самой великолепной во всей Нейстрии; завел книжную мастерскую, где изготовлялись роскошные подносные экземпляры библейских книг, к которым он сам сочинял посвятительные надписи в стихах (два таких экземпляра сохранились); окружил себя изысканными предметами античного и позднеантичного искусства, которые описывал в отдельных стихотворениях. При дворе Карла он был своим человеком — свидетельство тому «Послание королю», где он успевает не только сказать комплимент каждому члену королевской семьи, но и свести счеты с соперником, неназванным ирландским ученым,— однако, как кажется, не участвовал в работе дворцовой школы и не был членом академии: академическое прозвище его неизвестно. После смерти Карла Теодульф еще три года пользовался расположением Людовика Благочестивого; но в 817 г. он был заподозрен в сговоре с мятежным Бернгардом, вицекоролем Италии, лишен епископства и сослан в монастырь в Анжере. Здесь он прожил еще четыре года, сочиняя скорбные стихи о своем изгнании; его друг Муадвин («Назон») в стихотворном послании убеждал его признать свою вину и облегчить свою участь, но Теодульф настаивал на том, что он невинен. Он умер в Анжере осенью 821 г.

От Теодульфа сохранилось около 80 стихотворений и стихотворных циклов. Почти все они написаны элегическим дистихом и несут следы преобладающего влияния Овидия, а также Пруденция. Мастерство его версификации вызывало такой восторг, что грамматики IX в. в спорных случаях просодии ссылались на его стихи наряду со стихами античных классиков.

Среди поэтов своего поколения Теодульф выделяется двумя особенностями: во-первых, чувством комического, способностью к юмору и сатире, и, во-вторых, нотами пессимистической мрачности, столь непохожими на бодрый пафос хри-

стианства и классицизма, характерный для академических поэтов. Примером первого может служить упомянутое отступление об ирландце в «Послании к королю» или стихотворения-анекдоты «О потерянной лошади» (приводимое здесь) и «О лисице, воровавшей кур». Примерами второго могут служить такие стихотворения, как «О признаках, предвещающих конец света», «О лицемерах и о том, что во времена апостольские и ближайшие к ним добродетели церкви были крепче, чем в наши дни» и пр.

Может быть, этот критический взгляд на современность объясняется тем, что Теодульф был ближе знаком с практикой каролингского хозяйствования и администрации, чем другие современные поэты. Известно, что самое большое его произведение — «Стих против судей» — написано под впечатлением его поездки с лионским епископом Лейдрадом по нарбонской провинции (населенной готами) в качестве королевского ревизора (missus dominicus). Это — ценный памятник истории правового быта: здесь рисуется картина полуварварского судопроизводства, творимого на этой окраине франкской державы нерадивыми и корыстолюбивыми судьями; поэт обращает к ним свои увещания, и его патетические призывы следовать примерам Давида и Соломона сочетаются с дельными практическими советами — как разбираться в свидетельских показаниях, в какой мере полагаться на присягу, как соразмерять кару с поступком и пр. Стихотворение раздвинуто пространными описаниями нарбонской земли, изысканных даров, подносимых населением ревизорам и пр.; любопытно изображение борьбы чувств в душе судьи по образцу «Психомахии» Пруденция. Тот же интерес к суду и праву виден в другом стихотворении Теодульфа, где жестоким германским законам он противопоставляет более мягкие библейские.

Остальные стихи Теодульфа — это или послания к лицам, связанным с ним придворными или церковными отношениями, или риторические вариации на богословские и этические темы («О лицемерах и глупцах, коих невозможно увещанием отвратить от порока», «О воздаянии Господнем, которое часто таинственно, но всегда справедливо», «О том, как на душу человека влияют место, время, причина и действие» и пр.), или обычные у каролингских поэтов надписи на церковных постройках, книгах и утвари, среди которых выделяются такие стихи-аллегории, как «О семи благородных искусствах, изображенных на картине» или «О картине с изображением земли в виде круга» (ср. приводимое ниже стихотворение об аллегорическом толковании древних поэтов). Круг интересов Теодульфа был обширен, и даже к скорбному своему посланию к Муадвину из изгнания он делает два неожиданных стихотворных приложения — «О пересыхающей реке» близ места его изгнания и «О битве птиц», про которую рассказывал ему случайный очевидец.

ПОСЛАНИЕ К КОРОЛЮ

Славу твою и тебя, о король, вся земля воспевает,
    Но и во многих словах не перескажешь всего.
Если и Рейн и Маас, По и Тибр, и Сону и Рону
    Можно измерить, то вот мера твоей похвале.
Неизмерима хвала, и неизмеримою быть ей,
    Дондеже мир населен будет людьми и зверьми.

Правда, ее описать я в верных словах не сумею,
Все ж, хоть и мал, не могу о многомощном молчать.
Пусть же шутливая песнь бежит среди шуток веселых,
Часто в пути, на бегу их подбирая рукой.
Шуткой с хвалой пополам испещренный листок да отыщет
Тех, кого скоро узрю, с Божией помощью, сам.
О, лицо, лицо! ярче трижды промытого злата!
Счастлив, кому суждено вечно с тобой пребывать,
И любоваться челом, достойным своей диадемы,
Что нигде на земле равных себе не нашло,
Голову гордую зреть, подбородок и дивную шею,
Золотоносную длань, что посрамляет нужду.
Голени, грудь и ступни — все в теле его достохвально,
Все поражает красой, все лепотою блестит.
О, сколь приятно внимать речам твоим мудропрекрасным,
В них превосходишь ты всех, выше же нет никого.
Выше же нет никого, чья многоискусная мудрость
Столь бы была велика, так же не знала б границ.
Нила шире она и обширней студеного Истра,
Даже Евфрата длинней, и не короче, чем Ганг.
Надо ль дивиться тому, что Пастырь предвечный такого
Пастыря в мире избрал стадо свое охранять?
Деда ты возродил прозваньем [1], умом — Соломона,
Мощью — Давида царя, Иосифа — дивной красой.
Ты — охранитель добра, кара злых, расточитель почета:
Вот почему и даны все эти блага тебе.
Так принимай, веселясь, многоцветные груды сокровищ,
Что из Паннонской земли ныне Господь тебе шлет [2].
И благодарность за то с благочестьем воздай Громовержцу,—
Пусть, как всегда, для него длань твоя будет щедра.
Вот притекли племена, Христу поклониться готовы,
Коих десницей своей ты призываешь к Христу.
Вот явился к нему и гунн с заплетенной косою,
Вере покорен святой, тот, что упорствовал встарь.
С ним пусть придет и араб: волосатые оба народа,
Только один заплел кудри, другой — распустил [3].
Ты, Кордова, давно накопила богатства без счета,
Так поскорей королю должному должное шли.
Как авары сдались, так сдавайтесь, арабы, номады,
Бросьтесь к ногам короля, выи, колени склонив.
Были не менее вас они и горды и свирепы,
Но, кто их покорил, тот же и вас покорит.
Он, восседая горе, до Тартара власть простирает,
Он над морями, землей, звездами, твердью царит.

Вот наступает весна, и с нею — всякое счастье
Снидет к тебе и твоим с помощью Божьей, король.

Год обновился опять с весельем по вечным законам,
Матерь-земля, как всегда, снова пускает ростки.
Лес зеленеет листвой, украшаются нивы цветами,
Так стихии свой чин все неослабно блюдут.
Пусть же стекутся послы отовсюду с благими вестями,
Мира залог принесут. Злоба да сгинет навек.
Пусть, воздевая горе и очи, и руки и душу,
Всяк благодарственный гимн богу поет и поет.
Пусть соберется совет, и молебен отслужат в палатах,
В коих прекраснейший свод сделан искусной рукой.
Пусть в престольный покой возвратятся все совокупно,
Толпы пусть взад и вперед в длинных палатах снуют.
Двери раскройте, но пусть из желающих те лишь вступают,
Коих какой-либо чин пред остальными вознес.

Пусть красавца-царя окружит дорогое потомство [4],
Сам же он выше всех, солнцу подобный меж звезд.
Юноши пусть по бокам, а вокруг него встанут девицы,
Свежей подобны лозе, радуя сердце отца.
Карл с Людовиком здесь, из коих второй еще отрок,
Первый уже на губах юности носит убор.
Мощные их тела исполнены юною силой,
Сердце к наукам лежит, крепко в совете оно.
Мыслью сильны, богатством славны, в добродетелях тверды,
Каждый — народа краса, каждый — услада отца.
Да обратит же на них король лучезарные взоры,
Переведет их затем к сонму стоящих девиц,
К хору прелестных девиц, которых никто не превысил
Нравом, одеждой, лицом, верою, телом, душой.
Берта с Хротрудою здесь, а с ними и юная Гисла,
Между прекрасных она — лилия в троице сей.
Рядом же с нею стоит Лиутгарда в красе своей мощной,
Та, что сверкает умом и благочестьем своим.
Образованьем блестит, но больше — благими делами,
Равно приятная всем, людям простым и вождям.
Сердцем мягка, и дарами щедра, и приветлива речью,
Силится всем угодить, не повредить никому.
Также к наукам она прилежит и прилежно стремится
Хитрости мудрых искусств в замок ума заключить.
Пусть же семья короля быстра в угождении будет.
Наперебой торопясь знаки любви оказать.
Мантии обе его и мягкие снять рукавицы
Карл пускай поспешит, меч же Людовик возьмет.
Чуть он воссядет, дары вперемежку со сладким лобзаньем
Дочери все поднесут — это подарки любви.
Хротруд фиалки дарит, Берта — розы, и лилии — Гисла:
Нектар с амврозией даст в дар ему каждая дочь.

Хилтруд — Цереры дары, фрукты — Ротхайд, вино — Теодрада,
Все различны лицом, но красотою равны.
Эта камнями горит, а та — багряницей и златом,
Здесь — из алых камней, там — из зеленых убор.
Этой застежка идет, а ту украшают запястья,
Та щеголяет каймой, той ожерелье к лицу.
Эта в лиловый наряд, а та разоделась в шафранный,
Мягкий нагрудник — одной, красный — другой по душе.
Речью приятной одна, забавой прельщает другая,
Эта — походкой отцу нравится, та же — смешком.
Если б святейшая тут сестра короля оказалась,
Сладкий дала б поцелуй брату, а братец — сестре.
Но столь сильный восторг утаила б на лике спокойном,
Радости помня, что даст ей Вековечный жених.
И как точнее постичь ей тайны Святого Писанья,
Царь вразумил бы ее — он, кого бог вразумил.

Пусть соберутся вожди и с весельем вкруг мощного станут,
Каждый из них поспешит дело исполнить свое.
Тирсис [5] да будет, как встарь, готов к государевой службе,
Будет усерден и скор сердцем, рукой и ногой.
Выслушать должен король различного рода прошенья —
Примет с охотой одни и промолчит о других,
Этим прикажет войти, а тем дожидаться покамест,
Этим внутри постоять, тем — за дверьми повелит.
Пусть он у трона стоит, муж лысый, но неутомимый,
Все со смирением он, все с береженьем вершит.
Тут же — с веселым лицом и ласковым взором епископ [6],
Благостно сердце его и благосклонны уста.
Твердая вера в Христа, благодать освященного сана,
Дух незлобивый смогли к богу приблизить его.
Пусть же он благословит еду и питье государя,
Все, что вкушает король, пусть принимает и он.
Пусть тут будет и Флакк [7] — он слава наших поэтов,
Ибо лирической он ловко слагает стопой;
Он же — могучий софист, и он же — певец благозвучный,
Он же — силен умом, он же — делами силен.
Пусть же нам изъяснит он догмы Святого Писанья,
Или шутя разрешит чисел тугие узлы.
Будет то очень легка, то запутана Флакка загадка,
Или коснется мирских, или небесных наук.
Будет король среди тех, кто задачу решить пожелает:
Он бы, конечно, сумел хитрости Флакка постичь.
Голосом звучен, прилежен умом и речами изящен,
Рикульф [8] пусть подойдет, верой и знаньем богат;
Правда, не маленький срок он пробыл в стране отдаленной,
Все ж не с пустою рукой он возвращается к нам.

Сладкую песню, Гомер [9], я воспел бы тебе, если б был ты
Здесь же; но раз тебя нет, муза моя промолчит.
Но Эркамбальда зато присутствием будем богаты:
Пару таблиц он с собой носит в надежной руке.
Сбоку таблицы висят, но не медлят в руках очутиться,
Запоминают слова, немы, но все ж говорят.
Лентул меж тем подойдет, принесет усладительных фруктов:
Фрукты в корзине несет, верность же — в замке души.
Скор он одним лишь умом, в остальном же весьма непроворен:
Будь, добрый Лентул, быстрей ты и в шагах и в речах.
Нардул [10] туда и сюда торопливым бегает шагом,
Как муравей, без конца мечется взад и вперед.
В маленьком доме его немалый жилец обитает,
В недрах груди небольшой нечто большое живет.
Пусть он то книги свои, то предметы искусства приносит,
Или пусть стрелы острит, скотта стараясь сразить [11].
Скотт! коль с тобой я сойдусь, то получишь ты те поцелуи,
Кои, ушастый осел, волк залепил бы тебе;
Раньше пес зайца взрастит, или волк вероломный — овечку,
Раньше трусливая мышь в бегство кота обратит,
Нежели вздумает гет [12] со скоттом вступить в перемирье,—
Если б он даже хотел, было б, как ветер, оно.
Тот или бед натворит, или скроется, Австра быстрее:
Может ли быть он иным? Он ведь всего только скотт.
Надо б ту букву отнять, что в азбуке значится третьей,
В кличке же злого врага будет на месте втором,
Первою в «крыше» стоит, и второю в слове «скитаться»,
Третьей во «вскрытье» она, в «сроке» четвертой звучит.
Он опускает в речах ту букву [13]; итак, без сомненья,
Как себя сам он зовет, точно таков он и есть.
Будет и Фредегис тут, левит наш почтенный, с Осульфом [14],
Оба искусством сильны, оба познаний полны.
Эркамбальд, Осульф и Нард сойдутся пускай воедино —
Право, годятся все три в ножки тому же столу.
Толще, конечно, один, другой же будет потоньше,
Но, если мерить на рост, все меж собою равны.

Из плодоносных хором Меналк [15] пусть появится снова,
Неутомимый, с чела пот отирая рукой.
Часто он входит опять, окруженный густыми рядами
Хлебников и поваров, чин придворный блюдя,
Бережно делая все. Пусть разные яства и блюда
Ставит он перед честным троном царя своего.
Пусть виночерпий войдет: это будет наш Эппин умелый,
Пусть он сосуды несет дивные с вкусным питьем.
Пусть приглашенные вкруг за завтрак монарший садятся

Пусть же веселия дар будет им послан с небес.
Сядет отец Альбин, и речь приготовит честную,
Пищу изволит приять в руку, а после в уста.
Твой ли он кубок вкусит, о Вакх, иль напиток Цереры [16],
Или (ведь все может быть!) даже и тот и другой?
Станет он лучше учить, и свирель его лучше взыграет,
Если учительной он недра груди оросит.
Да удалится кисель и ты, о творожная груда:
С пряною пищею стол пусть к нам поближе стоит.
Здесь да участвуют все, сидящий вместе с стоящим,
Пьют без различья вино, вкусные яства едят.

Счастливо пир завершив, уберут и столы и подмостки,
Выйдет народ из палат, радость сопутствует всем.
Но, оставшись внутри, воспоет Теодульфова муза,—
Пусть же она королям будет мила и вождям.
Может, услышит ее крепко скроенный Вибод-воитель [17],
Жирной главою качнет трижды, четырежды он.
Мрачно он будет глядеть, с угрожающим взором и речью,
И за спиной на меня много обрушит угроз.
Если ж его к себе подзовет государева милость,
Шагом нетвердым к нему, шаткой походкой бредет,
И впереди груди пойдет раздутое чрево.
Сам он по голову — Зевс, а по походке — Вулкан.
Но, среди всех этих дел, когда будут читать наши строки,
Пусть и скоттик притом, вор беззаконный, стоит,
Мрачная тварь, супостат, бледный ужас, чума моровая,
Язва сутяжная, тварь злобная, мерзость сама,
Дикая, гнусная тварь, ленивая тварь, нечестивец,
Тварь, что всем праведным враг, тварь, что всем добрым вредит!
Шею закинув назад, предстанет он, криворукий,
Руки кривые свои к глупому сердцу прижмет,
Ошеломлен, удивлен, дрожащий, сопящий, свирепый,
Уши, глаза напряжет, ноги, и руки, и ум.
Знаками резкими он то то порицает, то это,
То испускает лишь вздох, то озлобленную брань;
То повернется к чтецу, а то ко всем предстоящим
Знатным вельможным мужам, шага не ступит умно.
Жаром хуленья объят, пусть враг мой лихой кипятится:
Много хотения в нем, только умения нет.
Кое-чему научен, но знает нетвердо, неверно;
В том, в чем не смыслит азов, мнит он себя знатоком.
Все это выучил он не затем, чтобы мудрым считаться,
Но чтобы в споре всегда во всеоружии быть.
Много знал, мало постиг, о многом проведал невежда,

Что же сказать мне еще? Знает, а все ж не знаток.
После король на покой удалится, а всяк — во-свояси.
Выйдет веселым король, выйдет веселым народ.
Ты же, свирель, помолись, чтобы добрый король возвратился
И о спасении тех, кто этой шуткой задет.
Чтоб не обиделся кто, да поможет мне милость Христова,
Кротко сносящая все, все, что не злобно, любя.
Кто ж ее вовсе лишен, кто великим сим даром не взыскан,
Пусть обижается тот, дела мне нет до него.

Тот, кто тебя, о король, всевластьем мирским возвеличил,
Пусть в небесах тебе даст лучшую, вечную жизнь.

О КНИГАХ, КОТОРЫЕ Я ЛЮБИЛ ЧИТАТЬ, И О ТОМ, КАК ВЫДУМКИ ПОЭТОВ МИСТИЧЕСКИ ТОЛКУЮТСЯ ФИЛОСОФАМИ

Смолоду книги привык я читать и читал неустанно:
Денно и нощно я был этому предан труду.
Часто, Григорий, тебя, и тебя, Августин, я листаю,
Или, Гиларий, тебя, или тебя, папа Лев,
Иероним, Исидор, Иоанн русокудрый, Амвросий,
Или тебя, Киприан, скорбный приявший венец,
Или других, кого недосуг исчислять поименно,
Тоже взнесенных до звезд славой ученых заслуг.
В наших бывали руках и язычников мудрых писанья,
Ежели кто-то из них был в своем деле велик.
Благочестивых отцов не в последнюю очередь чтил я,
Коих я здесь имена сам назову — посмотри.
Это — Аратор, Павлин, блестящий Седулий и Авит,
Это и наш Фортунат, и громовержец Ювенк.
Это Пруденций-певец, наш праведный предок, который
Разные метры умел в мудрые строки слагать.
То я Помпея читал, а то раскрывал я Доната [18],
То был Вергилий у нас, то говорливый Назон.
Знаю, в писаньях у них легковесного вздора немало,
Но под завесою лжи кроется истины блеск.
Ложь у поэтов живет под пером, у философов — правда;
Часто ученый мудрец правду из лжи извлечет.
Образом истины станет Протей, справедливости — Дева,
Доблести — мощный Алкид, а злодеяния — Как.
Правду пытаясь сокрыть, отовсюду зияют обманы,
Но неизменно она в прежней сияет красе.
В облике девы для нас — справедливости свет негасимый:
Не затемнить его ввек скверне неправедных дел.
Вот, заметая следы, безумное бродит злодейство,
Смрадным дымом дыша, тщится от кары уйти;

Но настигает его проницательный ум человечий,
Разоблачает, теснит, тайну выводит на свет.
Вот Купидон — это с факелом отрок, нагой и крылатый,
Лук у него и колчан, полный отравленных стрел.
Крылья его — легкомыслия знак, нагота же — бесстыдства,
Отрок же он потому, что неразумна любовь.
Виден в колчане — порок, а в изогнутом луке — коварство;
Факел, стрелы и яд — это мученья любви.
Есть ли что на земле ненадежнее доли влюбленных —
Тех, чьи бессильны тела и празднобродны умы?
Можно ли все прегрешенья открыть, что любовь возжигает?
Нет: все дурные дела выйдут на свет в свой черед.
Можно ли разум напрячь настолько, чтоб справиться с страстью?
Отрок и разуму чужд, и послушанию чужд.
Можно ли в темный колчан безопасно взглянуть и проникнуть?
Можно ли счесть, сколько в нем скрыто язвительных стрел?
Гибельны их острия, несут и пожар и отраву,
И поражая сердца, ранят и мучат и жгут.
Это — преступный и злой прелюбодеяния демон,
Нас он, несчастных, влечет в бездну нечистых услад.
Вечно готов обмануть, готов погубить наши души —
Демонские у него сила, и дело, и цель.
Сны прилетают из двух ворот,— говорят стихотворцы [19],—
Верные сны из одних, лживые сны из других.
Верным — из рога врата, а лживым — из кости слоновой;
Верные — зримы очам, лживые — льются из уст.
Ибо обточенный рог для глаза прозрачен и светел,
А на слоновую кость впору лишь зубы точить.
Рог бережет нам от блеска глаза, не страшится мороза;
Схожи на вид и на цвет зуб и слоновая кость.
Двое в басне ворот, и недаром они непохожи —
Ложь гнездится во рту, истину видят глаза.
Так-то, звено к звену, я сказал понемногу о многом —
Чтобы пример привести, долгих не нужно речей.

О ПОТЕРЯННОЙ ЛОШАДИ

Ум помогает нам в том, в чем сила помочь не сумеет,
Хитростью часто берет тот, кто бессилен в борьбе.
Слушай, как воин один, у коего в лагерной давке
Лошадь украли, ее хитростью ловко вернул.
Он повелел бирючу оглашать перекрестки воззваньем:
«Тот, кто украл у меня, пусть возвратит мне коня.
Если же он не вернет, то вынужден буду я сделать
То же, что в прежние дни в Риме отец мой свершил».

Всех этот клич напугал, и вор скакуна отпускает,
Чтоб на себя и людей грозной беды не навлечь.
Прежний хозяин коня нашел того с радостью снова.
Благодарят небеса все, кто боялся беды,
И вопрошают: «Что б ты совершил, если б конь не сыскался?
Как твой отец поступил в Риме в такой же беде?»
Он отвечал: «Стремена и седло взваливши на плечи,
С прочею кладью побрел, обремененный, пешком;
Шпоры нося на ногах, не имел он, кого бы пришпорить,
Всадником в Рим он пришел, а пехотинцем ушел.
Думаю я, что со мной, несчастным, случилось бы то же,
Если бы лошадь сия не была найдена мной».

Ангильберт

Академическое прозвище Ангильберта — Гомер. Это был франк знатного рода, друг молодого Пипина, сына Карла Великого, и морганатический муж его сестры Берты, которая родила ему двоих сыновей, Хартнида и Нитхарда (будущего историка). При Пипине, вице-короле Италии, он занимал в 780-х годах высокий пост дворцового примицерия, в 792, 794 и 796 гг. ездил в Италию послом к папе, в 800 г. сопровождал Карла в походе, закончившемся его коронацией. Хотя он всю жизнь был мирянином и отличался склонностью к мирским развлечениям («Боюсь, что наш Гомер рассердится на новый указ, запрещающий зрелища и прочие диавольские выдумки»,— писал старый Алкуин Адальхарду Корбийскому в 799 г., письмо 175), Карл в 790 г. назначил его аббатом монастыря св. Рихария в Центуле близ Амьена, и Ангильберт усиленно заботился о пышности монастырских построек и о пополнении монастырской библиотеки; об этих своих заслугах он написал даже маленькую книжку. В этом монастыре он и умер 18 февраля 814 г., три недели спустя после смерти Карла Великого.

Несмотря на громкое прозвище и на многочисленные комплименты, расточаемые ему в переписке его учителя Алкуина и других современников, Ангильберт не был большим поэтом. Его сохранившиеся стихотворения немногочисленны и по уровню поэтической техники не поднимаются выше среднего уровня эпохи. Наиболее своеобразна из них панегирическая «Эклога к королю Карлу» с ее рефренами и словесной перекличкой смежных стихов; но и тут самый эффектный и часто повторяемый рефрен — «Любит поэтов Давид — Давид есть слава поэтов» — содержит грамматическую ошибку (David amat vates, *vatorum* est gloria David). Другое большое стихотворение Ангильберт посвятил Пипину, возвращающемуся из победоносного похода против аваров; несколько мелких надписей, посвятительных стихов и довольно неискусных, хотя и вычурных акростихов и месостихов (на слова «Ангильберт», «Господи помилуй», «Царю небесный, буди благ к рабу твоему Ангильберту» и пр.) относятся ко времени его управления центульским аббатством.

Прозвище «Гомер» позволяет предполагать, что у Ангильберта были и какие-то эпические произведения. Собственно, только на этом основании некоторые ученые приписывали Ангильберту авторство большого эпического отрывка (536 гексаметров), сохранившегося без заглавия и без имени автора в рукописи

IX—X вв. Действие его относится к 799 г. В нем описывается охота Карла Великого близ Ахена (причем с особым восторгом изображаются великолепные наряды Карла и его спутников — наряды, уместные при дворцовых церемониях, но совершенно немыслимые на охоте); после охоты Карлу является во сне мученическая участь римского папы Льва III, схваченного его врагами, истерзанного и чудом спасшегося; наконец, изгнанный папа сам прибывает за помощью к Карлу на Падерборнское поле, Карл преклоняется перед ним, устраивает в честь его пир и готовится к походу на Рим. На этом отрывок обрывается. Сравнительно высокая поэтическая культура (в частности, много реминисценций не только из Вергилия, но и из Лукана), а также явная тенденция к прославлению папы позволяет думать, что поэма написана каким-то духовным лицом. Однако по традиции она обычно печатается среди сочинений Ангильберта.

ИЗ ПОЭМЫ „КАРЛ ВЕЛИКИЙ И ПАПА ЛЕВ“

Лес расположен вблизи на горе, и приятную зелень
Роща скрывает в себе, и свежие есть в ней лужайки.
Все зеленеет вдоль стен, кольцом окружающих город [1],
Взад и вперед над рекой все виды пернатых летают,
Часто на берег садясь и клювами пищу копая.
То, к середине реки подлетев, погружаются в воду,
То обращаются вспять и вплавь достигают прибрежья.
Около тех берегов пасется стадо оленей
В длинной ложбине меж гор, на пастбище, полном услады.
Серна туда и сюда несмелым бегает шагом,
Чтоб отдохнуть под листвой, и разные виды животных
Всюду таятся в лесах. Так вот почему среди темных
Рощ этих Карл, наш отец и герой досточтимый, усердно
На мураве предаваться любил прелюбезной забаве,
Псами зверя травить и дрожащей стрелою своею
Племя рогатое бить под мрачною тенью деревьев.
Только что Феб воссиял лучом, преклоненья достойным,
И огнебровым зрачком его свет пробежал по высотам,
Все крутые холмы и верхушки лесов озаряя
Самых высоких, спешат отборные юноши к спальне
Царской, и знатных толпа, собравшись туда отовсюду,
Стала на месте своем, дожидаясь на первом пороге.
Шум поднялся, беготня по всему обширному граду;
Эхом своим с высоты ответствуют медные кровы;
Неописуемый гул голосов возносится к небу.
Ржаньем приветствует конь коня, и кричат пехотинцы;
Перекликаются все, и всякий своих созывает;
Пышно украшенный конь, в тяжелых металлах и злате,
Щедрого рад принять короля на могучую спину,
Буйной трясет головой и готовится к скачке по кручам.

Вот, наконец, из палат, окруженный свитой придворных,
Вышел на воздух король, досточтимейший светоч Европы.
Светит он дивным лицом и ярко сияет обличьем.
Лоб благородный увил драгоценной златой диадемой
Карл, наш король; над толпой возвышаются плечи крутые;
Отроки держат в руках широкие острые копья
И четверною каймой обвитые льняные тенета,
Псов кровожадных ведут, привязанных крепко за шеи,
Алчных к добыче всегда молоссов с бешеной пастью [2].
Вот уже Карл, наш отец, покидает святые пороги
Храма, и герцоги с ним, и окольные шествуют графы.
Вот растворились врата высокого града пред ними,
Вот затрубили в рога, и клики двор наполняют.
Юноши вперегонки поспешно к берегу мчатся...
Вот королева к толпе долгожданная вышла из пышной
Опочивальни своей, окруженная свитой огромной.
То — Лиутгарда сама, прекрасная Карла супруга.
Дивно сверкает у ней подобная розану шея,
Пышный багрец красотой уступает косам, увитым
Алыми лентами вкруг висков, белизною блестящих.
Мантию шнур золотой скрепляет, берилл самоцветный —
На голове у нее, в лучах золотой диадемы.
Ярок пурпур одежд из промытого дважды виссона;
Много различных камней украшают пресветлую шею.
В свите прелестных девиц в охотничью рать она входит.
Вот, веселясь, госпожа на коня горделивого села
Между высоких вождей в окружении юношей пылких.
В юной красе молодежь стоит у дверей в ожиданье:
Ждут королевских детей. Окруженный пышною свитой,
Нравом своим и лицом с высоким родителем схожий,
Карл выступает вперед, носящий отцовское имя;
На спину злому коню вскочил он привычным движеньем.
Вслед ему Пипин идет, нареченный по имени деда,
Славу отца своего возродивший в делах государства,
Сильный в бою и отважный герой, и храбрый в сраженьях [3].
Средь приближенных своих полководец щедрый выходит;
Вот высоко на коне, окруженный блестящею свитой,
Светит он дивно лицом и ярко сияет обличьем,
Лоб же красивый его окружен лучезарным металлом.
Сгрудившись вместе, толпа смешалась в широком проходе
Настежь раскрытых ворот. Придворный синклит протесниться
Хочет вперед, отчего поднимается ропот немалый.
Резко трубят рога, и собаки с несытою пастью
Лаем наполнили воздух, и шум достигает созвездий.
Движется вслед за толпой ослепительных дев вереница.
Ротруд у них впереди перед прочими девами едет
На быстроногом коне, спокойным двигаясь шагом.

Кудри, что снега светлей, аметистовой лентой увиты,
Перемежаются в них каменья, сверкая лучами,
А на главе у нее дорогими камнями усеян
Венчик златой; скреплена изящная мантия пряжкой.
Средь многочисленных дев, стремящихся следом за нею,
Тут же и Берта горит, окруженная девственным сонмом,
Голосом, духом мужским, обычаем, ликом пресветлым,
Нравом, очами и ртом и сердцем с родителем схожа.
Вкруг ее нежной главы — позолоченная диадема,
В кудри, что снега светлей, вплетены золотистые нити,
И дорогие меха украшают млечную шею.
Взоры ласкает наряд, усыпанный всюду камнями,
В пестром порядке они сияют лучами без счета
И на монисте, а плащ хрисолитами сплошь изукрашен.
Гисла следом за ней, сверкая своей белизною,
В девичьем сонме идет, короля золотистая отрасль.
В мальвовом платье своем блистает прекрасная дева.
Мягкая ткань покрывал отделана вышивкой алой;
Волосы, голос [4], лицо лучистый свет источают,
Шея в блестящей красе горит розоватым румянцем,
Будто бы из серебра — рука, а чело — золотое,
Очи сияньем своим посрамляют пресветлого Феба.
Радостно на скакуна быстроногого дева садится,
Конь горделивый грызет удила, обдавая их пеной.
В сопровожденьи мужей, с окружившим ее отовсюду
Сонмом бесчисленных дев, при ржаньи коней громогласном,
В пышном уборе своем, покинув высокие крыльца,
Дева стыдливая вслед за властителем праведным едет.
Ротхайд выходит затем в украшеньи из разных металлов:
Быстрым шагом она своей предшествует свите.
Волосы, шея и грудь — в огне разноцветных каменьев;
Шелковый плащ дорогой с роскошных плечей ниспадает,
И на прелестной главе сверкает камнями корона;
Держат хламиду шары золотой в каменьях застежки.
На горделивом коне туда направляется Ротхайд,
Где притаились стада оленей с шершавою кожей.
Вышла меж тем из палат со светлым лицом Теодрада:
Ясное блещет чело, и волосы с золотом спорят;
Шеи прелестный убор — из одних изумрудов заморских,
Руки, ланиты, уста и ножки лучисто-прекрасны;
Светлые ярко горят просветленным пламенем очи.
На гиацинтовый плащ нашиты кротовые шкурки.
Славную деву сию Софоклов котурн украшает [5].
Шумной густою толпой ее окружили девицы,
И благолепный собор вельмож потянулся за нею.
Дева воссела тотчас на свою белоснежную лошадь,
Скачет на буйном коне короля благоверная дочка,

К роще держит свой путь, покинув дворец освещенный.
Поезда крайнюю часть занимает прекрасная Хильтруд.
Ей указала судьба подвигаться в последнем отряде.
Вот посредине толпы сияет прелестная дева,
Крепкой уздою она умеряет поспешную скачку
По прибережной земле.
За нею народ достославный
В жажде ловитвы спешит, и все королевское войско
Соединяется с ним. Вот сразу железные цепи
С хищных упали собак. Глубокие норы животных
Ищут прилежным чутьем и, как должно, бегут за поживой.
Жадно молосские псы по кустарнику частому рыщут,
Поодиночке сперва по тенистой дубраве блуждают:
Все поживиться хотят кровавой добычей лесною.
Всадники, лес окружив, противопоставили своры
Стаям бегущих зверей... Бурый вепрь обнаружен в долине!
Тотчас же всадники в лес поскакали, преследуя криком,
Наперебой понеслись за бегущей добычей молоссы,
И врассыпную спешат по безмолвному [6] сумраку чащи.
Мчится беззвучно один, как должно, за вепрем проворным,
Лаем немолчным другой оглашает воздух спокойный,
Третий плутает в кустах, обманутый запахом ложным;
Кружат туда и сюда, один за прыжками другого:
Видит один, а другой унюхал бегущего зверя.
Шум поднялся, разлился по рощам, лежащим в долине.
Рог подбодряет собак отважных к свирепому бою,
Гонит туда, где кабан бежит, угрожая клыками.
Всюду с задетых стволов дождем осыпаются листья.
То по открытым местам, то по чаще бежит непроглядной,
Скор на бегу, скрежеща, устремляется к горным вершинам;
Но, наконец, утомлен, он стал и с усилием дышит.
Вот наседающим псам он орудие смерти готовит;
Мордой ужасной своей раскидал он свирепых молоссов.
Карл же отец с быстротой сквозь сонмы охотников скачет,
Птицы пернатой быстрей, мечом своим дикого зверя
В грудь поражает, вонзив железо холодное в сердце.
Рухнул кабан, изрыгнув свою жизнь вместе с бурною кровью,
Бьется и корчится он, издыхая, в песке рудожелтом.
Подвиг с высокой горы семья короля созерцает.
Карл же немедля велит загонять другую добычу,
К спутникам славным своим обращается с дружеской речью:
«Знаменьем благостным сим нам, как видно, судьба разрешает
День с весельем провесть, и потворствует нашим затеям.
Ну, так старайтесь же все завершить начатую работу
И к полеванью сему приложите усердные силы».
Еле промолвил герой, как ответили кликами толпы
С верха горы, и опять устремились к дубраве вельможи,

Быстрых сгоняя зверей. А сам наш отец достославный,
Карл, пред друзьями летит с метательным дротом в деснице,
Коим стада кабанов несметные он поражает.
Валятся грудой тела поверженных долу животных.
Между вельможами Карл по частям разделяет добычу,
Спутников верных своих нагружает тяжелою ношей.
Кончив забаву, назад он едет по прежнему полю
К роще зеленой, к ручьям освежающим и осененным
Лиственной крышей, к местам, покрытым прохладною тенью.
Тут, укрепив по земле свои златотканные ставки,
Стан раскинул король, и палатки вождей забелели.
Весело Карл для своих веселую сладил пирушку:
В первую очередь он созывает отцов многолетних,
После же зрелых мужей, рожденных в лучшие годы [7],
Далее юный народ и девушек чистых сажает
Вместе за стол и велит подавать фалернские вина.
Солнце садится меж тем, и спускаются тени ночные,
Просит спокойного сна у всех утомленное тело.

ЭКЛОГА К КОРОЛЮ

Флейта, проснись и прославь моего господина стихами!
Любит Давид стихи — прославь его, флейта, стихами.
Любит поэтов Давид — Давид есть слава поэтов.
Вот потому-то скорей поспешите, сбегитесь, поэты,
И для него, для Давида, воспойте сладчайшие песни.
Любит поэтов Давид — Давид есть слава поэтов.
Сладкой любовью Давид возбуждает сердца песнопевцев —
Пусть же любовь породит в сердцах наших песнь о Давиде.
Любит Давида Гомер — прославь его, флейта, стихами.
Любит поэтов Давид — Давид есть слава поэтов.
Не умолкай же, свирель, сладкозвучным тревожима плектром [8],
Пусть зазвучат в твоем горле стихи во славу Давида,
Пусть наполнится грудь у тебя любовью к Давиду.
Любит поэтов Давид — Давид есть слава поэтов.
Любит Давид познавать священные чувствия древних,
Клады старинных умов искушенным разыскивать духом,
И проникать к истокам святым небесной софии [9].
Любит поэтов Давид — Давид есть слава поэтов.
Хочет Давид окружить себя сонмом премудрых ученых,
Чтобы дворец его стал всех искусств и красою и славой,
Чтобы в усердных умах обновилася древняя мудрость.
Любит поэтов Давид — Давид есть слава поэтов.
Зиждет строенье свое Давид на камне высоком [10],
Чтобы блаженный чертог Христу был обителью прочной.
Счастлив Давид своею рукой воздвигать его стены,

Дабы возвысился храм высокопрестольному богу.
Любит поэтов Давид — Давид есть слава поэтов.
Пусть процветет творенье его по милости Божьей,
Пусть пособляют ему крылатые вестники неба,
Пусть весь сонм святых придет на подмогу Давиду!
Любит поэтов Давид — Давид есть слава поэтов.
Флейта, проснись и прославь моих любимых стихами!
Как я могу, юный Карл, промолчать о тебе в песнопеньях?
Ты — достойная ветвь твоего великого рода,
Ты — отрада дворца, надежда вернейшая царства,
Вот потому-то тебя прославляют и флейты поэтов.
Флейта, проснись и прославь моих любимых стихами!
Будь же здрава и ты, посвященная господу дева,
Гисла, Давида сестра; будь прославлена этою песней.
Любит тебя нареченный жених твой во славе небесной,
Ибо ему одному предалась ты душою и телом.
Флейта, проснись и прославь моих любимых стихами!
Ротруде песня мила — у Ротруды ум просветленный,
И добродетельный нрав, и краса, что меж дев знаменита.
Дева, несись по белым полям [11], по древним посевам,
И собирай их цветы, и свивай в венок себе пестрый.
Флейта, проснись и прославь моих любимых стихами!
Ныне вы Берту должны восхвалить, достославную деву,
О Пиериды, со мной, коли вам мои песни приятны.
Истинно, дева сия достойна любых песнопений.
Флейта, проснись и прославь моих любимых стихами!
Ныне же наша свирель воспоет и вас, о девицы [12],
Вас, что летами нежны, но зрелы благостью нравов,
Вас, чьих лиц красота одной добродетели ниже.
Флейта, проснись и прославь моих любимых стихами!
Как не назвать и тебя, примицерий высокого трона [13]?
Тот Аарон, Моисеевых дней иерей величайший,
Ныне, на диво двору, в тебе обрел воплощенье.
Носишь пред богом священный эфод и алтарное пламя [14],
Ключ от небес — в речах, а в руках твоих ключ от часовни,
Слово молитвы твоей охраняет от недруга паству.
Флейта, проснись и прославь моих любимых стихами!
Тирсис любит стихи — прославим же Тирсиса песней [15].
Череп у Тирсиса гол, но сверкает он верностью истой,
Сердце же чуждо греха и сияет чистейшей любовью.
Верностью Тирсис хорош и великому дорог Давиду.
Флейта, проснись и прославь моих любимых стихами!
Вот, увлажненный дождем, Меналк спускается с кручи [16],
Чтобы в палатах дворца с любовью прочесть эти строки —
Люб поэтам Меналк, зане он достоин любови.
Флейта, проснись и прославь моих любимых стихами!
Ныне же, грамотка, в путь: беги в Давидовы сени,

Всех, кто дорог и мил, смиренным приветствуя словом
И расточая друзьям в благозвучных строках поцелуи.
А у Давидовых ног раскинь свои тонкие песни,
Десять тысяч раз передай ему наши приветы
И припади к священным стопам с лобызанием сладким.
Вслед за сим повернись к моим любезным с приветом,
Славных покои девиц посети с ласкательной песней
И отправляйся туда, где Юлий раскинулся станом [17],
И возвести молодому воителю многую славу.
А от него поспеши к часовне святой государя,
Всюду из уст рассевая слова привета и мира;
Кто бы тебе на пути ни предстал из крещеного люда,
Будь то муж, отец или брат, юнец или старец,—
Всем из ласковых уст помавай миротворной оливой [18],
И говори им: Гомер желает вам вечного счастья,
И да хранит вас господь вседержитель всегда и повсюду.
Паче же всех да хранит Христос вовеки Давида:
Наша в Давиде любовь, Давид нам всего драгоценней,
Любит поэтов Давид — Давид есть слава поэтов,
Любит Давид Христа — Христос есть слава Давида.
　　После сего направь ты стопы к садам благовонным,
Где обычайно Гомер обитал с сыновьями своими.
Там подивися цветам прекрасным и травам целебным,
И посмотри, хорошо ли растут, надежно ли крепнут,
И не польстился ли враг на них своей хищной рукою,
И отовсюду ли их ограждают плетни и заборы,
Все ли в порядке в дому, и здоровы ли милые дети.
Ежели все хорошо, возрадуйся милости божьей
И к сыновьям обратись: «Сохраняйте свой стан добронравно,
И дожидайтесь, пока вернется Гомер-песнопевец.
Пусть ваши дом и двор избегут и коварного вора,
И душегуба-огня; пусть хранит вас господь-громовержец.
Будьте здоровы, сыны, моя любовь и забота,
Будьте здоровы, а песни мои отнесите Давиду».
Любит поэтов Давид — Давид есть слава поэтов,
Любит Давид Христа — Христос есть слава Давида.

Эйнхард

Среди писателей каролингского возрождения Эйнхард занимает особое место. Его сочинение «Жизнь Карла Великого» и по значительности материала и по художественным достоинствам является лучшим памятником раннесредневековой биографии. В ней с искренностью, достоверностью и в то же время с чувством меры писатель освещает личность и деятельность императора, которого он хорошо знал, будучи его младшим современником и ближайшим сподвижником.

Эйнхард родился около 770 г. в Майнцском округе зарейнской Германии. Первоначальное образование он получил в Фульдском монастыре. В учении он обнаружил блестящие способности и был послан (в 791—794 гг.) в Ахен ко двору Карла Великого для дальнейшего обучения в Дворцовой школе. Под руководством Алкуина он получил прекрасное разностороннее образование. Особенную склонность он, по-видимому, проявил в архитектуре, и потому получил академическое прозвище Веселиила (в Библии — строитель Соломонова храма). Он руководил постройкой дворца и базилики в Ахене и моста на Рейне. Был приближенным и любимцем Карла, выполнял даже дипломатические поручения при поездках в Рим к папскому двору (в 806 г.). По его совету Карл объявил в 813 г. своего сына Людовика соправителем. После смерти Карла, в 814 г., Эйнхард занял пост личного секретаря Людовика, а позднее, в 817 г. стал советником его сына Лотаря. Междоусобица между Людовиком и его сыновьями заставила Эйнхарда отстраниться от политики. В 830 г. он уехал в ранее основанный им монастырь в Зелигенштадте на Майне, где стал аббатом и умер в 840 г.

Свое главное сочинение, «Vita Karoli Magni», Эйнхард написал между 817 и 821 г. (оно помещено в каталоге аббатства Рейхенау, составленном в 821 г.). В 840 г. аббат Рейхенау, поэт Валахфрид Страбон переиздал это сочинение, разделив его на главы и снабдив прологом, в котором дал некоторые сведения об Эйнхарде, подтверждаемые и другими писателями: Алкуином и Теодульфом. Источниками Эйнхарда были летописи, документы, но основной материал дали ему собственные наблюдения. Из исторических материалов он отобрал лишь самые важные и главным образом те, которые позволяли представить его героя в лучшем свете. В предисловии к книге он сам говорит о своем намерении написать биографию Карла, прославляющую его в веках. Поэтому

в сочинении заметна тенденциозность в освещении событий (саксонская война, например, представлена не как агрессивная, а как оборонительная, обходится молчанием жестокость Карла по отношению к саксам и аварам и др.), встречаются фактические и хронологические неточности. Карл изображен как идеальный правитель, образец всех добродетелей. Он — воплощение ума, твердости духа, благородства. Это любящий отец, верный друг, бесстрашный полководец и искусный строитель, умный дипломат и ревностный защитник церкви. Подробно описывается личная жизнь Карла, его характер, обычаи, интересы. И все же сочинение Эйнхарда не панегирик, а живая литературная биография исторического деятеля, сохраняющая в похвалах известную умеренность.

В «Жизни Карла» нетрудно увидеть попытку автора вернуться к приемам античной историографии. Она написана в подражание Светониевой «Жизни двенадцати цезарей». Воспроизводя биографическую схему Светония, заимствуя у него приемы композиции, стиль, даже фразеологию, Эйнхард смог полно и всесторонне изобразить своего героя. По-видимому, биография составлялась преимущественно по образцу «Жизни Августа»: в начале идут краткие сведения о предках (гл. 1—3), затем рассказывается о внутренней и внешней политике Карла (4—17), после этого следует рассказ о частной и семейной жизни, дается его портрет и описание личных качеств, отношение к религии, науке, наконец, описывается болезнь, смерть, погребение, приводится завещание (18—33). Отдельные выражения Эйнхард заимствовал и из биографий Веспасиана, Тита, Тиберия, Клавдия. Намеренно стремясь описать словами Светония своего героя, он как бы продолжал этим серию портретов императоров и таким образом принял эстафету античного искусства литературной биографии.

Изложение Эйнхарда лаконично, язык чистый и ясный. В средние века «Жизнь Карла» пользовалась большой популярностью; 80 с лишним рукописей неоспоримо доказывают, как высоко было оценено потомками это сочинение, которое и до сих пор остается одним из самых ценных источников для истории каролингского периода.

Из второстепенных сочинений Эйнхарда известны: сочинение «О перенесении мощей св. Марцеллина и Петра», небольшой трактат теологического содержания, и собрание писем. Эйнхарду приписывается участие в составлении «Лоршских (или «королевских») анналов», описывающих события с 741 по 839 г., но вопрос этот пока остается спорным.

ЖИЗНЬ КАРЛА ВЕЛИКОГО

Решив описать частную жизнь, обычаи и, в какой-то мере, подвиги моего государя и воспитателя Карла, выдающегося и заслуженно прославленного короля, я стремился сделать это с возможно большей краткостью, стараясь не пропустить ничего из того, что могло дойти до меня, и вместе с тем не возбудить многословным рассказом неудовольствия читателей, которые с пренебрежением относятся ко всему новому; боюсь только, что вряд ли

возможно избежать недовольства новыми сочинениями со стороны тех, кто пренебрегает даже и произведениями древних писателей, весьма образованных и красноречивых. И хотя, несомненно, немало есть людей, которые посвятили досуг литературным занятиям, которые не считают современный мир столь ничтожным, чтобы все происходящее теперь предавать молчанию и забвению как недостойное памяти, и которые предпочитают в надежде на долговечность славы рассказывать о прекрасных деяниях других людей, чем, ничего не записывая, обрекать на забвение потомством собственную славу,— тем не менее, думается, и я имел право взяться за сочинение подобного рода, поскольку никто, я уверен, не мог бы правдивее меня рассказать, как говорится, с добросовестностью очевидца, о событиях, которые я сам пережил и оценил; да и не мог я знать наверное, возьмется ли писать об этом кто-либо другой. И я почел, что лучше мне вместе с другими писать об одном и том же, сохранив это для потомства, чем допустить, чтобы исчезли во мраке забвения славная жизнь самого замечательного и великого короля своего века и его исключительные, почти неподражаемые для людей нашего времени, подвиги. Была и другая, по-моему, небезосновательная причина, которая сама по себе уже могла быть достаточной, чтобы побудить меня к написанию этого труда, а именно: щедрая его забота обо мне и постоянные дружественные отношения, в которых я находился с ним самим и с его детьми со времени моего пребывания при дворе [1]. Он меня так привязал к себе и сделал своим должником, как при жизни, так и после смерти, что все по праву могли бы считать меня неблагодарным и за это осуждать, если бы я, забыв все оказанное мне добро, обошел молчанием славнейшие и блестящие деяния человека, которому я стольким обязан, и допустил, чтобы жизнь его осталась без литературных воспоминаний и должной похвалы, будто он никогда и не существовал. Правда, чтобы написать и потом изложить это по порядку, мало не то что моего слабого и скромного дарования, которого почти и нет,— самому красноречию Туллия пришлось бы потрудиться над этим.

И вот мой труд, который должен сохранить память о превосходном и великом деятеле; здесь, кроме его подвигов, ты ничему не подивишься, разве что, быть может, тому, что я, варвар [2], едва владеющий латинской речью, вообразил, что смогу написать полатыни что-то прилично и толково и что посмел не обратить внимания на слова Цицерона из первой книги «Тускуланских бесед», где он, говоря о латинских писателях, выразился вот как: «Излагать письменно свои мысли, не будучи в состоянии ни расположить их, ни отделать, ни доставить какое-то удовольствие читателю, свойственно лишь человеку, безрассудно злоупотребляющему и досугом, и сочинительством» [3]. Это суждение знаменитого оратора могло бы, пожалуй, удержать меня от моего

намерения, не реши я заранее лучше подвергнуться суду людей и рискнуть своим скромным талантом, написав это, чем, щадя себя, оставить без внимания память о столь великом человеке.

4. О его рождении, младенчестве или даже детстве я считаю бессмысленным писать, поскольку нигде не сохранилось каких-либо записей и нет теперь никого из переживших его людей, кто бы мог дать сведения об этом; поэтому я сразу же перейду, оставив в стороне неизвестное, к изложению и описанию его деятельности, характера и других сторон его жизни, таким, однако, образом, чтобы сначала рассказать о его деяниях у себя в королевстве и за его пределами, потом — о его характере и любимых занятиях, наконец — о его управлении и его кончине, не пропустив ничего из того, что важно или необходимо знать.

5. Из всех войн, которые он вел, первой была война аквитанская, начатая, но не законченная, еще его отцом[4]; он предпринял ее, рассчитывая на скорое окончание, еще при жизни брата[5], чьей помощи он даже просил. И хотя брат, обещав содействие, обманул его, он продолжал поход весьма решительно и намеревался не оставлять своего начинания и не отступать от однажды предпринятого дела, пока настойчивостью и выдержкой он не достигнет намеченной цели. Он принудил Гунольда[6], который по смерти Вайфария пытался завладеть Аквитанией и возобновить почти уже окончившуюся войну, покинуть Аквитанию и бежать в Васконию[7]; но и там, не оставляя его в покое, он переходит реку Гаронну и через послов предлагает герцогу Васконии Лупу выдать перебежчика,— в случае же промедления грозит потребовать его силой оружия. Тогда Луп, последовав здравому совету, не только выдал Гунольда, но и сам, вместе с областью, которой управлял, покорился его власти.

6. Уладив дела в Аквитании, покончил он с этой войной и, после того как его соправитель покинул этот мир, предпринял по просьбе и настоянию римского епископа Адриана[8] войну против лангобардов[9]. Такую войну по просьбе папы Стефана вел еще его отец, и с немалыми трудностями, ибо некоторые из знатнейших франков, с которыми он обычно совещался, так противились его замыслу, что даже открыто заявляли о своем намерении оставить короля и вернуться домой. Тем не менее война против короля Айстульфа[10] была тогда начата и очень скоро окончилась[11]. Но хотя, как будто, причина войны и у него и у отца была схожей, или, вернее, той же самой,— не схожи, как известно, были трудности сражений и их результаты. Пипин, после нескольких дней осады Тицена[12], заставил короля Айстульфа выдать заложников и вернуть римлянам отнятые у них города и крепости, а также дать клятвенное заверение, что он не станет вновь захватывать возвращенного; что же касается Карла, то он окончил начатую войну не раньше чем принудил к сдаче короля Дезидерия[13],

измученного длительной осадой, а сына его Адальгиза, на которого, по-видимому, возлагались всеобщие надежды, заставил покинуть не только свое королевство, но и пределы Италии, вернул римлянам все отнятое у них, расправился с Руотгаутом, наместником Фриульского герцогства, замышлявшим новый мятеж [14], подчинил своей власти всю Италию и поставил над ней королем сына своего Пипина [15]. Я охотно рассказал бы здесь, как опасен был при вступлении в Италию переход через Альпы и с каким трудом франки преодолели непроходимые горные хребты, устремленные ввысь утесы и острые скалы, не будь у меня намерения уделить в настоящем труде больше внимания образу жизни Карла, чем подробностям войн, которые он вел. Тем не менее исходом этой войны было: покорение Италии, пожизненная ссылка короля Дезидерия, изгнание его сына Адальгиза за пределы Италии, и возвращение главе римской церкви Адриану всего, что было захвачено лангобардскими королями.

7. По окончании этой войны была возобновлена война против саксов, которая казалась как бы прерванной на время. Никакая из войн не была столь продолжительной, столь жестокой и столь тяжелой для франкского народа, потому что саксы, подобно всем почти племенам, населявшим Германию, по природе свирепые, преданные идолопоклонству и враждебные нашей вере [16], не считали бесчестным осквернять или преступать и божеские и человеческие законы. Были и другие причины, которые в любой миг могли привести к нарушению мира, а именно: так как граница между нашими и их пределами почти повсюду идет по равнинам, кроме немногих мест, где обширные леса или пограничные цепи гор четко разделяют земли обоих народов, то здесь беспрестанно происходили то убийства, то грабежи, то поджоги. Все это так ожесточило франков, что они сочли за должное не только воздавать саксам тем же самым, но вступить против них в открытую войну. Так и началась война против саксов, которая велась непрерывно в течение 33-х лет [17] с великим ожесточением с обеих сторон, но с бо́льшими потерями для саксов, нежели для франков. Она могла бы кончиться и раньше, если бы не вероломство саксов. Трудно сказать, сколько раз они, побежденные и смиренно молившие о пощаде, сдавались на милость короля, обещали повиноваться его приказаниям, безотлагательно выдавали требуемых от них заложников и принимали отправленных к ним послов. Несколько раз они были так усмирены и обессилены, что даже изъявляли готовность отказаться от идолопоклонства и принять христианскую веру [18]. Но, сколько бы раз они ни проявляли склонность сделать это, они всегда были готовы от этого отступиться [19]. Так что нельзя даже сказать, что́ из двух было для них легче: ведь со времени начала войны против них не проходило и года, чтобы не случилось с ними подобной перемены. Но никакая их изменчивость не могла победить великодушия короля и твердости

его духа, неизменной как в несчастьи, так и в счастьи, и не могла отклонить его от предпринятого дела. Ибо никогда он не допускал, чтобы они безнаказанно совершали нечто подобное, но мстил им за вероломство и надлежащим образом карал их, выступая против них сам, или посылая войско под командованием своих графов [20], пока, наконец, не сломил всех, кто обычно оказывал ему сопротивление, и не подчинил их своей власти; он снял с местожительства 10 тысяч человек, вместе с женами и детьми, населявших оба берега Эльбы и расселил тут и там по разным местам Галлии и Германии. Тянувшаяся столько лет война, как известно, окончилась тем, что саксы приняли условия, поставленные им королем: отречься от идолопоклонства и старых отцовских обрядов, принять христианскую веру с ее таинствами и, соединившись с франками, образовать с ними один народ.

8. В этой войне, несмотря на ее продолжительность, сам он сразился с врагом только в двух битвах: первый раз возле горы Осненги, в месте, называемом Теотмели [21], второй раз у берегов Газы [22], и это в течение одного и того же месяца с промежутком в несколько дней. В обеих битвах враг был так разбит и разгромлен, что не отваживался в дальнейшем ни вызывать короля на бой, ни оказывать сопротивления его натиску, разве что в местах, укрепленных для обороны. Тем не менее в этой войне погибло много людей как из франкской так и из саксонской знати, занимавших высшие и почетные должности.

Война прекратилась, наконец, через 33 года, но тем временем в различных краях земли было начато столько тяжелых войн против франков [23], и король вел их с таким искусством, что при мысли об этом справедливо можно недоумевать, чему из двух следует больше удивляться: выдержке ли его в преодолении трудностей или счастью. В самом деле, эту войну он предпринял еще за два года до похода в Италию и, хотя велась она без перерыва, все же нигде и ни в какой другой войне им ничто не было упущено и ни от какой иной столь же тяжелой схватки он не уклонился. Ибо этот король, превосходя всех правителей своего времени и отменным умом и величием души, никогда ни от каких своих начинаний и свершений не отказывался ни из-за трудностей, ни из страха опасности, но умел стерпеть и перенести все, сообразно происходящему — при неудаче не падая духом, а при удаче не обольщаясь обманчивыми соблазнами фортуны.

17. Хотя он и был таков во всем, что касалось расширения королевства и подчинения иноземных народов, и делами подобного рода занимался постоянно, он вместе с тем начал в различных местах много работ для украшения и блага государства и некоторые из них даже довел до конца. Среди таких начинаний заслуженно могут быть названы как самые замечательные, например, базилика святой Богородицы в Ахене, сооруженная с удивительным искусством, и мост на Рейне в Майнце длиной в пятьсот

шагов (ибо такова там ширина реки); однако за год до кончины Карла мост сгорел до тла и не мог быть восстановлен из-за скорой его смерти, хотя и была у него мысль построить вместо деревянного каменный мост. Он положил начало строительству дворцов превосходной работы, один недалеко от города Майнца, возле виллы по названию Ингельхейм [24], и другой в Неймегене [25] на реке Ваал, протекающей вдоль южной части Батавских островов. Но прежде всего во всем своем государстве, где бы он ни узнавал о рухнувших от ветхости священных постройках, он приказывал епископам и аббатам, на чьем попечении они находились, восстанавливать их, а своим посланцам [26] предписывал следить за выполнением приказа. Снарядил он также флот для войны против норманнов, построив для этого корабли на галльских и германских реках, впадающих в Северный океан. И, так как норманны беспрестанно опустошали берега Галлии и Германии набегами, он расставил во всех портах и устьях рек, которые казались пригодными для принятия кораблей, караулы и сторожевые суда и такими мерами предосторожности лишил врага возможности высадки. То же он сделал на юге, на берегах Нарбонской и Септиманской провинций, и даже по всему побережью Италии до самого Рима — против мавров, в недавнее время [27] начавших заниматься морским разбоем. Вот почему при его жизни ни Италия со стороны мавров, ни Галлия и Германия со стороны норманнов никаких значительных потерь не понесли; только Центумцеллы [28], город Этрурии, в результате предательства был взят маврами и опустошен, да во Фризии несколько островов, прилегающих к берегам Германии, были разгромлены норманнами.

18. Таков он был в том, что касалось защиты, расширения и вместе с тем украшения государства. Теперь я намерен приступить к рассказу о его духовных качествах, его необыкновенной выдержке в каком угодно, и в счастливом и в несчастливом, положении, а также о том, что относится к его частной и семейной жизни [29].

После смерти отца, разделив с братом власть, он переносил его зависть с таким терпением, что всем казалось удивительным, как это могло даже не вызвать в нем гнева. Затем под влиянием уговоров матери, он женился на дочери лангобардского короля Дезидерия, но по неизвестной причине спустя год развелся с ней и взял в жены Хильдегарду, женщину знатного происхождения из племени швабов. Она родила ему трех сыновей: Карла, Пипина и Людовика и столько же дочерей: Гертруду, Берту и Гислу. Кроме того, Карл имел еще трех дочерей: Теодраду, Гильтруду, Руотгайду, двух от жены Фастрады из племени восточных франков, т. е. германцев, третью от какой-то наложницы, имя которой не приходит мне сейчас на память. После смерти Фастрады женился он на алеманке Лиутгарде, от которой детей не имел. По смерти этой имел он трех наложниц: Герсуинду из Саксонии,

от которой родилась дочь по имени Адальтруда, Регину, родившую ему Дрогона и Гуга, Адалинду, от которой родился Теодорих. Мать его Бертрада до старости была у него в большой чести. Он выказывал ей столь высокое почтение, что никогда между ними не возникло никакого раздора, за исключением ссоры при разводе с дочерью короля Дезидерия, на которой он женился по ее совету. Она умерла после смерти Хильдегарды, когда уже увидела трех внуков и столько же внучек в своем доме. Он похоронил ее с великими почестями в той же самой базилике святого Дионисия [30], где покоился отец. Была у него единственная сестра по имени Гисла [31], с девичьих лет посвященная религиозной жизни; к ней он, как и к матери, относился с большой нежностью. Она умерла за несколько лет до его кончины в монастыре, где жила.

19. Детей своих он считал нужным воспитывать так, чтобы как сыновья, так и дочери прежде всего изучали благородные искусства, к которым он и сам прилагал старание. Затем он велел сыновьям, как только позволял их возраст, упражняться в верховой езде, по обычаю франков, учиться владению оружием и охоте; дочерям же он приказал учиться прясть шерсть [32], трудиться за прялкой и веретеном и совершенствоваться во всяком добронравии, чтобы не отупеть в праздности.

Из всех этих детей еще до своей смерти он потерял двух сыновей и одну дочь: старшего Карла, Пипина, которого сделал правителем Италии, и Гертруду, старшую из дочерей, обрученную с греческим императором Константином [33]. Из них Пипин оставил после себя одного сына, Бернгарда, а также пять дочерей — Аделаиду, Атулу, Гунтраду, Бертайду, Теодраду. По отношению к ним король особенно явно показал свое добросердечие, когда по смерти сына сделал внука его наследником и внучек позволил воспитывать вместе со своими дочерьми. Смерть сыновей и дочери, при всей отличавшей его твердости духа, переносил он недостаточно стойко, и по своему добросердечию, которое его прославило не меньше, не в силах был сдерживать слез. Даже при известии о смерти римского папы Адриана, с которым его связывала особенная дружба, плакал он так, как если бы потерял брата или дорогого сына. Ибо был он весьма расположен к дружбе, легко сближался с людьми, неуклонно соблюдал верность и свято чтил тех, с кем связал себя дружескою близостью. О воспитании сыновей и дочерей он проявлял такую заботу, что, находясь дома, не обедал никогда без них, и никогда без них не путешествовал: сыновья ехали верхом рядом с ним, а чуть сзади следовали дочери под охраной телохранителей, специально для этого назначенных. Были они очень красивы и так горячо им любимы, что — дивно сказать — ни одну из них он не хотел отдать в жены ни кому-либо из своих, ни чужеземцу, но держал всех при себе до самой своей смерти, говоря, что не может обходиться без их общества. И из-за этого, счастливый во всем другом, испытал он козни превратной

судьбы. Однако он делал вид, будто и не возникало никогда никакого подозрения и не расходились слухи о позоре какой-либо из дочерей [34].

21. Он любил иноземцев и очень заботился об оказании им надлежащего приема, так что их многочисленность не без основания казалась обременительной не только для двора, но и для всего государства. Сам же он, по своему великодушию, отнюдь не тяготился этим, потому что даже весьма ощутимые неудобства вознаграждались здесь славой щедрости и ценой доброго имени.

22. Телосложения он был дородного и крепкого, роста высокого, но не сверх меры,— ведь, как известно, рост его измерялся семью его стопами,— верхняя часть головы округленная, глаза большие и живые, нос чуть больше среднего, красивая седина, лицо открытое и веселое. Все это придавало его наружности, стоял он или сидел, внушительность и достоинство; и хотя шея его, казалось, была толста и несколько коротка, а живот слегка выдающийся, однако соразмерность остальных частей тела скрывала это. Походка его была твердой и вся осанка мужественной, только голос, хотя и звучный, не совсем соответствовал телосложению. Здоровьем он отличался превосходным, лишь в последние четыре года перед смертью у него часто случались приступы лихорадки и под конец он стал прихрамывать на одну ногу. И даже тогда поступал он больше по своему усмотрению, чем по совету врачей, которые стали ему почти ненавистны за то, что убеждали его отказаться от привычной жареной пищи и привыкать к вареной. Он постоянно упражнялся в верховой езде и охоте, что было обычаем его народа: едва ли найдется на земле другое племя, которое могло бы равняться франкам в этом искусстве. Любил он еще пар природных горячих источников, часто укреплял свое тело плаванием [35] и был столь искусен в этом, что никто, по справедливости, не мог превзойти его. Поэтому он и построил себе дворец в Ахене, и жил там постоянно в последние годы жизни до самой смерти. И приглашал он к купанию не только сыновей, но сановников и друзей, нередко даже и свиту и толпу телохранителей, так что иной раз до ста и даже более человек купались вместе с ним.

23. Одежду он носил отечественную, т. е. франкскую. На тело надевал полотняную рубашку и полотняные штаны, сверху тунику, окаймленную шелком, и набедренник; затем надевал обмотки на голени и башмаки на ноги; зимой прикрывал плечи и грудь камзолом, изготовленным из шкур выдры или соболя, набрасывал воинский плащ цвета морской воды и всегда был опоясан мечом, рукоятка и перевязь которого были из золота или серебра. Иногда он носил даже меч, украшенный драгоценными камнями, но это только в особо торжественных случаях или для приема иноземных гостей. Что касается иноземной одежды, хотя бы и очень красивой, он относился к ней с пренебрежением и никогда не позволял

себе надевать ее; только в Риме, один раз по желанию папы Адриана, в другой — по настоянию его преемника Льва, он облачился в длинную тунику и хламиду и даже обулся в башмаки, сшитые по римскому образцу. В дни больших праздников появлялся он в златотканном одеянии, в башмаках, украшенных драгоценными камнями, в плаще, скрепленном золотой пряжкой, в короне тоже из золота и украшенной драгоценностями. В прочие же дни его одежда мало чем отличалась от обычной простонародной одежды.

24. В пище и питье он был воздержан, особенно в питье, потому что не терпел пьянства ни в ком, тем более в себе самом и в своих близких. В пище он, все же, не мог быть столь же воздержанным и часто жаловался, что пост вреден его здоровью. Пиры он устраивал редко, да и то лишь в дни особых торжеств, но тогда уж для множества гостей. К обычному обеду подавалось только четыре блюда [36], кроме жаркого, которое охотники обычно вносили на вертеле и которое он ел охотнее всякого другого кушанья. За обедом он слушал какую-нибудь музыку или чтение. Читали ему истории и деяния древних. Доставляли ему удовольствие и книги блаженного Августина, особенно те, которые называются «О граде Божьем». В отношении вина и прочих напитков был он так воздержан, что за обедом редко пил более трех раз. Летом, после дневного завтрака, он съедал несколько плодов и запивал один раз, затем, сняв одежду и обувь, как он это делал на ночь, отдыхал часа два или три. Ночью спал так, что сон его прерывался раза четыре или пять, и он не только просыпался, но даже и вставал. Когда он обувался и одевался, он впускал к себе не только друзей, но даже, если дворцовый граф [37] сообщал о каком-то спорном деле, которое нельзя было решить без согласования с ним, приказывал тотчас ввести тяжущиеся стороны и, ознакомившись с делом, произносил приговор, как если бы сидел на судейском месте. И не это одно, но вообще все, что следовало ему сделать в этот день, или какие нужно было отдать распоряжения служащим, он обдумывал в это же время.

25. Красноречием он был одарен богатым и изобильным и мог с большой ясностью выражать все, что бы ни захотел. Не довольствуясь только отеческим языком, он прилагал старание к изучению языков иностранных. Латинским языком он владел так хорошо, что обычно молился на нем, так же как и на родном; что касается греческого языка, он умел лучше его понимать, чем говорить на нем. Вообще же он был так речист, что мог бы даже показаться многословным. Благородными искусствами он занимался с величайшим усердием и, высоко ценя знатоков в этой области, оказывал им большие почести. Уроки грамматики он брал у старого диакона Петра Пизанского, в прочих науках наставником его был сакс из Британии Альбин, по прозвищу Алкуин, тоже диакон, человек всесторонне образованный. Под его

руководством он много и времени и сил положил на изучение риторики, диалектики и особенно астрономии. Он изучал искусство вычисления и с большим вниманием и любознательностью наблюдал за движением звезд. Пытался он также писать и с этой целью имел обыкновение держать под подушкой в кровати навощенные дощечки и листки пергамента, чтобы в свободное время приучать руку выводить буквы; но несвоевременно и слишком поздно начатый труд принес мало успеха.

26. Приобщенный с раннего детства к христианской религии, он относился к ней с глубочайшим благоговением; потому и построил он в Ахене необычайной красоты базилику и украсил ее золотом, серебром и светильниками, а также решетками и дверями из массивной бронзы. Не имея возможности достать из какого-либо другого места колонны и мрамор для ее сооружения, он позаботился о доставке их из Рима и Равенны. В церковь он ходил неутомимо, к утрене и вечерне, даже к всенощной и обедне, до тех пор, пока позволяло ему здоровье, и очень заботился о том, чтобы все, что в ней происходит, исполнялось с величайшим достоинством, часто напоминая церковным сторожам, чтобы не разрешали они вносить в церковь или оставлять в ней что-либо недолжное или грязное. Он приобрел для церкви священные сосуды из золота и серебра, а также ризы для священников в таком количестве, что при торжественном богослужении даже у привратников, самых низших церковных чинов, не было необходимости служить в обычной одежде. Тщательнейшим образом исправил он порядок чтений и песнопений [38]. Ведь и в том и в другом он был весьма искусен, хотя сам публично не читал и пел разве что потихоньку и в хоре.

27. Что касается поддержки бедных и доброхотного даяния, которое греки называют милостыней, он проявлял об этом ревностную заботу не только в своем отечестве и в своем государстве, но и в краях заморских, в Сирии и Египте, а также в Африке, в Иерусалиме, в Александрии и Карфагене; где бы только он ни узнавал, что христиане живут в бедности, обычно посылал деньги. Потому он так и стремился к дружбе с королями заморскими, чтобы оказывать христианам, живущим под их властью, какое-то облегчение и утешение.

Более других святых и почитаемых мест он чтил собор святого Петра апостола в Риме, в сокровищницу которого им были пожертвованы огромные богатства как в золоте, так и в серебре, а также в драгоценных камнях. Много даров неисчислимой ценности послал он епископам. И во все время своего правления ни о чем он так не заботился, как о том, чтобы город Рим его трудом и старанием восстановил былое значение, и чтобы собор святого Петра благодаря ему не только оставался в целости и сохранности, но даже, на его средства, по украшению и дарам превосходил всякую другую церковь. Но хотя и почитал он Рим так сильно, между тем

за 47 лет своего правления лишь четыре раза выезжал туда [39] для исполнения обетов и на молитвы.

28. Причиной его последней поездки было, однако, не только это, но и другое. Римляне нанесли папе Льву тяжкое оскорбление: вырвав ему глаза и отрезав язык, они принудили его прибегнуть к защите короля. Поэтому-то, прибыв в Рим ради восстановления слишком уж пошатнувшегося положения церкви, он провел там целую зиму. Тогда и получил он звание императора и Августа [40]. Вначале это было ему так тягостно, что, по его уверению, знай он заранее о намерении папы, он не вошел бы в этот день в церковь, хотя и был большой праздник. Тем не менее зависть ромейских императоров [41], недовольных принятием им такого титула, перенес он с большим терпением и победил их строптивость великодушием, каким, без сомнения, намного превосходил их, отправляя к ним частые посольства и обращаясь к ним в письмах как к братьям.

29. По принятии императорского титула, когда он увидел, как много недостатков в законах его народа,— ведь у франков было два закона [42], во многих местах сильно разнящихся, задумал он добавить к ним недостающее, согласовать расхождения, исправить неверно записанное и искаженное; но ничего из того не сделал, разве только добавил в законы кое-какие главы, да и то незаконченные. Все же он приказал собрать у всех подвластных ему народов неписаные законы и изложить их письменно. Повелел также переписать и сохранить для потомства варварские старинные песни, в которых воспевались деяния и битвы древних королей. Он положил начало и составлению грамматики родного языка.

Вслед за тем и месяцам он дал названия на своем родном языке, тогда как до тех пор они носили у франков имена частью латинские, частью варварские. Точно так же он приискал наименования двенадцати ветрам, в то время как прежде едва могли найти названия лишь четырем ветрам [43]...

30. Под конец жизни, уже ослабленный болезнью и старостью, призвал он к себе сына своего Людовика, короля Аквитанского, единственного из сыновей Хильдегарды, оставшегося в живых, и перед собравшимися со всего королевства знатнейшими франками и при всеобщем согласии торжественно объявил его соправителем всего королевства и наследником императорского титула, а потом, возложив на его голову корону, приказал именовать его императором и Августом. Это его решение было принято всеми присутствующими с большим одобрением, потому что мысль о благе государства, казалось, была внушена ему свыше. Этот поступок и возвысил его достоинство и нагнал немало страху иноземным народам. Отослав затем сына в Аквитанию, сам он, по своему обыкновению, как ни удручен был старостью, отправился на охоту в окрестности ахенского дворца и, проведя за такого рода занятием остаток осени, вернулся в Ахен к ноябрьским календам.

Оставшись там на зиму, в январе схватил он сильную лихорадку и слег в постель. Тотчас же, как обычно при лихорадке, он перестал есть, полагая, что таким воздержанием можно отогнать, или по крайней мере ослабить, болезнь. Но, когда к лихорадке добавилась боль в боку, которую греки называют плевритом, а он все еще соблюдал пост и подкреплял тело лишь очень скудным питьем, он скончался на седьмой день болезни, после принятия святого причастия, на 72 году жизни и на 47 году правления, в пятый день до февральских календ, в третьем часу дня [44].

31. Его тело, торжественным образом омытое и приготовленное для погребения, при великом плаче всего народа было внесено в церковь и погребено. Сначала колебались, где следует положить его, потому что сам он при жизни никаких указаний об этом не дал. В конце концов все согласились, что нигде нельзя похоронить его с большей почестью, кроме как в той базилике, которую он сам построил в том же городе на свои частные средства из любви к Богу и Господу нашему Иисусу Христу и в честь святой присно-девы Богородицы. Здесь и был он погребен в самый день своей смерти, а на гробнице воздвигли позолоченную арку с его изображением и надписью. Надпись гласила: «В этой могиле покоится тело Карла, великого и православного императора, который достойно расширил королевство франков и правил счастливо 47 лет. Умер в возрасте 70 лет, в год воплощения Христа 814, в VII индиктион [45], в 5 день до февральских календ».

32. Многие знамения предвещали приближение его конца, так что не только другие, но даже и он сам чувствовал себя под угрозой. В течение трех последних лет его жизни неоднократно происходили солнечные и лунные затмения, и на солнце 7 дней кряду видели несколько черных пятен. Портик, построенный с большим трудом между базиликой и дворцом, внезапно рухнул и весь развалился в день Вознесения [46]. Также мост на Рейне у Майнца, который он сам построил в течение десяти лет с великим трудом и с таким изумительным искусством, что казалось он может выдержать целую вечность, неожиданно за три часа сгорел и от него, кроме частей, покрытых водой, не осталось даже ни одной щепки. И сам он однажды, во время последнего похода в Саксонию против Готфрида, короля данов, когда перед восходом солнца, покинув лагерь, отправлялся в путь, то увидел вдруг падавший с неба огонь, с ослепительным блеском пролетевший в безоблачном просторе справа налево. И пока все дивились, что бы это знамение могло предвещать, конь, на котором он сидел, внезапно уткнулся головой в землю и упал, сбросив его с такой силой, что застежка его плаща лопнула и перевязь с мечом порвалась, и он, обезоруженный и без плаща [47], был поднят подоспевшими слугами. Даже копье, которое он крепко держал тогда в руке, выскользнув, отскочило на 20 или более футов. К этому добавилось еще частое сотрясение ахенского дворца и треск потолков в домах, где он жил

постоянно. Даже базилика, где он потом был погребен, была поражена молнией и золотое яблоко, украшавшее верхушку купола, ударом молнии было разбито и отброшено на примыкающий к базилике дом епископа. В этой же базилике по краю пояса, который огибал внутреннюю часть здания между верхними и нижними арками, шла надпись красными буквами, называвшая имя создателя этого собора; в последнем стихе ее читались слова: «Karolus princeps». Некоторыми было замечено, что в год его смерти, за несколько месяцев до кончины, буквы, составлявшие слово «princeps», настолько стерлись, что стали совсем неразборчивы. Но сам он или делал вид, или в самом деле относился ко всем этим знамениям с пренебрежением, как будто ничто из этого ничуть его не касалось [48].

Нитхард

Нитхард, видный представитель историографии первой половины IX в., родился около 790 г. Он был сыном дочери Карла Великого и поэта Ангильберта — «Гомера». Высокое происхождение и прекрасное образование обеспечили ему близость ко двору Людовика Благочестивого, а потом Карла Лысого, и соответствующее общественное положение и должности. В 840 г. Нитхард выполнял дипломатическую миссию ко двору Лотаря, старшего брата Карла Лысого, в 841 г. участвовал в битве при Фонтенуа, в 842 г. входил в состав комиссии по подготовке договора о разделе империи. Обо всем этом он сам упоминает в своем сочинении «Четыре книги истории» («Libri quattuor historiarum»). Оно было начато по поручению Карла Лысого в 842 г., в самый разгар междоусобной борьбы трех братьев — Лотаря, Людовика Немецкого и Карла Лысого,— и закончено год спустя в монастыре Сен-Рикье, где недолгое время Нитхард был аббатом. Есть известие (эпитафия монастырского поэта XI в. Микона), что умер он от ранения, полученного в бою. Но случилось ли это в 844 г. в сражении между Карлом и Пипином, или, по другой версии, в 858 г. в схватке с норманнами,— неизвестно. Более вероятным представляется ранний срок смерти, иначе непонятно, почему в его истории не нашло своего отражения такое важное событие, как Верденский договор 843 г. о разделе империи.

«История» охватывает период с 814 г. до начала 843 г. Нитхард начинает повествование с краткого панегирика Карлу Великому, затем в качестве вступления дает очерк правления Людовика Благочестивого, и, наконец, излагает основную тему — междоусобные раздоры сыновей этого императора с 840 по 842 г. В первой книге излагаются причины и начало раздоров, во второй — ход войны и решающая битва братьев при Фонтенуа, в которой Нитхард сражался на стороне Карла и Людовика против Лотаря. По первоначальному замыслу этим событием и должна была закончиться «История»; однако, опасаясь, по его словам, как бы кто-то другой, малоосведомленный, не истолковал превратно современную историю, а также желая использовать свое непосредственное участие в событиях 842 г., Нитхард добавил потом третью, а затем и четвертую книги; в книге III рассказано о подчинении Лотаря, о его новом выступлении против братьев и о договоре их в Страсбурге, а в книге IV речь идет о совместных действиях Карла и Людовика в Ахене по подготовке до-

говора о разделе империи. Каждой книге предпосланы краткие предисловия, в которых Нитхард делится с читателем своими намерениями, просит о снисхождении к недостаткам его книги и т. д.

«История» Нитхарда не простая хроника современных событий, это в какой-то мере опыт истории политической. Автор ее, очевидец и участник событий, не только излагает события, но пытается их оценивать, вскрывать их причины. Естественно, его анализ событий, при недостатке исторической перспективы, носит самый поверхностный характер. Общественное положение Нитхарда как приближенного и полководца Карла Лысого понятным образом ограничило объективность рассказа о междоусобной войне, тенденциозного и иной раз противоречивого: автор явно пристрастен к одной из сторон и предубежден против другой. Наделив Карла и Людовика всеми добродетелями,— они благородны и красивы, щедры и рассудительны, добры и храбры — он, в своем стремлении обвинить Лотаря перед потомством, рисует его чрезмерно честолюбивым, вероломным, корыстолюбивым, лицемерным. В «Истории» нетрудно уловить политическую тенденцию осуждения современности и восхваления прошлого. Вся она проникнута пессимистическим настроением, особенно остро ощущаемым в заключительной главе, где Нитхард размышляет о связи природных явлений с моральным состоянием общества: в стихийных бедствиях он видит справедливую кару бога за человеческое безумие, развращенность, эгоизм, подтверждая это тем, что в счастливое время Карла Великого царили мир и согласие, изобилие и радость, и стихии были благосклонны к человеку,— теперь же, в смутное и суровое время вражды, раздоров и бедствий, стихии к ним враждебны. Такое противопоставление славного прошлого безнадежному настоящему логически завершает мысли автора, крупицами раскиданные по всему сочинению.

«История» написана языком простым и безыскусственным, изложение ее ясно и кратко. Ход повествования изредка нарушается небольшими отступлениями, содержащими ассоциативные воспоминания, пояснения, а то и просто сообщения о каких-то природных явлениях.

Для нас сочинение Нитхарда представляет ценность как источник для знакомства с франкской историей 830—843 гг., с деталями быта и социальными отношениями этого времени. Кроме того, в нем сохранены подлинные тексты страсбургской присяги на романском и тевтонском языках — древнейшие образцы выделяющихся в середине IX в. национальных языков, французского и немецкого.

ЧЕТЫРЕ КНИГИ „ИСТОРИИ“

[БИТВА ПРИ ФОНТЕНУА]

II. 10. Лотарь [1] отверг эти предложения [2], словно бы ничего не стоящие, сообщив через послов, что не желает ничего, кроме битвы, и тотчас двинулся в путь навстречу Пипину [3], который шел к нему из Аквитании. Когда Людовик и его приверженцы узнали об этом, то сильно обеспокоились,— ведь были они крайне утом-

лены как длительностью пути [4], так и борьбой и различными трудностями, особенно же нехваткой лошадей,— но все же, несмотря на это и опасаясь, как бы не оставить своим потомкам недостойного воспоминания, покинув брата [5] без помощи, предпочли они, во избежание этого, лучше претерпеть всяческие бедствия, даже, если понадобится, умереть, чем лишиться славы непобедимых. Вот почему, по духовному своему благородству, преодолели они усталость и, ободрив друг друга, повеселевшие, форсированным маршем пошли вперед, чтобы быстро нагнать Лотаря.

И вот неожиданно возле города Алциодора [6] оба войска оказались на виду друг у друга. Лотарь, боясь как бы его братья не вздумали ненароком напасть на него тотчас же, несколько выдвинулся с войском из лагеря. Заметив эти его действия, братья оставили часть войска устраивать лагерь, а другую взяли с собой и без промедления выступили ему навстречу. С обеих сторон были отправлены послы и заключено на ночь перемирие.

Лагери отстояли один от другого приблизительно на три мили и были разделены небольшим болотом и лесом, вследствие чего подступ к тому и другому с противолежащей стороны был нелегким. Вот почему на рассвете Людовик и Карл отправили послов к Лотарю и велели сказать ему, что они очень огорчены тем, что он отвергает мир и настаивает на битве; но раз он этого хочет, пусть это и произойдет, если уж суждено тому быть, без всякого обмана. И притом пусть сначала будут соблюдены посты и прочтены молитвы, а затем, если кто пожелает перейти на другую сторону, следует назначить ему время и место для перехода, чтобы, таким образом, устранив всякое препятствие с той и другой стороны, можно было без всякого обмана и хитрости вступить в битву. И если он хочет, послы должны будут подтвердить это клятвенно, если же нет — они все равно должны просить его согласиться и дать клятву. Но Лотарь, по своему обыкновению, обещал ответить через своих послов и как только послы братьев ушли, он тотчас увел свое войско навстречу [Пипину] и направился к месту, называемому Фонтанет [7], чтобы там разбить лагерь. В тот же самый день и братья поспешили вслед за Лотарем, нагнали его и расположились лагерем возле селения, называемого Гавриаком [8].

На следующий день оба войска, подготовившись к битве, начали выступать из своих лагерей; но предварительно Людовик и Карл отправили к Лотарю послов, заклиная его вспомнить о братской любви, сохранить мир божьей церкви и всему христианскому народу и не лишать их владений, которыми наделил их отец с его же согласия; пусть он сохранит за собой то, что получил от отца, не по заслугам, а только по добросердечию. И в дар предлагали они ему все, что бы ему ни захотелось взять в целом войске, кроме лошадей и оружия. Если же и от этого он откажется, то каждый из них уступит ему часть своих владений: один до Карбонарийских [9]

гор, другой до самого Рейна; ну, а если уж и это отвергнет, то пусть вся Франция будет разделена на равные части, и какую бы из них он ни пожелал — она станет его владением. На это Лотарь ответил, по своему обыкновению, что сообщит через своих послов, что ему будет угодно; и, послав к ним на сей раз Дрогона, Гугона и Гегиберта, поручил им сказать, что ему прежде не предлагалось ничего такого и ему нужно время, чтобы все обдумать. А дело то было в том, что еще не подошел Пипин, и он, с помощью этой отсрочки, рассчитывал его дождаться. Между тем он приказал Рикуину, Герминальду и Фридриху клятвенно заверить братьев, что предложением перемирия он не стремится достичь ничего другого, кроме как всеобщего блага, и для братьев, и для всего народа, как того требует долг по отношению к братьям и христианскому народу.

И вот, обманутые этой клятвой, Людовик и Карл, после клятвенного утверждения перемирия на этот день и на следующий и даже до второго часа третьего дня (что приходилось на седьмой день до июльских календ [10]), возвратились в лагерь. На следующий день они намеревались праздновать день св. Иоанна, но в этот же самый день Лотарь, получив, наконец, подкрепление со стороны Пипина, велел сказать своим братьям: так как они знают, что на него возложен титул императора, сопряженный с большой властью, то пусть подумают, как он мог бы исполнить столь высокие обязанности этого звания; к тому же он вовсе не печется о своей только выгоде, но о выгоде обоюдной. А когда послов спросили, склонен ли Лотарь согласиться с каким-либо из сделанных ему предложений, и какой он велел передать им определенный ответ, они ответили, что относительно этого никаких полномочий не получали. Так как этим всякая надежда на справедливость и миролюбие с его стороны, казалось, была отнята, они поручили уведомить его, что, если он не придумает лучшего, пусть принимает одно из сделанных ими предложений, в противном случае — пусть знает, что на следующий день (который, как сказано, приходился на седьмой день до июльских календ), а именно в 2 часа дня, они прибегнут к суду всемогущего Бога, к которому он их принудил вопреки их воле. По своему обыкновению, Лотарь высокомерно отверг это заявление и ответил, что они увидят, как ему следует поступить.

(В то время как я это писал в монастыре св. Флудуальда на Луаре [11], наступило солнечное затмение во вторник [12], в 15-й день до календ ноября [13], в первом часу дня в знаке Скорпиона.)

Так вот, после этого его отказа от переговоров, Людовик и Карл поднялись на рассвете, и, обосновавшись, примерно с третью своих войск на вершине холма, соседнего лагерю Лотаря, ожидали его прихода до второго часа, согласно данной послам клятве. А когда настал срок и появился Лотарь, начали они сражение при Бургундском ручье [14] ожесточенной борьбой. Людовик встретился

с Лотарем в решительной схватке в месте, называемом Бриттас [15]; при этом Лотарь был побежден и обращен в бегство. Часть войска, которую атаковал Карл при местечке, называемом в просторечьи Фагит, бежала тотчас же; однако часть, которая при Соленнате [16] напала на Аделарда и других (им и я [17] с Божьей помощью оказал немалую помощь), сражалась стойко; так что победу одерживали и те и другие, но в конце концов все приверженцы Лотаря бежали.

Исходом первой битвы, данной Лотарем, пусть окончится вторая книга.

[СТРАСБУРГСКАЯ КЛЯТВА]

III, 5. И вот в 16-й день до мартовских календ [18] Людовик и Карл сошлись в городе, который некогда назывался Аргентарией, а теперь в просторечьи зовется Страсбургом, и принесли клятву, приведенную ниже, Людовик на романском, а Карл на тевтонском языке [19]. Но прежде чем дать клятву, они обратились к собравшемуся народу, один на тевтонском, другой на романском языке.

Людовик, как старший, начал говорить первым: «Вы знаете, сколько раз после смерти нашего отца Лотарь пытался преследовать меня и этого моего брата, вплоть до того, что пытался совсем его погубить. И так как ни братская любовь, ни христианское чувство, и никакой другой разумный довод не могли способствовать сохранению мира между нами, мы вынуждены были в конце концов предать дело на суд всемогущего Бога, чтобы его решением о том, чего каждый заслуживает, быть довольными. Из этого суда мы, как вы знаете, вышли, по милости Божьей, победителями, а он был побежден и вместе со своими приверженцами бежал куда мог. Мы же, движимые чувством братской любви и сострадания христианскому народу, не хотели его преследовать и уничтожить, но и тогда, как и еще прежде, настаивали, чтобы каждому, по крайней мере отныне, было бы предоставлено его право. Тем не менее он и после этого, не удовлетворенный Божьим судом, не прекращал преследовать враждой и меня и этого моего брата; мало того, он разорял поджогами, грабежами и убийствами наш народ. Поэтому мы, в силу необходимости, собрались теперь вместе и, так как мы верим, что вы не сомневаетесь в нашей неизменной верности и прочности братского союза, то и решили принести эту клятву в вашем присутствии. И мы делаем это не из какой-либо несправедливой страсти, но чтобы обеспечить, если Бог даст нам с вашей помощью мир, всеобщее благополучие. Если же я — да не случится так — осмелюсь нарушить клятву, которую я дал моему брату, то каждого из вас я освобождаю от подчинения мне и от присяги, которую вы мне дали».

Когда и Карл произнес эти же самые слова на романском языке, Людовик, как старший, первым произнес эту клятву: «Pro Deo amur et pro Christian poblo et nostro commun saluament, d'ist di in auant, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvaraeio eo cist meon

fradre Karlo et in adiudha et in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradra salvar d'ist, in o quid il mi altresi fazet; et ab Ludher nul plaid numquam prindrai, qui meon vol cist meon fradre Karle in damno sit». («Ради любви к Богу, ради христианского народа и нашего общего спасения, отныне и впредь, насколько Бог даст мне разума и силы, буду я поддерживать этого моего брата Карла и оказанием ему помощи и всяким другим способом так, как надлежит по праву защищать своего брата, с тем, чтобы и он поступил со мною так же. А с Лотарем я не вступлю никогда ни в какие соглашения, которые по моей воле могут повредить этому моему брату Карлу».)

А когда кончил Людовик, Карл произнес в этих же самых словах клятву на тевтонском языке: «In Godes minna ind in thes Christianes folches ind unser bedhero gealtnissi, fon thesemo dage frammordes, so fram so mir Got geuuizci indi madh furgibit, so haldih tesan minan bruodher, soso man mit rehtu sinan bruodher scal, in thiu thaz er mig sosoma duo; indi mit Ludheren in nohheiniu thing ne gegango, zhe minan uuillon imo ce scadhen uuerhen» [20].

Клятва же, которую произнесли оба народа, каждый на своем языке, на романском языке звучала так: «Si Lodhuuigs sagrament, quae son fradre Karlo iurat, conservat, et Karlus meos sendra de suo part non lostanit, si io returnar non l'int pois, ne io ne neuls, cui eo returnar int pois, in nulla aiudha contra Lodhuuig nun li iuer». («Если Людовик клятву свою, данную его брату Карлу, сохранит, а Карл, мой государь, со своей стороны, ее не сдержит, если я не смогу его от этого удержать, ни я, ни кто-либо из тех, кого я смогу удержать от этого, то я не окажу ему против Людовика никакой помощи».) А на тевтонском так: «Oba Karl then eid, then er sinemo bruodher Ludhuuuige qesuor, geleistit, indi Ludhuuuig min herro then er imo gesuor, forbrihchit, ob ih inan es iruuenden ne mag, noh ih noh thero nohhein, then ih es iruuenden mag, uuidhar Karle imo ce follusti ne uuirdhit» [21].

По свершении этого, Людовик направился к Вормации [22] вниз по Рейну через Спир [23], а Карл вдоль Вогез мимо Виццунбурга [24].

Лето же, в которое произошла вышеописанная битва, было очень холодное, и все фрукты были собраны совсем поздно; но зима и осень прошли как обычно. В самый тот день, когда братья и знатнейшие из людей заключили вышеприведенное соглашение, выпал большой снег, и сильно похолодало. А в декабре, январе, да и в феврале до упомянутого съезда была видна комета, которая поднялась через центр знака Рыб и исчезла после этого съезда между знаками темного Арктура и тем, который одними называется Лирой, а другими Андромедой. После этих кратких размышлений о временах года и о звездах я возвращаюсь к нити рассказа.

Когда они [25] прибыли в Вормацию, то избрали послов, тотчас же отправили их к Лотарю и в Саксонию и решили ждать их возвращения, а также и прибытия Карломана [26], между Вормацией и Могонциаком [27].

Эрмольд Нигелл

Эрмольд Нигелл («Эрмольд Черный», Nigellus — от niger) был, по-видимому, уроженцем Аквитании, т. е. человеком не франкской, а готской крови; в одном месте он упоминает «луарские края» как свою родину. Во всяком случае судьба его тесно связана с двором правителей Аквитании — сперва Людовика, будущего Людовика Благочестивого, а потом Пипина, его старшего сына. В 824 г. он даже сопровождал Пипина в походе против бретонцев и участвовал в сражении; об этом он упоминает в своей позднейшей поэме, но довольно иронически:

Тут я и сам, щитом заслонясь, и мечом опоясан,
Выступил в бой; но увы, мною никто не задет.
Глядя на это, Пипин подивился и молвил со смехом:
«Брось-ка оружие, брат: книги сподручней тебе».

(«Прославление Людовика», IV, 135—138)

Собственно, это — единственное место, из которого можно заключить, что «брат» Эрмольд принадлежал к духовному званию; но вряд ли он был монахом, скорее — клириком, не чуждым, как многие тогдашние священники, воинственных упражнений, и еще более не чуждым придворных интриг. За это он скоро поплатился. Когда Людовик Благочестивый женился вторым браком на Юдифи Баварской, которая родила ему в 823 г. Карла Лысого, отношения между императором и его сыновьями от первого брака начали портиться. Враги Пипина Аквитанского донесли Людовику, что Эрмольд настраивает Пипина против отца; по распоряжению Людовика, Эрмольд был удален от аквитанского двора и сослан в Страсбург под надзор епископа Бернольда. Здесь-то, чтобы заслужить помилование, Эрмольд и берется за перо, сочиняя покаянные панегирики обоим своим прежним покровителям, Людовику и Пипину.

Первая поэма Эрмольда, «Прославление Людовика» («В честь Людовика, христианнейшего Цезаря Августа, элегическая песнь изгнанника Эрмольда Нигелла»), была написана в 826 г. Она состоит из пролога с акростихом и телестихом (на слова: «Се воспевает Эрмольд Людовика Цезаря битвы») и четырех книг элегическим дистихом. Первая книга начинается обращением к Людовику, чьи деяния могли бы достойно воспеть разве что Марон, Назон,

Катон, Флакк, Лукан, Гомер, Макр (Эмилий Макр, о котором Эрмольд, конечно, знает только понаслышке), Туллий, Цицерон (их Эрмольд считает за двух разных лиц), Платон, Седулий, Проспер, Ювенк, Пруденций и Фортунат; затем следует описание венчания Людовика аквитанской короной в 781 г. и, почти без перехода, рассказ о его войне с испанскими сарацинами и осаде Барселоны 801 г. Вторая книга описывает принятие Людовиком императорского сана: ахенский сейм 813 г., когда на него возложил императорскую корону Карл Великий, и визит папы Стефана IV в Реймс в 816 г., когда Людовик был помазан на царство папой; здесь же рассказывается о Бенедикте Анианском и основании монастыря в Инде близ Ахена (это — первый из приведенных здесь отрывков). Третья книга посвящена походу Людовика на бретонцев в 818 г. и поединку между бретонским вождем Мурманом и франкским рыцарем Хослом; едва ли не по ассоциации вслед за этим рассказывается о судебном поединке между двумя готскими рыцарями при ахенском дворе (это — второй из наших отрывков). Четвертая книга описывает обращение Людовиком в христианство датского короля Гарольда и празднество с охотою, устроенное по этому случаю; заканчивается поэма патетической мольбой о помиловании (это — третий из наших отрывков).

Поэма обнаруживает немалую начитанность Эрмольда. Образцом панегирического жанра для него служил, как и для всей его эпохи, Венанций Фортунат. Боевые сцены по большей части копируют Вергилия. Пространное описание Майнцского дворца и его капеллы с симметрично расположенными росписями на сюжеты Ветхого и Нового Заветов подсказано Пруденцием. Охота Людовика и Гарольда напоминает охоту Карла Великого, описанную псевдо-Ангильбертом. Вся поэма полна словосочетаниями и целыми полустишиями, заимствованными из Вергилия, Овидия и христианских поэтов. Однако это не мешает поэме Эрмольда иметь самостоятельную художественную и историческую ценность. Его рассказы о походах Людовика передают впечатления очевидца и содержат сведения, делающие поэму важным историческим источником. Его пафос «христианской войны» против язычников — арабов и бретонцев — невыводим из литературных образцов и навеян современностью; может быть, Эрмольд использовал народные песни времен Карла Великого, о существовании которых он прямо упоминает в одном месте поэмы. Эти мотивы роднят произведение Эрмольда с позднейшим воинским эпосом средневековья, в том числе — с «Песнью о Роланде».

Панегирик Эрмольда не произвел впечатления при дворе. Тогда он обратился с просьбой о заступничестве не прямо к Людовику, а к своему непосредственному покровителю Пипину Аквитанскому, посвятив ему два стихотворения: «Славословие Пипину» и «Послание к нему же». В первом из них муза Талия (муза поэзии, по представлению каролингских авторов) посещает Пипина в его дворце, описывает ему Эльзас, место изгнания Эрмольда, и выводит Рейн и Вогезы, спорящих между собою о том, кто из них благодетельней для Эльзаса; заканчивается поэма речью Пипина к Эрмольду — король не обещает поэту помилования, но утешает его и побуждает стойко переносить изгнание, как Овидий, как Иоанн Богослов и другие писатели-изгнанники. Во втором стихотворении Эрмольд сам обращается к Пипину и предлагает ему длинный ряд нравственных наставлений, нечто вроде «зерцала правителя»; заканчи-

вается стихотворение эффектным «тмесисом», словом, разорванным пополам,— приемом, который Эрмольд не раз использует и в других местах:

Эти вверяю стихи я твоей, повелитель, заботе:
Пусть пред твоим лицом их благочестно прочтут.
Если кто зубы точить начнет на мое сочиненье —
Пусть он услышит от вас: «Смолкни! Нигелл далеко».
Добрый мой царь, заступись за Нигелла — он честно вам служит!
Я ж защищаться готов — только посмейте напасть.
ЭР — благозвучные эти стихи написаны — МОЛЬДОМ:
Не забывай же, благой, верного имя слуги.

Добился ли Эрмольд освобождения из Страсбурга, неизвестно. Не исключена возможность, что его освободило восстание сыновей против Людовика Благочестивого в 830 или 833 г. и что он тождествен с аббатом Хермольдом, ездившим в 834 г. гонцом от Людовика к Пипину, или с канцлером Хермольдом, скрепившим в 838 г. три грамоты Пипина. Однако достоверные сведения о дальнейшей судьбе Эрмольда Нигелла отсутствуют.

ИЗ ПОЭМЫ „ПРОСЛАВЛЕНИЕ ЛЮДОВИКА“

КНИГА II

Был некий муж Бенедикт, своего достойный прозванья:
К звездам небесным возвел муж этот многих мужей.
Стал королю он знаком, с ним встретившись в готских пределах[1].
Ныне о жизни его вам я поведать хочу.
Он по заслугам своим Анианской общиною правил,
Пастырем был и отцом, паствой за кротость любим.
Сердце ж его короля пламенело любовью к святыне,
Чтобы монашеский чин нравы людей исправлял.
Был Бенедикт ему в помощь ученьем и добрым примером,
И за деянья его бог его храмы хранит.
Всем поведеньем его любовь к добру управляла,
И по сужденью людей мог он назваться святым.
Кроток он был и любим, спокойный, мирный и скромный,
Правила жизни святой в сердце носил он своем.
Был благодетелем всем и всегда он, не только монахам,
Всем он помощь давал, ласковым всем был отцом.
Вот за это его король полюбил благочестный,
В франкскую землю не раз вместе с собой уводил.
Учеников Бенедикта к монашеским общинам часто
Сам король посылал, добрый чтоб дать им пример.

Пусть решают и учат, где смогут,— а где не сумеют,
Пусть все запишут сполна и королю отдадут.
Этой порою король с Бенедиктом, служителем Божьим,
Оба задумали дать Богу достойнейший дар.
Раз благочестный король Бенедикта к себе призывает,
Движимый мыслью благой, ласково речь с ним ведет:
«Знаешь, конечно, и ты — уделяю я много заботы
Чину монахов с тех пор, как посещать я их стал.
Вот почему я б хотел с любовию к Богу воздвигнуть
Храм, чтобы он недалек был от палаты моей.
Три побуждают меня причины, поверь мне, и в сердце
Будят желанье — о них все я тебе расскажу.
Видишь ты сам, как меня подавляет властителя доля
Грузом тяжелым своим: труден правленья удел.
Мог бы подчас отдохнуть я в этой обители новой,
Втайне бы мог принести Богу обеты мои.
Есть и причина вторая — с обетом твоим не согласно
Дело, что делаешь ты (сам ты не раз говорил).
Не подобает монахам мешаться в гражданские распри,
Так же не следует им козни дворцовые знать.
Здесь же ты мог бы всегда лишь работами братии ведать,
Странников мог бы чужих гостеприимно встречать,
И отдохнувши, порой и меня посещать в моем доме
И принимать от меня братии вашей дары.
Третья причина такая — не нам лишь будет на пользу,
Если от Аквы вблизи будет обитель стоять.
Может кого-нибудь здесь конец его жизни застигнуть,
Пусть его тело тогда здесь же в могилу сойдет.
Здесь же Христовы дары принять обращенные смогут,
Тот, кто захочет, найдет здесь благосклонный совет».
Слыша такие слова, Бенедикт преклоняет колени,
Господу честь воздает, веру храня короля.
Молвит: «Всегда мне была твоя воля известна, владыка,
Пусть ее Бог укрепит, он нам лишь блага дает».
«Индой» [2] зовется то место, где ныне воздвиглась обитель,
Это — названье реки, что протекает у врат.
Тысячу трижды шагов от него до престольного града,
Град этот Аквой зовут, славится имя его.
Некогда было оно приютом оленей рогатых,
Жил здесь в берлоге медведь, дикий скрывался козел.
Но от хищных зверей эту местность очистил Людовик,
Ныне трудами его Господу служит она.
Здесь заложил он приют и снабдил богатством обильным
И процветает устав твой здесь, святой Бенедикт!
Ибо обителью той Бенедикт отечески правит,
Там и Людовик-король — всем благосклонный отец;
Часто ее посещает, к делам проявляя вниманье,

Строго порядок блюдет, щедро приносит дары.
Кончи, камена, напев! Этой книги хвалебные строки
Пусть этим добрым концом к песне начальной примкнут.

КНИГА III

Есть среди франков обычай старинный; доколе он в силе,
Честь и славу свою франкский народ сохранит.
Если задумает кто королю свою верность нарушить —
В мыслях обман затаив, подкуп иль хитрую лесть,
Или захочет, несчастный, владыку сгубить иль державу,
Злобные козни сплетя, клятве своей изменить,
То, когда брат или друг, узнавши, об этом расскажет,
Им подобает тогда биться один на один,
Перед лицом короля, пред советом и франкским народом —
Ведь ненавистна всегда франкам неверность и ложь.

Был некий муж знаменитый, носивший имя Берона,
Был он безмерно богат, мощью великой владел.
Стал он при Карле в краю Пархинонском [3] наместником; долго
Этой страной он владел, твердо законы блюдя.
Но обвинил его в лжи Санилон; так он звался средь готов;
Были по крови они готами — тот и другой.
Пред королем и народом мятежные речи Берона
Все повторил Санилон — но их Берон отрицал.
Выступив оба вперед, они на колени упали
И умоляли — пускай распрю их Марс разрешит.
Первым молвил Берон: «Король, я прошу милосердья:
Ты разреши мне, молю, речь опровергнуть его.
Наш обычай таков — должны мы, коней оседлавши,
Меч друг на друга поднять». Просит он раз и другой.
Молвит король: «Подлежит это дело решению франков —
Так нам закон приказал, то же прикажем и мы».
Раз уж решенье дано, по обычаю старому франков
К битве готовятся все, яростно рвутся на бой.
Боголюбивый король их снова к себе призывает,
И, благочестье блюдя, всех обещает простить:
«Тот, кто из вас из двоих сейчас мне скажет открыто,
Что он виновным себя передо мной признает,—
Я пожалею его, и ошибку простить обещаю;
Долг отпускать должнику к Богу любовь мне велит.
Верьте, для вас будет лучше послушать моих уговоров,
Чем свою долю вручать Марса смертельным боям».
Но умоляли они неотступно и снова, и снова:
«Битвы нам по душе, в битву мы рвемся всегда!»
Мудрый король разрешил им сражаться, но франков законы
Строго велел соблюдать,— и обещали они.

От королевских палат недалеко есть дивное место,
Славит молва его вид; Аквой зовется оно.
Выкопан ров вкруг него, огражденный мраморной кладкой,
Выращен лес там густой и зеленеет трава.
А посредине река струит свои тихие воды;
Множество дичи живет там в тростнике и в кустах.
Часто бывает — король с небольшою своею дружиной
Едет сюда отдохнуть и поохотиться всласть,
Чтобы могучий олень длиннорогий пронзен был стрелою,
Поймана дикая лань или убита коза.
Если же землю зима ледяною покроет корою,
Сокол когтистый тогда бьет стаи птиц налету.
Здесь-то, от злобы дрожа, и сошлись Берон с Санилоном,
И восседали они оба на мощных конях.
Щит висел за спиной, в руках они копья держали,—
Ждали, чтоб подал им знак к битвы началу король.
Близко собрался от них отряд королевской дружины;
Тоже держали щиты — так приказал им король.
Если один из бойцов получит тяжелую рану,
В бой пусть вступают они,— чтоб ему жизнь сохранить.
Здесь же Гундольд ожидал, приготовлены были носилки,
Чтобы того, кто падет, с поля скорей унести.
Подан был знак — и тотчас жестокая вспыхнула сеча;
Но непривычен и нов франкам казался тот бой.
Копья метнули они, мечей острия обнажили,—
Свой был обычай у них, но беззаконен он был.
Вдруг скакуна своего пришпорил Берон, и от боли
Конь встает на дыбы, быстро по полю летит.
Скачет за ним Санилон; внезапно, поводья ослабив,
Ранит Берона мечом; и — сознается Берон.
Воинов юных отряд к потерявшему силы Берону
Быстро на помощь спешит — как приказал им король.
И отсылает носилки обратно Гундольд изумленный —
Видит: носилки пусты, в битве никто не погиб.
Жизнь Берону дарует король, обещает спасенье,
И, пожалевши его, не отбирает богатств.
О, беспредельная милость! Король проступки прощает,
Он виновному вновь жизнь и достаток дает.
В эту же милость я верю и сам, и молю неустанно,
Чтобы к Пипину меня снова вернула она.

О, Бенедикт наш! Свой путь завершил ты ныне достойно [4],
Верен всегда ему был, следуя Павла словам.
Ныне же с радостью ты пребываешь в обители райской
С тем, чье имя носил, с тем, кому ты подражал.
Именем пусть же твоим эта третья закончится книга —
Вспомни же, отче благой, ты об Эрмольде своем.

Песни я эти слагал, находясь в Страсбурге под стражей:
Знал о проступке своем, в чем я повинен, я знал.
Дева Мария, тебе там воздвигнуты светлые храмы
И, как всегда на земле, в них тебе честь воздают.
Часто — молва говорит — посещают их жители неба,
Ангельский хор, и чудес много свершается там.
Нам же, Талúя, теперь ты хотя б о немногих поведай,
Если от девы святой милость подастся тебе.
Сторож при храме там жил, носивший имя Тевтрамма:
Он по заслугам носил имя честное свое.
Было привычным ему и днем и глубокою ночью
Там, где Марии алтарь, богу мольбы возносить.
Был удостоен не раз он великой награды небесной,
Ангелов светлых полки часто являлись ему.
Ночью однажды хотел он, псалмы и молитвы закончив,
Ложе свое постелив, тело покою предать.
Вдруг в этот миг озарился весь храм сиянием ярким,
Будто бы день наступил, солнце взошло над землей.
С ложа восстав своего, хотел он понять, почему же
Свет этот яркий горит? Вот что предстало пред ним.
Над алтарем распростер орел широкие крылья,—
Но не в пределах земных этот орел был рожден.
Клюв — из злата литой, на когтях — драгоценные камни,
И в оперенье его неба блистала лазурь.
Очи сверкали огнем. Онемел служитель церковный
И, пораженный, к себе он не позвал никого.
Лишь изумленно глядел на пернатое чудо; и крылья,
Блеск и сиянье очей — все удивляло его.
Но прозвучал в этот миг, как бывает всегда пред рассветом,
Третий крик петуха — братию в церковь он звал.
Дивная птица вспорхнула — само собой перед нею
Вдруг распахнулось окно, вдаль выпуская ее.
Вместе со взлетом ее сейчас же угасло сиянье.
Видно, орел этот был гостем из Божьих краев.

. . . .

Все это, Цезарь, тебе на своей на тростинке печальной
Спел злополучный Эрмольд, нищий, изгнанник, бедняк.
Дара я дать не могу, лишь песню слагаю владыке;
Всяких богатств я лишен, есть только песнь у меня.
Сердце владыки в руке у Христа, Христос его держит
И посылает его всюду по воле своей.
В сердце твоем он взрастил цветы добродетели дивной,
И переполнил его он благочестья волной.
Если б внушил он тебе, король именитый, чтоб к просьбам

Ухо свое преклонив, дело мое ты решил!
Может быть, внявши словам правдивым, увидишь, что не был
Так мой проступок тяжел, как обвиняли меня.
Я не стараюсь, поверь, представить себя невиновным
В этом проступке: за то я и в изгнанье томлюсь.
Но беспредельная милость, виновным долги отпуская,
Пусть, умоляю, теперь вспомнит изгнанье мое.
Ты же, супруга владыки, Юдифь, всех красавиц прекрасней,
Власть по праву и ты держишь рукою своей;
Павшему помощь подай, несчастному дай утешенье,
Шаткий шаг укрепи, узнику дверь отомкни!
И повелитель громов вас обоих на долгие годы
Пусть сохранит, вознесет, честь и богатство пошлет.

Годескальк

Из всех писателей раннего средневековья Годескальк, бесспорно, человек с самой трагической судьбой. ««Горе от ума» IX века»,— назвал его жизненную историю Б. И. Ярхо.

Годескальк (латинизированная форма имени — Godescalcus, немецкая — Gottschalk) родился около 805 г. Он был сыном знатного саксонского графа Берна. В детстве оставшись сиротой, он был взят на воспитание Храбаном Мавром в Фульдский монастырь. Богатые имения, наследником которых был Годескальк, казались лакомым куском для Фульды. В 822 г. Годескальк был насильственно пострижен в монахи, а имения его перешли к монастырю. В 829 г. Годескальк подал жалобу на Храбана майнцскому собору и просил освободить его от монашеского звания как постриженного насильно. Храбан пустил в ход весь свой авторитет, написал специальный трактат «О пострижении отроков» и добился того, что просьба Годескалька была отклонена. Молодому монаху было позволено перейти из Фульды в другой монастырь, но имения его остались за Фульдой. Годескальк удалился в Корби, а потом в Орбэ.

Несмотря на ненависть к своему монашескому званию, Годескальк учился богословским наукам усердно и страстно. В Фульде его учителем был Храбан, в Рейхенау, куда он ездил около 824 г.,— Веттин, в Корби — Ратрамн, в Орбэ — реймсский ирландец Дунхад, друг Эриугены — все лучшие ученые своего поколения. В Фульде он подружился с двумя другими учениками Храбана — ученым Серватом Лупом и поэтом Валахфридом Страбоном; в переписке Страбон называл Годескалька академическим прозвищем «Фульгенций», а Годескальк Страбона — «Гонорат». В Орбэ Годескальк написал три гимна к Христу, принадлежащие к числу лучших в гимнографии этой эпохи. Но главным предметом его занятий был Августин. Из сочинений Августина и вывел Годескальк то учение о двойном предопределении, за которое после этого страдал всю жизнь.

Вопрос о предопределении и свободе воли — один из самых деликатных пунктов христианского богословия. С одной стороны, признание божеского всеведения и всемогущества требовало признать, что судьба человека целиком зависит от воли божьей; с другой стороны, признание загробного воздаяния за праведные и грешные людские дела требовало признать, что судьба человека

зависит от его свободной воли. Католической догме приходилось очень осторожно лавировать между этими двумя крайностями. Положение осложнялось тем, что крупнейший авторитет по этому вопросу, Августин, писал об этом преимущественно полемически, и споря против крайних сторонников свободы воли, сам допускал слишком крайние суждения в защиту божеского предопределения. Церковью такие суждения обычно замалчивались или толковались смягченно. Именно поэтому они стали основой для учения Годескалька. Годескальк открыл их для себя в годы занятий в Орбэ, смело довел мысли Августина до их логического предела и заявил, что судьба человека зависит исключительно от божеского предопределения, что одни из людей от роду предопределены божьей волей к греху и аду, а другие — к подвигу и раю, и что Христос умер только за этих избранных. Как известно, восемьсот лет спустя подобное учение стало догмой кальвинизма. Но до этого было еще далеко: общественная психология была еще не готова, чтобы принять учение о двойном предопределении, и оно осталось «ересью» одного человека, для которого сознание собственного избранничества служило душевной опорой в его судьбе гонимого монаха поневоле.

Около 840 г. Годескальк получает от хорепископа (а не от епископа, как следовало по уставу) священнический сан, а затем без дозволения покидает Орбэ, уходит паломником в Рим, проповедует свое учение в Ломбардии, живет некоторое время при дворе фриульского графа Эберхарда, любителя книг и мецената. Вслед ему летят из Германии суровые послания Храбана, обвиняющие в ереси и его, и всех, кто его слушает и дает ему приют. Он чувствует себя затравленным и гонимым; это ощущение он изливает в трех стихотворениях, написанных в Италии; одно из них, ответ молодому другу, попросившему Годескалька написать для него стихи, приведено ниже. Проскитавшись несколько лет по Италии, Далмации, Паннонии, Годескальк, наконец, возвращается в Германию. Проповедь кончилась, начинается мученичество.

В 848 г. на майнцском соборе под председательством Людовика Немецкого и под руководством Храбана Мавра Годескальк был осужден за незаконное посвящение в сан, за уход из монастыря и за еретические мысли; его выдали под надзор Хинкмару Реймсскому, в чьей епархии находился Орбэ. В 849 г. на кьерсийском соборе под руководством Хинкмара Годескальк был осужден вторично, признан неисправимым еретиком и бит плетьми до тех пор, пока, полуживой, не бросил в огонь бумагу с теми текстами отцов церкви, на которые он ссылался; его бросили в монастырскую тюрьму в Альтивилле (Отвилье, недалеко от Реймса). Его считали одержимым: он отказывался умываться, не принимал от монахов одежды (говоря, что хочет ходить, как Адам перед богом), предлагал Хинкмару разрешить спор о предопределении судом божьим — испытанием четырьмя кипящими котлами и хождением по раскаленной плите, пророчествовал, что через три с половиной года Хинкмар умрет, а сам он будет избран архиепископом, через семь лет погибнет от яда и примет мученический венец. Однако знания и способности узника были так исключительны, что монахи Альтивиллы допустили его к переписке книг в скриптории и даже, к неудовольствию Храбана Мавра, позволяли ему писать письма к знакомым молодости — ученым из других монастырей. Спор о предопределении охватил всю ученую Европу, в нем участвовали Ратрамн, Луп, Эриугена, Хинкмар и др.;

Годескальк продолжал томиться в Альтивилле. Отсюда он написал Ратрамну горькое послание в леонинских гексаметрах — последнее из его сохранившихся стихотворений. Только в старости перед ним мелькнула надежда на смягчение своей участи: в 863 г. папа Николай I, недовольный самоуправной политикой Хинкмара, запросил отчет об обращении с Годескальком и велел отпустить его в Рим на папский суд; Хинкмар отказался. Тогда Годескальк написал жалобу папе и послал ее с беглым монахом Гунтбертом из Альтивиллы, своим последователем. Хинкмар отправил вдогонку ему своего посла к папе, архиепископа Сансского. Но пока дело доходило до папы и разбиралось, Годескальк умер — между 866 и 869 гг. Умер он, не изменив своим убеждениям, не покаявшись, без причастия, как еретик.

Несмотря на то что от Годескалька сохранилось лишь немного стихотворений, его высокое поэтическое дарование вне сомнений. Стихи, написанные в скитаниях и в тюрьме, отличаются живостью и страстностью чувства, редкой на фоне искусной ученой стихотворной продукции его времени. А в области стихотворной формы Годескальк был едва ли не самым смелым экспериментатором во всем раннем средневековье. Большинство его стихотворений написано не гексаметром, а редкими лирическими размерами: адонием, сапфической строфой, четырехстопным дактилем и, наконец, двумя видами строф, созданными самим Годескальком; строфы эти составлены из стихов не метрических, а ритмических, и ритмический рисунок такой сложности вновь появляется в европейской поэзии только спустя полтора века, в «Кембриджских песнях». Наконец, все стихотворения Годескалька зарифмованы, причем рифма (обычно односложная) часто не ограничивается пределами строфы, а проходит через группу строф и даже через все стихотворение, повторяясь порой более 80 раз; такой культ рифмы вновь появится в латинской поэзии опять-таки только век и более спустя. Таким образом, в области поэтической формы, как и в области богословской мысли, Годескальк оказывается намного опередившим свой век.

ПЕСНЯ ГОДЕСКАЛЬКА

Ты ли просишь, мальчик малый,
Нас о песне, друг мой милый?
Я, который с ветром в споре
Ношусь в горе на просторе
В бурном море,
Ах, ужель могу я петь?

Ведь пожалуй, мальчик милый,
Мне пристало, друг мой славный,
Жить страдая, жить рыдая,
А не стих к стиху слагая
В песню, коей ты с такою
Ждешь тоскою.
Ах, зачем велишь мне петь?

И тебе ведь, друг мой славный,
Лучше, право, брат мой добрый,
Со мной плакать, сердцем тая,
Злые скорби разделяя,
Боль смягчая.
Ах, зачем велишь мне петь?

Ты ведь знаешь, отрок добрый,
Ты ведь знаешь, мальчик Божий,
Как в изгнаньи, как в страданьи
Мои очи дни и ночи
Слезы точат.
Ах, зачем велишь мне петь?

Ты ведь помнишь, как плененный
Пел Израиль свои стоны
Во дни оны, заточенный
В Вавилоне, отлученный
От Сиона?
Ах, зачем велишь мне петь?

Непристойно ему было,
Недостойно его было
Песней лучшей тешить уши
Тех, кто слушал, власть имущий,
В земле чуждой.
Ах, зачем велишь мне петь?

Но коль просишь неотступно
Нас о песне, друг мой лучший,
Спою многу хвалу Богу —
Отцу, Сыну и Святому
С ними Духу:
С доброй волей буду петь.

Тебе славу, Боже правый,
Отче, Сыне, Святый Душе,
Троеликий и единый,
Всевеликий, милосердый,
Справедливый,—
С чистым сердцем я пою.

Я, изгнанник, скорби множу
В море дальнем, правый Боже,

Два уж лета кара эта
Томит сердце, Боже светлый,—
Смилосердься! —
Так униженно молю.

И в надежде с верным другом
Петь я буду, петь я буду,
Петь устами, петь сердцами,
Петь умами, петь словами,
Петь и днями и ночами
Величанье
Тебе, милосердому!

Валахфрид Страбон

Валахфрид Страбон прожил только сорок лет (809—849 гг.), но за это недолгое время много написал и в стихах и в прозе, стяжав себе славу самого ученого богослова из учеников Храбана Мавра, самого талантливого поэта из всего своего поколения и самого кроткого и обходительного придворного при раздираемом смутами ахенском дворе.

Валахфрид был родом из Алеманнии, из бедной семьи (в одном послании он упоминает «бедность, которую в младости мы претерпели...»). Мальчиком он поступил в монастырь Рейхенау на Боденском озере и учился там у лучших учителей — Веттина, Хейтона, Гримальда. Здесь он получил и свое прозвище «Страбон» или «Страб» (Strabus, «косой»); современники и потомки называли его «Страбоном», сам же он предпочитал имя «Страб»:

Хоть указует закон языка мне зваться Страбоном,
Все же мне зваться милей Страбом; так буду же Страб.

В Рейхенау Валахфрид жил до 17 лет. Здесь открылся его поэтический талант: уже в 15 лет он сочинял для своего учителя стихи в честь реймсского архиепископа, перелагал в стихи по просьбе монахов житие святого Маммы и составил целую книжку «Стихи Валахфрида Страба о разных предметах, изданные им пятнадцати лет от роду»: это гимны, надписи для церкви, рассуждения на богословские темы, послания к товарищам по монастырю и пр. Здесь же, в Рейхенау, им было написано то произведение, которое получило в новое время наибольшую популярность: дидактическая поэма «Садик, или О садоводстве», посвященная аббату Гримальду. Это — описание монастырского сада: краткое вступление и затем характеристика 23 растений, одного за другим; описывается наружность каждого, его христианская и мифологическая символика, и, наконец, его целебные свойства (как и всюду в то время, сад Рейхенау имел назначение не декоративное, а утилитарное, фармацевтическое: из 23 растений Валахфрида 17 упоминаются в хозяйственном капитулярии Карла Великого, в главе о разведении лекарственных растений в императорских поместьях). Образцом для Валахфрида послужила, конечно, десятая книга Колумеллы, усердно читавшегося в монастырях; существенно также влияние «Медицинской поэмы» Серена Саммоника. В средние века «Садик» не пользовался большой популярностью

лярностью, новое же время оценило в нем чувство природы, более живое и непосредственное, чем у большинства поэтов древности и раннего средневековья.

В 826 г. Валахфрид покинул Рейхенау и отправился продолжать учение в Фульду к Храбану Мавру; здесь он стал любимым учеником сурового наставника, помогал ему редактировать его богословские сочинения, сдружился со своими соучениками Годескальком и Серватом Лупом. Связей с Рейхенау он, однако, не порывал: в Фульде он сочинил для своих земляков стихотворное житие ирландского мученика Блайтмакка (по-видимому, по устным рассказам) и переложил в стихи предсмертное видение своего учителя Веттина, записанное Хейтоном.

В 829 г. двадцатилетний Валахфрид, уже широко известный ученостью и поэтическим искусством, получает (вероятно, по протекции Храбана Мавра) приглашение ко двору: быть воспитателем шестилетнего Карла, младшего и любимого сына Людовика Благочестивого и Юдифи Баварской. При дворе Валахфрид прожил почти десять лет. Своих новых покровителей он прославил в изысканной поэме «О статуе Теодориха». Во дворе ахенского дворца стояла конная статуя римской работы, вывезенная Карлом Великим из Равенны; считалось, что это изображение знаменитого остготского короля Теодориха, и католическое окружение Людовика Благочестивого роптало, что во дворце стоит статуя арианина. Валахфрид описывает, как он смотрит на эту статую и беседует со своей «искрой божией» (язычник сказал бы: со своей музой), и та по поводу всякой мелочи поносит Теодориха — как за его арианство, так и за его жестокое обращение с Боэтием,— противопоставляя ему истинно великого, правоверного и премудрого императора Людовика; затем в придворной церкви раздается музыка (следует отступление о гидравлическом органе, незадолго до того построенном в Ахене греческим мастером и вызывавшем общее восхищение), и оттуда выходит королевское шествие: Людовик-Моисей, Юдифь-Рахиль, Карл-Вениамин и другие члены королевской семьи и придворные (среди них и Эйнхард-Веселиил, и Гомер-Гримальд, учитель Валахфрида); поэт присоединяется к процессии и прощается с недостойным предметом своей поэмы. В этом произведении Валахфрид выступает прямым продолжателем традиций панегирической придворной поэзии академии Карла Великого. Кроме этой поэмы, Валахфрид пишет множество стихотворных посланий к королевским родственникам, придворным, духовным и светским сановникам: к императору Людовику (при посылке сапфического гимна на рождество), к его брату Дрогону Мецскому, к императрице Юдифи (с рассказом об удивительном сновидении), к ее брату Конраду Вельфу (при посылке гимна агавнским мученикам), к его жене Адельхейде (это стихотворение приведено ниже), к поэту Муадвину-Назону (с просьбой прислать новые стихи), к епископу Агобарду Лионскому (в надежде познакомиться с новыми стихами его диакона Флора), к пресвитеру Пробу, ирландскому поэту в Майнце (при посылке стихов Фортуната и географического сочинения) и т. д. Десятилетие придворной службы Валахфрида было временем жестокой междоусобицы между Людовиком и его сыновьями, но в стихах Валахфрида это никак не отразилось: по-видимому, в политику он не вмешивался и твердо держался двора Людовика, Юдифи и Карла, а после смерти Людовика — его законного наследника, Лотаря.

В 838 г. пятнадцатилетний Карл закончил курс учения, был опоясан мечом в знак совершеннолетия, а его учитель получил в награду за труды назначение аббатом в свой любимый Рейхенау. Но Рейхенау находился во владениях Людовика Немецкого, а Валахфрид был сторонником Лотаря; поэтому очень скоро он был оттуда изгнан и бежал в Фульду, а потом в Шпейер. В этом изгнании он написал трогательные «Сапфические строфы» о Рейхенау, переведенные ниже. Только после битвы при Фонтенуа и переговоров трех королей в 842 г. Валахфриду удалось вернуться в свое аббатство. Здесь он провел еще несколько лет, занимаясь богословием и агиографией (слава его изящного стиля была такова, что ему отовсюду присылали жития, богословские и исторические сочинения с просьбой придать им художественную отделку). Но политические смуты не переставали беспокоить Рейхенау, в 849 г. Валахфриду пришлось покинуть монастырь, чтобы просить поддержки у своего воспитанника — западнофранкского короля Карла Лысого, в этой поездке он заболел и умер,

Современники чтили Валахфрида прежде всего как богослова. Ему приписывался огромный комментарий ко всей Библии (Glossa ordinaria), составленный, главным образом, по трудам Храбана Мавра и служивший пособием по крайней мере до XIV в. Интересно также небольшое его сочинение «О начале и развитии некоторых церковных предметов» — полудетская, но для своего времени — единственная попытка «сравнительного изучения религий» с сопоставлением терминов и обычаев греческих, латинских и германских. Но более всего заслуг имеет Валахфрид как поэт. Он был первым, кто ввел в употребление богатый набор лирических размеров, почерпнутых из Боэтия; метрика его почти безукоризненна; ритмических же стихотворений у него нет ни одного. Архаизмами и грецизмами он пользовался свободно, но без злоупотреблений; классических и христианских поэтов знал отлично, но они служили ему не столько как источник для заимствования, сколько как образец для подражания. Особенного внимания заслуживает умение Валахфрида пользоваться в одном и том же жанре самыми различными стилями — достаточно сравнить добродушно-почтительный тон его посланий к Храбану, высокопарно-изысканный — к Адельхейде, задушевно-лирический — к друзьям-монахам.

ИЗ КНИГИ „САДИК"

О САДОВОДСТВЕ

Способов много различных достигнуть жизни спокойной,
И не последний из них — овладеть Пестанским искусством [1]
И научиться делить заботы с бесстыдным Приапом.
Если имеешь участок земли — какой бы он ни был —
Есть ли в нем перегной, иль покрыт он корою песчаной,
Или от влаги излишней земля в нем становится жирной;
Где бы он ни лежал, на вершине холма, на равнине,
Или на легком уклоне, иль был перерезан оврагом,—

Знай: без отказа повсюду земля плоды порождает,
Если тебя от трудов не отучит докучная старость
И не внушит небреженья к богатствам, даримым землею,
Если мозолистых рук ты в дурную погоду не прячешь,
Их не боишься испачкать, навоз в порошок растирая
И рассыпая его из корзин по грядам готовым.
Понял я это, не только наслушавшись правил ходячих
Иль начитавшись советов, записанных в книгах старинных;
Нет: упорство и труд — я ценил их выше досуга —
Дали мне опыт, меня научили не словом, а делом.

Старости алчной подобна зима: она поглощает
Все, что тяжелым трудом минувший год заготовил.
Но приближенье весны ее загоняет под землю,
В темные глуби, и след, оставленный жадной зимою,
Быстро стирает весна, и спешит вернуть мирозданью
Прежний образ, и блеском залить изнуренную землю.
Ты — природы рожденье, весна, украшение года!
Воздух становится чище, а дни — длинней и светлее,
Веет Зефир, и трава, и цветы опять выпускают
Тонкую сеть корешков, которые долго таились
В недрах земли, от врага, от седого инея, прячась.
Рощи покрыты листвой, а горы — сочной травою,
И одевается луг веселым зеленым убором.
Но перед дверью моей, где в маленький дворик выходит
Атрий мой той стороной, что глядит к восходящему солнцу,
Выросла заросль густая крапивы; на каждой лужайке
Сорные травы растут, ядовитым пропитаны соком.
Что же мне делать? Все корни растений связались так прочно,
Словно сковала их цепь: так сплетает тонкие прутья
Ловкий мастер, желая устроить плетень для конюшни,
Если заметит, что влагой пропитаны конские стойла
И на копытах коней завелась грибковая плесень.
Медлить нельзя! Я Сатурновый зуб [2] посылаю на битву
С комьями жирной земли; и слежавшийся слой вырывает
Он из объятий крапивы, разросшейся здесь самовольно.
Рушатся тайные норы кротов, обитателей мрака,
И на солнечный свет земляной червяк выползает.
Если просохла земля под Нотом [3] и солнцем палящим,
Досками надо ее укрепить, разделив на участки,
С легким уклоном насыпать гряду, разбивая усердно
Каждый комочек земли искривленными зубьями грабель,
После же землю удобрить навозом, положенным сверху.
Надо растенья одни из семян выводить, а другие
Могут от старых стеблей рождать молодые побеги.

НАСТОЙЧИВОСТЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА И ПЛОДЫ ТРУДА

Время проходит меж тем, и теплый дождик весенний
Брызжет на скромный посев; и нежные всходы лелеет
Ласковым светом луна; но если погода сухая
Нам откажет в росе, о своих посадках заботу
Я беру на себя, боясь, что засохнут побеги
Нежных растений; из бочки тогда набираю усердно
Чистую воду и лью ее каплю за каплей из горсти,
Чтоб водяная струя не разрушила сильным напором
Грядку, и свежий посев из земли не вынесла наверх.
Ждать недолго — и вот покрывают хрупкие всходы
Весь участок: в одну его часть под кровлей высокой
Дождь и ветра теченья проникнуть не могут, и почва
В ней остается сухой; другая — в тени постоянно,
Скрыта от солнца она: от лучей его пламенно-жгучих
Здесь защищает ее стена высокой ограды.
Но ни та, ни другая под дерном ленивым не скрыли
То, что доверено было, почти без всякой надежды.
Даже те семена, что, казалось, совсем уж засохли,
В недра земля приняла и, вливая в них силу живую,
Их воскресила, взамен вернув урожай изобильный...

ЛИЛИЯ

Славно воспеть красоту сияющей лилии белой
Может ли стих или песнь моей музы, и тощей и трезвой?
Блеску свежего снега подобна она белизною,
Нежный ее аромат с Сабейскою рощей поспорит [4],
Цвет ее чистотой не уступит паросскому камню,
Нард благовонный она превосходит дыханьем душистым.
Если ж коварно змея свой яд вольет сокровенный
Даже в малую ранку, и яд, подступая под сердце,
Смерть с собою несет, то тяжелым пестиком надо
Выжать сок из цветов, смешать с фалерном, и выпить.
Если же есть у тебя порошок из цветов размельченный,
Прямо в рану его положи, и тогда ты увидишь,
Сколь великие силы скрываются в этом лекарстве.
Тем же ты можешь лечить порошком онемелые члены.

РОЗА

Ныне же, если не в труд мне стопы свои дале направить
По каменистой стезе, и новую складывать песню,
Должен почтить я венцом красоту расцветающей розы,
В нем сочетав и Пактола металл [5] и Аравии перлы.

Ибо Германия наша не крашена пурпуром Тира,
Огненный сок слизняков неведом Галлии гордой,
Но производит земля в изобильи шафранные всходы
Тех багряных цветов, которые выше настолько
Прочих растений земных ароматом и блеском достоинств,
Что по заслугам слывет цветком из цветков наша роза.
Роза нам масло дает, от нее получившее имя —
Сколько целений оно приносит в смертельных недугах,
Это упомнить, сказать, перечесть никому не под силу.
Ей лишь лилеи одни противопоставиться могут:
Также и их аромат эфир наполняет окружный;
Но если кто потрет лепесток белоснежный рукою,
То немедля узрит, как оный брызжущий нектар
Всякую прелесть свою потеряет от быстрого тренья.
Девственность так же цветет, поддержана доброю славой,
Цветом счастливым, пока ее не коснулася скверна
И не сломило ее любви недозволенной пламя.
Запах хранит она свой. Но едва непорочности слава
Прахом пойдет, тотчас аромат обратится в зловонье.
Ибо обе сии породы цветов достохвальных
Обозначают собой две высшие доблести церкви:
Так умученных кровь собирает она, словно розы,
Лилии ж носит она, белизной своей веры сияя.
Ты, о дева и мать, благодатным чреватая плодом,
Веры нетронутой ветвь, избравшей избранница воли,
О, царица в дому, голубка, невеста, подруга,
Розы рви на войне, а отрадные лилии — в мире!
Цвет расцвел для тебя из Ессеева царского корня [6]:
Тот, кто сеял посев, возродителем будет посева!
Лилии он чистоту освятил и речами и жизнью,
Розы же смертью окрасил в багрец. И мир и боренье
Членам оставив своим [7], в себе сочетал он их силу,
Вечность в награду даря за победы и в мире и в брани.

К ХРАБАНУ МАВРУ, АББАТУ ФУЛЬДЫ, СВОЕМУ УЧИТЕЛЮ

Отче благой наш, прими слова эти слуг твоих верных.
    Пусть всемогущий Господь внемлет молитвам твоим!
Ты упущенья исправь Страбону, упавшему духом,
    Чтобы от ближних своих он посрамленья не нес.
Этот труд небольшой прими душой благосклонной
    И, что написано в нем, пусть испытает твой взор.
Если ж исправишь, тотчас удостой своих слуг наставленья,
    Да познают они верность твою и любовь.
Ныне будь здрав, процветай, возрастай, пребывай в благодатной
    Сени Господней всегда, наш многославный отец!

К НЕМУ ЖЕ, О ПОСЫЛКЕ ОБУВИ

Шлет Храбану отцу Страбон усердную просьбу:
Месяцев много прошло с той поры, как в письме обещал ты
Будто бы осенью к нам от тебя прибудут посланцы
И на потребу дадут нам, в чем наша нуждается скудость.
Но обманулся, бедняк, я тщетною этой надеждой,
И ожиданье мое нищетою сменилось нежданной.
Нет моим нуждам числа: они мое сердце терзают.
Хуже всего для меня — принужден я ходить босоногим,
Горько страдать, если только ты мне не пришлешь утешенья
И не уделишь вниманья тому, кто столь малого просит.
Всем, как щедрейшая мать, всегда на помощь приходят
Руки твои — да будешь ты здрав на многие годы!

К НЕМУ ЖЕ, ПРОСЬБА ПРИСЛАТЬ СЛУГУ

Просим мы, отче благой, твои ничтожные слуги,
Чтоб вспомянула о нас жалость и милость твоя!
Келья наша тесна, двоим в ней жить неудобно;
Если б к нам третий пришел, стала б просторней она.
Мы ожидаем того, что нам милость твоя обещала:
Будь же ты к нам милосерд так, как Господь наш к тебе!

К ЛИУТГЕРУ-КЛИРИКУ

Нежных достойный услуг и дружественных помышлений,
О Лиутгер, тебе Страб несколько слов посвятил.
Может быть, наши места не очень тебе полюбились,
Все-таки, мнится, меня ты не совсем позабыл.
Если удачлив ты в чем, порадуюсь всею душою,
Если тебе нелегко, сердцем скорблю глубоко.
Как для родимой сынок, как земля для сияния Феба,
Словно роса для травы, волны морские для рыб,
Воздух для пташек-певиц, журчанье ручья для поляны,—
Так, милый мальчик, твое личико дорого мне.
Если возможно тебе (нам же кажется это возможным),
То поскорее предстань ты перед очи мои,
Ибо с тех пор, как узнал, что ты близко от нас пребываешь,
Не успокоюсь, пока вновь не увижу тебя.
Пусть превосходят числом и росу, и песок, и светила
Слава, здоровье, успех и долголетье твое.

К НЕМУ ЖЕ

Вдруг, дорогой, ты пришел, и вдруг, дорогой, ты уходишь...
Слышу, не вижу тебя, и все-таки внутренно вижу.
Внутренно же обниму беглеца во плоти, но не в дружбе.
Ибо, как прежде ты был, так вечно я буду уверен:
Сердцем ты будешь моим, я люблю тебя сердцем: мне время
Мыслей других не внушит, и тебя на другое не склонит.
Если сумеешь прийти, приходи, буду рад тебя видеть,
Если же нет, напиши.
Я узнал о твоих злоключеньях.
Мыслю с печалью о них. Печаль — достояние мира.
То, что ты светлым считал, сокроется быстро в тумане,
Канет в безрадостный мрак. Прикрепле́нный к бегущему кругу,
Мчишься то на́верх, то вниз... Таково колесо мировое [8].

К ДРУГУ

В час, когда чистой луны сиянье сверкает в эфире,
Стань под покровом небес и затем созерцай в восхищеньи,
Как с небосклона луна сияет лампадою чистой,
Как она светом своим зараз обнимает двух милых,
Телом различных пока, но скрепленных сердечной любовью.
Если лицо на лицо, любя, любоваться не может,
Пусть же залогом любви послужит им это сиянье.
Эти стишки я тебе посылаю, как друг неизменный:
Если с твоей стороны цепь ве́рности скована крепко,
То помолюсь за тебя о счастье на вечные веки.

К АДЕЛЬХЕЙДЕ [9]

Если то, что слывет у всех за правду,
То, что тысячекратно повторяют,
Я один замолчать стараться буду,
Мне же зависти грех в вину поставят.
Пусть же буду я в этом невиновен,
Но пускай я всему внемлю охотно
И бесхитростно людям возвещаю.
Все, что доброго молвится о добрых,
Все могу я сказать про Вашу благость,
Ибо слава о Вас возносит души.
Так мы ею полны, что, умолчавши,
Против совести я своей восстану.
Подивимся же совести той чистой,
Коей Вы особливо достославны!
Подивимся на Ваш честной обычай,

Коим Вы, без сомненья, всех прельстили!
Кто Вас хвалит — себя венчает славой,
Кто Вас хвалит — блюдет и любит правду,
Кто Вас хвалит — заслужит добрый отзыв,
Кто Вас хвалит — как должно поступает.
Не устами льстеца твержу я это,
И понравиться ложью не желаю!
Нет, намерен я словом справедливым
Путь прямой проложить правдивой речи.
Ибо если снищу я разрешенье,
И Господь всемогущий милосердно
Соизволит, то Вы прочтете после
Сердца нашего письменные знаки [10].
Впредь и присно и здесь и в жизни вечной
Да пребудете в Боге живы, здравы.
Пусть Вас светлый Отец с блаженным Сыном
Вкупе с Духом Святым хранят вовеки!

САПФИЧЕСКИЕ СТРОФЫ

Раздели мой плач, о сестрица муза,
Расскажи о горьком моем изгнанье
И о том, как давит меня повсюду
Жалкая бедность.

Мудростью хочу укрепить я душу,
Ибо край родной для меня потерян,
И в чужой земле, ненавистный людям,
Слезно я стражду.

Я вдали от тех, кто меня учили;
Мне наставник мой не согреет сердце;
Скудная еда мне питает только
Слабое тело.

Наготу мою истерзала стужа,
Заскорузли ноги, застыли руки,
И мои глаза созерцают в страхе
Грозную зиму.

Мне сыпучий снег застудил каморку,
Мне не в радость спать на холодном ложе,
И ни на одре, ни за дверью дома
Нет мне покоя.

Ах, когда б мой ум, хоть бы малой частью
Осенила чтимая мною мудрость,

Я бы счастлив был, и меня согрел бы
Жар вдохновенья.

Ах, когда бы ты, мой отец достойный [11],
Для кого я шел в этот край далекий,
Был со мною здесь, со своим питомцем,—
Я не страдал бы.

А теперь из глаз моих льются слезы,
Лишь припомню дни под блаженным кровом
Малой кельи той, где я жил, спокойный,
В Авии [12] милой.

Авия моя, дорогая матерь,
Будь священна ввек, и цвети, как прежде,
Славою заслуг и достатком честным,
Остров счастливый!

Вновь и вновь тебя нареку священным,
Ибо свято чтишь ты Господню матерь,
И душа моя о тебе ликует,
Остров счастливый!

Окружен глубокой пучиной водной,
Ты стоишь незыблем, любовью крепок,
Рассевая всюду святое знанье,
Остров счастливый!

Как я жажду снова тебя увидеть,
Как и день и ночь о тебе тоскую,
О, хранитель благ, драгоценных людям,
Остров счастливый!

Будь силен и тверд, будь цветущ и светел,
И Господней воле служи достойно,
Чтоб твое вовек прославляли люди,
Авия, счастье.

Да пошлет мне милость Христос-громовник
Воротиться вновь ко твоим святыням
И воскликнуть радостно: буди, буди
Счастлива, матерь!

Боже, царь царей, над властями властный,
Мудростью отца нареченный свыше,
Ты, животворящий сердца людские
Светом ученья,

Боже, дай дожить до того мгновенья,
Когда я, вернувшись в родные стены,
Возмогу прославить хвалою новой
Щедрость Господню!

Вышнему Отцу воспеваю песню,
Благодарно чту милосердье Сына,
И Святого Духа, что правит миром
В роды и роды.

АНАКРЕОНТИЧЕСКИЙ МЕТР

ЗАГАДКА О МЫШИ

Поспешайте, дорогие,
Оцените, други, песню:
Я пою про бой, что смелость
Одного свершила слога.
Из троих частей соделан,
Из семи скреплен коленьев [13],
В темноте пришел глубокой
Прямо в дом тропой звериной.
Узревает в доме сыр он,
Уснащенный едкой солью,
И его пронзает мощно,
Совершая славный подвиг.
Не мечом его убил он:
Нет, в молчании глубоком
Изувечил острым зубом,
Победил он, став убийцей.
Побасенку вам сказал я —
Пусть же кто-нибудь решеньем
Мне вернет ее обратно,
И всем жаждущим познанья
Пусть он скажет лишь три слова [14].
Поищи хитро разгадку:
В трех слогах она сокрыта.
Их скажи — и разгадаешь.

СОПОСТАВЛЕНИЕ НЕВОЗМОЖНОСТЕЙ

Воронов белых пусть кто-нибудь словит иль лебедей черных,
Кстати улиток болтливых найдет иль цикад молчаливых,
Купит рогатых коней иль бычков безрогих отыщет,
Рыбам плавать не даст, летящих птиц остановит,
Бег задержит ручьев, а горы бегать заставит.
Воды пусть вверх потекут, а пламя вниз устремится,
Глина пускай от воды, а воск от огня затвердеет,
Прыгать начнут червяки, пресмыкаться в прахе олени,
Козы пусть яйца кладут, а куры рождают козляток.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как утомленный пловец, налегая на весла, ликует,
Трижды желанный узнав берег родной вдалеке,
Так и писатель, завидев писанью конец вожделенный,
Тоже ликует душой, столь же измучен трудом.

Приложение

ЭПИТАФИЯ ВАЛАХФРИДА АББАТА, СОЧИНЕННАЯ ХРАБАНОМ МАВРОМ

Тот, кто захочет узнать, кто покоится в этой могиле,
Пусть эту надпись прочтет: все он узнает тогда.
Здесь, под этим холмом Валахфрид почивает пресвитер:
В чине монаха он был, мощным умом обладал...
Общины этой аббат, он стражем был ее верным,
Ей раскрывая всегда догматы веры святой.
Многих он научил искусство познать стихотворства,
Сам стихи он слагал, прозой изящной владел.
Паству свою призывал постоянно на пастбища Божьи,
Речью своею дарил братьям чистейшую соль.
Нравом честен и прям, образец добродетелей многих,
Пастырь школы своей, был он народом любим.
Злая смерть унесла молодым его, многим на горе
Близким его, но Христос взял его душу к себе.
Ты, кто прочел эту надпись, прошу: за него ты молитвы
С верой к Христу вознеси: Богу угодны они.

Хейтон

«Видение Веттина», записанное Хейтоном, монахом Рейхенау, представляет двоякий историко-литературный интерес: во-первых, как один из самых совершенных памятников жанра видений в раннем средневековье и, во-вторых, как первое видение, которое было переложено в стихи и тем самым открыло ту цепь стихотворных видений загробного мира, которая завершается «Божественной Комедией» Данте.

«Видение Веттина» вышло из швабского монастыря Рейхенау, одного из важнейших культурных центров Германии. Дата видения названа в тексте — это 824 г. Ясновидец Веттин, учитель в монастырской школе Рейхенау, был заметной фигурой в культурной жизни своего времени: он был родственником рейхенауского аббата Вальдона и санкт-галленского аббата Гримальда, архикапеллана Людовика Немецкого и известного мецената; из его школы вышли такие крупные поэты, как Валахфрид Страбон и Годескальк. Его друг Хейгон, руководитель рейхенауской школы, сам был аббатом Рейхенау после Вальдона, и оставил эту должность только за год до смерти Веттина.

Любопытно, что «Видение Веттина» показывает уже существование отчетливой литературной традиции этого жанра и высоких литературных требований, предъявляемых к нему. Хейтон откровенно рассказывает, как ясновидец Веттин, словно не полагаясь на себя, перед последней галлюцинацией сам подстегивал свое воображение, прося товарищей читать ему «ясновидческие» отрывки из диалогов Григория Великого. А сам Хейтон по крайней мере дважды (гл. 15 и 28) упоминает, что из рассказанного Веттином он многое «ради сжатости опускает» — иначе говоря, откровенные свыше слова вычеркиваются ради художественной гармоничности целого, эстетический принцип для автора важнее религиозного: признак развитой художественной культуры.

План видения обычен: 1) болезнь и смерть ясновидца, 2а) места мучения, 2б) места блаженства, 3) поучение и возвращение в тело. Необычно только раздвоение видения: маленькое видение (гл. 2—3) служит как бы увертюрой к большому. В основной части обращает внимание, что об аде не говорится — речь идет об одном чистилище,— а в картине рая начинают намечаться различные степени блаженства (святые, мученики, девственницы), что предвещает дальнейшее усложнение плана видений. Портреты исторических лиц, встреченных на том свете,— в том числе аббата Вальдона и императора Карла — уже

стали к этому времени традицией в жанре видений. Дидактическая часть видения, вложенная в уста ангела-спутника, очень обширна и занимает почти половину всего текста.

Стиль видения академически изыскан: Хейтон «изукрасил видение медоточивыми цветами римского красноречия», по картинному выражению Валахфрида Страбона. Речь кишит гиперболическими эпитетами («изумительный», «неисчислимый», «несравненный» и пр.), конкретные понятия всюду, где можно, заменяются абстрактными: автор говорит не «высокая гора», а «высота некоей горы», не «святые» и даже не «слава святых», а «достоинство славы святых» и т. п. Все это создает впечатление торжественного, повышенного тона.

Тем не менее автору его произведение показалось, по-видимому, недостаточно великолепным, и оно было послано для переложения в стихи Валахфриду Страбону, еще совсем молодому питомцу Рейхенауской школы, незадолго до того перебравшемуся для продолжения образования в Фульду. Валахфрид выполнил пожелание своих наставников в полной мере: он переложил «Видение» в виде поэмы в 945 гексаметров, добавил к красотам стиля Хейтона красоты собственного стиля, вставил в поэму молитвы к господу, описание рейхена уского аббатства и панегирик его управителям, а кроме того, в акростихах раскрыл те имена упоминаемых лиц, которые осторожный Хейтон обошел молчанием,— Вальдона, Карла, епископа Адальхельма и др. Отрывки поэмы Валахфрида, содержащие эти акростихи, приводятся ниже как приложение к тексту Хейтона.

ВИДЕНИЕ ВЕТТИНА

ПРЕДИСЛОВИЕ

В земле аламаннов, или свевов, в монастыре пресвятой приснодевы Марии, рекомом Аува [1], жил некий брат по имени Веттин, кровный родственник Вальдона [2], который во времена блаженной памяти императора Карла со славою управлял оной обителью. Постепенно подвигаясь в деле своего обращения, он, однако, как впоследствии оказалось, недостаточно соблюдал монашеский образ жизни; зато пред всеми окружавшими его в то время отличался как в божественных науках, так и в благородных искусствах. Нижеследующее его видение правдивейшим образом описал достопочтенный муж Хейтон, некогда епископ базельский и той обители монах. Откровение сие явилось на одиннадцатом году царствования императора Людовика, т. е. от воплощения Господа нашего в лето 824, в 3 день ноября месяца, т. е. на четвертые сутки нон означенного месяца. Ибо в 30 день октября, в субботу, захворал он, в ночь на 4 сутки имел означенное видение, в 5 же сутки, т. е., накануне ноябрьских ид, в час вечерних сумерек, отошел ко Господу.

ГЛАВЫ ОЗНАЧЕННОГО ВИДЕНИЯ

1. Как начал он хворать; 2. Первое видение, в котором явилось ему ужасное зрелище лукавых духов, утешением святых мужей прогнанное; 3. Явление ангела, в багряницу облаченного, и дружелюбное его обращение; 4. С каким усердием, созвав братий, прибег он к молитве и чтению Писания; 5. Как засим тот же ангел явился к нему в одеждах белых, усердие его одобряя; 6. Каким образом восхищенный ангелом в горние узрел реку огненную и муки различных людей; 7. О жалости достойном пребывании иереев; 8. Об очищении некоторых иноков; 9. О некоем монахе, за особую вину в зловонном ящике заключенном; 10. О Вальдоне-аббате, страждущем в чистилище; 11. О Карле-императоре; 12. О мздоимстве графов; 13. О грешной жизни графов; 14. О славе и мучении многих людей; 15. Видение престола и славы Господней; 16, в коей предсказывается ангелом кончина его на следующий день, и святые отцы за душу его молятся; 17. Предстательство мучеников; 18. Моление девственниц о долговечной жизни; 19. Слово ангела о содомской мерзости и конкубинах; 20. Увещание ангела о его исправлении и служении; 21. Что заслуживает увещания в монашеских обителях; 22. Каковы злоупотребления в женских конгрегациях; 23. О том, что должны соблюдаться апостольские установления; 24. Еще об отвратительнейшем грехе; 25. Почему свирепствует моровое поветрие; 26. О прилежании к службе церковной; 27. О Геролте-графе; 28. Как, созвав братьев, Веттин велел записать виденное; 29. Как по приходе аббата повторил он все сызнова; 30. Что делал он в остальные два дня; 31. Как после совершения молебствия благополучно отошел ко Господу.

НАЧИНАЕТСЯ САМОЕ ВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ ОТКРЫЛОСЬ БРАТУ НАШЕМУ ВЕТТИНУ НАКАНУНЕ ПРЕСТАВЛЕНИЯ ЕГО

1. Когда вышеозначенный брат вкупе с прочими братьями нашими вкушал питие для восстановления телесных сил, и всем остальным оно пришлось во здравие, он стал изрыгать его непереваренным с большими усилиями и тотчас же почувствовал отвращение к пище, которую должен был принять в себя для подкрепления плоти. С наступлением следующего дня, в воскресенье, стало ему немного легче, и он откушал вместе с другими, к которым он присоединился для удовлетворения этой телесной нужды, но чувствовал все то же отвращение к еде. Однако он никоим образом не думал, что от этого ему придется перенести какой-либо переворот в плотском существовании, ибо трапеза второго и третьего дня, с уменьшением тошноты, ободрила его и дала уверенность в сохранении жизни сей.

2. На третьи же сутки, с наступлением вечерних сумерек, когда братья сидели с ним вместе за трапезой, сказал он, что не в силах вместе с ними ожидать конца трапезы. Но, между тем, пока они пели, он велел перенести постель ложа своего из места выше-

сказанного собрания в другую келейку, соседнюю с прежней, отделенную от нее только преградою одной стены, дабы там в спокойствии дождаться конца их трапезы и своего возвращения к месту обычного своего ложа.

Итак, чуть он протянул члены на ложе и лежал с глазами закрытыми, но сном, как сам он думал, не смеженными, явился лукавый дух, принявший обличье клирика [3], столь безобразное, что на лике слепом и темновидном не было заметно даже следа глаз, неся в руках разного рода орудия пытки, стоя у изголовия его, точно радуясь, и как бы собираясь в скорости подвергнуть его мучениям. И пока он грезил такими ужасами, вдруг появилась толпа лукавых духов, наполняя собой все пространство оной келейки, стекаясь отовсюду с маленькими щитами и дротиками и стараясь построиться в некую фигуру, наподобие италийских латников, чтобы окружить Веттина. И от всего того вышереченный брат, обуреваемый таким страхом и таким невыносимым ужасом, настолько был напуган, что уже не имел ни малой надежды избежать орудий смерти.

Вдруг неожиданно явилось Божественное милосердие. Ибо неожиданно в той же келье предстали мужи великолепные, обличием почтенные, в монашеском облачении, на скамьях сидящие, из коих один, восседавший посреди, сказал по-латыни теми же словами, какие здесь написаны, как передавал сам Веттин: «Несправедливо, чтобы сии негодные творили подобное, ибо человек сей — на пути к исцелению. Прикажите им отступить». По его глаголу скопище лукавых духов исчезло и отступило.

3. Засим, по удалении столь великого ужаса, пришел ангел, сверкающий непостижимой красотою, в багряную одежду облаченный, ставший в ногах его и дружеским гласом к нему воззвавший: «К тебе,— сказал он,— пришел я, душа возлюбленная». Брат же оный отвечал ему по-латыни: «Если Господь мой желает забыть грехи мои, он творит дело милосердия, если же нет — в руке его есмы: пусть свершит, как благоугодно ему. Ибо патриархи, пророки, апостолы и вся слава небесная и земная старались за род людской, а теперь приходится вам еще сильнее усердствовать, ибо еще слабее стали мы в нынешние времена». Таковым собеседованием оного ангела и вышереченного брата закончилось первое видение, которое мы, изобразившие сие на письме, велели записать теми же словами, какими они, по его рассказу, обменялись, ничего не позабыв и от себя ничего не прибавив.

4. Проснувшись, означенный брат сел на постели и, оглянувшись, нет ли кого подле, обрел двоих, настоятеля [4] оного монастыря и другого брата, оставленных при нем для утешения, в то время как другие, по окончании трапезы, были отпущены на отдых. Он же, созвав их, изложил им по порядку все, что открылось ему в столь краткий промежуток времени, согласно чего и составлена настоящая запись; и настолько дрожал от страха перед вышеупомянутым видением, что, позабыв всю тягость телесного недомогания,

объят был невыносимым трепетом ужаса. Поэтому, волнуемый непомерностью сего ужаса, пал он на землю в присутствии вышереченных братьев и, распростершись всем телом наподобие креста, просил, чтобы со всем возможным усердием предстательствовали о нем за грехи его. Пока же он лежал, распростершись таким образом, начали вышереченные братья воспевать ради спасения души его как семь покаянных псалмов, так и приличествующие в подобном тяжелом положении песнопения, которые приходили им на память.

По окончании сего встал он и опять сел на кровать, прося, чтобы почитали ему диалог блаженного Григория [5]. Тогда прочитали ему вслух начало последней книги этого диалога вплоть до окончания девятого или десятого листа. По завершении чтения просил он вышеупомянутых братьев, чтобы они отдыхом облегчили усталость, которой они, бодрствуя, подвергли себя ради него, и разрешили бы себе передышку, чтобы спокойно опочить в ту небольшую часть ночи, которая еще оставалась.

5. Когда же они покинули его и в другой части той же кельи расположили тела свои на отдых, а сам он, после тяжкой усталости как духа, так и тела, предался сну, пришел тот же ангел, который в первом видении явился ему в багрянице, стоящим в ногах его, и теперь, облаченный в светлые одежды, стал у изголовья, сверкая блеском непостижимым; обратившись к нему с кроткой речью, он похвалил его за то, что тот в смятении прибег к Богу путем псалмопения и чтения, побуждая его в остальном поступать так же. Между прочим же увещевал его часто повторять псалом 118 [6], ибо в нем описывается духовная добродетель; о себе же сказал, что весьма увеселяется, видя кого-либо с усердием прилежащего чтению и повторению псалмов; Бог же сим умилостивляется, если обычай этот искренне, а не по видимости только соблюден будет.

6. Сказав сие, восхитил его оный ангел и повел по пресветлому пути непомерной сладости. Пока шествовали они по оному, показал он ему горы неизмеримой вышины и непостижимой красоты, которые выглядели, как мраморные. Их окружала река обширнейшая огненная, в коей заключено было в наказание неисчислимое множество осужденных, из коих многие, как говорил он, были ему знакомы. И в других местах видел он истязуемых бесчисленными мучениями всякого рода. Среди сих заметил он многих священнослужителей как низшего, так и высшего сана, спиною к столбам крепко ремнями притянутых, висящих в пламени; жены же, ими развращенные, были привязаны напротив них и погружены в огонь до детородных частей. Ангел же сказал ему, что через каждые три дня, без пропуска, за исключением одного только дня, бьют их прутьями по детородным частям. Веттин передал, что многие из них были ему известны.

7. «Большая часть священнослужителей,— сказал ангел,— считает благочестием преследование мирских выгод, исполнение придвор-

ных обязанностей, возвеличивание себя изысканностью одежд и пышностью выездов. О накоплении духовных богатств не пекутся; пресыщенные утехами, в распутство ввергаются; и кончается тем, что не могут они быть предстателями ни за себя, ни за других. Теперь, когда мир страждет от глада и мора, могли бы они помочь своими молитвами, если бы всеми силами души хотели быть угодными Богу. И потому их после смерти постигает такое воздаяние, что прежними делами своими они сами таковое заслужили».

8. Сверх того поведал он, что видел там некое здание, весьма беспорядочно из дерева и камня сооруженное, в черноте своей безобразное, и дым из него, ввысь устремляющийся. На вопрос же его, что сие означает, было ему отвечено ангелом, что это — обиталище некиих монахов, собранных туда из разных мест и стран для очищения от скверны.

9. Из их числа одного поименовал он особо, о коем поведал, что ему суждено в оловянном ларце дожидаться дня Страшного суда за особый грех, который в прежние времена проявился в Анании и Сапфире [7] в нарушение чистоты общины. Карательное заключение сего инока было открыто некоему страннику, восхищенному в экстазе, перед отцом дней его, лет за десять тому назад, как тогда гласила молва; но потом оно было предано забвению, и теперь опять вызвано в памяти в этом видении означенным братом Веттином, прежде о том ничего не слыхавшим. Из этого примера, повторенного в двойном напоминании, явствует, что то, что криво растет, должно чаще быть обрезаемо, дабы для тех, кто носит имя монахов, тяжкий грех не превратился в тяжесть олова.

10. Там же явилась ему некая высокая гора и поведано ангелом о некотором аббате, умершем лет за десять перед тем,— что он помещен на вершине этой горы для очищения, но не для вечного мучения, и что там страдает он от сурового воздуха и от тягости дождей и ветров. Еще прибавил о нем тот же ангел, что некий епископ, недавно умерший [8], должен поддержкой молить своих помочь ему получить прощение, о чем оный аббат и известил его, явившись в сновидении одному из его клириков. Вышеуказанный же епископ, отнесшись к этому небрежно, не посочувствовал ему с горячей любовью и не начал ратовать за его спасение. «И таким образом,— сказал ангел,— он не сумел помочь и себе самому».— «А где он находится?» — спросил тот.— «Тут же,— отвечал ангел,— на другом склоне той же горы несет он муки своего осуждения».

Что же касается видения, о коем мы только что упомянули в немногих словах, то мы слышали о нем от того самого клирика, которому оно явилось во сне три года тому назад. «Пришел я,— так повествовал он,— в некое помещение, окруженное стенами, где оный аббат, сидя с окровавленными голенями, воззвал ко мне: иди, сказал он, к епископу и скажи ему, что сие отведенное мне и другому сотоварищу моему обиталище потому нам противно, что мерзкий запах, исходящий из купальни, в коей моются два графа, де-

лает его почти невыносимым для нас; и посему пусть он постарается, чтобы собранными отовсюду силами завершить это мучение. Если же у него у самого не хватит сил, пусть отправит послов в известные монастыри; а их добровольной поддержкой явится все необходимое для завершения мучений.— Услыхав сие, епископ сказал: «Бред сновидений недостоин внимания». Равным образом ангел упомянул в настоящем видении, что епископ не подал помощи своими молитвами, даже побуждаемый мертвыми. Самому же брату Веттину, который принес это как бы из преисподней на землю. прежде об этом ничего не было известно.

11. Тогда же он увидел стоящим некоего властителя, который когда-то правил скиптром Италии и римского народа; и зверь некий зубами терзал постыдные части его тела, остальные же члены оставались невредимыми [9]. Веттин был поражен великим недоумением, удивляясь, почему столь замечательный муж, который в деле защиты католической веры и власти святой церкви казался единственным среди людей нашего века, мог быть подвергнут столь безобразному наказанию. Ангел, путеводитель его, тотчас же отвечал ему, что хотя муж сей и совершил многие дела изумительные, достохвальные и Богу угодные,— за которые он и будет прощен,— однако, поддавшись на соблазны разврата, пожелал закончить в них долгую жизнь свою, посвящая Богу другие добрые дела, точно непристойность, хоть и малая, и попустительство слабости человеческой могут быть раздавлены и уничтожены тяжестью стольких добродетелей. «Однакоже,— добавил он,— он предназначен судьбою к вечной жизни вместе с избранными».

12. Там же увидел он дары великолепные и неисчислимые, торжественно приготовленные лукавыми духами как бы для подношения: одежды, серебряные сосуды, коней и тонкие полотна. На вопрос, чьи они и что обозначают, ангел ответил: «Они принадлежат графам, управляющим разными областями, чтобы, попав сюда, они помнили, что эти богатства нажиты лихоимством, грабежом и скупостью. Назвав некоторых из них по именам, он сказал, что дары не уменьшатся и не уничтожатся, пока те не придут и не примут их.

13. У кого хватит силы передать страшное осуждение, которое он вынес поведению графов? Ибо некоторых из них он назвал не карателями преступлений, а утеснителями человеков, наподобие дьявола праведных осуждающими, виновных прощающими, с ворами и злодеями общающимися.— «Милостыни,— добавил он,— ради спасения души в будущей жизни не подают никогда, ослепленные могуществом своим. Но, верша законы мирские для обуздания дерзости злых, они без всякой милости, в угоду собственной корысти взыскивают, точно это полагается им по закону, пени, налагаемые на должников; здесь они найдут их снова. Правосудия же ради будущей жизни не творят никогда, и хотя они должны были бы давать его всем безвозмездно ради вечного спасения, оно у них

всегда продажно, как и душа. Некоторых же он по именам назвал в числе осужденных, ибо так сказано в евангелии о неверующих (Иоанн, 3, 18): «Неверующий уже осужден».

14. Еще передавал он, что видел бессчетное количество людей, как простого, так и монашеского звания из разных стран и монастырей, иных во славе, а иных, подавленных мучениями.

15. Обозрев сих и других без числа, коих, ради сжатости изложения, опускаем здесь, повел его ангел по местам прекрасным, строительством природы созданным, с арками как бы золотыми и серебряными, анаглифами изукрашенными, и отличавшимися такой величиной, высотой и невообразимой красотой, что ни умом постичь, ни языком человеческим высказать нельзя было необъятности этого произведения.

Тут предстал Царь царей и Господин над господами со множеством святых, сияющий таким величием и славою, что плотские глаза человека не в состоянии были вынести сияния этого света и славы и достоинств святителей, которые там находились.

16. Тогда тот же ангел, который был его руководителем и учителем, сказал ему: «Завтра ты должен преставиться, но пока позаботимся о милосердии». Тогда, вслед за ангелом, прошел он туда, где сидели святые иереи с неописуемой славой и достоинством. Тут ангел сказал ему: «Сии суть увенчанные Богом за добрые дела, в честь которых вы совершаете церковные богослужения. Попросим их, чтобы они вымолили тебе прощение у Бога». После этих слов они, упав на колени, просили их стать заступниками. Святые же иереи, встав без промедления, отправились к престолу и простершись ниц, умоляли о даровании милосердия означенному брату. Ангел же тот вместе с самим братом во время их предстательства стояли далеко в стороне. Пока же те, коленопреклоненные, молили пред престолом о милосердии, послышался с престола глас ответствующий: «Он должен был подавать другим пример благочестия и не подал». И ничего более не было сказано им в ответ.

Веттин уверял, что узнал в том славном собрании иереев святых Дионисия, Мартина, Ананию и Илария.

17. Затем они снова по совету ангела вместе направились туда, где множество блаженных мучеников сверкало в неописуемой славе. «Сии суть те,— сказал он,— коих победа в славной борьбе довела до такой славы, те, коих вы с честью почитаете в церкви, в честь и хвалу Божию. Их мы должны просить предстательствовать о прощении грехов твоих». Едва те увидели его распростертым на земле с подобной мольбой, тотчас же без всякого промедления направились к престолу Божьего величия и коленопреклоненно просили об отпущении грехов его. И был им, как и прежним, глас с престола: «Если он исправит тех, кого он завлек дурным примером своей распущенности и, развратив, свел с пути истины на путь заблуждения, если он вновь возвратит их на путь истины, то простится ему». Когда же они спросили, как мог бы он осуществить это ис-

правление, чтобы ему достигнуть испрашиваемого отпущения, был им вновь глас с престола: «Пусть созовет всех, кого он своим примером или учением увлек на совершение недозволенного, падет пред ними на землю, признает, что плохо поступал и учил, и вымолит у них прощение, а их самих попросит именем всемогущего Бога и всех святых, чтобы они впредь не поступали так плохо и других не учили». Ангел же и Веттин между тем стояли далеко в стороне, как и во время первого предстательства иереев. Он передавал, что среди мучеников узнал святого Севастиана и Валентина.

18. Засим, руководствуемый ангелом, направился он к месту, где пребывало неисчислимое множество святых девственниц, блистающих несравненными достоинствами и осиянных сверкающим светом. «Сии суть святые жены»,— сказал он,— в честь которых вы совершаете церковное богослужение во славу имени Христова. Их мы должны предпослать себе ради предстательства пред богом о вечной жизни». После этих слов они так же, как прежде, простерлись пред теми. Те же немедля с великой поспешностью направились к трону, молили о вечной жизни для Веттина; сами же Веттин и ангел, как и прежде, стояли в стороне. Но ранее, чем святые девственницы успели пасть для мольбы, явилось им навстречу величие Господне и, подняв их, изрекло: «Если он будет учить добру и подавать хороший пример, и исправит тех, кому подавал дурной пример, то будет по прошению вашему».

19. По возвращении же оттуда начал ангел излагать ему, в сколь великой скверне греховной вращается человечество...

28. После того, как ангел сказал и показал ему это и трудно исчислимое количество других вещей, которые мы ради сжатости опускаем на письме, брат оный пробудился вновь, когда петухи уже извещали криком о близости дня. Созвав тех братий, которые переночевали в его опочивальне, он, побуждаемый величием видения и мучимый невыносимым страхом и тревогою, изложил подряд все тайны сего видения и тут же выразил желание, чтобы явился отец обители, и речь его была выслушана в присутствии оного. Когда же ему сказали, что братья, занятые ночным размышлением, не смеют нарушить тишины, он промолвил: «Вы, между тем, запечатлейте это на мягком воске, чтобы к восходу зари все уже предстало в готовом виде. Я же боюсь, что немеющим языком не сумею огласить виденного и слышанного. Ибо с такой обязательностью было мне приказано всенародно оповестить об этом, что я боюсь из-за греха умолчания быть пораженным без прощения, если благодаря моему безмолвию это погибнет и не станет известным всем. Последнее же предстательство святых девственниц, которое свершилось пред Господом ради долговечной жизни, оставило меня в неизвестности относительно того, касалось ли оно долготы жизни предстоящей или жизни вечной. Если же благодаря указанному предстательству не будет мне продлен срок жизни сей преходящей, то я без всякого сомнения, согласно уверению моего путеводителя-ангела, завтра пре-

ставлюсь». Побуждаемые этими речами, они запечатлели на воске по порядку все то, что было им рассказано.

29. Между тем по окончании утренних песнопений явился отец обители с некоторыми братьями, чтобы навестить его. Когда он стал у его ложа, тот попросил о тайной беседе. Тогда, по удалении остальных, аббат, удержав при себе нескольких братьев, остался сам-пять [10]. Когда показали то, что в ночной тишине было с трепетной поспешностью занесено на дощечки, он устно и письменно повторил все и, поднявшись на ложе, распростертый на земле, просил прощения своих проступков и умолял братьев о предстательстве за него перед богом. Они же, увидев, что он не обезображен бледностью, не падает от изнеможения, не жалуется на боль в теле, и не поражен ни ударом, ни каким-либо другим признаком смертельного недуга, утешительными словами с полной уверенностью старались воодушевлять его надеждой на продолжение жизни сей. Он же по-прежнему дал им ответ, что нимало не сомневается в завтрашней своей кончине.

30. Весь же день тот и следующую ночь и весь следующий день до вечера провел он, проявляя ужас пред призванием своим, мучась с плачем и воздыханием, то поручая себя отдельным лицам, то умоляя в письмах, обращенных к различным людям, чтобы они вымолили ему отпущение.

31. Когда вечерние сумерки последующего дня перешли уже в ночь, он, созвав братьев, известил их, что для него истек срок бренной жизни, и всячески просил их приступать к песнопению. Руководствуя, как регент, он заставил пропеть ради спасения души его все антифоны и начальные слова псалмов. По окончании сего он вздохнул несколько свободнее и, когда братья вернулись к ложам своим, он стал в волнении ходить взад и вперед. С приближением смерти пал он на постель и принятием напутствия завершил последний час жизни сей непостоянной.

Приложение

АКРОСТИХИ ИЗ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ „ВИДЕНИЯ ВЕТТИНА", НАПИСАННОГО ВАЛАХФРИДОМ СТРАБОНОМ

... Тягость суровых дождей и частые смены ненастья,
Ветров порывы его и гнев непогоды терзают,
Аще искупит он там, что грешным свершил небреженьем,
Ласково будет введен в палаты предвечного бога,
Дабы, блаженство святых вкруг сего престола вкушая,
Он проводил свои дни, греха не касаясь вовеки.
Ангел прибавил к сему, что некий епископ аббату

Должен был кроткой мольбою помочь и благими делами,
А перед тем уж давно он сам посланцу в сновиденьи
Лик свой явивши, просил архипастырю это поведать.
Худо епископ-отец и с насмешкою весть эту принял,
Ей не поверил и счел за обычную ложь сновидений,
Любвеобильным себя не явил к осужденному брату,
Мыслью ленив, и душой нерадив, и к добру непоспешен.
Горечи пыток зато теперь он со скорбью подвержен,
Собственных тяжких грехов вину искупает мученьем.
Ангела брат вопросил: «Где тобой обличенный томится?»
Дан был ответ: «На другой стороне тех же гор пребывает.
А что до сна, что сейчас упомянут был краткою речью,
Мы излагаем его по словам самого ясновидца.
Он же поведал нам так: «Восседающим в полном парами
Доме я видел того, о ком говорили мы прежде,
Авву, у коего кровь по бедрам и икрам стекала.
Лепету внял я его: О сыне, поведай патрону —
Рок нас двоих осудил в безобразном жилище томиться,
Ибо два графа у нас купаются здесь беспрестанно,
Хляби купальни мутя и без отдыха плавая в оной.
Распространяют они смердящее в доме зловонье,
Узников жалких душа и запахом их выживая.
Ах, умоли ты его, чтоб послал он по инокам честным,
Дабы они помогли поддержкой своей добронравной
Разом зловония гнет и прочие сбросить мученья
И перебраться туда, где нету ни стен, ни темницы.
Христолюбивейший сын, прошу, не забудь моей просьбы».
Эти услышав слова из уст пришедшего с вестью,
Молвил епископ в ответ: «Сие, полагаю, фантазмы,
И оттого к измышленным речам не питаю доверья».
Эти, однако, его сомнения были напрасны:
Ангел вещал, что тот иерей, не внявший усопшим
И не спешивший помочь тому, кто нуждался в молитвах,
Ныне за это и сам неизбывною мучится мукой...

. . . .

К этим приближась местам, узрел он того, кто когда-то
Авзонийской державой владел, и кому подчинялся
Рима высокого род. Стоял он, не двигаясь с места,
Лядвия были его и уды терзаемы зверем,
И, не затронуты скверной, сияли все прочие члены.
Молвил при виде таком пораженный ужасом путник:
«Право же, сей человек, когда среди смертных царил он,
Единовластно, и был столпом справедливости в людях,
Рвеньем всегда пламенел к делам во славу Господню.
А для служителей Божьих был верным щитом и подмогой.

Тем и вознесся в миру до высшего он процветанья,
О правосудьи радея и милостью радуя царство;
Ради чего же теперь он страждет в столь горькой юдоли,
Молви, прошу!» — И в ответ поведал ему провожатый:
«Здесь он томится за то, что пятнал свою добрую славу
Похотью мерзкой, решив, будто добрыми можно делами
Грех сей постыдный стереть; в грязи он и принял кончину.
Тем не менее ждет его вековечное царство,
И для него уготована Господом высшая почесть».

Дуода

Дуода, графиня Септиманская — первая известная нам поэтесса в новоевропейской литературе — происходила из знатного готского рода; в 824 г. вышла замуж за Бернгарда, графа Септимании (область Нарбонны), в 826 г. родила старшего сына, Вильгельма, а в 841 г.— младшего, Бернгарда. По неизвестной причине граф Бернгард с младенческих лет отнимал сыновей у Дуоды и воспитывал их вдали от матери. Свои материнские чувства Дуода попыталась излить в книге, которую она сочинила для старшего сына, Вильгельма, когда ему исполнилось 16 лет. Ее заглавие — «Наставительная книга Доданы, которую она посылает сыну своему Вильгельму»; ее содержание — советы, как следует вести себя юноше по отношению к богу, отцу, королю, знати, священникам, беднякам, усопшим родственникам и т. д.; ее форма — прозаическая, но с несколькими вставными стихотворениями, написанными ритмическим стихом; одно из них, представляющее собой краткий конспект всей книги, здесь приводится.

Разумеется, никакой учености от стихов женщины IX в. ожидать не приходится. Книга Дуоды написана на народной латыни, путающей все падежи и синтаксические связи, а в лексике пользующейся даже заимствованиями из арабского языка, господствовавшего в соседней Испании. Реминисценций из античных авторов нет, из христианских поэтов — очень мало, зато из Библии, которая, по-видимому, одна была источником образованности Дуоды,— огромное количество. Особенно интересен ритм стихотворения, не находящий никаких аналогий в современной Дуоде латинской поэзии: можно думать, что поэтесса пытается передать по-латыни ритм родного ей готского стихосложения (известного нам, к сожалению, очень плохо). Строки — двухударные или трехударные, со свободным колебанием числа слогов; они сочетаются, и довольно искусно, в семистишные строфы. Стихотворение содержит акростих «Стихи к Вильгельму», в переводе опущенный. В конце стихотворения — указание на дату, 13 декабря 842 г., рождественский пост. Вся «Наставительная книга» Дуоды была закончена через полтора месяца, 2 февраля 843 г. После этого никаких известий о поэтессе мы не имеем.

СТИХИ К ВИЛЬГЕЛЬМУ

1. Во здравье живи ты,
Милое чадо:
Не поленися
Речи усвоить,
Присланные в грамоте:
Легко в ней отыщется
Слово по сердцу.

2. Потщись читать живое
Слово Господне,
С прилежаньем святое
Помня ученье:
Сердце преисполнишь
Великой радостью
В вечные веки.

3. Царь безмерный и сильный,
Добрый и славный,
Пускай соизволит
Душу твою наставить.
О мой юный отрок,
Будь обороняем
Им ежечасно.

4. Смирен будь в помыслах
И целомудрен,
Телом же крепок
Для достойных деяний.
Выучись нравиться
Всем без различья,
Большим и малым.

5. Всех выше Господа Бога
Всем своим сердцем,
Разумом острым,
Силами всеми
Бойся с любовью;
А по нем твой родитель
Будь тебе дорог.

6. Тебе, добродетельный
Сын, порожденный
Древней семьею,
Род продолжающий,
Сияя средь знатных,
Стыдной не кажется
Служба родителю.

7. Чти своих оптиматов,
Знатным в чертогах
Кланяйся первый;
Равняйся со смиренными,
Сходись с дружелюбными,
Чтоб злые и гордые
Тебя не сломили.

8. Сведущих в святыне
Прелатов и клириков
Чти по заслугам;
Всюду протягивай
К блюстителям церкви
Руки в смиреньи;
Им доверяйся.

9. К вдовам же и сиротам
Часто склоняйся;
Странников тоже
Не обходи ты
Питьем и пищей,
Голых — одеждой,
И протяни им
Помощи руку.

10. В тяжбах будь справедливым,
Мудрым судьею,
Мзды от судимых
Никогда не приемля
И не утесняя;
Воздаст тебе тем же
Блага податель.

11. Щедрым будь ты в даяньях,
Бодрым и мудрым;
Скорби людские
Со тщаньем любовным
Облегчай охотно:
Бедных насыщая,
Ты не прогадаешь.

12. Всюду — один Податель
И Воздаятель,
Всем по заслугам
И делам воздающий,
Слову и действию
Мзду назначающий
Небесный Светоч.

13. Так заботься ж усердно,
Сын благородный,
И добивайся,
Чтоб не изведать
Мрачного возмездья
И смольного пламени
Жара избегнуть.

14. Хоть теперь твоя юность
В полном расцвете,
Лет твоих ровно
Вчетверо четыре,
Все ж ты вдвое старше
Кажешься телом,
Быстро растущим.

15. От меня ты уходишь
Все дальше и дальше.
Видеть хочу я
Красоты твоей обличье,
Если будет можно,
Хотя я этого
И недостойна.

16. Пусть для Того живешь ты,
Кто тебя создал,
С кроткою душою,
В окруженьи достойных
Слуг угождающих;
Круг же свершивши,
В горние взвейся.

17. Мысли мои, конечно,
Бродят во мраке;
Все же прошу я,
Чтоб эти страницы,
Писанные мною,
Читал ты прилежно,
Помня советы.

18. Вот стишки закончены
С помощью божьей
По истеченье
Дважды восьми весен
В ранний день декабрьский
Апостола Андрея,
К явлению Слова.

Седулий Скотт

Среди поэтов IX в. Седулий Скотт — один из самых талантливых и своеобразных. Рядом с философом Иоанном Скоттом Седулий Скотт — центральная фигура так называемой третьей волны ирландского влияния на континенте. Сведений о его жизни очень мало, ни год рождения, ни год смерти его неизвестны. В истории европейской культуры он появляется на одно лишь десятилетие — между 848 г., когда он приезжает из Ирландии во Францию с посольством к Карлу Лысому, и 858 г., когда все известия о нем исчезают. В это десятилетие он живет в Люттихе (Льеже) вместе со своими товарищами-ирландцами, имена которых он перечисляет в одном из посланий: это Фергус «с нектароподобными молитвами», Марк «со щитом веры», Беухельм, «цвет мощных в духовных битвах», Бланд, «краса сражений со змием»; все это — «колесницы Господни, светочи ирландского народа». Эта небольшая ученая колония прижилась в Люттихе под покровительством местных епископов Хартгария (840—855 гг.) и Франкона (855—901 гг.).

Неустойчивое положение пришлецов среди континентальных ученых требовало от ирландцев большой гибкости и обходительности, умения показать лицом свою ученость и искусно ладить со всеми покровителями и соседями. Это определило и стиль и жанры, характерные для творчества Седулия. В стиле Седулий стремится щегольнуть ученостью, пышностью и изысканностью образных и композиционных ходов, насыщает свои стихи античными мотивами (ср. набор античных имен в «Послании к Хартгарию»), в лексику вводит многочисленные грецизмы, по богатству метрических форм он превосходит едва ли не всех современников. Он экспериментирует с самыми разнообразными жанрами — среди его сочинений есть послания, гимны, эпиграммы, стихотворные инвективы, эклога-дебат, стихотворный анекдот. Но жанром, наиболее отвечающим его положению, оказывается панегирическое послание, посвященное тому или другому из покровителей. Чаще всего это, конечно, наиболее близкий — Хартгарий: поэт превозносит его до небес, слезно оплакивает его кратковременные отлучки, а когда аббат отправляется в Рим, то Седулий заклинает всех богов и все стихии воротить аббата целым и невредимым. Смерть Хартгария Седулий оплакал горестными сапфическими строфами, но это не помешало ему столь же пылко прославлять нового аббата, Франкона. Целый ряд посланий посвятил Седулий и другим сановникам, духовным и светским:

аббату Фульды, епископам Мюнстера и Меца, графу Кельнскому, маркграфу Эберхарду Фриульскому. Не миновал он в своих посланиях и императора Лотаря (в чьих владениях находился Люттих) с его супругой Ирмингардой и дочерью Бертой; впрочем, братьям-соперникам Лотаря, Карлу Лысому и Людовику Немецкому, он посвящает не менее пышные панегирики — о политической принципиальности в его положении думать не приходилось.

В этих многочисленных стихотворениях Седулия Скотта замечательнее всего та недвусмысленная шутливая откровенность, с которой он говорит о своих материальных нуждах. То он витиевато просит Хартгария позаботиться о скверном жилище, в котором ютятся его ученые ирландцы (первое из нижеприводимых стихотворений); то он жалуется, что пиво им подают такое, которое похоже на пиво разве что желтым цветом; то он увещевает трех баранов из епископского стада безропотно пойти под нож, чтобы из их шерсти ученым монахам изготовили плащи, а из их кож — пергамент для бессмертных стихов. В своей склонности хорошо поесть и выпить он признается охотно и открыто. Стихи такого рода близко напоминают стихотворные «попрошайни» будущих вагантов. Но у Седулия есть и более важная черта сходства с вагантами — его готовность ради красного словца шутить над самыми святыми для верующего христианина предметами: так, в стихотворении о баране, растерзанном собаками, не только неблагочестиво намекается (в «эпитафии») на обряд омовения ног, но и сам баран, пострадавший вместо разбойника, кощунственно сравнивается ни с кем иным, как с Христом. Можно заметить, что в этом же стихотворении впервые в средневековой литературе встречается выражение «Голиафово племя», которое потом стало самоназванием вагантов-голиардов. Все это ставит Седулия Скотта на видное место в светской вольнодумной традиции средневековой латинской поэзии.

Творчество Седулия Скотта не ограничивалось стихами. Ему принадлежит большой трактат «Книга о христианских правителях», написанный по заказу императора Лотаря; проза в нем перемежается с вставными стихотворениями (по образцу «Утешения» Боэтия), одно из которых, «О дурных правителях», приведено ниже. Из ученых его сочинений главным является «Collectaneum» — сборник цитат и изречений из латинских и греческих прозаиков, обнаруживающий хорошее знание греческого языка и исключительно широкую начитанность (даже если учесть, что многое он брал из вторых рук) — он знает даже речи Цицерона и «писателей истории Августов». Комментарии к богословским и грамматическим сочинениям дополняют круг его произведений. Они пользовались вниманием и переписывались (по крайней мере, в Люттихе) до XII в.

ПОСЛАНИЕ К ЕПИСКОПУ, ДОСТОПОЧТЕННОМУ ХАРТГАРИЮ

Ваша кровля горит светом веселым,
Кистью новых творцов купол расписан,
И, смеясь, с потолка всеми цветами
В блеске дивной красы смотрят картины.

Вы, сады Гесперид, так не сияли:
Вас могло разнести бурей нежданной;
Здесь же цветикам роз, нежных фиалок
Не ужасен порыв бурного Нота.

Наш же домик одет вечною ночью,
Никакого внутри света не видно;
Нет красы расписной тканей богатых;
Нету даже ключа, нету запоров.
Не сияет у нас роскошь на сводах:
Копоть на потолке слоем нависла.
Если ты, о Нептун, дождь посылаешь,—
В домик наш моросишь частой росою.
Если Евр заворчит с рокотом злобным,—
Сотрясаясь, дрожит ветхое зданье.
Было так же темно логово Кака,
И таков Лабиринт был непроглядный,
Уподобленный тьме ночи глубокой.
Так и наше жилье — тяжкое горе!
Скрыто страшным на вид черным покровом.
Там при свете дневном ночи подобье
Заполняет углы храмины старой.
Непригоден сей дом, верь мне, ученым,
Тем, что любят дары ясного света;
Но пригоден сей дом воронам черным
И летучих мышей стаи достоин.
О Лантберт [1], собери, я умоляю,
Всех слепцов, и затем здесь посели их.
Да, поистине, пусть домом безглазых
Этот мрачный приют вечно зовется.

Ныне ж, отче благий, пастырь пресветлый,
Это зло прекрати, цвет милосердья!
Сделай словом одним, чтобы украшен
Был сей мрачный покой, света лишенный,
Чтобы в нем потолок был живописный,
Был бы прочный замок, ключ неослабный;
Пусть стеклянные в нем окна прорубят,
Дабы Феб через них луч свой направил
И твоих мудрецов, славный епископ,
Осветил бы своей светлою гривой.
Так, владыка, и вам в горней твердыне
Лучезарный покой, дивно прекрасный,
Предоставит навек длань Громовержца
Там, в небесном своем Ерусалиме.

НА ПОРАЖЕНИЕ НОРМАННОВ [2]

1. Пойте, небеса, и земля, и море,
Пойте, веселясь, все Христовы люди,
Удивляйтесь все Громовержца — Бога
Силе могучей. 85

2. Благости Отец, достохвальный вечно,
Всех великих дел всевеликий Зодчий,
Манием руки все располагает,
Света владыка.

3. Милосердный Царь и спасенье мира,
Поражая злых, награждает кротких,
Поднимает дол, принижает гору
Силой всевысшей.

4. Истины лучи проливает сам он
Праведным в сердца и в зерцала мысли
Тех, кого всегда защищает мощно
Добрый Создатель.

5. Ну же, бедняки, богачи, миряне
И венчанный сан иереев добрых,
Люди всяких лет и полов и званий,
Рукоплещите!

6. Властного Отца всемогущей дланью
Ныне сокрушен пораженьем быстрым
Злых норманнов род, супостатов веры.
Господу слава!

7. Строятся войска на широком поле,
Полыханье лат разлилось на солнце,
Сотрясает гул голосов враждебных
Горние сферы.

8. Обе стороны посылают стрелы,
Датчанин идет на свою погибель,
И железный дождь рассевает всюду
Грозное войско.

9. Долгие года все алкавший крови,
Вдосталь напился утеснитель жадный.
Сладко было им злым смертоубийством
Сердце насытить.

10. Тот, кто яму рыл, сам в нее попался:
Как надменный столп, водруженный древле,
Так упал, Христом уничтожен в битве,
Род супротивный.

11. Распростерт народ многолюдный, крепкий,
В месиво истерт, проклятый вовеки,
Съела смерти пасть их отродье злое.
Славься, Спаситель!

12. Говорят, что там полегло народа,
Кроме всех простых неизвестных смердов,
Средь кровавых рек на ужасном поле
Три мириады.

13. Справедлив Судья, повелитель мира,
Наш Христос, любовь христиан смиренных,
Славы государь, покоритель злобных,
Высший на царстве.

14. Стал он нам столпом и щитом спасенья,
Поразив в бою род Гигантов мощных [3],
Имя же его выше всех на свете
Благословенно.

15. Так свершил Он месть своего народа,
И пучиной вод захлестнул Египет
В древние года, колесницы ринув
Быстрые в бездну.

16. В пурпуре Христос надо всеми правит,
Коих встарь святой сотворил Родитель;
Будь благословен, прославляем нами,
Отпрыск Давида!

17. Пусть взойдет к нему фимиам молений,
Славим мы его благочестьем нашим;
Пусть гласит свирель выше звезд небесных
Песнь восхваленья!

18. Пусть же славы плеск, прогремев «Осанна»,
Воспоет Отца, и Христа, и Духа,
Их же небеса, и земля, и море,
Век славословьте.

СЛОВОПРЕНИЕ РОЗЫ И ЛИЛИИ

Поэт:

Время свершало свой цикл, на четыре деленья разбитый.
Зазеленела земля, нарядившись в пестреющий пеплум.
Спорят с гирляндами роз цветы млечно-белой лилеи.
Роза ж раскрыла уста пурпурные с речью такою:

Роза:

Пурпур — царство дает, и в пурпуре — царская слава;
Белый же цвет нелюбим королям и весьма неприглядем.
Бледность на скорбном лице есть верный знак увяданья,
Цвет же багряный всегда почитался во всей поднебесной.

Лилия:

Любит меня Аполлон, земли златокудрое диво:
Он изукрасил лицо мое чистотой белоснежной.
Что же блистаешь ты так, багрянцем стыда залитая,
В тайном сознаньи вины? От нее ль твои щеки зарделись?

Роза:

Я — Авроры сестра, сродни я богам высочайшим,
Феб меня возлюбил: я — вестница светлого Феба [4].
Рад Люцифер пробегать пред лицом моим с ликованьем,
Ибо алеет во мне девической скромности нега.

Лилия:

Ты ли такие слова извергаешь в напыщенной речи,
Что тебя приведет заслуженно к вечным мученьям?
Ведь диадема твоя и так пробита шипами —
О, как розовый куст колючками грубо истерзан!

Роза:

Что ты яришься в речах, бороздами изрытая старость?
То, что ты ставишь в укор, звучит для меня похвалою:
Все создавший Творец окружил меня колкой оградой,
Розовым личикам он преславную дал оборону.

Лилия:

Нежно головку мою венчает краса ореола;
Не изукрашена я жестоким венцом из колючек;
Я из сладчайшей груди белоснежный свой сок источаю.
Вот почему средь цветов я счастливой слыву королевой.

Поэт:

Юноша, Гений Весны, возлежал на траве цветоносной.
Весь его дивный убор расцвечен был зеленой травою,

И бальзамический дух от него услаждал обонянье;
Вкруг пышноцветной главы распустился венчик чудесный.

Гений Весны:

Милые дети,— он им говорит [5],— о чем ваша распря?
Знайте, что вы — близнецы, землею рожденные сестры.
Разве прилично родным вести горделивые споры?
Дивная роза, молчи: твоя слава гремит во вселенной.
Скипетром белым своим пусть лилии царственно правят.
Блеск ваш и ваша краса вам вечную славу приносят.
Роза в наших садах пусть явит стыдливости образ;
Лилии, блеском своим подражайте лучистому Фебу.
Роза, ты алым цветком нам мучеников представляешь;
Девственниц явят красу лилеи в белых одеждах.

Поэт:

Гений Весны, их отец, наградил их лобзанием мира
И по-родительски вновь водворил меж девиц он согласье.
Лилии вновь прилегли с поцелуем к пунцовой сестрице;
Та же, играя, уста прикусила им в шутку шипами.
Чистых лилий цветки посмеялись над девичьей шуткой,
Жадный розовый куст напоив молоком амброзийным.
Роза же в дар им несет цветов своих алые чаши,
Тем превеликую честь воздавая сестре белоснежной.

О НЕКОЕМ БАРАНЕ, ИСТЕРЗАННОМ СОБАКАМИ

Высокомощный Господь, соделавший тварей вселенной,
Тех, коих кормят моря, воздух небес и земля,
С честью премногой тогда приумножить изволил баранов [6]
И среди блеющих стад им воеводство вручил.
Тут же их добрый Творец одел шерстоносным покровом,
В жирный мясистый пеплон крепко укутал их он.
Вооружил он им лбы искривленным загнутым рогом,
Чтобы сражаться могли и с рогоносным врагом.
В обе ноздри вложил им Бог горделивую силу,
Даром сопенья большим облагодетельствовал.
Эти святые рога простоты преисполнены кроткой:
Благочестивы они, яд смертоносный им чужд.
Думаю я, оттого и любовь во всех зародилась
К мясу обильному их, к тучному чреву любовь.
Я поклянусь пятерней (и в том не солгу я нимало):
Сам я их очень люблю, и обожаю, и чту.
Этой священной любви не потопят летейские волны:
Всею душой я твержу то, что уста говорят.
Эти мои стишки приветствуют, славят баранов,

А что не лживы они, знаешь ты, Отче благий.
Сам от своих ты щедрот нам, черным, пожаловал черных [7]
Ныне баранов, а то часто и белых дарил.

Слушай же: тот, кто из них красивейшим был и жирнейшим,
Вот каковою, увы, смертью жестокой погиб.
Высокодоблестных стад гораздо славнейший блюститель,
Не был он равен ни с кем, даже ни с кем не сравним.
Твердостью крепких рогов и их добродушною мощью
Он превзошел без труда всех рогоносных стада.
Он белоснежным руном и белым прославился зраком,
Неустрашимым в бою он победителем слыл.
Любит небесный Овен его любовью безгрешной,
И соправителем взять в царство свое возмечтал.
Любит Луцина его многомощная, думая сделать
В небе горящей звездой светлого ради руна [8].
Рада она, говорят, любоваться белою шерстью —
Пан, Аркадии бог, шерстью ее обольстил [9].
Люб он, конечно, и мне, ибо сердце мое не из рога —
Кто не полюбит его, кто, кроме разве глупца?
Вы ж по своей доброте, никому не дающей отказа,
Благоволили отдать это сокровище мне.
Но Фортуна, всегда враждебная нашим утехам,
С Титиром [10] скоро меня, бедная, вновь развела.

Вор объявился у нас, из негодных сынов Голиафа,
На эфиопа похож, Каку подобный злодей.
Страшен с виду он был и черен зловредным обличьем,
Груб в поступках своих, столько же груб и в речах.
Взял тебя, добрый баран, и повлек нечестивою дланью:
Через терновник, увы, бедного он протащил.
Кроток был ты вельми и очень спокоен душою,
Быстро несясь по полям, о злополучный баран.
Хищная стая собак рассмотрела, что вором бегущим
Великодушный сей был вождь рогоносный влеком;
Тотчас отважный отряд несется большими прыжками,
Шум превеликий возник, и суматоха, и гам.
Жадные пасти раскрыв, бегут за покражей и вором:
Лаем наполнился лес, в роще зеленой — содом.
Что же тянуть мне рассказ? Изловлен баран мой тишайший,
Вор же, спасаясь во тьме, мчится быстрее, чем Нот.
Брошен один средь собак, баран неустанно сражался,
Грозным рогом своим множество ран нанося.
Псы в изумленье стоят, побежденные зверем двурогим,
Думая, что пред собой видят свирепого льва.
Все они против него собачьими глотками лают;
Он же, великий, вещал благочестивейшим ртом:

«Что это ныне за гнев обуял ваше сердце?» —сказал он,
Знайте: Хартгария я преосвященного раб.
Не злонамеренный тать и не оный лукавый воришка,
Нет, я — смиренный баран, стада державнейший вождь.
Если задумали вы поразить врага и тирана —
Вор недалеко ушел: вместе захватим его.
Если же хриплый ваш лай и эта свирепая ярость
Думает мне угрожать, кроткому, грозной войной,—
То головою своей, прегордыми сими рогами
И челом я клянусь: дам я достойный отпор».
Речью подобною вмиг смягчил он звериные души:
Мир водворился средь псов, и отступили они.
Но среди них был один, как лаятель оный Анубис [11],
Коему Тартара пес, Цербер прадедушкой был.
Глоткой тройною привык он пугать медведей неуклюжих,
Робких оленей гонять, деду подобен во всем.
Сей, увидавши, что мир снизошел на свирепое племя,
Челюстью заскрежетал и ощетинился весь.
«Как,— возгласил он,— овца под личиною лживого мира
Вас провела, как лиса, сыпя хитро словеса?
Это и есть тот вор или вора сподвижник зловредный,—
Вот почему под листвой оба укрыться хотят.
Я присягаю, что он — причина всему злодеянью,
Он, что речами нам — мир, рогом — угрозу несет».
Тут лжеречивого в пасть, потрясши во гневе рогами,
Мощный баран поразил, двое зубов поломал.
Равным же образом лбом чело сокрушил он собачье;
Быть бы победе за ним, если б не вздумал бежать...
Мчится, главу очертя, покинув врага, победитель,
Он опрометью бежал, улепетнув в простоте.
В тернии он на бегу попадает, в колючий кустарник;
В этих шершавых кустах благочестивый застрял.
С тыла немедля насел на несчастного Цербер проклятый,
И окровавленным ртом страшную рану нанес.
Вот бездыханный баран упадает (о вид небывалый!),
Вкруг орошая шипы кровью багряной своей.
Слышно рыдание нимф, и воплем леса огласились:
Стонами блеющих стад встречена весть о беде.
О белоснежном и ты, Луцина двурогая, плачешь,
И справедливо скорбишь; в небе ж рыдает Овен.
Чем он конец заслужил, бесхитростный, праведный, скромный?
Вакха даров не вкушал, не пил сикера вовек;
Не совратили его с пути ни безмерное пьянство,
Ни пиры королей, ни возлиянья вельмож.
Пищей служила ему обычной трава луговая;
Мозель водою своей жажду его утолял.
Также пурпурных одежд не желал он душой ненасытной:

Был он доволен вполне платьем своим шерстяным.
Он на лихом бегуне не скакал по отрадным дубравам:
Силою собственных ног скромно он путь совершал.
Не был он лживым в речах, никогда не грешил суесловьем:
Знал лишь «ба-а и бе-э», пару мистических слов.
Древле за грешных вины высокопрестольнейший Агнец,
Бога единого сын, злую кончину вкусил:
Так же, о добрый баран, растерзан безбожными псами,
Вместо грабителя ты смертный свой путь совершил.
За Исаака овен священный убит был когда-то:
Так за несчастного ты жертвой угодною пал.
О, прещедрая власть и кроткая благость Господня!
Он не хочет людей смертью позорной губить.
Божья десница с небес защитила негодного татя
Так же, как некогда Бог вору помог на кресте.
Благодари же Его, вор злобный, противный, коварный,
И, псалмопевцем тверди, жалкий святые слова [12]:
«Днесь вознесла на Олимп меня десница Господня,
Но не умру, буду жить, Божьи дела возвещать.
Строго меня покарал, наказуя, Господь благосклонный,
Смерти ж не предал меня и от убийцы упас».

Эпитафия

Добрый баран мой, прости, славный вождь белоснежного стада:
Нынче лежишь ты, увы, мертвый в саду у меня.
Может быть, друже, тебя ожидает горячая баня:
Гостеприимство само нас побуждает к тому.
Преданный сердцем, я сам приготовлю тебе омовенье
Для рогоносной главы, да и для ножек твоих [13].
Был ты мне дорог, поверь, и мать, и вдова твоя тоже;
Также и братьев твоих буду я вечно любить.

Прости.

О ДУРНЫХ ПРАВИТЕЛЯХ

Те цари, что злыми делами
Обезображены, разве не схожи
С вепрем, с тигром и с медведями?
Есть ли хуже этих разбойник
Между людьми, или лев кровожадный,
Или же ястреб с когтями лихими?
Истинно встарь Антиох с фараоном,
Ирод вместе с презренным Пилатом

Утеряли непрочные царства,
С присными вглубь Ахерона низверглись.
Так всегда нечестивых возмездье
Постигает и днесь и вовеки!
Что кичитесь в мире венками
Изукрасясь, в пурпур одевшись?
Ждут вас печи с пламенем ярым;
Их же дождь и росы не тушат.
Вы, что отвергли Господа Света,
Все вы во мрак загробного мира
Снидете; там же вся ваша слава
В пламени сгинет в вечные веки,
А безгрешных в небе прославит
Высшим венцом и светом блаженным.

Иоанн Скотт Эриугена

О жизни этого величайшего мыслителя каролингской эпохи известно крайне мало. Оба прозвища, сопровождающие его имя, — «Скотт» и «Эриугена» (по другим вариантам, «Эригена» или «Иеругена») — свидетельствуют о его ирландском происхождении. Это немаловажно: в продолжение «темных веков» Ирландия была ярким культурным очагом Запада, хранившим остатки греческой учености. В деятельности бродячих монахов, не связанных уставом и сходствующих с кельтскими друидами языческой старины, в фантастически-изощренном искусстве ирландской миниатюры и во всем облике духовной жизни острова проступают черты самобытного ирландского христианства, не во всем ортодоксального, загадочно связанного с греко-сиро-коптским Востоком и долго боровшегося с римской курией за свою своеобычность. Как и многие ирландские ученые каролингской эпохи, Эриугена перебрался в королевство франков, где он и появляется в начале 840-х годов при дворе Карла Лысого. Там философ был высокоценим за свою необычную ученость, в особенности же за чрезвычайно редкое в ту эпоху на Западе знание греческого языка. Покровительство монарха позволяло Эриугене вести жизнь придворного ученого, отдавать все время своим занятиям и весьма мало считаться с требованиями церковных кругов.

Среди своей культурной среды Эриугена наредкость одинок. К варварскому богословствованию каролингских клириков он не способен отнестись серьезно, к Августину он высказывает почтение, но и отчужденность: его подлинная духовная родина — мир эллинской неоплатонической мысли, получивший христианские формы в сочинениях византийского теолога V в., известного под именем Дионисия Ареопагита. (Труды Псевдо-Ареопагита Эриугена перевел на латинский язык.) Философская отвага этого позднего ирландского собрата мастеров греческого умозрения поразительна: в своем главном сочинении «О разделении природы» Эриугена не только настаивает на примате свободного разума перед авторитетом, но и сливает Творца с его творением. Бог Эриугены — не лицо, но запредельная сущность, которая не только не может быть познана человеком, но и сама себя не может постигнуть: «Бог не знает о себе, что он есть, ибо он не есть какое бы то ни было *что*». В целом грандиозные построения мысли Эриугены являют зрелище необычайной духовной утонченности, но и полнейшей беспочвенности: они никак не укоренены в реальности

своей эпохи. И все же именно в своей анахронистичности творчество Эриугены по-своему характерно для картины умственной жизни переходных веков, когда чудом уцелевшие ростки старой культуры порой давали неожиданные всходы, немедленно истреблявшиеся новой волной разрухи.

Стихи Эриугены — далеко не самая важная часть его творчества: он был велик как философ, не как поэт. Но в его диковинных версификационных опытах, где в латинскую речь вкраплено возможно большее количество греческих словес, по-своему ярко сказалась воодушевлявшая его ностальгия по эллинской духовности и любовь к одинокой, самоцельной игре ума. В стихотворении «На Христа распятого» Иоанн столь пространно говорит о том, что не будет воспевать языческие сюжеты, что это «не» положительно переходит в свою противоположность и свидетельствует скорее о том, что классическое язычество было достаточно близко сердцу хитроумного ирландца.

НА ДИОНИСИЯ АРЕОПАГИТА

Славою звездных лучей осиял Дионисий Афины:
Был он Ареопагит и достославный мудрец.
Ум изумила его Селена, затмившая Феба
В оное время, когда муку Господь претерпел [1].
К вере обрел он стези, поразмыслив над эклипсом дивным,
И в ликованье избрал Иерофея вождем [2].
Тот наставил его, а после славный дидаскал [3]
Влагой крещальною был к жизни иной возрожден
И немедля, лучась небесным светом Софии,
Стал Аттиадов учить, племя родное свое [4].
Тот, кто Христовых словес по вселенной семя развеял,—
Павел блаженный над ним хиротонию свершил,
И ученик в синергии [5] наставнику стал совершенен
И Кекропидов народ правил как архиерей.
Некогда, с Павлом горе возлетев к надзвездным пространствам,
Он эмпиреи узнал, сферу огнистых небес [6],
И к серафимам взошел, и подъялся к святым херувимам,
И к престолам небес, где Элохим восседит;
И воссияли ему начала, силы и власти
В стройных хорах своих, чином за чином явясь;
ΑΡΧΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΤΕ ΧΟΡΩΝ ΑΓΕΛΩΝ ΤΕ ΤΕΛΑΥΓΩΝ [7]
Из уранических был ряд там составлен умов.
Ибо о трижды трех распорядках духов эфирных
Тайноначальственный нам ясно поведал отец.

НА ХРИСТА РАСПЯТОГО

Некогда эллинов пел Гомер и славу троянцев,
Об италийских мужах песни Вергилий слагал;
Нашей же лиры предмет есть царь наш неборожденный,

Тот, чей вечный триумф круг возглашает земной.
Тех веселил рассказ о падении стен Илиона,
Речь о троянских МАХАІ [8] любо им было плести;
Мерная песнь о Христе, осилившем в брани кровавой
Князя мира сего, наш да возрадует слух.
Измышляли они под лживой личиною правды
Прелесть Аркадий своих в многоученых стихах;
Отчую Силу, Отца, неложно-благую Софию [9]
Мерой гимнической нам должно восславить теперь.
Сладкопение муз, безделки сатиры болтливой
Изливали они в уши народов своих;
Но псалмодически мы пророков святые реченья
Воспеснословить спешим верой, устами, душой.

Приидите, воззрим на трофеи славы Христовой,
Те, что нашим умам льют невещественный свет.
Крест четвероконечный простерся в круге вселенском,
Крест, на который Господь доброю волей восшел:
Отчее Слово принять соизволило плоть человеков,
Благоприятной за нас жертвой являя себя [10].
Узри прилежным умом пронзенные стопы и руки,
Узри виски в венце из соплетенья шипов.
В прободенном ребре родник пробился спасенья,
Животворящей волной воду и кровь источив [11].
Воды струятся, смывая грехи целокупного мира,
Кровь претворяет в богов нас, земнородных людей.
Двух осужденных прибавь, на двух деревьях повисших:
Равной была их вина, но не равна благодать [12]:
Ибо один со Христом узрел селения Рая,
Но другой погружен в серу Стигийских пучин.

Ноткер Заика

Ноткер Заика (840—912 гг.) — последняя крупная фигура каролингского возрождения, стоящая уже на рубеже X в. Он был поэтом, композитором, богословом, историком, агиографом и во всех этих жанрах умел выделяться из единообразной массы монастырской литературы своего времени.

Ноткер был родом из Алеманнии (Швабии), учился в Санкт-Галлене, а выросши, стал библиотекарем санкт-галленского аббатства и учителем монастырской школы. Несмотря на свое заикание (о котором он говорит не раз), он был отличным учителем и пользовался общей любовью. Сохранились его письма, в прозе и стихах, к одному из его учеников, будущему аббату Соломону III; они отличаются ученостью, изяществом и нежностью. Одно из них приведено ниже. Вместе с двумя другими монахами, поэтом Ратпертом и гимнографом Тутилоном (создателем жанра тропов) он составлял как бы триумвират, бывший центром духовной жизни Санкт-Галлена. Имя его не раз упоминается в «История Санкт-Галлена», написанной в XI в. Эккехардом. Описывается он так: «Видом Ноткер был прост, но духом — ни в коей мере; языком заикался, но умом — нимало; в предметах божественных был высок, в испытаниях — терпелив; мягок во всем, но со школярами строгий наставник; робок перед неожиданным и внезапным, но тверд, когда его терзали злые духи, ибо им он умел противостоять с отвагою. В молитвах, в чтении, в сочинении он не ведал отдохновения и, чтобы короче описать святость его нрава, был он истинный сосуд Духа Святого, и полнее его не было в те дни никакого». Впрочем, эта святость не препятствовала проявлениям характера живого и веселого: в той же «Истории Санкт-Галлена» рассказывается, как однажды Ноткер, Ратперт и Тутилон втроем отколотили епископского наушника, подслушивавшего их разговоры в библиотеке, крича при этом, что они поймали дьявола; в другом месте рассказывается, как монахи соседнего Рейхенау хвастались, будто поймали в Боденском озере рыбу в двенадцать пядей, а Ноткер им ответил, что у них в Санкт-Галлене даже зимой растут грибы; над ним посмеялись, но это была правда — грибы росли в погребе рядом с монастырской кухней, где было и сыро и тепло: и вот ближайшей зимой Ноткер послал в Рейхенау большой гриб со стихотворной записочкой, где просил прислать в ответ, если можно, хоть косточки удивительных рейхенауских рыб. Собственно, только такие сведения о Ноткере и побуждают некоторых исследователей приписать ему авторство

стихотворного пересказа народной сказки-шутки «О козле и трех братьях» (приведенной ниже), сохранившейся в санкт-галленских архивах в подлинном автографе, но без имени автора.

Главный вклад Ноткера в средневековую латинскую поэзию — это разработка жанра секвенций. В посвятительном письме к епископу Лиутварду Верцелльскому он рассказывает, что смолоду ему было трудно запомнить сложные напевы «аллилуй», и он пытался подобрать под них слова; когда ему было двадцать два года, в Санкт-Галлен из разоренного норманнами Жюмьежа приехал священник со сборником северофранцузских секвенций; взыскательному Ноткеру они показались неудачными, и по совету своего учителя ирландца Мёнгала он стал сочинять по их образцу свои собственные, а уже много позже (в 884—887 гг.) собрал их вместе и посвятил Лиутварду Верцелльскому. Считалось, что Ноткер написал 50 секвенций; выделить их из того множества произведений этого жанра, которое оставила Санкт-Галленская школа,— дело очень трудное. Из трех секвенций, приведенных ниже, две первые считаются собственными ноткеровскими (сохранилось предание, что мелодия знаменитой секвенции на пятидесятницу была подсказана ему шумом мельничного колеса в Санкт-Галлене), третья — принадлежащей кому-то из его учеников или подражателей.

Как композитор Ноткер не ограничивался сочинением мелодий к своим секвенциям, но составил и краткий учебник музыки, главным образом — на основе Боэтия. Как агиограф он сочинил житие св. Галла, основателя Санкт-Галлена, в необычной для своего времени форме — в виде диалога между Ноткером, Ратпертом и Хартманном (учеником Ноткера, будущим аббатом), написанного вперемежку прозой и стихами различных размеров; к сожалению, от этого произведения сохранились лишь отрывки. Как богослов он сочинил первый в Европе учебник латинской патристики («Notatio», посвященную Соломону): перечень комментариев к каждой библейской книге, потом перечень эксцерптов из отцов церкви, потом — авторов, лишь попутно занимавшихся этим предметом, потом — житий и церковной истории; это небольшое сочинение имеет вид аннотированной библиографии. Но наиболее интересна деятельность Ноткера как историка — его «Деяния Карла Великого»; они сохранились без имени автора, но по некоторым стилистическим признакам, а также по самохарактеристике «я, беззубый заика...» приписываются Ноткеру с достаточной уверенностью.

«Деяния Карла» были написаны по побуждению императора Карла III Толстого, последнего из Каролингов, объединившего под своей властью все бывшие владения своего прадеда Карла Великого; Карл III посетил Санкт-Галленский монастырь в декабре 883 г, и «Деяния» были написаны тотчас после этого. Письменными источниками для Ноткера послужили Эйнхард, «Королевская летопись» и некоторые другие сочинения; но главными его источниками были устные предания. «Деяния» состояли из трех книг (сохранились полторы первые): о церковной деятельности Карла, о его военных подвигах и о его личной жизни; основу для первой книги дали Ноткеру рассказы его учителя Веринберта, основу для второй — рассказы отца Веринберта, старого дружинника Карла, для третьей — рассказы еще какого-то неназванного лица. Материал этих рассказов располагается без всякой исторической последовательности,

анекдот за анекдотом, с характерной фольклорной безыменностью: «Был некий священник...»; слог их жив и легок, хранит явные следы устного просторечия и очень непохож на ученый язык других сочинений Ноткера. Часто, особенно в первой книге, рассказы имеют сатирический оттенок: в соперничестве монастырей и епископата, заполняющем весь IX в., монах Ноткер твердо стоит на стороне первых и с любовью живописует, как Карл изобличал и наказывал невежество, тщеславие и распущенность белого духовенства. Образ Карла Великого в «Деяниях» в высшей степени героизирован и идеализирован: это уже не историческое лицо, а персонаж народной легенды, идеальный правитель, справедливый, мудрый, добросердечный и грозный для врагов, средоточие всех добродетелей, как христианских, так и воинских. Этим и интересны «Деяния Карла» для исследователя: не как исторический источник, а как отражение народного представления о Карле, как отголосок устного предания IX в. «Деяния» пользовались успехом вплоть до XI в., когда на смену им пришли сказания о Карле еще более фантастического характера.

СЕКВЕНЦИЯ НА РОЖДЕСТВО ГОСПОДНЕ

1. Предвечно рождшийся
Сын Господень,
Бесконечный, невидимый,
Которым зиждутся
Земля, небо,
И море, и твари его,

2. Которым дни и часы текут,
Вновь и вновь возвращаяся,
Которого ангелы поют
В небесах сладкогласные,—

3. Он плотью облекся бренною,
Первородным
Грехом не запятнанной,
От Марии-девственницы,
Дабы снять с нас
Адама грех прародителя
И жены неразумной.
О том сей день возвещает нам,
Воссиявший
Сияньем продолженным [1]
Ибо солнце истинное
Лучезарно
Ветхие мира сумерки,
Возродясь, разгоняет.

4. Се ночь отступает пред новым
Светом звездным,

Взоры волхвов искушенные
Отвратившим.

Се пастырям дальнего стада
Свет забрезжил,
Блеском Господнего воинства
Ослепленным.

5. Возрадуйся, Матерь Божия,
Над коею вместо повивательниц
Ангелы Божьи
Пели славу Господу в вышних.

Помилуй, Иисусе Господи,
Приявший сей образ человеческий,
Нас, многогрешных,
За которых принял ты муки,

6. И с которыми здесь смертную долю
Разделить удостоил ты,
Помилуй, Иисусе,
Прибегающих нас с мольбою,

Причастить нас твоей Божеской доле,
Каковою свершения
Удостой, Иисусе,
Сыне Божий единородный!

СЕКВЕНЦИЯ НА ПРАЗДНИК ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ[2]

Духа Святого
Благодать да пребудет с нами,

1. Наши души своим избравшая
Обиталищем,

И пороки из них исторгшая
Душепагубные.

2. Дух благой,
Человеков просветляющий,

Черный мрак
Изгони из сердца нашего!

3. Друг Святой
Всякого разумного помышления,

Твой елей
Милостиво излей на наши чувствия!

4. Ты, очиститель
Всех постыдных дел рода смертного,

Наши очисти
Очи внутренние, душевные,

5. Да узрим мы
Пред собою
Всевышнего нашего родителя,
Ибо только
Чистым сердцем
Узреть его могут земнородные.

6. Вдохновил ты пророков,
Дабы славу Христову
Возвестили, прозорливые;
Укрепил апостолов,
Дабы знамя Христово
Пронесли по миру целому.

7. В день, когда Божье
Слово воздвигло
Моря, земли и небес чертог,
Ты над водами
Веял, лелеял
Дыханьем твоим божественным.

8. Ты оживляешь
Вздохом животворным
Воды глубокие;
Ты человеков
Одухотворяешь
Прикосновением.

9. Мир, разъединяемый
На сто языков и нравов,
Воссоединяешь ты, Господи,
Идолопоклонников
Вернув к почитанью Бога,
Всех наставников превосходнейший.

10. Нас, к тебе припадающих,
Услышь благосклонно,
О Дух Святой,
Без кого все моления
Вовек не достигнут
До Господа.

11. Ты, чьей волею
Святые угодники
Светоч обретали познанья,
Тобою проникнуты,
В день сей праздничный
Христовых апостолов
Даром одарил небывалым,
От века неслыханным.
И день сей твоим изволением
Прославлен.

ШКОЛА НОТКЕРА ЗАИКИ

СЕКВЕНЦИЯ НА ДЕНЬ ВОСКРЕСНЫЙ

Поем соборно
сладкий глас: Аллилуия!

1. По чину уставных молений
народ да взывает:
Аллилуия!

И в горних бесплотные хоры
ответят напевом:
Аллилуия!

2. Оное слово
на Райской луговине
хор возглашает блаженных:
Аллилуия!

Ясных созвездий
мерцающие светы
твердь оглашают весельем:
Аллилуия!

3. Ветров дыханье,
облаков круженье,
молний блистанье
и громов гласы
да согласятся в стройном:
Аллилуия!

Воды и струи,
дожди и ненастья,
грозы и мразы,
град, снег и ведро,
и лес, и луг да грянут:
Аллилуия!

4. Здесь пестрые пташечки
сладкогласно
да величат Господа:
Аллилуия!

Там звери бродячие
ревом шумным
да ответят ревностно:
Аллилуия!

5. Здесь горы стройные
пусть звучат напевом:
Аллилуия!

Там долы низкие
огласятся эхом:
Аллилуия!

6. Моря пучина,
ты возликуй и молви:
Аллилуия!

Мира громада,
ты просияй весельем:
Аллилуия!

7. Ныне повсюду
род человеков ликует:
Аллилуия!

Благословляя
жизнь даровавшего бога:
Аллилуия!

8. Ныне, братия,
в веселии пойте:
Аллилуия!

Вы же, отроки,
в лад припевайте:
Аллилуия!

9. Все ныне в пенье вступайте:
Аллилуия Господу,
Аллилуия Христу
И Духу Святому Аллилуия!

Слава тройческому единству!
Аллилуия — Аллилуия
Аллилуия — Аллилуия
Аллилуия — Аллилуия!

ТРИ БРАТА И КОЗЕЛ

У одного у отца три юноши было, три сына —
Так преданье гласит,— а имущества было немного.
Вот, умирая, отец сыновьям оставляет в наследство
Только козла своего — в нем все его было именье.
Был он бедняк, и в хлеву у него не блеяли овцы,
Дружка к дружке теснясь, и быки у него не щипали
Ситник в привольных лугах, и козлята по травке зеленой
Взад и вперед не носились, бодливые выставя рожки.
Только в козле и была вся надежда, была вся отрада
Бедной семьи; только им и могли утолить они голод.
Вот об этом козле и стали наследники-дети
Спорить, отца схоронив и не зная, что делать с рогатым.
Все они братья родные, друг друга нисколько не хуже;
Каждому хочется треть от козла получить по закону.
Старший однако из них предлагает решенье иное:
«Нет,— говорит,— ни к чему нам делить козла на кусочки:
Больно уж он и статью хорош и породой заметен;

Много полезнее нам сохранить его силу на племя.
Лучше пускай достанется он одному по условью:
Тот, кто покажет себя умнее других и хитрее,
Пусть и возьмет козла, как он есть, невредимым и целым».
Младшим братьям совет понравился старшего брата,
И порешили они меж собой: кто лучше сумеет
В долю себе пожелать козла такого большого,
Чтобы никто ничего не выдумал выше и толще,—
Тот и получит немедля козла в свое обладанье.
Тут-то старший брат из сердца слова исторгает [3]:
«О, когда бы Господь такого козла мне послал бы,
Чтобы по целой земле, под всеми зонами неба
Было бы можно сравнять с вершинами горными долы
И понасыпать повсюду холмы превосходнейшей соли,—
Но и тогда бы ее, этой соли, было бы мало,
Чтоб от козла моего засолить хоть один оковалок,
Или хотя б по щепотке присыпать всю прочую тушу!»
Средний брат в свой черед откликается старшему брату:
«Господи боже, пошли мне козла такого большого,
Чтобы из пряжи из всей, что пряласъ с сотворения мира,
Было бы можно связать одну длиннейшую нитку,
Но и она не могла охватить бы даже копытце
С ножки козла моего,— а о туше, так нету и речи!»
Младший брат на это в ответ восклицает со вздохом:
«О, пускай бы такой мне достался по милости Божьей
Дюжий козел, чтоб на роге его, вознесшемся к небу,
Птичка свила бы гнездо по весне, а потом полетела
С рога на рог, и тогда, в своем быстрокрылом полете
Раньше лишилась бы всех своих перьев несчастная птичка,
Прежде чем ей долететь удалось бы от рога до рога» [4].
Вот какими они в своем споре менялись речами.
Пусть же тот, кто себя считает ученым и умным,
Сам теперь скажет, который из них из троих победитель,
И по условию должен козла получить во владенье.

ПОСЛАНИЕ К СОЛОМОНУ О ПЯТИ ЧУВСТВАХ

Ты ли, наместник Христов, легкомысленных полон пороков?
Ты ль освященной *рукой* грязи коснулся мирской?
Не допускай ты *очей* до скверны, к позору ведущей,
Но обрати ты свой взгляд к звездам, что в небе горят.
Ты не целуй никого, и грудей не лобзай похотливо,
Чтоб блудодейственным *ртом* Бога не славить потом.
Ты научить поспеши глаголу внимать твои *уши:*
Бог положил им начал, заповедь нам завещал.
Если же ноздри твои ощутят дуновение выси,

С Богом всевышним тогда будешь во все времена.
Если ты сможешь внять этим десяти струнам [5], то все пять внешних чувств сохрани
Незапятнанными.
Если же недра сердца
Ты отдашь в руки Громовержца,
Будешь ты достоин, чтобы все народы тебя восхваляли,
А не бесстыдные жены поносили.
Ибо если будешь любить одну из всех,
Прочие поднимут тебя на смех;
Если же всех возлюбишь,
То чувства одной обидишь.
Будь мужчиной: ласковых слов, томной походки, подведенных очей, белой кожи, рта безбородого
Избегай, как яда смертельного.
Ты — оратор, ты — иерей, ты — часть тела Христова, ты — слепых просветление,
Ты — тот, на чью браду должно снизойти духовное помазание,
Чтобы посвятить тебя в высшее священнослужение [6].
Пишу я тебе слово это,
И не изменю его ни за серебро, ни за злато,
И даже (о чем более пекуся)
Гнева твоего не убоюся.

ДЕЯНИЯ КАРЛА ВЕЛИКОГО

КНИГА I

1. После того, как всемогущий владыка всего сущего и устроитель царств и веков сокрушил в лице римлян оного чудного истукана с железными или глиняными ногами [7], воздвиг он у франков другого, не менее чудесного, истукана с золотой головой в лице славного Карла. Когда Карл стал единовластным правителем в западных странах мира, а занятия науками почти повсюду были забыты, и потому люди охладели к почитанию истинного божества, случилось так, что к берегам Галлии прибыли из Ирландии вместе с британскими купцами два скотта — люди несравненной осведомленности в светских науках и Священных Писаниях. И хоть они и не выставляли напоказ никакого продажного товара, все же имели обыкновение зазывать толпу, стекавшуюся для покупок: «Кто жаждет мудрости, подходи к нам и получай ее — у нас ее можно купить». Но, говорили они, продают они ее только потому, что видят, насколько охотнее народ приобретает то, что продается, нежели то, что предлагается даром. Таким способом

они намеревались или вызвать людей на покупку мудрости, как и всякого товара, или, как подтвердилось в дальнейшем, поразить и изумить их подобным объявлением. Словом, они кричали так до тех пор, пока удивленные или принявшие их за безумцев люди не довели о них до слуха короля Карла, который всегда любил мудрость и стремился к ней. Он тотчас потребовал их к себе и спросил, верно ли молва донесла до него, будто они возят с собой мудрость? «Да,— отвечали они, мы владеем ею и готовы поделиться с теми, кто именем Бога будет достойно просить об этом». Когда же он стал выведывать у них, что они за нее запросят, они сказали: «Только удобное помещение, восприимчивые души и то, без чего нельзя обойтись в странствии — пищу и одежду». Услыхав это, он очень обрадовался и тут же задержал обоих ненадолго у себя. А затем, когда ему пришлось отправляться в военный поход, одному из них, по имени Климент [8], он приказал остаться в Галлии и поручил ему довольно много мальчиков знатного, среднего и низкого происхождения, распорядившись предоставить им необходимое продовольствие и подходящие для занятий жилища. Другого же, по имени [Дунгал] он направил в Италию и вверил ему монастырь святого Августина близ города Тицены, чтобы там могли собираться у него для обучения все, кто пожелает.

2. Тут и Альбин [9], родом из англов, прослышав, с какою охотой благочестивый король Карл принимает мудрых людей, сел на корабль и прибыл к нему; а он знал Священное Писание от начала до конца, как никто другой из современных ученых, и был учеником ученейшего Беды [10], наиболее сведущего толкователя Священного Писания после святого Григория [11]. Карл держал его при себе постоянно до конца своей жизни, за исключением времени, когда он отправлялся на войну; он хотел, чтобы его считали учеником Альбина, а Альбина его учителем. Но он дал ему аббатство святого Мартина в Туре, чтобы, когда он сам отсутствует, мог бы Альбин там отдыхать и обучать стекавшихся к нему учеников. Его обучение принесло столь богатые плоды, что нынешние галлы, или франки, могут сравниваться с древними римлянами и афинянами.

3. Вернувшись после долгого отсутствия в Галлию, непобедимый Карл приказал, дабы явились к нему мальчики, которых он поручил Клименту, и представили ему свои письма и стихи. Дети среднего и низшего сословия сверх ожидания принесли работы, услащенные всеми приправами мудрости, знатные же представили убогие и нелепые. Тогда мудрейший Карл, подражая справедливости вечного судии, отделил хорошо трудившихся и, поставив их по правую руку от себя, обратился к ним с такими словами: «Я очень признателен вам, дети мои, за то, что вы постарались по мере сил своих выполнить мое приказание для вашей же пользы. Старайтесь же теперь достигнуть совершенства, и я дам вам

великолепные епископства и монастыри, и вы всегда будет в моих глазах людьми, достойными уважения». Обратив затем свое лицо с видом величайшего порицания к стоящим налево и встревожив их совесть огненным взглядом, он бросил им, скорее прогремев, чем промолвив, такие вот грозные и насмешливые слова: «Вы, высокородные, вы, сынки знатных, вы, избалованные красавчики! полагаясь на свое происхождение и состояние, вы пренебрегли моим повелением и своей доброй славой, и с равнодушием отнеслись к образованию, предаваясь утехам, играм, лености и всяческим пустякам». После этого вступления он, вознеся к небу державную свою голову и непобедимую десницу, поразил их своей обычной клятвой: «Клянусь царем небесным, я ни во что не ставлю ваше знатное происхождение и смазливые лица — пусть восторгаются вами другие, но знайте одно: если вы немедленно не искупите прежней вашей беспечности неутомимым прилежанием, никогда никакой милости не дождаться вам от Карла!»

4. Из вышеназванных же бедняков взял он одного, лучшего чтеца и писца, в свою капеллу. (Так франкские короли обыкновенно называли свои святилища, по имени плаща святого Мартина, который они всегда брали с собой на войну для защиты себя и победы над врагом [12].) И вот, когда однажды королю Карлу доложили о кончине некоего епископа и на его вопрос, оставил ли он какое-нибудь имущество или совершил ли какие-либо добрые дела, вестник ответил: «Не более двух фунтов серебра, государь»,— то этот юноша, не в силах сдержать в груди душевного волнения, невольно воскликнул так, что услышал король: «Не велики сбережения для столь длинного и далекого пути!» Тогда благоразумнейший из людей, Карл, поразмыслив немного, сказал, ему: «А ты думаешь, что, случись тебе получить это епископство, ты позаботился бы больше собрать для того дальнего путешествия?» Юноша, поспешно проглотив эти слова, точно скороспелый виноград, упавший ему сверху в разинутый рот, бросился королю в ноги и вымолвил: «Государь, это в Божьей воле и Вашей власти». И король сказал ему: «Стань за занавесь, которая висит за моей спиной и слушай, сколь многие станут оспаривать у тебя эту почетную должность». И действительно, едва только услыхали о смерти епископа придворные, всегда выжидающие падения или по крайней мере смерти других, как стали добиваться, каждый для себя места покойного через императорских приближенных. Но Карл, пребывая непоколебимым в своем решении, отказывал всем, заявляя, что не намерен нарушить своего слова, данного им тому юноше. Наконец и сама королева Хильдегарда сначала послала знатнейших людей империи, а затем и собственной особою явилась к королю просить это епископство для своего капеллана. Благосклонно выслушав ее просьбу, он сказал, что не хочет и не может ей ни в чем отказать, но все же считает для себя недостойным обмануть того молодого клирика. Она же, затаив в душе гнев (так уж это

свойственно всем женам, когда они хотят, чтобы их намерения и желания брали верх над волей мужей), сменила громкий голос на вкрадчивый и, пытаясь смягчить непреклонный дух императора ласковым обращением, сказала ему: «Мой господин и король, зачем этому мальчику епископство? Ведь он его погубит. Умоляю тебя, мой милый государь, моя гордость и моя опора, отдай его твоему преданному слуге — моему капеллану!» Тут юноша, которому король велел стоять за занавесью позади своего места, чтобы он мог слышать, как каждый станет осаждать его просьбами, обнял короля, не выпуская из рук занавеси, и жалобно произнес: «Государь, твердо стой на своем, чтобы никто не вырвал из твоих рук власть, данную тебе Богом». Тогда Карл, этот сильный правдолюбивый человек, приказал ему выйти вперед и сказал ему: «Получай это епископство и поусердней заботься о том, чтобы оставить и для меня и для себя побольше денег на путевые издержки в столь долгом путешествии, из которого нет возврата».

6. Так же и после смерти другого епископа император поставил на его место одного молодого человека. Когда же тот, обрадованный, вышел от него, и слуги подвели ему к ступеням лестницы коня, соответственно его епископскому достоинству, он возмутился, что с ним обращаются как с больным и вскочил на коня прямо с земли с такой стремительностью, что едва смог удержаться на нем и не свалиться на другую сторону. Король, увидев это через оконную решетку своего дворца, тотчас велел позвать его к себе и сказал ему: «Добрый человек, ты скор и легок, ловок и стремителен. Как ты сам знаешь, спокойствие нашей империи со всех сторон нарушается тревогами войн. Поэтому именно такой капеллан нужен мне в моей свите. Оставайся же спутником наших тягот до тех пор, пока ты еще можешь так быстро вскакивать на своего коня».

7. Рассказывая о распределении ответных возгласов [13], я забыл сказать о порядке церковного чтения; об этом я позволю себе вкратце сообщить здесь дополнительно. В церкви ученейшего Карла никто не знал заранее, что именно ему придется читать, никто не мог отметить конец отрывка воском, или хотя бы сделать какую-нибудь отметинку ногтем, но каждый старался выучить все, что надлежало читать, так, что, когда бы его неожиданно ни заставили читать, он исполнял это безукоризненно. Король сам указывал того, кто должен читать, пальцем или протянутым жезлом, или же посылая кого-либо из сидящих подле него к сидящим поодаль; а конец чтения отмечал покашливанием. К нему все так внимательно прислушивались, что, подавал ли он знак в конце предложения, или в середине отрывка или даже фразы, никто из следующих чтецов не осмеливался начать выше или ниже, каким бы бессмысленным ни казались ему конец или начало. И так получилось, что при его дворе все были отменными чтецами, даже если они и не понимали того, что читали. Никакой посторонний и никакой даже

известный ему человек, не умей он читать и петь, не осмеливался вступить в его хор.

8. Случилось как-то раз Карлу на пути зайти в какую-то большую церковь, и вот один из странствующих клириков, не знавший строгих правил Карла, самовольно примешался к хору; а так как он ничему подобному не обучался, то и остался стоять среди певчих безгласным и дурак дураком. Регент поднял свою палочку и грозил ударить его, если он не запоет. Тогда тот, не зная, что ему делать и куда ему деться, а выйти он не осмеливался, попытался, вертя во все стороны шеей и широко разевая рот, как можно лучше притвориться поющим. В то время как другие не могли удержаться от смеха, храбрый император, который даже в более трудных обстоятельствах умел владеть собой, казалось, и не замечал ужимок того клирика и в должном порядке ожидал конца мессы. Потом он подозвал к себе этого несчастного и, сочувствуя его старанию и затруднительному положению, утешил его такими словами: «Прими мою благодарность, добрый человек, за твое пение и твой труд», и приказал дать ему фунт серебра, чтобы облегчить его бедность...

9. Таким образом, прославленный Карл видел, что науки во всем его государстве процветают, но все же очень огорчался, что плоды их еще не столь созрели, как при прежних отцах церкви, хотя он и прилагал к тому прямо нечеловеческие усилия. С досады у него как-то раз вырвались слова: «Ах, если бы у меня было хотя бы двенадцать клириков, столь образованных во всех областях знаний, какими были Иероним и Августин!» На это высокоученый Альбин, который справедливо считал себя невеждой по сравнению с названными мужами, охваченный крайним негодованием (обнаруженным, впрочем, лишь на мгновение), отвечал со смелостью, на какую не отважился бы никто из смертных пред очами грозного Карла: «Создатель небес и земли не имел более им подобных, а ты их хочешь иметь двенадцать!»

11. Благочестивейший и воздержаннейший муж Карл имел обыкновение в дни поста есть в восьмом часу дня [14], после обеда и вечерни, не нарушая, однако, правил поста, потому что в соответствии с Божьим предписанием более он ничего не ел от часа до часа [15]. Тем не менее один епископ, вопреки запрету мудреца [16], весьма праведный, но и непомерно глупый, неосмотрительно за это упрекнул его.

Мудрейший Карл, скрыв возмущение, смиренно выслушал его упрек и сказал: «Ты прав, любезный епископ, предостерегая меня; а теперь я повелеваю тебе ничего не есть прежде, чем последние слуги при моем дворе не сядут за стол». Но пока ел Карл, ему прислуживали герцоги и правители или короли разных народов. После его трапезы они сами садились за стол, а им прислуживали графы и наместники и знать разных чинов. Когда и они заканчивали еду, приходили военные и дворцовая стража. После них — на-

чальники всевозможных дворцовых служб, затем служащие, наконец, слуги самих слуг, так что последние не садились за стол раньше полуночи. И когда подходили к концу сорок дней поста, а этот священник все еще должен был терпеть такое наказание, мягкосердечный Карл сказал ему: «Теперь, я полагаю, ты убедился, епископ, что я не из невоздержности, а из-за предусмотрительности обедаю в дни поста раньше вечернего часа».

12. Другого епископа Карл как-то раз попросил о благословении, и, когда тот, осенив хлеб крестом, взял первый кусок себе, а уж потом намеревался предложить Карлу, сказал ему Карл: «Возьми себе весь этот хлеб». И, пристыдив его таким образом, он отказался принять его благословение.

16. Поскольку я уже рассказал о том, как мудрейший Карл возвышал смиренных, я намерен рассказать теперь, как он унижал спесивых. Был некий епископ, тщеславный и большой охотник до пустяков. Заметив это, умнейший Карл приказал одному торговцу-еврею, который часто ездил в обетованную землю [17] и морем привозил оттуда множество редкостных и неведомых товаров, каким-нибудь образом одурачить того епископа или поднять его на смех. Названный торговец, поймав обыкновенную домовую мышь, набальзамировал ее и предложил упомянутому епископу ее купить, говоря, что он этого драгоценнейшего и никогда прежде не виданного зверя привез с собой из Иудеи. Необычайно обрадованный епископ предложил ему три фунта серебра, лишь бы заполучить эту диковинку. Тут еврей вскричал: «Хороша цена за такую драгоценность! Да я скорее брошу ее на дно морское, чем соглашусь, чтобы кто-то получил ее за столь ничтожную и недостойную цену». Епископ, очень богатый, но никогда ничего не подававший бедным, пообещал ему десять фунтов за эту несравненную вещь. Тогда хитрец этот, прикинувшись возмущенным, воскликнул: «Да не допустит бог Авраама, чтобы пропало столько моих трудов и расходов по ее доставке!» Жадный клирик, домогаясь этой драгоценности, посулил ему двадцать фунтов. Но еврей вне себя от гнева, завернув мышь в дорогую шелковую ткань, собрался уходить. Епископ, обманутый,— да и впрямь заслуживший такой обман,— окликнул его и дал ему полную меру серебра, лишь бы завладеть таким сокровищем. Наконец, торговец, осаждаемый долгими упрашиваниями, согласился, хотя и с трудом, а полученное серебро отнес императору и рассказал ему обо всем этом. Спустя несколько дней король созвал всех епископов и сановников страны на совещание и, после рассмотрения многих неотложных дел, приказал принести все то серебро и положить его посреди зала. Затем он обратился к ним с такими словами: «Вы, епископы, наши отцы и попечители, вы должны служить бедным, а через них — самому господу Христу, а не гоняться за безделицами. Между тем вы все делаете наоборот и предаетесь тщеславию и алчности больше, чем кто-либо из простых смертных». И добавил: Вот сколько серебра дал один из вас некоему еврею за одну домовую

набальзамированную мышь». Тогда епископ, уличенный в столь постыдном деле, бросился ему в ноги и стал молить о прощении за проступок. Король сделал ему заслуженный выговор и пристыженному разрешил уйти.

18. Я боюсь, о государь и император Карл [18], как бы мне своим стремлением исполнить Вашу волю не навлечь на себя недовольства во всех сословиях и особенно среди епископов высшего сана. Впрочем, обо всем этом мне не стоит заботиться — лишь бы только не потерять Вашего покровительства.

Благочестивый император Карл распорядился, чтобы все епископы его обширнейшего государства читали проповеди в церкви своей епископской резиденции перед определенным, им самим установленным, днем, а те, кто не выполнит этого, должны будут лишиться своего епископского достоинства. Но что я говорю о достоинстве, когда апостол утверждает: «Если кто епископства желает, доброго дела желает» [19], на деле же, если искренне признаться, при этом стремятся к большим почестям, а вовсе не к добрым делам. Так вот, епископ, о котором я уже говорил [20], пришел в ужас от такого приказа: ведь он ни на что другое не был способен, кроме как чваниться и роскошествовать; опасаясь, однако, как бы, в случае потери епископства, ему одновременно не пришлось отказаться от своей роскошной жизни, он пригласил однажды в праздничный день двух вельмож королевского двора и после прочтения Евангелия поднялся на кафедру, словно намереваясь обратиться к народу. И когда по поводу столь неожиданного события все в удивлении столпились в церкви, кроме одного огненно-рыжего бедняка, который, стыдясь цвета своих волос, носил на голове, за неимением шляпы, кожаный колпак, сей епископ, лишь по имени, а не на деле, сказал своему церковному сторожу, или привратнику (древние римляне людей этого чина или службы именовали эдилициями [21]): «Приведи, говорит, ко мне этого человека с покрытой головой, который стоит у входа». Этот, торопясь выполнить приказ господина, схватил несчастного и стал тащить его к епископу. А он, страшась тяжелого наказания за то, что осмелился в храме Божьем стоять с покрытой головой, стал сопротивляться изо всех сил, словно вели его на суд к строжайшему судье. Тогда епископ, видя это с возвышения, громогласно стал кричать, то обращаясь к своему служащему: «Держи его! Смотри, чтобы не убежал!», то браня того несчастного: «Ты должен подойти, хочешь ты, или не хочешь». Когда, наконец, бедняк, побежденный силой или страхом, стал приближаться, епископ вскричал: «Подойди же ближе, ну еще, еще ближе!» Затем, схватив его головной убор, он сорвал его и объявил присутствующим: «Вот, смотрите, люди, оказывается, этот бездельник рыжий!» потом, повернувшись к алтарю, он стал освящать дары, хоть это и была видимость освящения. По окончании обедни вошли гости в зал, разукрашенный пестрыми коврами и разными занавесями, где великолепный праздничный стол с золотыми и серебряны-

ми сосудами, отделанными драгоценными камнями, мог возбудить аппетит даже у человека пресыщенного или мучимого морской болезнью. Сам же епископ сидел на мягчайших пуховых подушках, одетый в драгоценные шелковые одежды и облаченный в императорский пурпур; так что ни в чем у него не было недостатка, разве что в скипетре и королевском титуле.

Его окружала толпа богато одетых воинов, рядом с которыми придворные, т. е. вельможи непобедимого Карла, казались сами себе совсем жалкими. Когда же они после этого удивительного, непомерно роскошного стола, необычного и для королей, пожелали покинуть пир, епископ приказал — чтобы его великолепие и слава обнаружились с еще большей очевидностью — выступить со всевозможными инструментами искуснейшим мастерам пения, от песен и игры которых могли бы смягчиться самые черствые сердца и застыть текущие воды Рейна. Самые разнообразные сорта напитков, смешанные со всякими приправами и пряностями, в кубках, увитых травами и цветами, вбирая в себя блеск золота и драгоценных камней и распространяя на них свое огненное сияние, оставались нетронутыми, потому что желудки были уже переполнены. И все же пекари и мясники, повара и колбасники с изысканным искусством готовили для отягченных желудков всевозможные, возбуждающие аппетит лакомства, каких никогда не подавали на обед великому Карлу. А на другое утро, когда епископ несколько отрезвел и ужаснулся расточительству, проявленному им накануне перед приближенными короля, он велел привести их к себе, одарил их по-королевски и стал упрашивать, чтобы они рассказывали о нем Карлу только хорошее и подобающее, и сказали, будто он сам в их присутствии выступил в церкви перед народом с проповедью. Когда они возвратились, император спросил их, зачем приглашал их епископ, а они ответили, припав к его ногам: «Государь, чтобы ради Вашего имени нам оказать почести, каких мы далеко не заслуживаем». И добавили к этому: «Это превосходный епископ, весьма преданный Вам и всем Вашим придворным, и он вполне достоин высокого церковного сана. Если Вы удостоите веры наше ничтожество, то мы признаем, Ваше Величество, что слышали, как он читал проповедь с искусством декламатора». Все же император, зная о невежестве епископа, поинтересовался содержанием проповеди; и они, не смея вводить его в заблуждение, доложили ему все по порядку. Тогда он понял, что тот из страха рискнул лучше попытаться что-нибудь сказать, чем не повиноваться королевскому приказу, и разрешил сохранить ему епископство, хоть он и был его недостоин.

19. А вскоре после этого один молодой родственник короля на каком-то празднике наилучшим образом пропел «Аллилуйя» и король сказал тому же епископу: «Хорошо только что пропел наш клирик». Епископ, приняв, по своей глупости, эти слова за шутку и не зная о родстве певчего с императором, ответил: «Еще бы! так сумел бы заорать и любой мужик на своих волов на пашне». На

этот бесстыдный ответ император метнул на него подобный молнии взгляд [22] и поверг его, оглушенного, на землю...

28. Когда среди своих предприятий император Карл мог позволить себе некоторый отдых, он все же пожелал оставаться в бездействии, но посвятил себя служению Богу, так что даже задумал построить в своем отечестве базилику [23] по собственному плану, которая превосходила бы древние сооружения римлян, и уже радовался, что вскоре достигнет исполнения своего желания. Для этой постройки он созвал со всех стран, расположенных по эту сторону моря, художников и мастеров разного рода. Над ними для надзора за выполнением работ он поставил одного аббата, наиболее сведущего из всех, не зная, однако, что тот мошенник. Лишь только император куда-то отлучился, как он стал отпускать домой за плату каждого желающего, а тех, кто не мог дать выкупа, или кто не был выкуплен их хозяевами, он так загружал тяжелыми работами (как некогда египтяне мучили изнурительными трудами народ божий), что не давал им никогда ни минуты отдыха. Таким мошенничеством он собрал несметное количество золота, серебра и шелковых тканей, и, развесив предметы, менее ценные, в комнате, более ценные спрятал, заперев в сундуках и ларях. И вот вдруг ему сообщают, что дом его охвачен огнем. Он мчится туда, бросается сквозь пламя в комнату, где хранились сундуки, полные золота; и не желая выйти только с одним сундуком, взгромоздил он по сундуку на оба плеча и стал выходить. В этот миг огромная, горящая балка, свалилась на него, сожгла его тело земным пламенем, а душу послала в вечный огонь. Так суд Божий бодрствовал за благочестивого Карла, когда сам он, занятый государственными делами, не мог уделять этому достаточного внимания...

34. Длинное и ниспадающее ночное одеяние императора отвлекло меня от рассказа о его военной одежде. У древних франков одежда и украшения были такие: башмаки, обшитые снаружи золотом, с длинными, в три локтя, шнурками, яркокрасные обмотки на голени и сверху льняные штаны, или набедренник, хоть и такие же по цвету, но украшенные искуснейшим шитьем; спереди и сзади они обмотаны крест-накрест длинной тесьмой. Затем рубашка из белого полотна и поверх нее перевязь с мечом. Меч лежал в ножнах, был обтянут какой-нибудь кожей и обернут белоснежным до блеска навощенным для прочности полотном с отчетливо выступающим крестом посередине на погибель врагам. Последней частью их одеяния был серый или голубой четырехугольный плащ на подкладке, скроенный так, что, накинутый на плечи, он ниспадал спереди и сзади до самых стоп, а с боков едва доходил до колен. Кроме того, носили они в правой руке палицу из яблоневой ветки с ровно расположенными узлами, красивую, крепкую и внушающую ужас, с рукояткой из золота или серебра, превосходной чеканной работы. Я, по природе человек медлительный хуже черепахи, никогда не бывавший во Франции [24], видел в монастыре святого Галла главу

франков [25], блиставшего в этом наряде, и двух златокудрых отпрысков [26] его, из которых первенец был ростом с него, а младший, когда подрос, украсил вершину ствола своего высшей славой и, возвысясь, осенил его. Но таково уж свойство человеческой натуры: когда франки, находясь на военной службе среди галлов, увидели, как «блещут плащами они полосатыми» [27], они, радуясь новизне, отказались от старого обычая и стали подражать им. Суровый же Карл не запретил этого по той причине, что такая одежда казалась ему более подходящей для военной обстановки. Но когда он заметил, что фризы злоупотребляют его снисходительностью, и узнал, что они продают теперь короткие плащи так же дорого, как прежде длинные, то распорядился, чтобы у них покупали по обычной цене только прежние очень широкие и длинные плащи, добавив к этому: «На что могут годиться эти лоскутки? В кровати я не могу ими прикрыться, на лошади они не защитят ни от ветра, ни от дождя, а случись мне выйти по естественной надобности, я умру, потому что у меня окоченеют ноги».

В предисловии [28] к этому небольшому труду я обещал, что буду в нем следовать только трем людям, заслуживающим доверия. Но, поскольку лучший из них, Веринберт [29], скончался семь дней назад, и сегодня, в третий день до июльских календ [30], мы, его осиротевшие дети и ученики, должны почтить его память, пусть здесь и окончится эта книжка, которую я написал со слов этого священника о благочестии государя Карла и о его заботе о делах церкви. Следующая же книга о военных деяниях доблестного Карла будет составлена из рассказов отца этого самого Веринберта — Адальберта, который со своим господином Керольдом [31] участвовал в военных походах против гуннов, саксов и славян, а, будучи уже в преклонном возрасте, взял меня, еще совсем мальчика, на воспитание и, несмотря на мое сопротивление и частые попытки убежать, в конце концов силой принудил меня обучаться.

КНИГА ВТОРАЯ

5. Во время военных предприятий такого рода [32] великий Карл ничего не упускал из виду и отправлял одного за другим посланников с письмами и подарками к правителям отдаленнейших королевств; эти в свою очередь оказывали ему знаки почтения. Так, когда он с театра саксонской войны отправил послов к константинопольскому императору [33], тот спросил, пребывает ли государство его сына Карла в мире или подвергается нападениям соседних народов? И когда глава посольства ответил, что все вообще наслаждаются миром, и только один народ, саксы, тревожат границы франков частыми разбойничьими набегами, то сказал этот погрязший в праздности и непригодный к военным делам человек: «Ах, зачем утруждает себя мой сын, воюя против ничтожного врага без имени

я без доблести? Я дарю тебе этот народ со всем, что ему принадлежит». По возвращении посланник доложил об этом воинственному Карлу и тот, усмехнувшись, сказал ему: «Гораздо лучше позаботился бы о тебе этот король, подари он тебе одни льняные штаны для столь дальней дороги».

14. Случилось раз Карлу, странствуя, неожиданно прибыть в какой-то приморский город Нарбонской Галии. В этой гавани (во время его завтрака, о котором никто не знал) появились лазутчики норманнских пиратов. И когда, увидев корабли, одни стали говорить, что это еврейские купцы, другие, что африканские, третьи — что британские, мудрейший Карл, узнав по оснащению и быстроходности кораблей, что это не купцы, но враги, сказал своим: «Эти корабли не товарами заполнены, а набиты злейшими врагами». Услыхав это, они, обгоняя друг друга, бросились к кораблям. Но тщетно: норманны, узнав, что здесь Карл Молот, как они сами его обычно называли, и опасаясь, как бы все их оружие не притупилось об него или не разлетелось вдребезги, обратились в невиданное по быстроте бегство и избегли не только мечей, но даже взглядов [преследователей]. А благочестивый, справедливый и богобоязненный Карл, поднявшись из-за стола, подошел к окну, выходящему на восток, и долго проливал здесь потоки слез, так что никто не осмеливался обратиться к нему; наконец, сам он объяснил своим воинственным вельможам причину такого поведения и слез: «Знаете, друзья мои, о чем я так плакал? Не того я страшусь,— говорил он, что эти глупцы и ничтожества могут в чем-то навредить мне, но горюю я так о том, что они еще при моей жизни дерзнули коснуться этого берега; и терзает меня великая печаль потому, что я предвижу, сколько зла принесут они моим потомкам и их подданным» [34].

17. Когда после смерти победоносного Пипина, лангобарды снова стали беспокоить Рим, непобедимый Карл, несмотря на чрезвычайную занятость в странах по эту сторону Альп, поспешно двинулся в путь на Италию. В войне без кровопролития и при добровольной сдаче лангобардов смирил он их и подчинил своей власти. Безопасности ради, чтобы впредь они не отпали от франкской империи или не причинили какого-нибудь вреда земле святого Петра, взял он себе в жены дочь лангобардского короля Дезидерия. Вскоре после этого, по совету преподобных отцов, он покинул ее, как если бы она уже умерла, потому что была она больна и не способна к продолжению его рода. Разгневанный отец, связав себя со своими соотечественниками клятвой, заперся в стенах Тицены с намерением снова восстать против непобедимого Карла. А Карл, получив об этом верные сведения, поспешил туда походом.

А за несколько лет до этого случилось так, что один из его первых вельмож, по имени Откер, навлек на себя немилость грозного императора и поэтому нашел убежище у этого самого Дезидерия. Ну так вот, когда они услыхали о приближении страшного Карла, то поднялись на высоченную башню, откуда могли увидеть его подход

издалека и со всех сторон. Когда же показался готовый к бою обоз, какой был в армиях Дария или Юлия [35], спросил Дезидерий у Откера: «Не Карл ли в этом огромном войске?» Тот ответил: «Нет еще». Но увидев войско, собранное со всей огромной империи, он с уверенностью заявил Откеру: «Наверное, с этим войском едет Карл». «Нет, и теперь еще нет»,— возразил Откер. Тогда он встревожился и спросил: «Что же мы будем делать, если с ним придет еще большее войско?» Откер промолвил: «Ты увидишь, как он придет, а что будет с нами — я не знаю». А пока они вели такой разговор, показалась дворцовая гвардия, никогда не знавшая покоя. Видя ее, Дезидерий в ужасе воскликнул: «Вот он, Карл!» Но Откер сказал: «Нет, и даже теперь еще нет». Потом увидели они епископов, аббатов и священников капеллы с их слугами. При виде их Дезидерий, которому уж и свет стал немил, и желал он только смерти, рыдая, пробормотал: «Сойдем вниз и скроемся под землей от ярости столь страшного врага». На это Откер, некогда по опыту знавший силу и военную мощь несравненного Карла и в лучшие времена достаточно привыкший к этому, ответил, полный страха: «Когда ты увидишь,— промолвил он,— что на полях поднимется железная жатва, а воды По и Тицина, потемнев от железа, морскими волнами затопят городские стены, тогда и надо ожидать прихода Карла». Еще не договорил он это до конца, как начала показываться на западе, северо-востоке и севере будто черная туча, которая обратила ясный день в мрачную ночь. Но когда стал приближаться император, от блеска оружия засиял осажденным день, который для них был чернее ночи. Тогда-то стал виден и сам Карл в железном с гребнем шлеме, с железными запястьями на руках и в железном панцире, покрывавшем железную грудь и его платоновские [36] плечи; в левой руке он держал высоко поднятое копье, потому что правая всегда была протянута к победоносному мечу. Наружная сторона бедер, которая у других обычно остается незащищенной, чтобы легче было сесть на коня, у него была покрыта железной чешуей. Что говорить о железных поножах? Они всегда были принадлежностью всех воинов. На его щите не было видно ничего, кроме железа. Да и конь его блистал, как железо, своей мощью и мастью. Такие доспехи были у всех, кто шел впереди него, с обеих сторон, и у всех, кто шел следом; да вообще все его воины имели подобное снаряжение, насколько было возможно. Железо заполняло поля и площади; на железных остриях отражались лучи солнца. Перед холодным железом преклонился похолодевший от страха народ. Перед ослепительно сверкающим железом побледнел ужас подземелий. «О, железо, ах, железо!» —раздавался беспорядочный вопль горожан. Перед железом содрогнулась твердость стен и юношей, мудрость старцев уничтожалась железом. Итак, все это, что я, беззубый заика, не так как надо бы, но в слишком вялом пространном описании пытался изобразить, правдивый дозорный Откер окинул быстрым взглядом и сказал Дезидерию: «Вот тот, о

ком ты только расспрашивал», и с этими словами упал почти замертво.

Когда в тот самый день горожане, то ли по безумию, то ли питая какую-то надежду на сопротивление, не захотели принять государя, хитроумный Карл сказал своим: «Мы должны сделать сегодня что-нибудь памятное, чтобы нас не порицали, что мы провели этот день в праздности. Поторопимся же соорудить небольшую капеллу, в которой, если нам раньше не откроют ворота, мы должны будем начать службу». Едва он это произнес, все разбежались кто куда, одни за известью и камнем, а другие за деревом и краской, и, собравшись, принесли все это мастерам, всегда сопутствующим императору. Эти возвели с помощью подмастерий и солдат с четырех часов дня и еще до двенадцати ночи такую церковь со стенами и крышей, наборным потолком и картинами, что всякий, кто бы ни увидел ее, думает, что она могла быть построена по крайней мере в течение года.

А уж с какой легкостью на следующий день [37], в то время, как одни граждане хотели открыть ворота, а другие, пусть напрасно, намеревались оказать ему сопротивление, или вернее сказать, оставаться в осаде, он, без всякого кровопролития, только благодаря своей ловкости, покорил город и овладел им, это я предоставляю написать тем, кто не из чувства любви, а лишь ради выгоды сопровождает Ваше Величество.

Геральд

Геральд, автор поэмы «Вальтарий»,— лицо, лишь недавно появившееся на страницах истории средневековой латинской литературы. До сих пор многие ученые сомневаются в его авторстве и считают «Вальтария» произведением анонимным или даже по привычке называют его автором Эккехарда Санкт-Галленского, жившего в X в. И это несмотря на то, что сама поэма «Вальтарий» известна уже более ста лет и является одним из самых популярных и широко читаемых памятников средневековой латинской литературы.

Эта слава вполне заслужена поэмой. Трудно найти другое произведение, в котором с такой чистотой соединились бы лучшие стороны и античной, монастырской, книжной, и народной, песенно-эпической, светской культуры раннего средневековья. По содержанию поэма принадлежит германскому фольклору эпохи переселения народов; по форме она представляет собой имитацию Вергилия и других лучших образцов унаследованной от античности латинской поэзии. Древнегерманская героическая песнь, одетая в вергилианские стихи,— такое сочетание могло бы казаться величайшим художественным диссонансом, и если в «Вальтарии» оно стало редкой гармонией, то это лучшее свидетельство о большом таланте загадочного автора поэмы.

«Вальтарий» («Waltharius») — латинизированная форма германского имени главного героя — Вальтера; под такими же латинизированными именами выступают в поэме и другие персонажи — Хаген (Хаганон), Гунтер (Гунтарий) и пр.; в переводе эта латинизация снята. Аквитанец Вальтер, франк Хаген и бургундка Хильдегунда — знатные молодые люди, выросшие заложниками в плену у гуннов и пользующиеся милостью самого Атиллы. Они задумывают бежать из плена на родину, туда, где правит их сверстник, франкский король Гунтер. Первым бежит Хаген, спустя некоторое время — Вальтер и Хильдегунда, прихватив с собой богатую казну Аттилы. Они благополучно ускользают от погони и переправляются через Рейн во франкскую землю. Но здесь они встречают недобрый прием: Гунтер выходит с дружиной им навстречу и требует выдать гуннские сокровища, если Вальтер хочет быть пропущен в свою Аквитанию. Вальтер возмущенно отказывается; начинается битва. В двенадцати подробно описанных единоборствах Вальтер остается победителем. Гунтера сопровождает Хаген, но в бою он не участвует, мучась противоречием между вассальной верностью королю и дружеской верностью Вальтеру, старому своему

товарищу. Лишь когда Вальтер убивает в поединке родного племянника Хагена, Хаген выходит против него на бой. В последней схватке сходятся Вальтер, Хаген и Гунтер, все тяжело ранят друг друга и, не в силах больше сражаться, заключают между собой мир и дружбу, скрепляя ее вином. Вальтер возвращается в Аквитанию, женится на Хильдегунде и правит славно и счастливо. «Вот о Вальтере песнь. Иисус вам да будет спасеньем!» — кончает поэт.

Таким образом, содержание поэмы представляет собой связное однолинейное повествование, развернутое на полторы тысячи стихов; автор с большим искусством регулирует подробность рассказа, чтобы выделить кульминацию и придать цельность сюжету: около 400 стихов описывают события в гуннском плену, около 200 — побег, около 400 — двенадцатиборство, около 400 — последний бой. Тон повествования спокойный и ровный, ни сказочной наивности, ни риторического пафоса в нем нет; все описания реалистичны, автор заботится о мотивировках (и логических, и психологических — так, любопытно, что Хаген объясняет свое выступление королю заботой и о его королевской чести, а Вальтеру — местью за убитого им племянника), а начало и конец поэмы выдерживает в стиле достоверного рассказа об интересном историческом событии.

Источником поэмы была, бесспорно, древнегерманская эпическая песня — может быть, в подлиннике, может быть, уже в латинской записи. Другими отголосками этого фольклорного сюжета являются фрагменты англосаксонской поэмы о «Вальдере» (IX в.?) и средневерхненемецкой поэмы XIII в. Были попытки утверждать, что эти версии генеалогически восходят к нашей же латинской поэме, так что первоисточником вальтеровской темы был не фольклор, а индивидуальный творческий гений нашего автора, но такие утверждения не имели успеха даже в буржуазной науке. При переработке сюжета главным образцом автора был, конечно, самый читаемый из латинских поэтов — Вергилий: вергилианские словесные штампы попадаются буквально в каждой строке поэмы, так что местами она кажется настоящим талантливым упражнением в вергилианском стиле («диктаменом», как назывались такие упражнения в средневековых школах). Кроме Вергилия, особенно широко использованы в поэме Стаций (сцены единоборств построены по образцу одного из эпизодов «Фиваиды») и Пруденций.

Во всех ранних рукописях поэмы автор ее назван Геральдом, и открывается она прологом, в котором Геральд подносит свое сочинение «архипресвитеру Эркамбальду». Но когда в 1838 г. Якоб Гримм впервые наткнулся на рукопись нашей поэмы, это была поздняя рукопись, в которой пролог был опущен как неинтересный для читателя. Гримму пришлось самому догадываться об авторе поэмы. Он вспомнил, что в «Истории Санкт-Галленского монастыря» аббата Эккехарда IV (XI в.) говорится об одном из его предшественников, аббате Эккехарде I (первая половина X в.), что в ранней молодости он написал латинскую поэму «Вальтер — могучая рука», впоследствии найденную и отредактированную им самим, Эккехардом IV. Гримм решил, что перед ним — эта самая поэма; и убедительность этого предположения была для него так сильна, что, когда вскоре он же нашел более полную рукопись с геральдовским прологом, он стал подчинять не гипотезу факту, а факт гипотезе — предположил, что Геральд был не автором, а вдохновителем поэмы: учителем Эккехарда I, предложившим ему тему упражнения, а потом выправившим работу ученика и под-

несшим ее церковному сановнику. Эта аттрибуция держалась сто лет; ее популярности немало содействовал исторический роман Шеффеля «Эккехард» (1855), в центре которого был романтизированный образ Эккехарда I, поэта и аббата. Лишь к 1930-м годам ученым удалось отрешиться от гриммовского гипноза, прочитать свежими глазами пролог поэмы, вспомнить все хронологические неувязки, вытекающие из гриммовской гипотезы (тот Геральд, который мог быть учителем Эккехарда I, и тот Эркамбальд, который мог быть в X в. адресатом пролога, никак не могли оказаться современниками), вспомнить мелкие реалии, рассеянные по поэме и соответствующие обстановке не X, а IX в. (например, город Мец представляется архиепископским, город Шалон представляется принадлежащим Бургундии, и т. п.), и окончательно отвергнуть гипотетическое авторство Эккехарда I. Теперь большинство ученых согласно, что поэма о Вальтере написана около середины IX в. («третье поколение» каролингского возрождения) и что автор ее или нам неизвестен (если пролог и поэма принадлежат разным лицам), или носил имя Геральд (если пролог и поэта принадлежат одному лицу). С тем, что о личности и творчестве этого поэта мы не имеем более никаких сведений, пока приходится примириться.

ВАЛЬТАРИЙ

[ВАЛЬТЕР И ЕГО ДРУЗЬЯ — ЗАЛОЖНИКИ У АТТИЛЫ]

Третья доля земли зовется, братья, Европой.
Много живет в ней племен: названьями, нравами, бытом,
Речью и верою в Бога они друг от друга отличны.
Есть меж ними народ, заселивший Паннонии область,
Мы называем его — так привыкли мы — именем «гуннов» [1].
Смелый этот народ прославлен доблестью ратной;
Власти своей подчинил он не только ближайших соседей,
Нет,— тех краев он достиг, что лежат на брегах Океана,
С многими в мирный вступая союз, непокорных карая.
Более тысячи лет, говорят, его длится господство.
Некогда, в давние годы, король Аттила там правил;
Жадно стремился всегда освежить он былые победы.
Мощное войско в поход он собрал и двинул на франков.
Франками правил король Гибихон в палатах высоких.
Радость была в его доме — родился первый ребенок,
Мальчик; был Гунтером назван (о нем расскажем мы после).
Голос молвы долетел — а король был робок душою —
Будто враги без числа идут на него из-за Истра,
Больше, чем звезд в небесах, чем песка на речном побережье.
И положиться на силу оружья король не решился,
Но, совет свой собрав, спросил он, что следует сделать.
Принято было решенье — просить врага о союзе;
Если удастся десницу в десницу вложить, то готовы
Франки заложников дать и дань заплатить по условью.

Лучше этот исход, чем лишиться жизни иль крова,
Чем утратить семью — и жен и отпрысков юных.
Жил той порой при дворе подросток по имени Хаген,
Отпрыск семьи благородной, потомок троянского рода.
Мог он заложником стать — ведь Гунтер, рожденный недавно,
Хрупкую жизнь сохранил бы навряд без забот материнских.
И порешили тогда немедля к Аттиле отправить
Много богатых даров и посольство с Хагеном юным.
Тотчас же в путь пустились послы и мир заключили.
В это же время в бургундской стране свой скипетр могучий
Крепко король Херирик держал в бесстрашной деснице.
Дочь он имел лишь одну — было имя ее Хильдегунда,
Ветвь благородной семьи, блистала она красотою,
После должна была стать наследницей предков великих,
Многих богатств и дворца — если б эта ей выпала доля.
С франкским народом союз договором скрепили авары
И, рубежей их страны не нарушив, отправились дальше.
Против бургундов Аттила пошел, натянувши поводья,
Следом за ним поскакали начальники конного войска.
Двигался мерно отряд за отрядом растянутой цепью,
И от удара копыт земля, дрожа, застонала,
И на бряцанье щитов, трепеща, откликнулся воздух.
Лес из железных стволов над равнинами вырос, сверкая,
Блеску солнца подобный, когда оно, море покинув,
В крайних пределах земли весь мир озаряет сияньем.
Гуннов войска перешли Арар и Родан глубокий [2]
И разбрелись по стране, хватая, где можно, добычу.
Был в эту пору король Херирик со двором в Кабиллоне.
Страж, озиравший окрестность, на башне громко воскликнул:
«Что за туча вдали? Там пыль густая клубится!
Близится войско врагов! Скорей запирайте ворота!»
Но уже раньше о том, что недавно сделали франки,
Слышал король, и к старейшим советникам так обратился:
«Если столь мощный народ — ведь мы с ним сравниться не можем —
Перед паннонцами сдался, откуда ж нам силы набраться,
Чтобы сразиться открыто в защиту родины милой?
Лучше пускай договор заключат — мы дань им заплатим;
Дочь у меня лишь одна, но ее за землю родную
Я, не колеблясь, отдам — пусть послы договор закрепляют».
В путь пустились послы, при себе не имея оружья.
Все, что велел им король, они точно врагам передали
И умоляли грабеж запретить. Посланцев Аттила
Принял учтиво — таков у него был обычай — и молвил:
«Лучше союзы вершить, чем народы втягивать в битвы:
Мирно гунны хотят управлять, и оружьем карают
Лишь неохотно, и тех лишь, в ком видят мятежников ярых.
Пусть придет ваш король и десницу мне вложит в десницу.

Вскоре прибыл король, и бесчисленных гору сокровищ
Он с собою привез, договор заключил и отправил
Милую дочь на чужбину, отчизны залог драгоценный.
После, скрепив договор, о размерах дани условясь,
К западным странам Аттила повел свои мощные рати.
Алфер в краю аквитанов владел королевскою властью.
Был у него (так гласила молва) подросток-наследник,
Вальтером звали его, и юной он цвел красотою.
Алфер-король с Херириком давно уж торжественно клятву
Дали друг другу, что сына и дочь сочетают союзом,
Только лишь срок подойдет, как дети созреют для брака.
Но докатилась молва, что два покорились народа;
Алфера трепет великий объял, и сердцем он дрогнул:
Не оставалось надежды оружьем добиться победы.
«Стоит ли медлить,— сказал он,— коль в бой вступить мы не в силах?
Франков держава пример нам дает, а за ней и бургунды.
Кто нас посмеет винить, если мы не иначе поступим?
Тотчас послов снаряжу, велю просить о союзе,
И заложником к гуннам любимого сына отправлю,
Дань им немедля теперь заплатив за грядущие годы».
Что мне еще рассказать? Что решил король, то исполнил.
И, отовсюду собрав тяжелые груды сокровищ,
Взявши в залог Хильдегунду и Хагена с Вальтером юным,
Снова к жилищам своим, ликуя, вернулись авары.
В край паннонский придя, с торжеством был принят Аттила.
Юных заложников он окружил благосклонной заботой
И воспитать их велел, как своих. Жене-королеве
Девочку он поручил, а подросткам двоим постоянно
Быть при себе приказал и сам обучал их, играя,
Всем тем искусствам, что после полезны им будут в сраженьях.
Так возрастали они, и с годами крепчая душою;
Спорили силой с бойцами, с учеными — речью разумной,
Так что из гуннов никто не мог уже с ними сравняться.
Скоро Аттила обоих поставил вождями над войском.
Честь по заслугам была — ведь где бы война ни случилась,
Битва, где бились они, кончалась победой блестящей.
И потому с каждым годом любил их владыка все больше.
Пленница юная тоже росла, и — по воле Господней—
Стала мила королеве, любовь ее заслужила.
Строгостью нравов она отличалась, в трудах прилежаньем.
Было доверено ей храненье дворцовых сокровищ,
Так что казаться могло, будто домом она управляла.
Так добиваться она умела того, что решила.
Умер франкский король Гибихон, а наследник престола
Гунтер немедля порвал договор с державой паннонской
И отказался платить обычную дань ежегодно.

Как только вести об этом дошли до Хагена, ночью
Он от гуннов бежал, к своему королю возвратился.
Вальтер же был на войне начальником гуннского войска;
Всюду, где он появлялся, за ним шла следом удача.
Но супруга Аттилы — ее Оспи́риной звали —
Хагена бегство обдумав, советовать стала владыке:
«Пусть королевская мудрость, молю, блюдет осторожность,
Чтоб не могли пошатнуться устои нашей державы:
Как бы побега от нас не замыслил любимец твой Вальтер!
Твердой опорой досель служил он владычеству гуннов —
Хагена может пример и его побудить к подражанью.
И потому я прошу мое предложенье обдумать:
Только с войны он придет, обратись к нему с речью такою:
«Вальтер, на службе у нас претерпел трудов ты немало,
Знай же, что это недаром, что милостью нашей не будешь
Ты позабыт и что прочих друзей ты всех нам дороже.
Это увидишь ты сам — слова докажу я делами.
Выбери ныне жену из семей знатнейших паннонских
И не заботься о том, что богатствами ты не владеешь:
Всем я тебя одарю в изобилье, землей и домами —
Тот, чью дочь ты возьмешь, тебя стыдиться не станет».
Если поступишь ты так — его навсегда мы удержим!»
Речь пришлась королю по душе, и совет он обдумал.
Вальтер вернулся; его Аттила призвал, и в награду
Выбрать жену предложил; но Вальтер, уже замышляя
То, что исполнил потом, слова Аттилы прослушав,
Но уговорам его душой не поддавшись, ответил:
«Милость твоя велика, что ты похвалить удостоил
Скромную службу мою; но дела мои слишком ничтожны —
Я заслужить бы не мог, чтоб взор твой на них обратился.
Верно служу я тебе, и просьбу мою ты исполни.
Если б по воле владыки себе супругу я выбрал,
Я бы предался, конечно, любви и заботам семейным,
Это мешало бы мне королю служить, как бывало,
Мне бы пришлось дома воздвигать, возделывать землю,
Я бы не смог находиться всегда пред очами владыки
И все думы мои посвящать могуществу гуннов.
Тот, кто вкусил наслажденья, потом уже неохотно
Тяжесть трудов переносит — ему они нестерпимы.
Нет мне радости больше, чем быть всегда наготове
Волю, владыка, твою исполнять; и узами брака
Я умоляю меня не вязать и оставить свободным.
В поздний ли час ты меня позовешь, хотя бы и в полночь,
Все веленья твои я всегда охотно исполню.
Так и в бою на войне о жене и о детях забота
Не остановит меня, побудить меня к бегству не сможет.
Я заклинаю тебя, мой отец, твоей собственной жизнью,

Славой паннонской страны, поражений доселе не знавшей,—
Не принуждай ты меня зажигать мой свадебный факел!»
Просьбой такой побежден, уговоры оставил Аттила:
Твердо надеялся он, что Вальтер бежать не захочет.
В эту пору пришли к нему достоверные вести,
Будто в одном из племен, недавно еще покоренных,
Вспыхнул снова мятеж, затеян поход против гуннов.
Дело защиты сейчас же поручено Вальтеру было.
Воинов в строй он собрал и каждого строго проверил,
Дух бойцов ободрил, вдохнув им мужество в сердце
Их убеждая всегда о победах вспомнить минувших,
Всех непокорных смирить, явить обычную доблесть
И до пределов земли устрашить народы чужие.
Вальтер в поход поспешил; за ним устремилась дружина.
Место, где будет сраженье, он взором окинул; рядами
Выстроил войско свое на широких лугах и полянах;
На расстоянье полета копья друг от друга стояли
Обе дружины; и вот раздался воинственный громкий
Клич, и звуком ужасным рога заревели и трубы,
И полетели туда и сюда, как туча густая,
Дроты с древком из ольхи и из вяза, в пляске смешавшись,
А наконечники копий сверкали, как молнии вспышки.
Так, как при северной буре проносятся снежные хлопья,
Стрелы жестокие мчались, бойцами нацелены метко.
Но наконец истощились и копий и дротов запасы,
И обратилась рука к рукояти иного оружья:
Грозно сверкнули мечи, и щиты в высоту поднимая,
С шумом столкнулись отряды, и битва опять запылала.
Кони сшибались друг с другом, ломая кости грудные;
Падали наземь бойцы, об выпуклый щит разбиваясь;
Вальтер прорвался вперед, и в гущу сраженья вмешавшись,
Все он сметал на пути, пред собой пролагая дорогу.
Только враги увидали, что всех он во прах повергает,
Ужас их охватил, будто смерть сама им явилась.
И куда б ни скакал он, направо ль или налево,
Всадники в бегство пред ним тотчас обратиться спешили,
Спину щитом прикрывая, коням отпуская поводья.
Вслед за своим полководцем, ему подражая, дружины
Храбрых паннонцев неслись, все смелее врагов сокрушая,
Сопротивленье ломая, копьем поражая бегущих.
И переменчивый жребий войны даровал им победу.
После с убитых врагов они поснимали оружье,
Но в свой рог затрубил и в порядке отряды построил
Вождь их. Он первый себя украсил листвою победной,
Став пред дружиной своей, венком увенчался лавровым;
После себя знаменосцев венчал он и всех, кто сражался.
Так в победных венках они к себе возвратились,

Каждый боец поспешил в свое вернуться жилище,
Вальтер же путь свой направил тотчас во дворец королевский.
Все, кто жил во дворце, навстречу сбежались, ликуя,
Видя его невредимым, коня под уздцы подхватили,
Чтобы с седла боевого он мог удобней спуститься.
Как закончился бой, удачно ли,— спрашивать стали;
Кратко он им отвечал и, войдя в преддверие дома
(Битвой он был изнурен), направился к спальне Аттилы.
Вдруг увидал Хильдегунду — одна она в зале сидела,—
Обнял ее он и, нежный даря поцелуй ей, промолвил:
«Дай поскорее напиться! Устал я, мне дышится тяжко».
И поспешила она драгоценный кубок наполнить
Чистым вином, и ему подала; крестом осенивши,
Взял он и руку ей сжал; она же застыла в молчанье,
Слова ему не сказала и только в очи смотрела.
Вальтер выпил вино и кубок ей отдал обратно
(Знали и он и она, что с детства помолвлены были)
И обратился к любимой своей с такими словами:
«Слишком долго с тобой мы терпим жизнь на чужбине,
Издавна знаем мы оба, что вместе родители наши,
Между собой сговорясь, нам общий жребий судили.
Долго ли будем с тобой мы молчанье хранить и таиться?»
Но подумалось ей, что Вальтер смеется над нею,
И помолчавши немного, она ему возразила:
«Вальтер, зачем лицемерно уста твои молвят неправду,
И говорит твой язык то, что сердце твое отвергает?
Верно теперь ты стыдился б невесты своей нареченной».
Вальтер же ей отвечал разумной правдивою речью:
«Слышать такие слова не хочу я; ты правду скажи мне!
Знай, никогда я не стану вести лицемерные речи
Или обманом и ложью тебя смущать и тревожить.
Здесь мы с тобою вдвоем, и никто наши речи не слышит.
Если б уверен я был, что ты меня слышать согласна,
Замысел мой, что давно я храню, ты сберечь бы сумела?
Я бы поведал тебе все тайны, скрытые в сердце».
И на колени пред ним тогда Хильдегунда упала:
«Я за тобою пойду, куда бы меня ни повел ты;
Все, что прикажешь ты мне, господин мой, исполню усердно».
Вальтер сказал: «Тяжела мне давно наша доля в изгнанье,
Часто покинутый край моей родины я вспоминаю,
Тайно бежать я решился туда, и как можно скорее.
Это решенье свое не раз я выполнить мог бы,
Если б мне не было больно покинуть здесь Хильдегунду».
Молвила девушка слово, сокрытое в глуби сердечной:
«Воля твоя — это воля моя: одного мы желаем.
Пусть господин мой велит, и что будет — иль радость иль горе
Все из любви я к нему претерпеть всем сердцем готова».

[БЕГСТВО, ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ РЕЙН И СТОЛКНОВЕНИЕ С ФРАНКАМИ]

Вальтер в пути находился, как я говорил, только ночью.
Днем он скрывался в трущобах, в ущельях, поросших кустами;
Ловко приманивал птиц — он знал немало уловок,
Ветки обмазывал клеем, подчас раскалывал сучья.
Если ж ему на пути встречались излучины речек,
Он из водных глубин извлекал удою добычу.
Так, трудов не боясь, он спасался от смерти голодной.
Но от любовной утехи сближения с девушкой юной
В бегстве, на долгом пути, удержал себя доблестный Вальтер.
Солнце уже описало кругов четырежды десять
С дня, как ушли беглецы от стен столицы паннонской.
Долог был этот срок, но истек наконец — и пред ними
Гладь широкой реки открылась — уж близился вечер.
Это был Рейн, стремивший свой бег к великому граду —
Звался Ворматией он,— где замок блистал королевский [3].
Вальтер нашел переправу, и дав перевозчику плату —
Рыб, что он раньше поймал,— он в путь поспешил без задержки.
Новый день наступил, и тьма ночная бежала.
Ложе покинув, в тот град, что назвал я, пошел перевозчик.
Повар там был королевский, над всеми другими хозяин.
Рыбу, которую в плату от путника взял перевозчик,
Повар, различной приправой снабдив, приготовив искусно,
Подал на стол королю; и Гунтер сказал с удивленьем:
«Рыб таких никогда во франкских реках не видал я,
Кажется мне, что они из каких-то краев иноземных.
Ты мне скажи поскорей: ну, кто же тебе их доставил?»
Повар в ответ рассказал, что рыб ему дал перевозчик.
Тот на вопрос короля, откуда взялись эти рыбы,
Дал, не замедлив, ответ и все рассказал по порядку:
«Вечером было вчера — я, сидя у берега Рейна,
Путника вдруг увидал: приближался он быстрой походкой,
Весь оружьем сверкая, как будто готовился к битве —
Был, мой владыка, он в медь закован от пят до макушки,
Щит тяжелый держал и копье с наконечником ярким.
Рыцарем был он, как видно: огромную тяжесть оружья
Нес на себе, но шагал легко он все же и быстро.
Девушка следом за ним, красотой небывалой сияя,
Шла и на каждом шагу ноги его ножкой касалась,
А за собой под уздцы вела коня боевого;
Два ларца на спине он нес, тяжелых, как будто —
Если он, шею подняв, своею встряхивал гривой,
Или хотел побыстрее шагнуть ногою могучей,
Слышался звон из ларцов, будто золото билось о камень.
Путник этот тех рыб королевских и дал мне в уплату».

Речь эту Хаген услышал — он был на пиру королевском;
Сердцем ликуя, воскликнул, из сердца слова зазвучали:
«Радуйтесь вместе со мной, я прошу, этой вести чудесной;
Друг моей юности Вальтер вернулся из гуннского плена!»
Гунтер напротив, король, безмерно душой возгордившись,
Громко вскричал, и дружина ему ответила криком:
«Радуйтесь вместе со мной, я велю, ибо выпало счастье:
Много сокровищ отдал Гибихон владыке Востока,
Их всемогущий теперь возвращает в мое королевство».
Это сказав, он вскочил и ногою стол опрокинул,
Тотчас коня приказал оседлать и украсить убором,
Выбрал двенадцать мужей он себе из целой дружины,
С телом могучим и с храброй душою, испытанных в битвах;
Хагену с ними велел в поход немедленно выйти.
Хаген же, старого друга и прежнюю верность припомнив,
Стал убеждать короля начинанье такое оставить.
Гунтер однако и слушать его не хотел и воскликнул:
«Ну же, не медлите, мужи! Мечи на пояс привесьте,
Пусть вашу храбрую грудь покроет чешуйчатый панцирь!
Столько сокровищ какой-то чужак отнимает у франков?»
Взяли оружье бойцы — ведь вела их воля владыки —
Вышли из стен городских, чтобы узнать, где Вальтер сокрылся:
Думали, верно, они завладеть добычей без боя.
Всячески Хаген пытался им путь преградить, но напрасно,—
Крепко держался за замысел свой король злополучный.
Доблестный Вальтер меж тем побережье Рейна покинул,
К цепи он горной пришел — уж тогда ее звали Вазагом [4],—
Лесом поросшей густым; в берлогах там звери скрывались,
Часто лаяли псы и рога охотничьи пели.
Там две горы, от других в стороне, и близко друг к другу:
Горная щель между ними лежит, тесна, но красива;
Сдвинувшись, скалы ее образуют, не стены пещеры.
Все же не раз в ней приют находили разбойничьи шайки.
Нежной зеленой травой порос уголок этот скрытый.
Вальтер, его чуть завидев, промолвил: «Скорее, скорее!
Сладко на ложе таком дать покой истомленному телу!»
Он с того самого дня, как бежал из края аваров,
Только порою и мог насладиться сном и дремотой,
Как, на щит опершись, едва смежая ресницы.
Тяжесть оружия здесь впервые сложивши на землю,
Голову он опустил на колени девушки: «Зорко,—
Молвил,— гляди, Хильдегунда: коль облако пыли завидишь,
Только рукой меня тронь и сон отгони потихоньку.
Даже если увидишь, что близится сильное войско,
Все же слишком внезапно меня не буди, дорогая!
Вид отсюда широкий, и взор далеко хватает;
Глаз не спуская, гляди, следя за всею округой!»

Так он сказал, и мгновенно закрыл свои яркие очи,
В сон долгожданный войдя, наконец предался покою.
Гунтер заметил меж тем следы на прибрежье песчаном,
Разом пришпорил коня и погнал его быстро по следу,
Радостный клик испустил, обманут надеждой напрасной.
«Эй, поспешите, бойцы! Пешехода мы скоро догоним:
Он не спасется от нас и украденный клад нам оставит!»
Хаген, прославленный витязь, ему, возражая, промолвил:
«Только одно скажу я тебе, властитель храбрейший:
Если пришлось бы тебе увидать, как сражается Вальтер,
Так же, как я это видел не раз в убийственных схватках,
Ты б не подумал, что сможешь отнять у него достоянье.
Я же паннонцев видал, как они выступали в походы
Против народов чужих, на севере или на юге;
Всюду участвовал в битвах, блистая доблестью, Вальтер,
Страх внушая врагам и восторг — соратникам верным.
Кто в поединок вступал с ним, тот скоро в Тартар спускался.
Верь мне, король мой, прошу! поверь мне, дружина, я знаю,
Как он владеет щитом, как метко дрот свой кидает!»
Но не послушал его безумьем охваченный Гунтер,
Не отступив ни на шаг, вперед он рвался на битву.
Сидя вверху на скале, смотрела кругом Хильдегунда
И увидала, что пыль вдали поднялась; догадалась
О приближенье врагов, и тихонько Вальтера тронув,
Сон его прервала. Он спросил, кого она видит?
И, услыхавши ответ, что конница быстрая скачет,
Он, глаза протирая, развеял остатки дремоты,
Мощные члены свои облек доспехом железным,
Снова свой щит приподнял и копье приготовил к полету,
Сильным ударом меча, размахнувшись, разрезал он воздух,
Несколько дротов метнул, к жестокой битве готовясь.
Девушка, вдруг увидав, что близко уж копья сверкают,
В ужасе вскрикнула: «Гунны! О горе! Нас гунны догнали!»
Пала в отчаянье ниц и воскликнула: «Мой повелитель!
Я умоляю тебя, пусть меч твой мне голову срубит!
Если судьба не велит мне женой твоей стать нареченной,
То никогда и ни с кем терпеть я сближенья не стану».
«Как же могу я себя запятнать невинною кровью? —
Вальтер сказал.— Разве мог бы мой меч сражаться с врагами,
Если б он был беспощаден к моей столь верной подруге?
Пусть никогда не свершится, о чем ты просишь! Не бойся!
Тот, кто часто меня спасал от опасностей многих,
Сможет, я верю, и ныне врагам нанести пораженье».
Так он ответил, и в даль поглядев, сказал Хильдегунде:
«Это же, знай, не авары, а франки, туманные люди [5],
Жители здешних краев»,— и вдруг он увидел знакомый
Шлем, что Хаген носил, и воскликнул тогда, рассмеявшись:

«Хаген с ними едет, мой друг и старый товарищ!»
Это промолвив, он стал, не колеблясь, у входа в ущелье;
Девушка стала за ним, и сказал он хвастливое слово:
«Здесь, перед этой тесниной, я гордо даю обещанье:
Пусть из франков никто, вернувшись, жене не расскажет,
Будто из наших сокровищ он взял безнаказанно долю!»
Но, произнесши такие слова, упал он на землю
И умолял о прощенье за столь надменные речи.
Вставши потом, он зорко вглядеся в противников лица:
«Мне из тех, кто пред нами, не страшен никто — только Хаген:
Знает он, как я сражаться привык, изучил он со мною
Все искусство войны, хитроумные в битвах уловки.
Если с помощью Божьей искусство мое будет выше,
Жизнь я свою сохраню для тебя, для моей нареченной».
Хаген увидел, что Вальтер стоит меж скал неприступных;
Гордому Гунтеру он посоветовал быть осторожным:
«Не вызывай, господин мой, на битву этого мужа!
Прежде отправь ты послов, пусть они обо всем разузнают,
Имя, и род, и страну, где рожден и откуда идет он.
Может быть, он согласится и сам, без пролития крови,
Клад свой нам передать: все узнаем о нем по ответу.
Ежели подлинно Вальтер пред нами, поступит разумно
Он, и наверное, сам королю окажет почтенье».
Гунтер исполнил совет и отправил послом Камалона —
Был он у франков назначен правителем города Метта [6].
Только вчера королю он оттуда доставил подарки
И, задержавшись на день, услышал новые вести.
Быстро помчался посол, подобен восточному ветру,
Поле, скача, пересек и подъехал ко входу в ущелье;
Там он коня придержал и крикнул: «Ты, путник, скажи мне,
Кто ты, откуда идешь, и куда свою держишь дорогу?»
Но на вопросы его ответил и Вальтер вопросом:
«Знать я хотел бы, ты сам меня расспрашивать вздумал,
Или тебя кто послал?» Камалон ответил надменно:
«Знай, что Гунтер-король, властитель здешний могучий,
Мне как послу поручил узнать обо всем по порядку».
Эти услышав слова, возразил ему Вальтер разумно:
«Право, понять не могу, зачем вам о путнике надо
Все так подробно узнать? Но дать вам ответ не боюсь я:
Имя Вальтер мое, рожден я в стране аквитанской;
Мальчиком был я, когда мой отец меня к гуннам отправил;
Там я заложником годы провел, теперь возвращаюсь,
Видеть родную желая страну и родичей милых».
Молвил посол: «Мне король такое дал порученье:
Выдай коня нам и оба ларца и девушку тоже!
Если исполнишь приказ, то жизнь тебе он дарует».
Вальтер, однако, отважно ответил такими словами:

«Глупой речи подобной от умных людей не слыхал я.
Ты, как будто, сказал, что король, или кто бы там ни был,
Мне обещал даровать то, что вовсе ему не подвластно,
Да и не будет вовек. Что ж он, бог? И разве он вправе
Жизнь мне дарить? Разве взят я им в плен иль брошен в темницу?
Или сковал за моею спиной он мне руки цепями?
Слушай! Ему передай: коль со мною он в битву не вступит,
(Вижу, железом одет он; как видно, сражаться задумал),
Сто украшений ему я отдам, сверкающих красным
Золотом; тем окажу королевскому сану почтенье».
Выслушав эти слова, к владыке посол возвратился
И повторил королю и свои, и Вальтера речи.
Гунтеру Хаген сказал: «Прими от него украшенья!
Сможешь своим приближенным раздать ты щедро подарки.
Будь же разумен, реши удержать свои руки от битвы!
Вальтер тебе незнаком и его великая доблесть.
Ночью минувшей увидел я сон зловещий и страшный:
Если затеем мы бой, то счастья с нами не будет.
Видел я, будто тебе пришлось сразиться с медведем;
Долго схватка тянулась, но вдруг, тебя пересилив,
Ногу тебе оторвал медведь повыше колена.
Я на помощь к тебе поспешил и копьем замахнулся,
Он же напал на меня и глаз мне вырвал зубами».
Гунтер надменно воскликнул, услышав Хагена речи:
«Ты подражаешь, как видно, отцу своему — ведь Гагатий
Сердцем холоден был, вояка трусливый и робкий,
Много он слов говорил, но в бой никогда не стремился».
Хагена гнев охватил справедливый и ярый,— насколько
Может ярость питать подчиненный против владыки.
«Ладно!» — сказал он,— решенье теперь — лишь в вашем оружье.
Вот он пред вами стоит, как хотели вы; бейтесь же сами!
Близко от вас он теперь — ведь вы же его не боитесь?
Я здесь конца подожду и не требую доли добычи».
Так он сказал и поднялся верхом на холм близлежащий;
Там он спрыгнул с коня и сел, ожидая исхода.

[БИТВА ВАЛЬТЕРА С ХАГЕНОМ И ГУНТЕРОМ]

Видя такую беду, вздохнул король злополучный,
Быстро вскочил он в седло на коня с разукрашенной сбруей
И поспешил туда, где Хаген сидел оскорбленный,
С просьбой к нему обратился король, умоляя смягчиться —
Вместе с ним выйти на бой. Но Хаген ответил сурово:
«Предков моих опозоренный род мне мешает сражаться:
Кровь моя холодна, мне чужда боевая отвага —
Ведь от испуга немел отец мой, увидя оружье,

В робких речах многословных походы, бои отвергал он.
Вот какие слова ты мне бросил, король, перед всеми —
Видно, помощь моя тебе показалась ненужной».
Но на суровый отказ король ответил мольбами.
Снова пытаясь смягчить упрямца речью такою:
«Именем вышних молю, расстанься с бешенством ярым,
Гнев свой забудь — он вызван моею тяжкой виною.
Если останусь в живых, и с тобой возвратимся мы вместе,
Я, чтоб вину мою смыть, тебя осыплю дарами.
Иль не позор для тебя скрывать свое мужество? Сколько
Пало друзей и родных! И неужто тебя оскорбила
Больше обидная речь, чем злого врага преступленья?
Лучше бы ярость свою на того ты злодея обрушил,
Кто своею рукой опозорил властителя мира.
Страшный ущерб потерпели мы, стольких мужей потерявши,—
Франков страна никогда такого позора не смоет.
Те, что пред нами дрожали, теперь зашипят за спиною:
«Франков целое войско лежит неотмщенным, убито
Чьей-то рукой неизвестной — о стыд и позор нестерпимый!»
Хаген медлил еще: вспоминал он клятвы о дружбе,
Те, что давал он не раз, когда рос он с Вальтером вместе,
Также припомнил подряд и то, что нынче случилось.
Но все упорней просил его король злополучный,
И поддаваясь мольбам короля, раздумывал Хаген:
Можно ли быть непокорным тому, кому служишь? Подумал
Он и о чести своей: его слава, быть может, увянет,
Если в несчастье таком себя пощадить он решится.
Вспыхнул душой, наконец, он и голосом громким воскликнул:
«О господин мой, к чему ты меня призываешь? Куда мне
Вслед за тобою идти? Тебя ложная манит надежда!
Кто же когда-либо был столь безумен, чтоб страшную пропасть
Видел пред взором своим и спрыгнул в нее добровольно?
Даже и в поле открытом сражаться с Вальтером трудно;
Ныне ж он так закрепился в горах, что всех презирает —
Будет ли войско пред ним иль один слабосильный вояка.
Пусть бы франков страна и конницу всю и пехоту
Выслала против него,— он всех уложил бы на месте.
Но, как я вижу, тебя больнее позор угнетает,
Чем соратников гибель, и ты отступать не согласен.
Жаль мне тебя: королевскую честь я выше поставлю
Горькой обиды моей; попытаюсь дорогу к спасенью
Я отыскать — либо нынче она, либо ввек не найдется.
Родича милого смерть не могла бы — поверь мне, владыка,—
Ныне заставить меня нарушить верности клятву;
И за тебя лишь, король, я иду на опасное дело.
Здесь, в этом месте, однако, я с ним сражаться не стану:
Скрыться должны мы, чтоб путь открытый ему предоставить.

Мы расседлаем коней и ему устроим засаду —
Лишь тогда он решится свое укрытье покинуть.
Видя, что нет нас вблизи. Когда ж он достигнет равнины,
Мы на него нападем, его преследуя с тыла.
Можем таким лишь путем мы отвагу явить боевую:
Это — надежнейший путь, хоть исход остается неверным.
Сможешь сразиться, король, ты с Вальтером сам, если хочешь:
Ведь перед нами двумя отступать никогда он не станет,
Нам же придется — иль бегством спастись, иль насмерть сражаться».
Хагена речь одобряет король и, обняв его крепко,
Дарит ему поцелуй,— и вот, коней повернувши,
Скоро находят они для засады удобное место.
Спрыгнув с коней, их пускают пастись на свежую траву.
Феб в это время свой путь повернул к пределам заката,
Бросил последний свой блеск на широкоизвестную Фулу,
После оставил в тылу за собой иберов и скоттов [7]
И своими лучами согрел океанские волны.
Вот и к земле авсонийской рога свои Геспер направил.
Вальтер, сам с собой говоря, погрузился в раздумье:
Лучше ль остаться ему в недоступных зарослях горных
Или пуститься в дорогу вперед по широкой равнине?
Ум напрягая, пытался он верное выбрать решенье.
В сердце его бушевали кипящие волны тревоги.
Хагена он опасался — уж, верно, король не напрасно
Крепко его обнимал и его подарил поцелуем.
Вражеский замысел Вальтер стремясь разгадать, колебался:
Может быть, в город враги удалились, чтоб новые силы
Ночью в подмогу себе собрать и снова нагрянуть
Ранней зарей, и опять завязать беззаконную битву;
Может быть, скрылись враги, чтобы где-то устроить засаду;
Страшен и путь через лес,— в нем тропинок неведомых много,
Можно наткнуться в дороге на заросли дикого терна
Или на хищных зверей — и невесту утратить навеки.
Все это Вальтер обдумал и принял решенье такое:
«Как бы дела ни пошли, я здесь останусь, доколе
В небе кружащийся шар не вернет нам свой свет лучезарный.
Пусть надменный не скажет король, что, как вор, укрываясь,
Я под покровом ночным рубежи его края покинул».
Так он сказал и узкий проход перекрыл загражденьем:
Срезал кустарников ветви, заплел ими острые колья.
Кончивши эту работу, приблизился к трупам убитых;
Тяжко вздохнув, приложил он голову к каждому телу,
На землю пал, повернулся к востоку и, меч обнаживши,
Взялся рукой за него и промолвил такую молитву:
«Он, кто вселенную всю сотворил и ей управляет,
Без позволенья его,— нет, верней, без его повеленья

В мире ничто не свершится: ему одному благодарность!
Он защищает меня от оружья врагов, от позора;
Я умоляю смиренной душой благого владыку,—
Он наказует грехи, но губить он грешных не хочет,—
Пусть я этих людей повстречаю в небесном жилище».

Так он молитву закончил, с земли поднялся и тотчас
Шесть коней поближе пригнал, и тонкие прутья
В крепкую привязь скрутив, коней он стреножил; из прочих
Два погибли в бою, а трех угнал к себе Гунтер.
Выполнив дело, свой пояс тугой расстегнул он и сбросил
Тяжкий оружия груз, облегчив горячее тело,
Несколько слов в утешенье сказал невесте печальной,
Взялся потом за еду, подкрепил усталые члены —
Был он измучен — и лег, головой на щит опираясь.
Девушке он приказал охранять его сон до полночи,
Сам же назначил себе на стражу встать до рассвета —
Стража под утро опасней — и в сон наконец погрузился.
Девушка села к его изголовью — так было обычно —
Песней от глаз утомленных она прогоняла дремоту.
Только лишь Вальтер проснулся, он, сон от очей отряхая,
Мигом вскочил и велел сейчас же уснуть Хильдегунде,
Сам же копье свое взял и стал, на него опираясь.
Так он провел все ночные часы: то смотрел за конями,
То подходил к загражденью и слух настораживал чутко,
Страстно желая, чтоб светом земля опять озарилась.

Вот на небо взошел Луцифер, предвестник денницы:
«Остров,— сказал,— Тапробан уже видит ясное солнце» [8].
Был тот час, когда Эос кропит холодные росы.
Вальтер к убитых телам подошел и снял с них оружье,
Латы и прочий доспех, но одежду мертвым оставил.
Только наплечную бронь, пояса с литым украшеньем,
Панцири, шлемы, мечи забрал себе как добычу,
И четырех лошадей нагрузив, он позвал Хильдегунду
И посадил на коня, на пятого, сам на шестого
Вспрыгнул, разрушил заграду и первым ущелье покинул.
Но все время, пока он тропинкою узкою ехал,
Ясным взором своим оглядывал путь и окрестность,
Слух навостряя, старался поймать даже ветра дыханье,
Ждал, не услышат ли шепот речей иль шаги или шорох,
Или не звякнет ли где узда под надменной рукою,
И не послышится ль поступь копыт с подковой железной.

Все казалось спокойным вокруг, и коней нагруженных
Вывел вперед он и первым пустил коня Хильдегунды,
Сам же взял под уздцы коня с ларцами сокровищ
И, как обычно, в доспехах пошел, опоясан оружьем.
Тысячу, верно, шагов лишь прошли, когда Хильдегунда
(Женщин природа хрупка и страху легко поддается)

Взор обращает назад и видит, что, их догоняя,
Всадников двое несутся, спеша, с угрожающим видом.
Тут, побледнев от испуга, она назад обернулась:
«Гибель нас догнала, господин мой, беги! они близко!»
Вальтер немедля взглянул назад, узнал их и молвил:
«Многих врагов ниспроверг я вчера во прах бы напрасно,
Если б в последнем бою стяжал я позор, а не славу.
Лучше от тяжких ранений погибнуть достойною смертью,
Чем спастись одному и лишиться всего, что имеешь.
Может ли тот потерять надежду на жизнь и спасенье,
Кто уж встречался не раз с опасностью более грозной?
«Льва», кто сокровища наши несет, возьми за уздечку [9]
И поскорее беги вон в тот лесок недалекий.
Я же останусь на месте, поближе к горному склону,
Здесь подожду я, как дело пойдет, и всадников встречу».
Вальтером данный приказ исполнила девушка быстро;
Щит свой тяжелый схватил он, копье держал наготове,—
Нрав чужого коня он хотел испытать под оружьем.
В гневе король, обезумев, к нему помчался навстречу,
И не доехав еще, надменное выкрикнул слово:
«Враг беспощадный, теперь берегись! Ведь дебри лесные
Нынче от нас далеки, в которых, как волк кровожадный,
Зубы ты скалил со злобой и лаял, наш слух оскорбляя.
Если согласен, теперь мы сразимся на поле открытом;
Будет ли битвы исход подобным началу,— увидишь.
Подкупом счастье свое ты купил, потому-то, конечно,
Ты и бежать не готов и сдаться на милость не хочешь.
Алфера сын королю не ответил ни словом единым,
Словно не слышал его, лишь к Хагену он обратился:
«Хаген, к тебе моя речь: задержись на миг и послушай!
Что так внезапно, скажи, изменило столь верного друга?
Ты лишь недавно, когда расставались с тобой мы, как будто
Вырваться долго не мог из дружеских наших объятий.
Чем ты так оскорблен, что на нас ты поднял оружье?
Я же надежду питал — но, вижу, ошибся жестоко,—
Думал, коль вести дойдут о моем возвращенье с чужбины,
Сам поспешишь ты мне выйти навстречу приветствовать друга,
В дом свой как гостя введешь, хотя бы о том не просил я,
И добровольно меня ты сам проводишь в отчизну.
Я опасался уже, что подарками слишком богато
Ты осыплешь меня! Пробираясь по дебрям дремучим,
Думал: «Из франков никто мне не страшен — ведь Хаген меж ними!
Я заклинаю тебя: одумайся! детские игры
Наши припомни, как, вместе учась, мы силы и опыт
В них набирали и дружно росли в наши юные годы.
Где же пропала та наша хваленая дружба, что прежде
Верной была и в дому и в бою, и размолвок не знала?

Верь мне, дружба с тобой заменяла мне отчую ласку;
В годы, что жили мы вместе, я редко о родине думал.
Как ты можешь забыть наши частые верности клятвы?
Я умоляю тебя: не вступай в беззаконную битву,
Пусть на все времена нерушим наш союз пребывает!
Если согласен — вернешься домой с дорогими дарами,
Щит твой наполню сейчас же я кучею золота яркой».
Но отвечал ему Хаген со взором суровым и мрачным,
Речь дышала его нескрываемым яростным гневом:
«Первым к насилью прибег ты, теперь же — к хитрым уловкам?
Ты же и верность нарушил — ведь знал ты, что здесь я, и все же
Многих друзей ты убил, и даже родных мне по крови.
Не говори же теперь, что будто меня не узнал ты —
Если не видел лица, то видел мои ты доспехи,
Были знакомы тебе и они и мое все обличье.
Впрочем, я все бы простил, если б не было тяжкой утраты:
Был лишь один у меня цветок драгоценный, любимый,—
Он, золотистый и нежный, мечом, как серпом, твоим срезан!
Этим ты первый нарушил друг другу данные клятвы,
И потому от тебя не приму никакого подарка.
Только одно я хочу — испытать твою силу и доблесть,
И за племянника кровь с тебя потребую плату;
Пусть я иль мертвым паду, иль подвиг свершу достославный!»
Это промолвив, он спрыгнул с коня, приготовился к бою;
Спешился быстро и Гунтер, не медлил и доблестный Вальтер;
Все решились вступить в открытый бой рукопашный,
Стали друг против друга, отбить готовясь удары,
И под ремнями щитов напряглись могучие руки.

. . . .

Вальтер, кинув копье, бегом вперед устремился,
Меч обнажил и напал на Гунтера с дикой отвагой.
С правой руки короля он щит сорвал, и ударом
Метким и ловким его поразил с небывалою силой.
Ногу выше колена ему он отсек до сустава.
Гунтер на щит свой упал и у Вальтера ног распростерся.
Видя, как рухнул король, побледнел от ужаса Хаген,—
Кровь от лица отлила. Свой меч окровавленный снова
Вальтер занес над упавшим, удар готовя смертельный.
В миг этот Хаген забыл о прежней обиде — нагнувшись,
Голову он под удар подставил, и Вальтер с размаха
Руку не смог удержать и на шлем его меч свой обрушил.
Крепок был кованый шлем и украшен резьбою искусной:
Вынес он грозный удар — только искры кругом засверкали.
Но, натолкнувшись на шлем,— о горе! — в куски разлетелся
Меч, и осколки, блестя, полетели в воздух и в траву.

Только лишь Вальтер увидел свой меч, лежащий в осколках,
Он обезумел от гнева: в руке его правой осталась,
Тяжесть меча потеряв, одна рукоятка — блестела
Золотом ярким она и искусной работой литейной.
Прочь он ее отшвырнул, как ненужный презренный обломок,
Кисть своей правой руки оставив на миг без прикрытья;
Хаген тот миг улучил, и ее отрубил, торжествуя.
Свой не закончив размах, отважная пала десница:
Много народов, племен, королей перед ней трепетало,
В неисчислимых победах ее блистали трофеи.
Но непреклонный боец не хотел уступить неудаче.
Страшную боль победил он своею разумною волей,
Духом не пал ни на миг, и лицо его было спокойным.
Руку с обрубленной кистью в ремень щита он просунул,
Вырвал рукой уцелевшей тотчас кинжал он короткий —
Тот, что, как сказано раньше, висел на поясе справа,—
И за увечье свое отомстил жестокою карой —
Хагену правое око ударом он выколол метким
И от виска до губы кинжалом рассек ему щеку,
Выбив зубов коренных ему по три и сверху и снизу.
После, как это случилось, жестокая кончилась битва.
Всем не хватало дыханья, и тяжкие раны велели
Всем им оружье сложить. Да и кто бы мог дальше сражаться,
Если такие герои, телесною равные силой,
Равные пламенным духом, сошлись и прошли сквозь сраженье?
Так закончился бой, и стяжал себе каждый награду:
Рядом лежали в траве нога короля и десница
Вальтера, и трепетал еще Хагена глаз. Поделили
Вот как они меж собой золотые наплечья аваров!
Двое присели на траву, а третий лежал без движенья.
Льющейся крови потоки они отирали цветами.
Девушку Вальтер окликнул, еще дрожавшую в страхе.
И, подойдя к ним, она перевязками боль утолила.
После ж, как все завершила, велел ей жених нареченный:
«Ну-ка, смешай нам вина и подай его Хагену первым!
Он — отличный боец, коли верности клятвы он держит.
Мне ты потом поднесешь — ведь больше я всех потрудился.
Гунтер же выпьет в последний черед — он слаб оказался
В битве, где храбрость и мощь великих мужей проявилась:
Марсу служит он плохо, и нет в нем огня боевого».
Все, как Вальтер велел, исполнила дочь Херирика.
Хаген, однако, не принял вина, хоть и мучился жаждой.
«Прежде,— сказал он,— вино жениху своему и владыке,
Алфера сыну, подай: признаю, что меня он храбрее,
Да и не только меня — он всех в бою превосходит».
Были язвительный Хаген и Вальтер, герой аквитанский,
Вовсе не сломлены духом, устало лишь мощное тело;

И, отдыхая от шума сраженья и грозных ударов,
В спор шутливый вступили, вином наполнивши кубки.
Франк промолвил: «Мой друг, отныне стрелять на охоте
Будешь оленей одних — тебе нужно немало перчаток.
Правую — вот мой совет — набивай ты шерстью помягче,
Тех, кто увечья не видел, поддельной рукой ты обманешь.
Что же ты скажешь? Увы! Отчизны обычай нарушив,
Будешь справа ты меч свой носить — это всякий увидит.
Если ж захочешь ты вдруг супругу обнять, то неужто
Стан ее охватить придется левой рукою?
Впрочем, короче скажу: за что бы теперь ты ни взялся,
Будешь всегда ты левшой». Но Хагену Вальтер ответил:
«Право, дивлюся, сикамбр одноглазый, чего ты храбришься? [10]
Буду оленей гонять — ты ж кабаньих клыков опасайся!
Слугам своим отдавать ты, кося лишь, сможешь приказы,
Взглядом косым лишь отряды бойцов ты приветствовать сможешь.
Старую дружбу храня, совет тебе дам я разумный:
Ты, как вернешься домой и очаг свой родимый увидишь,
Кашу свари из муки с молоком, да заправь ее салом:
Будет она и пищей тебе и полезным лекарством».
    Так шутливою речью они свой союз обновили.
На руки взяв короля, изнуренного болью от раны,
Подняли вместе его на коня и друг с другом расстались.
Франки вернулись вBorматий; родной страны аквитанской
Вальтер достиг, и встречен там был с ликованьем и честью.
Вскоре свою с Хильдегундой он свадьбу справил по чину.
Был он всеми любим, и когда родитель скончался,
Десятилетия три он счастливо правил народом.
Вел ли он войны, и сколько, и много ль побед одержал он,—
Я написать не могу: перо уж мое притупилось.
Тот, кто это прочтет, милосердым да будет к цикаде [11]:
Голос ее не окреп, и неопытен возраст незрелый,
Не покидала гнезда никогда и ввысь не взлетала.
Вот о Вальтере песнь. Иисус вам да будет спасеньем!

Каролингские ритмы

«Каролингскими ритмами» принято называть большую группу стихотворений, написанных не традиционным метрическим, а упрощенным, ритмическим (силлабо-тоническим) стихом. Основная масса этих стихотворений относится к IX в., хотя первые образцы их принадлежат еще VIII в.— среди них, например, кантилена на победу Пипина, сына Карла Великого, над аварами в 796 г. Почти все эти стихи анонимны; если в «Стихе о битве при Фонтанете» и упоминается имя автора, некоего Ангильберта, то нам оно ничего не говорит. Родина этой поэзии — по-видимому, Италия: в этой стране, где еще сравнительно широким кругам городского населения был понятен латинский язык, а книжное образование было доступно не только клирикам, но и мирянам, сочинение ритмических стихов было самой общедоступной формой творчества. В Италии возник и приводимый здесь плач о кончине Карла Великого, с воззванием к св. Колумбану, покровителю монастыря Боббио. Из Италии эта поэзия распространилась и в заальпийские франкские области: по-видимому, она оказалась по плечу и для грамотных дружинников (вроде Ангильберта) и для местных клириков (вроде того, который сложил стих об анжерском аббате Адаме). Но всюду она оставалась поэзией низовой и почитателями школьной учености отвергалась с презрением.

Стихотворные размеры ритмической поэзии представляют собой имитацию метрических размеров. Наиболее популярен был 15-сложный стих, подражавший звучанию трохаического тетраметра (8-стопного хорея): этим размером написан «Стих о Фонтанете» и «Стих об Аквилее». Наряду с ним был в ходу 12-сложный стих, подражание ямбическому триметру (6-стопному ямбу): таков размер «Плача о Карле» и моденского стихотворения. Образцом ритмической имитации более сложных метров — сапфической строфы — может служить стихотворение о дурных священниках. Ритмические стихи обычно группировались строфами (часто — трехстишиями, как в «Фонтанете» и в «Аквилее»), иногда сопровождались рефренами («Плач о Карле», «Стих об Адаме»), первые буквы строф часто образовывали алфавит (в переводе сохранен лишь в «Дурных священниках»). Рифма (обычно односложная, для нас мало заметная) использовалась сперва от случая к случаю, потом стала предметом сознательной заботы: так, в моденском стихотворении все строчки, за исключением одного перебоя, кончаются на «-а» (в переводе Б. И. Ярхо — на «-я»).

Правильность языка и четкость стиха сильно колеблется в зависимости от уровня образованности неизвестного автора. Особенно варварски обращаются с латинским языком стихотворения об Аквилее и об аббате Адаме. Примечательно, что реминисценций из античных поэтов в ритмах почти нет: они оставались достоянием ученых поэтов и не входили в круг чтения горожан и дружинников, образование которых ограничивалось Библией. Действительно, библейские реминисценции в ритмах обильны и часто используются весьма искусно (например, в «Фонтанете»). Классической ученостью попытался блеснуть лишь итальянец, автор моденского стихотворения, но и там его отступление на тему из римской истории подкрашено фантазией.

Тематика ритмов — самая разнообразная. Наиболее многочисленны (и наименее интересны), как всегда, стихи на религиозные темы: «О Иакове и Иосифе», «О Юдифи и Олоферне», «О падении Иерусалима» и пр. Некоторые из них, написанные короткими строчками, уже предвещают стиль и пафос гимнов XII—XIII вв. Любопытны, но мало поэтичны обильные так называемые «компутистические ритмы» — переложенные в стихи правила арифметики и календарного счета. «Стих о битве при Фонтанете» может служить хорошим образцом воинской кантилены, а «Плач о Карле» — надгробного эпицедия: и там и тут к античной поэтической традиции примешиваются несомненные отголоски современной народной поэзии. Ритмы, возникшие в Италии, обычно принимали форму славословия отдельным городам — первые образцы такого рода, с похвалами Вероне и Милану, относятся еще к VIII в. Славословие собственному городу легко переходило в поругание города-соперника: интереснейшим примером может служить стихотворение «Песнь об Аквилее, не заслуживающей восстановления»,— отголосок раскола аквилейского диоцеза между кафедрами в Аквилее и в Градо; решением собора патриаршеской резиденцией была признана Аквилея, но автор «Песни», приверженец кафедры в Градо, не пожелал с этим примириться и поносит соперничающий город в его прошлом и настоящем. Сатирическая тематика ритмов представлена в настоящем разделе «Алфавитом о дурных священниках» (параллелью ему в рукописях служит «Алфавит о хороших священниках», значительно менее интересный). К ней примыкает «Стих об аббате Адаме» (о герое которого никаких иных сведений не сохранилось) — одиноко стоящий в своей эпохе образец сатирической песни в ритмах, предвещающий будущую поэзию вагантов.

ГИМН ДУХУ СВЯТОМУ

Приди, о Дух всезиждущий,
Твоих рабов возрадовав,
Исполни горней светлостью
Сердца, Тобой избранные!

О Параклит божественный,
Любовный дар Всевышнего,
Огнь горний, миро дивное
Таинственных помазаний!

Ты седьмиричен благостью,
Ты перст десницы Божией,
Ты речью правомочною
Гортани полнишь смертные.

Умы возвысь к служению,
Сердца зажги любовию,
Восполни немощь плотскую
Избытком мощи Божией!

Врага извергни древнего,
Дай радость мира тихого,
Дабы твоим водительством
Нам зол избегнуть пагубных!

Даруй богопознание,
Отца и Сына веденье,
В Тебя, из них исшедшего,
Вовеки веру крепкую!

Помилуй, Отче благостный
И Сыне, слава отчая,
Со Духом утешителем
Вовеки миром правящий!

ГИМН ДЕВЕ МАРИИ

О Звезда над зыбью,
Матерь Бога-Слова,
Ты вовеки дева,
Дщерь небес благая.

Знаменует «Аве»
Ангельского зова
Грешной имя Евы:
От грехов спаси нас!

Мир даруй заблудшим,
Свет открой незрячим,
Истреби в нас злое,
Ниспошли нам благо.

Не отринь нас, матерь,
Заступись пред Сыном,
Для спасенья грешных
В мир тобой рожденным.

Дева без порока,
Меж благих благая,
Дай и нашим душам
Чистоту и благость,

Разреши от скверны,
Сбереги от ада,
Даруй светлость сердца,
Даруй радость в Боге.

Честь Отцу возносим,
Сыну шлем хваленье
И Святого Духа
Благочестно славим.

ПЛАЧ О КАРЛЕ ВЕЛИКОМ

1. С востока солнца до прибрежий западных
Плач сотрясает сердца верноподданных.
Горе мне, грешному!
2. Народов ратных полчища заморские
Грусть посетила, горесть превеликая.
Горе мне, грешному!
3. Римляне, франки, все христолюбивые
Полны печалью, тяжким воздыханием.
Горе мне, грешному!
4. Дети и старцы, святые епископы,
Матроны плачут о кончине кесаря.
Горе мне, грешному!
5. Не иссякают их потоки слезные:

Весь мир рыдает о гибели Карловой.
Горе мне, грешному!
6. Всем был отцом он, непорочным девушкам,
Вдовым и сирым, и убогим странникам.
Горе мне, грешному!
7. Христе, ведущий воинства небесные,
Дай в твоем царстве Карлу упокоиться!
Горе мне, грешному!
8. О том же молят христолюбцы верные,
Святые старцы, девы, вдовы горькие.
Горе мне, грешному!
9. Уже останки Карла императора
Курганом скрыты, камнем с скорбной надписью.
Горе мне, грешному!
10. Святой Дух светлый, всем повелевающий,
Душе блаженной дай успокоение.
Горе мне, грешному!
11. О горе Риму и народу римскому,
Светлого света — Карла потерявшему!
Горе мне, грешному!
12. И ты восплачешь, о краса-Италия,
Со всеми городами досточтимыми.
Горе мне, грешному!
13. Франция, много злых бед претерпевшая [1],
Век не видала тягчайшего бедствия,—
Горе мне, грешному!
14. Чем в час, в который Карла, словом сильного,
Средь Аквисграна [2] тело праху предали.
Горе мне, грешному!
15. Ночь принесла мне злые сновидения,
А день лишился своего сияния,—
Горе мне, грешному!
16. Тот день, что предал смерти достославного
Вождя народов мира христианского.
Горе мне, грешному!
17. О Колумбане! Усмири рыдания [3],
Взнеси моленья за него ко Господу.
Горе мне, грешному!
18. Отец вселенной, Господь милостивейший,
Пусть уготовит Карлу место светлое.
Горе мне, грешному!
19. О боже ратей и земного воинства,
И царств небесных и подземных Господи!
Горе мне, грешному!
20. Престол пресветлый вкупе со апостолы
О Христе, даруй Карлу благоверному.
Горе мне, грешному!

СТИХ О БИТВЕ ПРИ ФОНТАНЕТЕ

1. Чуть Аврора первым светом черный мрак развеяла,
Не суббота воссияла, а Сатурна трапеза [4]:
От раздора братьев Демон нечестивый тешится.

2. С двух сторон скликают к битве, началось побоище;
Братья братьям смерть готовят, а дядья племянникам;
Даже сын к отцу родному позабыл привязанность.

3. Бойни не было подобной и на поле Марсовом [5].
Христиан обычай попран злым кровопролитием.
Преисподняя ликует, рады глотки Цербера.

4. Лотаря десница Божья защитила мощная.
Сам он бился, победитель, гордой дланью доблестно:
Если все бы так сражались, мир настал бы вскорости [6].

5. Но как в оны дни Иуда изменил Спасителю,
Так тебя, король, твои же полководцы предали.
Берегись, о агнец, бойся козней волка лютого!

6. Фонтанетом ключ и место прозваны крестьянами,
Где все поле пораженья кровью франков полито.
В страхе нива, в страхе роща, и болота в ужасе.

7. Пусть роса и дождь не мочат трав на оном поприще [7],
Где храбрейшие погибли, опытные воины,
По ком плачут братья, сестры, други и родители.

8. Злое дело, что ныне описал ритмически,
Сам я, Ангильберт, все видел, среди прочих ратуя:
Я один в живых остался из передних латников.

9. Поглядел я вниз, в долину, и на склоны верхние,
Где Лотарь, король могучий, поражая недругов,
Сам преследовал бегущих до речного берега.

10. Вот поля обеих ратей, Карла и Людовика,
Полотняными белеют платьями покойников,
Как по осени, бывало, полчищами птичьими.

11. Недостойна битва славы и хвалений песенных.
От полудня к аквилону, от востока к западу
Пусть оплачут тех, кто пали в этой битве мертвыми.

12. Пусть же будет день тот проклят и из года вычеркнут,
Пусть исчезнет и заглохнет и сотрется в памяти,
Пусть не знает света солнца и зари мерцания.

13. О, та ночь, та ночь презлая, и из всех тягчайшая,
Как храбрейшие погибли, опытные воины,
По ком плачут братья, сестры, други и родители!

14. О печаль и сокрушенье! Мертвые обобраны,
Их тела терзают коршун, ворон, волк безжалостно.
Ужас! Нет им погребенья, без покрова брошены.

15. Причитаний и рыданий силы нет описывать.
Пусть же всякий, сколь возможно, сдержит токи слезные;
Все за души убиенных Господу помолимся.

МОЛИТВА О СОХРАНЕНИИ МОДЕНСКИХ СТЕН, ВОЗВЕДЕННЫХ ЕПИСКОПОМ ЛЕУДОИНОМ[8]

О ты, хранящий эти укрепления,
С оружьем бодрствуй и не спи, молю тебя!
Покуда Гектор Троей правил, бодрствуя,
Ее коварно не сразила Греция.
Чуть задремала ночью Троя сонная,
Лжецом-Синоном вскрыта дверь обманная:
Вниз по канату дружина сокрытая
Стремится в город, стогна жжет пергамские.

Сторожким криком от твердыни Ромула
Белая птица галлов встарь отбросила.
Марк Манлий консул, гаканьем разбуженный,
Проснулся первым, муж, в заботах доблестный;
Первого галла, на стену взошедшего,
Щитом ударив, он пронзил несчастного[9].
Та птица-сторож — причина спасения
Капитолийцев, галлам ненавистная.
Из серебра ей статуя поставлена
И как богиня у римлян прославлена.

Мы же восславим вышнего Спасителя,
Ему несем мы звонкие хваления,
В его защиту царственную веруя,
И так в восторге воспоем мы, бодрствуя:
Храни, о мира Оборона горняя,
Своим покровом эти укрепления!

Будь для своих ты стеной неприступною,
А супостатам вражьей силой грозною.
С подобным стражем не страшны нам бедствия:
Ты отвращаешь всю силу оружия!
Ты охраняешь эти укрепления,
За них сулицей мощной ратоборствуя.

Ты защити нас, Мария пресветлая,
О Феотокос [10], с помощью Крестителя,
Вы, чьей святыне здесь мы поклоняемся,
Кому и храмы Божьи посвящаются.
С Иоанном крепнет рука для сражения,
А без него нет силы у оружия.

Смелая юность, сила наша ратная!
Вкруг стен пусть льются ваши песнопения,
У стен пусть будет стража переменная,
Храня от вражьих козней укрепления.
Пусть «эйа, бодрствуй, друже!» всюду слышится,
И «эйа, бодрствуй!» — эхо откликается.

МОЛИТВА К СВ. ГЕМИНИАНУ ОБ ОТВРАЩЕНИИ ВЕНГРОВ ОТ МОДЕНЫ

О муж господень, дивный исповедниче,
Геминиане, вознеси моление,
Да бич сей страшный, нами столь заслуженный,
От нас небесной отвратится милостью!
Во дни Аттилы ты возмог властительно
Врата отверзнуть, вызволить униженных;
К твоей же силе ныне припадаем мы:
Избави грешных от копья венгерского!
Святые мужи, плачьтеся ко Господу,
Тепло просите нам от Бога помощи.

Или же так, еще изряднее:

О муж господень, дивный исповедниче,
Геминиане, испроси и вымоли,
Да бич ужасный наших скверн усердною
Был отведен от нас небесной помощью!
Во дни Аттилы ты возмог властительно,
Врата отверзнув, вызволить униженных;
К тебе взываем: той же благодатию
Избави грешных от копья венгерского!
О нас молите Бога, рати горние,
И нас небесной укрепите силою,
От Господа...

ПЕСНЬ ОБ АКВИЛЕЕ, НЕ ЗАСЛУЖИВАЮЩЕЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

1. Аквилея, город славный, знаменитый некогда,
Мощный в битвах и триумфах, стольный град Венетии,
Ты, что Аттилой свирепым срыт до основания! [11]

2. Мы же молим на коленях вашей доброй милости,
Чтоб ей властью августейшей прежней силы не дали,
Благоволенья лишенной, князья августейшие.

3. Небожители, что в вышних Агнца убиенного
Почитают, прославляют пред престолом ревностно,
Теперь скорбят о той, что сами посвятили Господу.

4. Божьей волей после Рима первым из апостолов,
Петром, призвана к крещенью через сына милого,
Марка, что позже составил святое Евангелье.

5. Избранника Гермахора к Петру посылает он [12]
И просит его поставить аквилейским пастырем;
Сам затем в Александрию за море отправился,

6. Град же сей своею кровью освятил, умученный;
За учителем же вскоре Фортунат последовал,
Затем Иларий, а после Татиан, сподвижник их.

7. Многих мученики к Богу привели примерами,
Коим следуя, ученье веры католической
Непрерывно укрепляли добрые епископы.

8. Аквилея ж, на вершине славы благоденствуя,
Беззакониями злыми оскорбила Господа,
Чем погибель заслужила от руки язычников.

9. Се недобрым мерзким обрам под ноги подвержена!
Убивают и иереев, гибнут благородные,
В рабство и девы и жены и матери угнаны.

10. Повсеместно погибает вся знать именитая,
Нет епископства былого, срыты укрепления!
Лишь священниками вера держалась в Венетии.

11. Славный род венецианцев, знаменитый исстари,
Превосходит все народы праведными нравами,
Непорочный, правдой прочный, борется с лукавыми.

12. Зло на зло нагромождая, мерзости на мерзости,
Аквилея жестким сердцем, скверною объятая,
С наущенья сил подземных поклонилась демонам.

13. О племя, земле и небу равно ненавистное,
Ты подобно оным черным легионам дьяволов,
Вогнанных в свиней и в море Спасителем вверженных.

14. За упорное лукавство и за козни гнусные
Ныне змеи и лягушки там живут в болотинах.
Место Божье позабыто и людьми заброшено.

15. Выгнав готов, лангобарды заняли Италию,
Не допущенные Богом к познанию истины [13];
При них же аббат-отступник Иоанн орудовал [14].

16. Он нечестье на нечестье громоздил бессовестно;
Наследуя апостатов, оттесненных ересям,
Первый надвое разрезал он церковь единую.

17. Так Иеровоам коварный поступал в Израиле,
Утерявший храм Господень, тельцам поклонявшийся,
Коих отлил он из злата, царь богоотступнейший [15].

18. Вероломный и преступный, у отца Вивенция
Тот же Иоанн безбожный в Фриульской епархии,
Мятежной и непокорной, силой вырвал кафедру.

19. Надменный, с помощью судей жадных и неправедных,
Лангобардов или готов, сверг он правосудие,
А затем и сам погиб он гибелью изменников.

20. Между тем по воле Божьей и князя апостолов
Франконцам-господолюбцам в руки благоверные,
Унизив несправедливых, отдалась Италия.

21. Тьмою лживых обещаний яда преисполненный
Упросил Максенций Карла, короля великого,
Чтобы он в его владенье отдал всю Далмацию.

22. Но затем на стол отцовский со Христовой помощью
Сел Людовик-император наиправославнейший,
Ложь открыл, и патриарха низложил Максенция.

23. А с тех пор, как с ним великий сын Лотарий власть приял,
Стоит гимна справедливость, каждый раз царившая,
Как Максенций ядовитый снова призываем был.

24. Пусть Людовик, Бога ради, и Лотарь, отец его,
Не позволят Аквилее, дав ей патриаршество,
Порождая ложь, бороться вновь со справедливостью.

25. О пресветлое единство, триединство Троицы,
Дай сломить нам аквилейцев племя вероломное,
Чтобы тем князей возвысить в выси бесконечные.

АЛФАВИТ О ДУРНЫХ СВЯЩЕННИКАХ

1. Ах, кто даст влагу для ручьев очей моих [16],
Чтоб мне оплакать иереев нынешних,
Жизни духовной верный путь оставивших,
Гнусные нравы?

2. Благий найдется ль ныне меж священников
И верный пастырь, что и жизнь отдать готов
Для блага стада? Но полны наемников
Пастбища Божьи [17].

3. Выгоду только бренную преследуют,
Мирской заботы все соблазны ведают,
Укусам волчьим бросив безответную
Паству Христову.

4. Господней догмы тайны сокровенные
Кто Божьим людям откроет, беседуя,
И кто насытит души их голодные
Пищей словесной?

5. Да, совершилось мудрое прозрение [18]:
Слово пророка, что пребудут людие
Аки священник. Все мы в дни последние
Сердцем убоги.

6. Ей, узреваем: глагол исполняется [19],
Соль жизни нашей ныне ослабляется,
И мы трепещем, что совсем иссыплется,
Став непригодной.

7. Жаждут достигнуть мест и высшей почести [20]
Не с тем, чтоб молвить людям слово мудрости,
А чтоб кичиться в окруженьи челяди
С большим почетом.

8. Здесь милость неба, задаром приятую,
Дают не даром, гонятся за платою,
И не боятся жизнь вести проклятую,
Как оный Симон.

9. **И** вовсе нету тех, у коих светочи
В руках пылают, ближних зажигаючи,
Но блудно ходят, и не препоясавши
Чресел распутных.

10. **К**огда бы надо дать подмогу страждущим,
Дать облегченье в скорби изнывающим,
Их злее давят и разят карающим
Громом словесным.

11. **Л**юбовь, сей высший из даров божественных,
Чужда им вовсе: презирают подданных
И отвергают бездомных и немощных
Гордые духом.

12. **М**еж них не видно, кто б дал руку помощи
Больным, разбитым, кто б недужных вылечил.
Коль не исправишь нас, Царь справедливейший,
Все мы погибли.

13. **Н**ивы Господни усеяны злаками,
Жнецов же нету, чтобы жатву вывезти.
Христе, пусть выйдут в поля Твои трудники,
Слезно мы молим.

14. **О** личном благе пастыри заботятся,
Без стражи бросив паству, без рачения:
Так злая порча, мрачная и бледная,
Всех обуяла.

15. **П**риидет скоро с неба Пастырь пастырей:
Что сотворите, пастухи, ответствуйте,
Вы, что врученной паствы не лелеете,
Алчные к тлену?

16. **Р**аб, схоронивший талант препорученный,
В землю, томится, пламенем снедаемый.
Что ж не боится той же кары — движимый
Тем же примером?

17. **С**тригущим бедных никто не противится:
Псы онемели, лаять разучилися.
То — иереи, о каких провиденья
Древних глаголют.

18. **Т**ак даже если нечто от Писания
Люди вещают, то не для спасения,
А лишь для славы суетной стяжания
Так поступают.

19. Узри, Единый сын Отца всевышнего,
О пастырь добрый, наши беды ласково,
Утешь скорбящих, и восставь лежачего,
Да не погибнем.

20. Фрукты и злаки прежние не выросли
На нашей почве — злые ветры дунули.
Мир, отягченный невзгодами многими,
К гибели близок.

21. Хулу сними ты с имени священников,
Ныне живущих средь суетных происков.
Из них соделай ты верных прислужников,
Царь Олимпийский!

22. Царю пусть гимны и псалмы поют они,
Чтоб вновь дороги верной не покинули,
И не ходили б по пути погибели
Снова, как прежде,

23. Чтоб свежим пылом вновь они исполнились,
Чтоб об овчарне вновь они заботились,
И чтоб с тобою приять удостоились
Радости Царства.

СТИХ ОБ АББАТЕ АДАМЕ

В Андегавах [21] есть аббат прославленный,
Имя носит средь людей он первое [22]:
Говорят, он славен винопитием
Всех превыше андегавских жителей.
Эйа, эйа, эйа, славу,
эйа, славу поем мы Бахусу.

Пить он любит, не смущаясь временем:
Дня и ночи ни одной не минется,
Чтоб, упившись влагой, не качался он,
Аки древо, ветрами колеблемо.
Эйа, эйа, эйа, славу,
эйа, славу поем мы Бахусу.

Он имеет тело неистленное,
Умащенный винами, как алоэ,
И как миррой кожи сохраняются,
Так вином он весь набальзамирован.
Эйа, эйа, эйа, славу,
эйа, славу поем мы Бахусу.

Он и кубком брезгует, и чашами,
Чтобы выпить с полным удовольствием;
Но горшками цедит и кувшинами,
А из оных — наивеличайшими.
Эйа, эйа, эйа, славу,
эйа, славу поем мы Бахусу.

Коль умрет он, в Андегавах-городе
Не найдется никого, подобного
Мужу, вечно поглощать способному,
Чьи дела вы памятуйте, граждане.
Эйа, эйа, эйа, славу,
эйа, славу поем мы Бахусу.

ПРИМЕЧАНИЕ

От античности к средневековью (IV~VIII вв.)

Амвросий Медиоланский

ПИСЬМО ОБ АЛТАРЕ ПОБЕДЫ

1 Письмо XVIII представляет собой ответ Амвросия на реляцию Симмаха об алтаре Победы (см. вступит. статью). Публикуемый отрывок содержит ответ на тот пункт реляции, в котором Симмах просит вернуть на прежнее место статую богини Победы как реликвию славного прошлого и залог военных побед Рима.

2 Валентиниан Август — Валентиниан II Младший.

3 Речь идет о письме XVII, в котором Амвросий просит Валентиниана показать ему петицию язычников.

4 Согласно преданию, во время захвата Рима галлами в 390 г. до н. э. уцелел лишь Капитолий, защитники которого во время внезапного нападения галлов были разбужены криком священных гусей Юноны.

5 Марк Фурий Камилл — диктатор 390 г. до н. э., легендарный полководец, герой войн, которые вел Рим в конце V — начале IV в. до н. э. против галлов и италийских племен за завоевание Италии.

6 Марк Атилий Регул — консул 267 и 256 гг. до н. э., герой первой Пунической войны (264—241 гг. до н. э.). Попав в плен к карфагенянам, он, по преданию, предпочел мученическую смерть предательству.

Публий Корнелий Сципион Африканский Старший — герой второй Пунической войны (218—201 гг. до н. э.), победитель Ганнибала.

8 Это риторическое преувеличение может относиться либо к императорам Гальбе, Отону и Вителлию, каждый из которых правил по нескольку месяцев в период политического кризиса 68—69 гг. и погиб в междоусобной борьбе, либо к императорам Пертинаксу и Дидию Юлиану, правившим в 193 г. не более двух месяцев каждый. Тот и другой погибли насильственной смертью.

9 Этими императорами были, по-видимому, Валериан (253—260 гг. правления) и его сын Галлиен (253—268 гг.), которого Валериан сделал соправителем. Валериан попал в плен к персам, где и умер. Галлиен, сделавшись единовластным правителем империи, не смог справиться ни с внутренними, ни с внешними проблемами и пал жертвой заговора.

10 Притчи Соломоновы, XXI, 1.

УТЕШЕНИЕ НА СМЕРТЬ ВАЛЕНТИНИАНА II

1 Валентиниан II, сын Валентиниана I и императрицы Юстины, был провозглашен императором-соправителем своего старшего брата Грациана в 375 г. в четырехлетнем возрасте. В 384 г. Грациан был убит узурпатором Максимом. Юстина с юным Валентинианом бежала на восток, к Феодосию Великому, который помог восстановить Валентиниана на престоле. В 392 г. Вален-

тиниан II погиб от руки своего военачальника галла Арбогаста. Речь Амвросия была произнесена на сороковой день после смерти Валентиниана.

2 Имеется в виду вторжение галлов в Паннонию и Иллирию в начале 392 г. Далее в гл. 24 Амвросий сообщает, что префект города и другие должностные лица Милана убеждали его поехать в Виенну к находившемуся там императору с просьбой приехать и защитить Италию. Однако Валентиниан II, не дождавшись посольства Амвросия, сам выехал в Италию, используя события как предлог, чтобы ускользнуть от Арбогаста.

3 Плач Иеремии, 1, 16.

4 Плач Иеремии, 1, 18.

5 Плач Иеремии, 1, 1. Стих из «Плача» цитируется с изменениями.

6 Плач Иеремии, 1, 2.

7 Песнь Песней, 5, 13.

8 Плач Иеремии, 1, 2.

9 От Луки 6, 29.

10 Песнь Песней, 6, 7.

11 Притчи Соломоновы, 30, 18—19.

12 Псалтирь, 24, 7.

13 Там же.

14 Речь идет о посольстве язычников к Валентиниану II с требованием восстановить в курии сената статую Победы, удаленную оттуда Грацианом в 382 г. Требования язычников поддерживало большинство сенаторов, как язычников, так и христиан.

15 Имеется в виду Арбогаст, убийца Валентиниана II.

16 После того как Грациан был убит, Юстина попросила Амвросия взять под защиту малолетнего Валентиниана II и заступиться за него перед Максимом.

17 Вторая книга Царств, I, 19.

18 Псалтирь, 136, 1.

19 Вторая книга Царств, I, 23.

20 Вторая книга Царств, I, 26.

21 Вторая книга Царств, I, 27.

22 От Иоанна, 17, 24.

Иероним

ПИСЬМО К ЕВСТОХИИ

1 По библейскому преданию, жена Лота была наказана за любопытство. Покидая обреченный на гибель город Содом, она, несмотря на запрет, обернулась назад и превратилась в соляной столб.

2 Библейский богатырь Самсон пал жертвой своей чрезмерной влюбчивости: коварная филистимлянка Далила, по наущению своих соотечественников, выведала тайну его необычайной силы и способствовала его гибели.

3 Библейский царь Давид влюбился в жену своего военачальника Урии Вирсавию, увидев ее из окна своего дворца в Иерусалиме; мужа Вирсавии он отправил на верную смерть.

4 Амнон, сын царя Давида, как рассказывает Библия, соблазнил свою сводную сестру Фамарь, за что был убит ее родным братом Авессаломом.

5 Согласно библейскому преданию, Иаков, чтобы жениться на Рахили, отслужил ее отцу семь лет.

ПИСЬМО К ПАММАХИЮ О ЛУЧШЕМ СПОСОБЕ ПЕРЕВОДА

1 Теренций. Девушка с Андроса. Пролог, стр. 17.

2 Цицерон. О лучшем роде ораторов, 13—14.

3 Гораций. Поэтика, ст. 133 сл.

ПИСЬМО К МАГНУ, ВЕЛИКОМУ ОРАТОРУ ГОРОДА РИМА

1 Волкаций Галликан (IV в. н. э.) по свидетельству Иеронима (против Руфина I, 16) написал комментарий к Цицерону.

2 Как рассказывает Библия, царь Соломон имел широкие связи с соседом и союзником израильского царства Финикией, главным городом которой был Тир. Среди финикиян было много искусных мастеров и ученых, которых Соломон использовал на работе в Израиле.

3 Согласно библейскому преданию, юноша Давид, будущий царь Израиля, вступил в единоборство с филистимским великаном Голиафом, вооруженный лишь пастушьим посохом, пращой и камнями. Попав в лоб великана камнем и оглушив его, Давид вырвал у него из рук меч и одним ударом отрубил ему голову.

4 Цельс (середина II в. н. э.) — автор «Правдивого слова», сочинения, высмеивающего христиан, до нас не дошедшего и известного лишь по книге Оригена «Contra Celsum».

5 Порфирий (III в. н. э.) — уроженец Тира, ученик Плотина, философа-неоплатоника. Автор полемического сочинения «15 книг против христиан», от которого сохранились лишь цитаты у церковных писателей.

6 Ориген (185—254 гг.) — один из «отцов церкви». Здесь упоминается в связи с сочинением «Contra Celsum», в котором он ревностно защищал христианское учение.

7 Мефодий (вторая половина III — начало IV в.) — епископ, автор сочинений, направленных против различных языческих и еретическо-христианских доктрин, в том числе и сочинения против Порфирия, которое и имеет в виду Иероним.

8 Евсевий (264—340 гг.) — первый церковный историограф, автор ряда апологетических сочинений. Иероним переводил на латинский язык его «Хронику».

9 Аполлинарий (IV в. н. э.) — грамматик и пресвитер. Перелагал в стихи книги Ветхого Завета с целью заменить ими чтение языческих авторов.

10 Юлиан Август — обычно именуемый в истории Юлианом Отступником, римский император (годы правления 361—363), посвятивший свою деятельность возрождению язычества. Здесь имеется в виду его трактат «Против христиан».

11 Иосиф Флавий (род. в 37 г.) — историк, уроженец Иерусалима; помимо исторических сочинений об иудейской войне и истории Иудеи написал книгу против Апиона, александрийского грамматика, в ответ на его «Жалобу на иудеев», обращенную к императору Калигуле.

12 Филон из Александрии (род. около 20 г. н. э.) — писатель, автор сочинений по изложению и толкованию библейской истории. Мировоззрение Филона считалось близким христианскому.

13 Тертуллиан (150—230 гг.) — первый христианский писатель, писавший на латинском языке. Славился своей эрудицией и страстным пафосом.

14 Минуций Феликс (первая половина III в. н. э.) — уроженец Африки, римский адвокат, автор сочинения «Октавий», в котором остроумно отвергает обвинения, предъявленные христианству.

15 Арнобий (ум. около 330 г. н. э.) — латинский христианский писатель, автор сочинения «Adversus Gentes» в семи книгах, которое является апологией христианства.

16 Лактанций (конец III — начало IV в.) — ученик Арнобия, автор «Божественных установлений» в семи книгах, написанных в защиту христианства, и многих других сочинений, написанных с той же целью. Считалось, что в слоге он подражает Цицерону.

17 Иларий (род. около 320 г. н. э.) — один из отцов западной церкви, автор полемических сочинений, направленных против арианства, толкователь Священного Писания. Славился также своей светской образованностью.

18 Ювенк — уроженец Испании, пресвитер, излагал Евангелие и Ветхий Завет эпическим размером, используя фразеологию римских эпиков.

Августин

[1] «Исповедь» начинается словами псалма 144,3. Библейские цитаты органически входят в августиновский текст, как образы, усиливающие его взволнованно лирическую интонацию.

[2] «Но как станут звать...» — слова «Послания к римлянам», X, 14.

[3] Эта глава — наглядный образец того, как Августин наполняет свою речь цитатами из псалмов: «Скажи душе моей...» (Пс. 34, 3); «Не скрой...» (Пс. 26, 9); «Господи, ог тайных...» (Пс. 18, 13—14); «Верю...» (Пс. 115, 1); «Боже мой...» (Пс. 31, 5); «Если ты...» (Пс. 129, 3).

[4] Намек на слова псалма 93, 19.

[5] Намек на евангельские слова (Матф. X, 30).

[6] Обучение у «грамматика» соответствовало нашей средней школе и состояло главным образом в выразительном чтении и подробном комментировании произведений Вергилия и Цицерона.

[7] «Плоть, дыхание...» — слова псалма 77, 39.

[8] «Энеида», VI, 456—457.

[9] «Энеида», II, 772.

[10] Ср. сходную картину, нарисованную Платоном в «Ионе»: «...Я каждый раз вижу сверху, с возвышения, как слушатели плачут и испуганно глядят и поражаются, когда я говорю. Ведь мне необходимо очень внимательно следить за ними: если я заставлю их плакать, то сам буду смеяться, получая деньги, а если заставлю смеяться, сам буду плакать, лишившись денег» (Платон, «Ион», 535; перевод Я. М. Боровского).

Критика театральных зрелищ раннехристианскими учителями церкви фактически повторяет платоновскую критику сценического искусства (см. «Законы», 816—817).

В обоих случаях за театром признается огромная сила психологического воздействия и осуждается как «аморальный» репертуар современных автору постановок.

[11] Слова книги Даниила, III, 52.

[12] Слова второго послания к коринфянам, II, 16.

[13] О «ниспровергателях» см. ниже, кн. V, 8.

[14] «Гортензий» до нас не сохранился.

[15] Речь идет о манихействе — восточной дуалистической религии, созданной в III в. н. э. Мани и сочетавшей в себе черты христианства, гностицизма, зороастризма и буддизма. Манихейство фактически приравнивало этический порядок к космическому, рассматривая мир как борьбу двух начал — света и тьмы, добра и зла и истолковывая этические идеи как отражение космического порядка.

[16] «Жертву хвалы» — библейское выражение (Пс. 49, 14).

[17] Обычный в христианской литературе образ, возникающий как воспоминание евангельских слов: «Старайтесь не о пище тленной, а о пище, пребывающей в жизнь вечную...» (От Иоанна, VI, 27).

[18] «Любящих суету и ищущих лжи» — Пс. 4, 3.

[19] «Упование мое и доля моя на земле живых» — Пс. 141. 5

[20] Киприан — карфагенский епископ III в. н. э.

[21] Медиолан (Милан) был в то время столицей Западной Римской империи. Симмах (345 — около 400 г.) — знаменитый языческий ритор, перевод его писем см. в сб. «Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства». М., 1964.

[22] «Туком пшеницы»— Пс. 80, 7; «Елеем радости» — Пс. 44, 8.

[23] Фавст — манихейский епископ, один из самых красноречивых в те времена. Августин отзывается о нем как о человеке, недостаточно образованном (см. «Исповедь», V, 3—7); Амвросий — знаменитый миланский епископ.

[24] Алипий — земляк и бывший ученик Августина, впоследствии епископ Тагасты. О дружбе Алипия и Августина см. подробнее «Исповедь», VI, 7—10.

[25] Речь идет о городе на Мозеле, одной из резиденций императоров (Трир).

[26] От Матфея, XIX, 21.
[27] Слова «Послания к римлянам», XIII, 13.

Пруденций

[1] Вероятнее всего, здесь разумеется условное, а не действительное военное звание, и Пруденций нес какую-то не военную, а гражданскую службу.
[2] От Матфея, XXVI, 34 и 69—35; От Луки, XXII, 34 и 56—62; От Иоанна, XIII, 38 и XVIII, 17, 25—26.
[3] Мученица Агния была погребена за Номентскими воротами Рима. При ее гробнице находятся «катакомбы Агнии».
[4] Один венец — шестеричная награда за девственность, другой — сторичная награда за мученическую кончину. Пруденций имеет ввиду притчу Христа о семенах (От Матфея, XIII, 8): «Иное упало на землю добрую и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать».
[5] Бытие, 3.
[6] Бытие, 4.
[7] Бытие, 8.
[8] Бытие, 41.
[9] От Луки, 1, 26—35.

Павлин Ноланский

ПОСЛАНИЕ АВСОНИЯ ПАВЛИНУ

[1] Этот стих (по-латыни: «Est in arundineis modulatio musica ripis» поставил эпиграфом к одному из своих стихотворений Ф. И. Тютчев:

Певучесть есть в морских волнах,
Гармония в стихийных спорах,
И стройный мусикийский шорох
Струится в зыбких камышах...

[2] Гаргар — городок на малоазийском берегу, в местах экстатического культа богини Кибелы-Диндимены.
[3] Систры — трещотки, культовый инструмент служителей Изиды, почитаемой в Египте; Мареотида — озеро близ Александрии.
[4] В Додоне (Эпир) был оракул, представлявший собой медные чаши, по которым со звоном ударяли колеблемые ветром медные прутья; гадатели толковали этот звон.
[5] «Эбалов град» — Амиклы, старинный лаконский город, где, по преданию, во избежание паники запрещалось говорить о приближении врагов; воспользовавшись этим, спартанцы захватили его врасплох.
[6] Гарпократ — греческое имя египетского бога Гора, сына Изиды; он считался богом молчания.
[7] Македонский царь послал в Спарту гонца с угрозой: «Если я вступлю в Пелопоннес, я сотру ваш город с земли!». Спартанцы ответили царю одним словом: «Если!» (на лаконском диалекте оно обозначается одной буквой: «э!»).
[8] Перечисляются местности в северной, припиренейской Испании (Иберии), где жил Павлин.
[9] Авсоний подозревает, что на Павлина дурно влияет его христианка-жена.
[10] Гора Геликон, обитель муз, находится в Беотии.

ПОСЛАНИЕ ПАВЛИНА К АВСОНИЮ

1 «Всадник Пегаса» — Беллерофонт, впавший после своих подвигов в безумие и скрывавшийся от людей. См. ст. 191 сл.
2 Лукреция — жена Коллатина, родственника римского царя Тарквиния Гордого, оскорбленная сыном Тарквиния и лишившая себя жизни. Классический пример супружеской верности и доблести. Танаквила — жена римского царя Тарквиния Приска. Пример властной и честолюбивой женщины.
3 «О васконских глухих ущельях» — эти горные ущелья находятся в северо-восточной части Тарраконской Испании, где жили дикие васконы, предки нынешних басков.
4 Калагурра, Бильбила, Илерда — города в Тарраконской Испании.
5 «Против «Кальпы» — в Африке, против нынешнего Гибралтара.
6 Барцинона — Барселона. Цезарьавгуста — Сарагоса. Тарракона — Таррагона.
7 Бетис — Гвадалквивир. Ибер — Эбро.
8 Бурдигала — Бордо.
9 Бойи — кельтское племя.
10 «В маройальских термах» — название по латинскому Maroialum в Оверни.
11 Бигерры — народ в Аквитании.
12 Вазаты — народ в Аквитании.
13 «Пиктонские угодья» — в области пиктонов, кельтского племени, к югу от нижнего течения Луары (Пуату).
14 Равран — в Аквитании (Ром). Авзонийское — римское. «Кресло курульное» — почетное кресло консула.
15 Трабея — парадная одежда консула.
16 «В столице... Квирина» — в Риме.
17 Луканское поместье — на побережье южной Италии.
18 «В кондатскую... деревушку» — в Аквитании.

Сидоний Аполлинарий

Первое стихотворение называется в рукописях «Благодарение епископу Фавсту». Епископ Фавст приобрел себе громкую известность строгостью жизни и христианским красноречием будучи простым монахом, а затем игуменом монастыря на Леренских островах (у берега Средиземного моря около г. Канн). В начале 462 г. Фавст был избран епископом г. Риеза (в древней области Рейов). Он был крупным богословом и неукротимым противником арианства. В 481 г. подвергся преследованию Эйриха и прожил в заточении до самой его смерти в 484 г. Умер Фавст не ранее 490 г.

1 «Конского тока» (fontis equini) — Иппокрены, источника, выбитого копытом Пегаса.
2 «С лирой фиванской» (Ogygiamque chelyn) — лирой Амфиона, под звуки которой укладывались камни фиванских, или огигийских стен.
3 Дух — третье лицо христианской Троицы.
4 Говорится о чудесах Ветхого Завета. Ст. 6—10: переход евреев через Черное море (Исход, 14—15); 11—13: убийство предводителя ассирийского войска Олоферна — Юдифь, 13, 8—10; 14—17; Книга судей, 6, 36—40 и 7. 20—22; 8—21: в этих стихах смешиваются два разных события — см. Царств, II, 6. и I, 5 и 6; 22—24; Даниил, 3, 48—51; 25—30. Иона, 2, 31—34. Царств, IV, 2.
5 События Нового Завета: ст. 35—39. От Луки, I, 5—25; 56 сл. Послание Колоссянам, 2, 14; 64—67. От Матфея, 27, 52.
6 «У Рейов» — в Риезе.

[7] Прокион — созвездие Малого Пса, с восходом которого начинается самое жаркое время летом.
[8] «Святой матери» — христианской церкви. Сидоний говорит о крещении его Фавстом.
[9] Израиль — Иаков (Быт., 35, 10). О Самуиле см. Царств, I.
[10] Сирты — заливы у берегов Африки, прогреваемые солнцем до дна.
[11] «Высоты вознес» — из Леренского монастыря вышли многие епископы V в., которых и перечисляет Сидоний.
[12] В этих стихах характерная для Сидония игра слов:

Quidquid agis, quocumque loci es, semper mihi Faustus,
Semper Honoratus, semper quoque Maximus esto.

Для посильной передачи этого риторического приема эти имена не только перечислены, но и переведены.
[13] Стихотворение написано одиннадцатисложным Фалековым размером, обращено к другу детства Сидония Катуллину, бывшему вместе с ним на войне в Испании в 460 г. Катуллин был видным лицом при императоре Майориане. Написано в ответ на просьбу Катуллина сочинить эпиталаму в честь его свадьбы.
[14] «Воспевать фесценнинскую Диону» — т. е. сочинять веселые стихи в честь Венеры.
[15] «Семистопных» — т. е. огромного роста, в семь футов.
[16] «Примут за сатиру» — намек на сатирические стихи, за которые Сидоний едва не поплатился в 459 г. (см. Письма, I, 11 и Ешевский. К. С. Аполлинарий Сидоний. М., 1855, стр. 178—181).
[17] Стихотворение посвящено секретарю Майориана Петру, которому Сидоний посылает как своему покровителю на просмотр панегирик Майориану. Начало этого стихотворения ср. с началом «Георгик» Вергилия. Ст. 8 восходит к Марциалу, I, 3, 5.
[18] Авитак — поместье жены Сидония в Оверни. Сидоний сравнивает его со знаменитым римским курортом Байями (в Кампании) и с его окрестностями.
[19] Стихотворение обращено к шурину Сидония Экдицию.
[20] «Ноябрьские ноны» — 5 ноября.

ПИСЬМА

[1] Клавдиан — Мамерт Клавдиан, священник церкви во Вьенне. До нас дошло его сочинение о душе (см. Ешевский, стр. 13, сл.).
[2] «Энеида», VI, 213: «Плакать, последний долг отдавая бездушному праху».
[3] Письмо к Кальминию относится, вероятно, к началу 474 г., ко временному перемирию между овернцами и готами Эйриха, вместе с которыми принуждены были сражаться и жители Аквитании (см. Ешевский, стр. 291 сл.).
[4] В этом письме говорится о церковном празднике 2 сентября в Лугдуне (Лионе).
[5] «Энеида», V, 499.
[6] Наматий, которому написано это письмо, был, по-видимому, начальником флота Эйриха; родом он был, вероятно, из Италии, что видно из того, что Сидоний (§ 1) называет Цицерона «вашим арпинцем». Никитий, о котором говорится в первой части письма (§ 2—9), был сначала оратором (адвокатом), а потом советником претория.
[7] Астерий — консул 449 г.
[8] Спортула — денежные подарки.
[9] Фасты — таблички из слоновой кости с именами консулов.
[10] «Сарранские соки» — пурпуровая краска (Сарра — древнее название города Тира).
[11] По преданию, в Амиклах (в Пелопоннесе) во избежание ложных слухов было запрещено говорить о приближении врагов. Название «молчаливые»

применялось и к италийским Амиклам на побережье Тирренского моря. Сервий в комментарии к «Энеиде», X, 564 приводит и другое объяснение такого названия италийских Амикл.

12 Оларийских (или олиарийских) — т. е. на острове Олиаре в области Сантонов (Олерон у берегов Бискайского залива).

13 Миопароны — легкие каперские суда.

Сальвиан

1 От Иоанна, 13, 35.

2 Куриалы — лица, входящие в городское управление и ответственные, главным образом, за поступление налогов.

3 Пс. 13, 3.

4 Багауды — галльские крестьяне и колоны, участники революционного движения, охватившего в III—V вв. Галлию и Северную Испанию. Слово кельтского происхождения, означающее в переводе «сжигатели».

5 В предыдущих главах шла речь об африканских городах Цирте и Карфагене.

6 Как явствует из дальнейшего, Сальвиан имеет в виду Трир.

7 Такая оценка Трира совпадает с отзывами об этом городе у других писателей. Так, Авсоний ставит Трир по значению и блеску на четвертое место в империи, после Рима, Карфагена и Антиохии. Трир был резиденцией префекта Галлии.

8 Это может быть Майнц, Кёльн или Мец.

9 Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова 19, 2.

Седулий

Название своего произведения Седулий объясняет в предпосланном ему прозаическом предисловии: «Я назвал,— говорит он,— это произведение «Пасхальным стихотворением» потому, что принесена была в жертву наша Пасха — Христос». К стихотворному тексту Седулий присовокупил и прозаический пересказ его, более подробный и порою служащий комментарием к содержанию стихов.

1 Древо — крест, на котором был распят Христос.

2 Енох был взят на небо еще при жизни (Быт. 5, 8—25; Послание апостола Павла «К евреям», 11, 5).

3 Сара — жена Авраама (Быт., 17, 16 сл, и 22).

4 Лот — племянник Авраама (Быт., 19).

5 В дальнейших абзацах излагаются библейские события:
ст. 127 — Исх. 3; ст. 132 — Исх. 4 и 7; ст. 136 — Исх. 14; ст. 148 — Исх. 16; Ст. 152 — Исх. 17; ст. 160 — Числа, 22; ст. 163 — Иис. Навина 10; ст. 170 — Царств III, 17 и IV, 2.

6 Неверный ранее Ною, так как выпущенный из ковчега ворон не вернулся назад (Быт., 8).

7 По-гречески «солнце» созвучно имени Илия.

8 Царств IV, 20.

9 Иона, 1—2.

10 Даниил, 3.

11 «Царя» — Навуходоносора (Даниил, 4).

12 Даниил, 6.

13 Краткое перечисление чудес, рассказанных в ст. 103—119.

14 Учение о Троице и опровержение учений Ария и Савеллия.

15 Так же обычно изображаются четверо евангелистов и в христианской иконописи.

Драконтий

[1] Следующий стих в рукописях испорчен.
[2] Массилы — племя, живущее в бесплодных степях северной Африки.
[3] Ср. Лукан, «Фарсалия», IX, 724—726:

И испускающий свист и всех устрашающий гадов,
Кто до укуса убьет,— их всех себе подчиняет,
Царь безграничных пустынь — василиск, и без яда губящий.

[4] Идалия — город на Кипре, посвященный Венере.
[5] Пелей, отец Ахилла, был мужем нимфы-нереиды Фетиды.
[6] Плектр — металлическая или костяная палочка, которой играющий на лире бряцал по струнам.
[7] Библиады, напеи и т. д.— нимфы долин (напеи), гор (ореады), лесов (дриады), вод (наяды).
[8] Сардинский мед пользовался известностью еще при Горации. Ситиф — город в Африке.
[9] Палатин — императорский дворец в Риме (лацийский — более изысканная форма, чем «латинский»); «данайский дом» — греческий, т. е. константинопольский двор.
[10] Каралы (Кальяри) — порт в Сардинии, куда, по-видимому, должны были отплыть после свадьбы Иоанн и Витула.
[11] Форк — сын Нептуна; Галатея — одна из нереид, олицетворение спокойного, безбурного моря.

Боэтий

[1] Греческие буквы означают философию практическую (деятельную) и теоретическую (умозрительную).
[2] Осел, слушающий лиру.
[3] «Илиада», I, 363.
[4] Платон, «Государство», V, 473 D.
[5] Следуй богу.
[6] «Единый властитель, единый царь» — слегка измененная цитата из «Илиады», II, 204.
[7] Ср. Цицерон, речь за Цецину, XXXIV, 100: «Изгнание — не наказание, а убежище и гавань для наказуемых; из желания избегнуть какого-нибудь наказания или несчастия люди меняют почву, т. е. избирают другую родину, другое место жительства. Вот почему ни в одном нашем законе не найдете, чтобы какие бы то ни было преступления, как в остальных государствах, наказывались изгнанием» (Перевод Ф. Зелинского).

Кассиодор

[1] Гораций, «Наука поэзии», 386—390.
[2] Салоны — город в Далмации, принадлежавшей тогда остготскому царству.
[3] Римляне издавна увлекались зрелищами, и в цирке не раз дело доходило до драк между слишком ревностными «болельщиками»; но на этот раз зачинщиками выступили, по-видимому, готы, за что им и пеняет Теодорих.
[4] Седулий, «Пасхальное стихотворение», I, 349—350.
[5] Гораций, «Наука поэзии», ст. 26.
[6] Вергилий, «Георгики», II, 484 и 485.
[7] Кастелл — гора в Бруттии (на перешейке Скиллаче), где стоял монастырь Вивариум.

Венанций Фортунат

[1] «Меттийская твердыня» — город кельтского народа медиоматриков, носивший до V в. н. э. имя Divodurum, в средние века Mettis, а теперь Metz (Мец). Очень вероятно, что от слова Mettis происходит и прилагательное metticus, засвидетельствованное у Плиния (XIV, 35) и Колумеллы (III, 10, 20) в сочетании mettica vitis, или uva. Эта «меттийская лоза» отмечается в словарях как неизвестный сорт винограда; но, вероятно, это виноград, из которого выделывалось вино на Мозеле, как и теперешний мозельвейн.

[2] Орна (Орн) — левый приток Мозеля.

[3] Сара — приток Мозеля.

[4] Контруя (Contrua) — ныне Гондорф.

Григорий Великий

[1] Текста, приведенного Григорием, в современной латинской Псалтири под № 92, 2 не имеется; сходное выражение есть в Пс. 95, ст. 2 (в русском переводе — Пс. 94, ст. 2).

[2] Иоанн Диакон — составитель жизнеописания Григория I.

[3] В словах Григория «бедствия учащаются, ибо близится срок» отражена вера в близкий конец мира и Страшный суд, оживившаяся в «темные века».

[4] Утрикуланская область — Отриколи.

[5] Дело идет о Фунданском монастыре в Лации близ Аппиевой дороги, ныне — Фонди.

[6] Провинция Валерия — область в Апеннинских горах, к востоку от Рима.

[7] В римском монастыре св. Андрея, основанном Григорием.

[8] «Иберийская земля» — Испания.

Григорий Турский

[1] Мартин Турский (336—397 гг.) — епископ города Тура, национальный святой Франции, основатель монастыря близ города Пуатье.

[2] Деревня Канды находится между Туром и Анжером.

[3] Т. е. в 397 г.

[4] Григорий Турский, «Жизнь святого Мартина», I, гл. 4—5.

[5] В 471 г.

[6] Аполлинарий Сидоний, известный писатель, епископ с 472 г.

[7] Монастырь около Клермона.

[8] Книга не сохранилась.

[9–10] Теодорих (486—533 гг.) и Хильдеберт I (511—558 гг.) — сыновья Хлодвига, основателя династии Меровингов; первый владел Австразией (столица — Мец), второй Нейстрией (столица — Париж).

[11] Прадед Григория Турского со стороны матери.

[12] «Варвар» в языке VI в.— не римлянин, франк.

[13] Имеется в виду Реймс.

[14] В воскресенье до мессы не разрешалось есть.

[15] В 582 г.

[16] Епископ города Марселя.

[17–18] Хлотарь I (497—561 гг.) — третий сын Хлодвига, сперва правивший Суассонской областью, а после смерти Хильдеберта I объединивший под своей властью все франкское королевство; перед смертью он разделил его между сыновьями, отдав Сигиберту Австразию, Хильперику Нейстрию, а Гунтраму Бургундию.

[19] Нарсит (точнее Нарсес) — евнух византийского императора Юстиниана, завоеватель и правитель Италии.

[20–21] Муммол и Гунтрамн Бозон были герцогами бургундского короля Гунтрамна, но поссорились с ним; Муммол скрывался в Авиньоне, Бозон перешел к Хильдеберту II Австразийскому.

[22] Австразийский король Хильдеберт II, сын Сигиберта (убитого в 576 г.), был в это время (582 г.) десятилетним ребенком.

[23] Исход, 12, 30.

[24] Фредегунда — жена Хильперика, героиня «войны двух королев», жертвой которой пал брат Хильперика Сигиберт Австразийский.

[25–26] «Брат» — Гунтрамн бургундский, «племянник» — Хильдеберт II Австразийский.

[27] Иоиль, I, 4.

[28] Ныне Брив-ля-Гайярд, в департаменте Коррез.

[29] Войско короля Гунтрамна, которому принадлежал захваченный Гундовальдом Марсель.

[30] Епископ Картерий.

[31] Войско Гунтрамна разорило город Пуатье, перешедший на сторону Гундовальда.

[32] Ригунта, о поездке которой в Испанию говорилось выше.

[33] Балломер — прозвище Гундовальда, упоминавшееся в предыдущих книгах.

[34] Неточность: в 582 г., когда Гундовальд поднял мятеж, Хильперик Нейстрийский еще был в живых.

[35] Радегунда — вдова Хлотаря I: Инготруда — мать епископа Бертрамна из Бордо, родственница королевского дома.

[36] Полководец Гунтрамна, руководивший осадой Комменжа.

[37] Царств I, 24, 16.

[38] Псалом 45, 4.

[39] Второзаконие, 4, 19.

[40] От Иоанна, I, 47.

[41] Даниил, 3, 32.

[42] После гибели Гундовальда Муммол был убит по приказу короля Гунтрамна; так же погибли Ваддон и Хариульф.

Исидор Севильский

ИЗ „ИСТОРИИ О ЦАРЯХ ГОТОВ, ВАНДАЛОВ И СВЕВОВ"

[1] Алфей — самая большая река в Пелопоннесе, протекающая через Олимпию, где происходили знаменитые состязания; Клитумн — река в средней Италии; рощи Молорха — немейский лес. Молорх — бедняк, который, по мифу, принял у себя Геракла, когда тот шел на охоту за немейским львом.

[2] Проникновение римлян в Испанию относится к эпохе Второй пунической войны (218—201 гг. до н. э.), вторжение готских племен — к 409 г. н. э.

[3] Гог — упоминаемый в Библии вождь, который, по пророчеству Иезекииля (гл. 38—39), должен был прийти с севера и опустошить Иудею. Магог, сын Иафета — внук библейского Ноя (Быт., 10).

[4] Исидор в «Этимологиях» (V, 36) приводит следующее определение «Эры»: «Эра отдельных лет установлена Цезарем Августом, когда он впервые стал цензором и произвел перепись римского мира (29 г. до н. э.). Название «Эра» взято потому, что весь римский мир обязывался платить налог (aes). Битва Цезаря и Помпея при Фарсале произошла в 48 г. до н. э.

1 Возвращение Ездры в Иерусалим (около 450 г. до н. э.) описано в Библии, в I и II книгах Ездры.
2 С именем Писистрата (VI в. до н. э.) связано превращение Афин в один из главных культурных центров Эллады, его инициативе приписывается редактирование гомеровских поэм, установление драматических состязаний и т. д.
3 Речь идет о греко-персидских войнах (480 г. до н. э.). Селевк Никатор (Победитель) — полководец Александра Македонского, основатель царства Селевкидов.
4 Птолемей Филадельф — египетский монарх III в. до н. э.
5 Ориген — знаменитый богослов и философ III в. н. э.
6 О Иерониме см. настоящий сборник, стр. 34.
7 В 168 г. до н. э.
8 В 66 г. до н. э.
9 Асиний Поллион (76—5 г. до н. э.) — близкий друг Октавиана Августа, оратор и поэт, выстроил в 38 г. до н. э. великолепную библиотеку.
10 Памфил (III в.) — основатель богословской школы в Кесарии, почитатель Оригена; он приобрел для своей школы библиотеку Оригена. Евсевий Кесарийский — церковный историк III—IV вв.
11 Геннадий из Массилии, богослов конца V в.; расширил и продолжил составленный Иеронимом каталог христианских писателей.
12 Марк Теренций Варрон Реатинский (116—28 гг. до н. э.) — плодовитейший римский автор, написавший 620 книг. От его сочинений сохранились фрагменты.
13 Халкентер (Медноутробный) — прозвище знаменитого грамматика Дидима (I в. до н. э.), которому приписывалось 3500 сочинений.
14 Об Августине см. настоящий сборник стр. 48.

Беда Достопочтенный

1 Августин — миссионер, посланный папой Григорием Великим в Англию в 597 г. с целью распространения там христианства. Кент был первой областью, принявшей христианство. Кентербери стал центром католической церкви Англии.
2 Гуикции (huiccii) — тевтонцы, которые завоевали территорию между Сомерсет Эвон и Арденнским лесом (Forest of Arden). Собор, о котором говорится в этой главе, мог иметь место в г. Осте (Aust) на реке Северне.
3 Банкорнабург (Bancornaburg) — Bangor Iscoed во Флинтшире.
4 От Матфея, гл. II, стр. 29.
5 Восточная Саксония — Эссекс.
6 Восточное море — ныне Северное море.
7 Лундония — Лондон.
8 Дорубрев — Рочестер.
9 Доруверн — Кентербери.
10 Речь идет о битве между королями Эгфридом и Этельредом, о которой рассказано в предыдущей, XXI, главе.
11 В предыдущей, XXIII, главе речь идет об аббатиссе Гильде.
12 Эта глава из Беды является, по-видимому, самым ранним и, может быть, единственным источником сведений (носящих, правда, полулегендарный характер) о первом английском христианском поэте Кэдмоне.
13 По преданию, Кэдмон был неграмотен.

КАРОЛИНГСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

(VIII—IX вв.)

Павел Диакон

1 Т. е. Дона.

2 Павел руководствуется здесь Исидором Севильским («Этимологии», XIV, 4, 4): слово «Германия» происходит от лат. germinare — «пускать ростки», «произрастать».

3 См. Плиний. IV, 13 (27).

4 Годан, или Водан — высшее божество древнегерманских племен, соответствовал скандинавскому верховному богу Одину.

5 По-немецки «длиннобородые» — langbarte.

6 Около 550 г. во время правления девятого короля лангобардов Аудуина, когда лангобарды после ухода из Скандинавии и долгих странствий поселились в Паннонии.

7 Гепиды (восточногерманское племя) преграждали лангобардам путь на Италию и к Дунаю.

8 Аудуин правил с 543 г.

9 Последний король гепидов.

10 Место сражения гепидов с лангобардами.

11 По Муратори, это было в 556 г.

12 Т. е. на лангобардском языке.

13 См. ниже, в II, 28.

14 Нарзес — экзарх византийского императора Юстиниана с 552 г., а затем, с 554 г., Юстина II в Италии, преемник Велисария.

15 В тексте chartularius — надзиратель над имперскими архивами.

16 Ошибка: это событие относится к 550 г., т. е. еще к правлению Аудуина.

17 В предыдущей, 5-й, главе рассказывается о возникшей среди римлян ненависти к Нарзесу и об отозвании его Юстином в 567 г. Оскорбленный Нарзес призвал лангобардов вступить в Италию и овладеть ею.

18 Ср. ниже II, 26 и Григория Турского, IV, 34.

19 Т. е. аварам.

20 См. примеч. 45 к гл. «Эйнхард».

21 Т. е. 1 апреля.

22 Гора Maggiore, также Monte del Re, выше Фриуля, в Альпах.

23 Далее, в гл. 9—25, рассказывается о вступлении Альбоина в Италию, о взятии им городов, которые, за исключением Павии, не оказывали ему сопротивления.

24 Другое название города Павия.

25 Об этом рассказано в II, 4.

26 Теодорих — король остготов (около 493—526 гг.).

27 Ратхис — король лангобардов, правил в 744—49 гг. Павел воспитывался при его дворе и потому говорит здесь как очевидец.

28 Лонгин был назначен экзархом Италии в 567 г. вместо Нарзеса. Резиденцией его была Равенна.

29 По другой версии Розамунда была схвачена и убита лангобардами во время своего бегства (см. Григорий Турский, IV, 41).

30 Т. е. Константинополь, столица Византии.

31 Самсон — древнееврейский мифический герой сверхъестественной силы, прославился своими подвигами в борьбе с филистимлянами. Попав в плен, он был ослеплен; но когда его привели для посмешища в пиршественный покой, он обхватил и сотряс колонны, обрушив кровлю на себя и на всех пирующих.
32 Клеф был убит в 574 г. После десятилетнего междуцарствия, когда страной правили более 30 герцогов, в 585 г. лангобарды избрали королем Автари.
33 Имя Веспасиана и Тита.
34 «Populi tamen adgravati per Longobardos hospites partiuntur», в других рукописях: pro Longobardis hospitibus». Различие в предлогах (pro вместо per) значительно меняет смысл этого места: «народ вносил часть доходов в пользу лангобардов».
35 Теперь Эч.
36 См. Григорий Великий, Dial., III, 19, которому следует Павел в этом месте.
37 Т. е. 17 октября 585 г.
38 Inguinaria — заразная кишечная болезнь, распространилась в 590 г.
39 Лангобарды были арианами до VII в.
40 Византийский император, преемник Тиберия с 582 г.
41 Во II, 17 рассказано о первом походе Гильдеперта против лангобардов (когда он, хотя и получил от Маврикия 50 тыс. солидов, заключил с ними мир), а в III, 22 о втором неудачном его походе.
42 Т. е. Секунд, епископ Тридентский, источник «Истории лангобардов» Павла Диакона. Сочинение его не сохранилось.
43 См. у Григория Турского, IX, 25.
44 Т. е. 15 мая.
45 Агилульф впоследствии стал королем (590—612 гг.). В его время лангобарды отказались от арианства.
46 Т. е. ко времени неудачного похода франков в 590 г. против лангобардов, когда они, измученные голодом и повальными болезнями, отступили из Италии (гл. 31).
47 Имеется в виду сочинение Григория Турского.
48 Лат. ciborium — металлический кубок в форме египетского бобового стручка.
49 Теперь Шалон на Соне.
50 Т. е. 5 сентября 590 г.
51 Заимствовано у Григория Турского.
52 Теперь Лумелло, западнее Павии.

Алкуин

1 Недоразумение: стихотворение написано как раз не гексаметрическим («героическим»), а элегическим размером.
2 «С родины дальней» — т. е. из Англии.
3 Заключительное двустишие представляет собой, по-видимому, вариант начального.
4 Коридон — заимствованное из эклог Вергилия имя какого-то члена академии.
5 Речь идет о возвращении из Англии после поездки 793 г.
6 Тмесис — редкая стилистическая фигура, когда между двумя частями одного слова («при — зывать») вставляется другое слово («пилигримским»). В древнеримской поэзии встречаются лишь единичные примеры (в виде подражания Гомеру); каролингские поэты усмотрели в этом признак особой изысканности и стали тмесисом даже злоупотреблять.
7 «Ты селянин, Коридон» — слова из Вергилия, эклога 2, 56; ко времени Алкуина слово «селянин» (rusticus) потеряло идиллический оттенок и стало только синонимом неуча и грубияна.
8 Назон — прозвище поэта Муадвина, епископа Отенского; стихотворение, откуда взят этот стих, не сохранилось.

[9] Истолкование «Песни песней» как песен взаимной любви Христа и церкви идет от отцов церкви, заимствовавших его, в свою очередь, от еврейских толкователей, соответственно говоривших о боге и синагоге.

[10] Под именем «кукушки» Алкуин выводит своего ученика Додона, не раз упоминаемого в его переписке; Додон страдал пристрастием к вину. Под именем Меналка скрывается сам Алкуин, под именем Дафниса — какой-то другой его ученик; оба прозвища из эклог Вергилия.

[11] Ср. в письме Алкуина к Додону: «...плоть твоя, жесточе всякой мачехи, увлекла тебя, еще столь юного, от отчего лона в пучину страстей...»

[12] Нарушение диалогической формы.

[13] Разгадки загадок Алкуина по параграфам: 87) колокола; 88) фитиль, горящий в масляной лампе (?); котел с похлебкой, перекипевший через край и заливший огонь (?); 90) ловля вшей (знаменитая «гомеровская загадка»); 91) цыпленок, вылупившийся из яйца; 92) эхо; 93) река и рыбы; 94) сон; 95 и 96) неизвестны; 97) Адам, сотворенный богом Илия, вознесенный на небо, и Лазарь, воскрешенный Христом; 98) стрела.

Теодульф

[1] Дед Карла — Карл Мартел, победитель арабов.

[2] Стихотворение написано в 796 г., когда сын Карла Пипин разгромил аваров (отождествляемых автором с гуннами, ст. 39), взял в плен их кагана Тудуна (ст. 40) и с добычею ожидался в Ахене.

[3] Реминисценция из Марциала, III, 9.

[4] Потомство Карла: перечисляются сыновья его Карл и Людовик, будущий император (первому в 796 г. было 24 года, второму 18), дочери Ротруд (академическое прозвище — Колумба), Берта (любовница Ангильберта), Гисла младшая (по академии — Делия?) и другие, о которых см.: Эйнхард, гл. 18. Лиутгарда, четвертая жена Карла Великого (с 796 г., умерла в 800 г.) тоже участвовала в работах академии, а Гисла (по академии — Луция), сестра Карла, аббатисса Шелльского монастыря, руководила перепиской рукописей и переписывалась с Алкуином.

[5] Тирсис — королевский камерарий Маганфред или остиарий (привратник) Готерамн.

[6] Иессей амьенский, дипломат, ездивший в Константинополь сватать за Карла царевну Ирину, автор трактата «О таинстве крещения», один из душеприказчиков Карла Великого.

[7] От Алкуина Флакка сохранились только одно адоническое и одно сапфическое стихотворение, но для латинской поэзии времен Карла и это было редкостью.

[8] Дьякон Рикульф ездил в Баварию послом к Тассилону в 782 г.

[9] Ангильберт-Гомер в 796 г. находился в посольстве к папе римскому. Эркамбальд был нотарием (канцлером) Карла с 797 г. Лентул (от слова «лентус», «медлительный») — лицо неизвестное.

[10] Нардул — одно из прозвищ историка Эйнхарда. Над его маленьким ростом шутят и другие современники — например, Алкуин, 26, 25:

> Маленький ростом Закхей на древо высокое лезет,
> Чтобы с него наблюдать за снующими всюду писцами...
>
> *(Перевод Б. И. Ярхо)*

[11] Ирландец, высмеиваемый Теодульфом,— лицо неизвестное: все попытки отождествить его с Дунгалом или с Климентом или с иным из живших при дворе ученых — произвольны.

[12] Готов (германское племя) и гетов (древнефракийское племя) смешивали не только в средние века, но и в новое время.

[13] Игра слов «scottus» (ирландец) — «sottus» (глупец). Пропуск звука «к» — скорее индивидуальный, чем общеирландский недостаток произношения.
[14] Ученики Алкуина; из них Фридугис, довольно крупный богослов, был наследником Алкуина в Турском аббатстве, а с 819 г.— канцлером при Людовике Благочестивом; его заслуга — очищение латинского языка императорской канцелярии.
[15] Меналк — стольник-сенешал Аудульф; Эппин — лицо неизвестное.
[16] Напиток Цереры — пиво или брага. Сам Алкуин признается в любви к хорошему столу в послании к королю, 26, 48:

Пусть же муштрует Меналк поваров в прокопченных палатах,
Чтобы горячий кисель подали Флакку к столу...

(Перевод Б. И. Ярхо)

[17] Вибод — может быть, граф Перигорский, правивший этой областью приблизительно с 780 г.
[18] Донат (IV в.) — автор латинской грамматики, которая была основой изучения латинского языка на всем протяжении средних веков и даже позже; Помпей (V в.) — автор сокращенного учебника латинского языка, составленного по Донату и его комментаторам.
[19] Вергилий, «Энеида», VI, 893—896.

Ангильберт

[1] Речь идет об Ахене.
[2] Молоссы — знаменитая в древности порода гончих собак из молосской области в Эпире; для средневековых поэтов — просто синоним хорошей собаки.
[3] Пипину уделено больше внимания, чем Карлу: Ангильберт был дружен с ним. Пипин был членом академии, где носил имя Юлий; именно он выступает собеседником Алкуина в диалоге-загадке.
[4] Голос, источающий свет,— гиперболизм в световых эпитетах доведен до абсурда (примечание Б. И. Ярхо).
[5] Вергилий, эклога 8, 10: «Песни сравнимы твои с Софокловым только котурном». Редкое для академика недоразумение: «Софоклов котурн» он принял за выражение вроде «фракийская лира», «фалернское вино» и пр.
[6] Неудачный античный штамп.
[7] Реминисценция из «Энеиды», VI, 649, где речь шла о Трое; здесь этот античный штамп вступает в диссонанс с общей оптимистической идеологией академии.
[8] Плектр — палочка, которой античные музыканты бряцали по струнам. Судя по упоминанию флейты, средневековые поэты уже не понимали этого слова.
[9] София — мудрость; нарочитый ученый грецизм.
[10] От Луки, 6, 48: «...и положил основание на камне».
[11] «Белые поля» — книжные страницы: метафора заимствована из загадки Альдхельма о гусином пере.
[12] «Девицы» — Гисла, Теодрада, Хильтруд, Ротхайд.
[13] Хильдебальд, архиепископ Кельнский и капеллан Карла Великого с 794 г.
[14] Царств I, 2, 28: «и не избрал ли его... себе во священника,... чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил эфод предо мною?» Эфод — ларец, кивот со святынями.
[15] Тирсис (ср. о нем в стихах Теодульфа) — быть может, королевский камерарий Маганфред.
[16] Вергилий, эклога 10, 20: «Вот пришел и Меналк, от зимнего жолудя мокрый». Имеется в виду начальник королевского стола.
[17] Юлий — Пипин, см. примеч. 3; в каком походе он находился в это время, неизвестно.
[18] Бытие, 8, 11: о голубе Ноя, который нес «ветвь оливы во рту своем».

Эйнхард

1 Эйнхард учился в дворцовой школе при дворе Карла Великого вместе с его сыном Людовиком (впоследствии его наследником Людовиком Благочестивым).

2 Т. е. германец (ср. в гл. 29 «варварские», т. е. германские поэмы и имена).

3 «Тускуланские беседы», I, 3, 6.

4 Т. е. Пипином Коротким (741—768 гг.); первый поход был предпринят им еще в 754 г.

5 Т. е. Карломана, с которым, после смерти Пипина Короткого, Карл делил власть. Карломан умер в 771 г.

6 Гунольд — сын Вайфария, герцога Аквитанского. Восстание было подавлено в 768 г.

7 Васкония (Гасконь) — страна басков к югу от Гаронны, граничащая с Аквитанией.

8 Адриан I наследовал папе Стефану III в 772 г.

9 Первый поход Карла в Италию был в 774 г.

10 Айстульф — лангобардский король (749—756 гг.).

11 Пипин Короткий атаковал Айстульфа дважды: в 754 и затем снова в 756 г. Эйнхард, по-видимому, не знал об этом.

12 Тицен — древнее название Павии.

13 Дезидерий — лангобардский король (756—774 гг.).

14 Во Фриуле в 776 г. лангобарды под руководством герцога Ротгаута пытались восстать против франков.

15 Неточность: это имело место только в 781 г., т. е. позднее на 7 лет.

16 Саксонские племена жили между Рейном и Эльбой; они сохраняли еще общину и веру в языческих богов.

17 Т. е. с 772 по 804 г.

18 Для саксов франкское завоевание означало закрепощение. Восставая, они возвращались к язычеству, которое было для них как бы символом независимости.

19 В 782 г. Карл приступил к насильственной христианизации Саксонии. Тогда и вспыхнуло самое сильное восстание саксов; при подавлении этого восстания было казнено 4560 человек.

20 Т. е. наместников, управляющих графствами (основная единица административного деления империи); они вершили суд, собирали налоги, руководили военными силами.

21 Совр. Детмольд.

22 Газа — река в Вестфалии; битвы произошли в 783 г.

23 Эйнхард представляет войны Карла только как оборонительные.

24 Ингельхейм — одна из любимых резиденций Карла в Гессене.

25 Неймеген (Нимвеген) — город в устье Рейна. Ваал — главный рукав дельты Рейна, другая резиденция Карла.

26 Для контроля за исполнением своих распоряжений Карл посылал в провинции в качестве «государевых посланников» (missi dominici) графов; иногда лиц духовного звания: епископов, аббатов. Это были временные ревизоры, уполномоченные наблюдать за состоянием дел.

27 Набеги арабов, захвативших Пиренейский полуостров еще в начале VIII в., усилились в первое десятилетие IX в.

28 Совр. Чивита-Веккия, взята арабами в 813 г.

29 В этой и последующих главах, касающихся частной жизни, быта и характера Карла, особенно заметно подражание Светонию. Порой не только слова, но целые выражения заимствованы из его биографий Августа, Тита, Тиберия, Веспасиана, Клавдия (см. гл. 22—27).

30 Сен-Дени (близ Парижа).

31 Гисела была аббатиссой и одной из корреспонденток Алкуина. Сохранилось несколько писем, которые он писал ей.

[32] Прясть шерсть — одна из традиционных добродетелей римской женщины (ср. Светоний, «Август», 64).
[33] Константин VI (780—797 гг.).
[34] Здесь содержится намек на поведение дочерей Карла. Известно, например, что Ротруд и Берта имели незаконнорожденных детей; среди них называется историк Нитхард (сын Берты и придворного поэта Ангильберта).
[35] Плавание с древних времен считалось столь же необходимым человеку, как и грамотность.
[36] Обед из четырех блюд считался очень скромным.
[37] Лат. comes palatii (впоследствии пфальцграф) — первый сановник в государстве, должностное лицо, управлявшее всеми светскими делами и судами; председательствовал в королевском апелляционном суде.
[38] См. Ноткер, «Деяния Карла», I, 7.
[39] Карл был в Риме в 774, 781, 787, 800 гг.
[40] В благодарность за поддержку, оказанную ему Карлом, папа Лев 25 декабря 800 г. в соборе св. Петра венчал Карла императорской короной.
[41] Эйнхард имеет в виду, по-видимому, Ирину и Никифора, византийских правителей. Византия противилась признанию Карла императором. Только в 812 г. Михаил I формально признал за франкским королем титул императора и согласился именовать Карла своим «братом».
[42] Т. е. салический и рипуарский, по имени племен салиев и рипуариев, входивших в состав франкского государства.
[43] В конце параграфа следует перечисление всех этих названий.
[44] Т. е. 28 января 814 г., в 9 часов утра.
[45] Период в 15 лет, по которому в средние века исчисляли эпохи разных событий. Введен взамен языческого исчисления олимпиадами по 4 года как промежуточная единица времени между годом и веком.
[46] Ошибка: удар молнии обрушился на портик в 817 г. (см. «Королевские анналы», 817), т. е. спустя 3 года после смерти Карла.
[47] Потеря плаща полководцем еще с древних времен считалась позором (ср. Светоний, «Юлий», 64).
[48] В последней, 33-й, главе речь идет о завещании Карла и приводится его текст.

Нитхард

[1] Лотарь — франкский император (840—855 гг.), сын Людовика Благочестивого (814—840 гг.).
[2] Речь идет о мирных предложениях его младших братьев: Людовика Немецкого и Карла II Лысого в конце 841 г.
[3] Пипин II — сын Пипина I Аквитанского, правил в 838—852 гг.
[4] Из Баварии, принадлежавшей Людовику, на соединение с Карлом Лысым, владения которого находились в Аквитании и Провансе.
[5] Т. е. Людовик Карлу.
[6] Теперь Оксерр, на нижнем притоке Сены.
[7] Теперь Фонтенуа, юго-западнее Оксерра.
[8] Теперь Тури.
[9] Т. е. до Арденнских гор.
[10] Т. е. 25 июня 841 г.
[11] В верховьях Луары, близ Сен-Клу.
[12] Feria tertia — третий день праздника.
[13] Т. е. 18 октября.
[14] Теперь Андриа.
[15] Теперь Бретиньола.
[16] Теперь Солнет.
[17] Нитхард участвовал в этой битве на стороне Карла и Людовика.
[18] Т. е. 14 февраля 842 г.
[19] К половине IX в. в Европе начинают складываться и развиваться национальные языки: романский и немецкий. Текст страсбургской клятвы является

редчайшим образцом старофранцузского (романского) и старонемецкого (тевтонского) языка. Клятва в Страсбурге обусловила Верденский договор, узаконивший распад империи на государства итальянское, немецкое, французское.

20 См. перевод клятвы с романского языка; в этой клятве переменены лишь собственные имена: где Людовик, там Карл, и наоборот.

21 См. перевод с романского.

22 Теперь Вормс.

23 Теперь Шпейер.

24 Теперь Вейсенбург.

25 Т. е. Людовик и Карл.

26 Старший сын Людовика Немецкого.

27 Теперь Майнц.

Эрмольд Нигелл

1 Реминисценция стиха Вергилия, «Энеида», III, 35: «Как и Градива отца, что царствует в гетских пределах...» с переосмыслением: Вергилий под «гетами» имел в виду дунайские племена фракийцев, Эрмольд (вместе со всеми своими современниками) — германцев-готов, в данном случае — населяющих Аквитанию.

2 Инда (Корнелимюнстер) — местность невдалеке от Ахена (Аквы); ср. Житие Бенедикта Анианского, 48: «Ближняя была долина, от дворца не далее чем на шесть миль отстоявшая...; там повелел император воздвигнуть дивный монастырь, нареченный Индою от имени речки, по той долине протекавшей...» Описание лесной глуши, находившейся на этом месте,— вряд ли преувеличение: места эти издавна были малолюдны, и сам город Ахен, столица Карла Великого, впервые упоминается в документах только при Пипине Коротком, лет за семьдесят до описываемых событий.

3 Пархинон — редкий вариант названия «Баркинон», или «Барцинон», латинского имени современной Барселоны. Места эти с V в. были заселены готами; от них область получила название «Готалония», а потом «Каталония».

4 Бенедикт Анианский умер в 821 г. и упоминается здесь по простой хронологической связи. «Соименник» его, которому он подражал,— знаменитый Бенедикт Нурсийский, основатель бенедиктинского ордена, реформированного Бенедиктом Анианским.

Валахфрид Страбон

1 Садоводство названо «Пестанским искусством» от италийского города Песта, где розы в цветниках цвели дважды в год (Вергилий, «Георгики», IV, 118—120).

2 «Сатурновый зуб» — сошник плуга, искаженный отголосок античных представлений о золотом веке Сатурна.

3 Нот — южный ветер.

4 «Сабейские рощи» (т. е. южно-аравийские) и «паросский камень» (мрамор) — реминисценции из «Георгик», II, 117 и III, 34.

5 «Пактола металл» — золото («Энеида», X, 142).

6 Исайя, II, 1: «И произрастет ветвь от Иессеева корня, и расцветет цвет из корня того».

7 Смысл: христиане, члены церкви, тела Христова, подвизаются в вере как в мирной монастырской жизни, так и в войне против язычников, а Христос награждает их райским уделом и за те и за другие подвиги.

8 «Мировое колесо» — обычное в средние века изображение судьбы в виде колеса, наверху которого находится человек с надписью «Я царствую», на правой стороне — другой, вниз головой, и при нем надпись «Я царствовал»,

внизу, под колесом — третий («Я без царства»), и слева — четвертый, хватающий за ногу первого («Я буду царствовать»).

[9] Дочь Гугона, графа турского, жена Конрада Вельфа, брата императрицы Юдифи.

[10] Т. е.: «если я увижу, что мой панегирик принят благосклонно, то я перепишу его на пергаменте» (что было сопряжено с трудом и большими расходами). Переход от «я» к скромному «мы» так же обычен в латыни этого времени, как и переход от «ты» к почтительному «Вы».

[11] Имеется в виду Храбан Мавр: изгнанный из Рейхенау, Валахфрид направился к нему в Фульду, но не застал его, и здесь пишет свое скорбное стихотворение.

[12] Авия — латинское название Рейхенау.

[13] Слово mus («мышь») состоит из трех букв и (в каролингском почерке) из семи черточек.

[14] Три слова: hoc est mus («се есть мышь»).

Хейтон

[1] Латинская форма названия «Рейхен-ау».

[2] Вальдон был аббатом в Рейхенау в 784—806 гг., а потом до самой своей смерти в 813 г. управлял аббатством Сен-Дени близ Парижа. О нем говорится далее в гл. 10.

[3] Противоположение, характерное для соперничества между черным и белым духовенством в каролингскую эпоху: дьявол является в видении в образе клирика, а святые — в образе монахов.

[4] Настоятель (препозит) — первая после аббата (архимандрита) или приора (игумна) должность внутри монастырской ограды. Аббаты, обязанные отдавать много времени хозяйственным делам и всевозможным государственным обязанностям, а часто и вовсе бывшие мирянами, не могли заниматься наставлением братии и передавали эту функцию препозиту, избираемому или назначаемому.

[5] Диалог из IV книги о судьбе душ в загробном мире, приведенный в настоящем сборнике.

[6] Псалом 118: «Блаженны непорочные в пути...»

[7] Деяния апостолов, 5, 1—2: «Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов...»

[8] Имена аббата Вальдона, епископа Адальхельма, клирика Адама, графов Одальриха и Руадриха раскрыты в акростихах Валахфрида Страбона в его переложении «Видения».

[9] Имя Карла Великого раскрыто в акростихе Валахфрида Страбона. Этот взгляд духовенства, скандализованного веселой жизнью двора, находил поддержку у Людовика Благочестивого и развивался параллельно панегирическим сказаниям вроде тех, которые собраны Ноткером Заикой.

[10] Имена присутствующих перечислены в переложении Валахфрида Страбона (ст. 864 сл.):

Первым из них был Хейтон, Эрлембальд же вторым по порядку,
Коих в начале сего воспели мы краткою одой,
Третьим лежащий был сам умудренный душою учитель,
Старец четвертый стоял, проживший премногие годы,
Теганмор, Божий слуга, кому многолетнею жизнью
В дар вековечный даны почтенные всеми седины.
Славен сединами он, но славнее премудростью мысли,
В нравах же он без греха наследовал инокам древним;
Был он духовным отцом, в утоленьи печалей искусным.
Пятым остался Таттон, что, добрый, по милости Божьей
Был удостоен явить пример выдающихся нравов...

Седулий Скотт

1 Лантберт — епископ Утрехтский, мученически погибший в 708 г., святой патрон города Люттиха. Первым чудом на месте его кончины было исцеление трех слепых: Бальдегисила, Регинфрида и Оды; с этих пор он считался покровителем слепых.

2 О каком поражении норманнов идет здесь речь — спорно: по мнению Дюммлера — о победе фризов в 845 г., по мнению Траубе — о победе ирландцев в 848 г. Стихотворение, по-видимому, сознательно написано в форме гимна, а не героической кантилены, т. е. с устранением всех земных факторов победы и преобладанием панегирической части над повествовательной (Примечание Б. И. Ярхо).

3 Реминисценция из античной мифологии — борьба богов-Олимпийцев с Гигантами, сынами Земли.

4 Вергилий, эклога III, 62; мотив использовался еще Алкуином.

5 Нарушение диалогической формы, как у Алкуина в «Прении Зимы и Лета», ст. 13.

6 Игра слов: multus — многий и multo — баран.

7 Имеется в виду черный цвет волос у кельтов.

8 Луцина — одно из имен Дианы. Созвездие Овна, по некоторым мифам,— это золотое руно, взятое Юпитером на небо.

9 Вергилий, эклога III, 39.

10 Титиром здесь назван или баран, или пастух.

11 Анубис — египетский бог с собачьей (точнее, с шакальей) головой; к Седулию этот образ пришел из «Энеиды», VIII, 698.

12 Псалом 117, 16—18.

13 Пародия на обряд омовения ног, совершаемый аббатом по отношению к своим монахам в знак достижения одной из высших степеней смирения.

Иоанн Скотт Эриугена

1 Дионисий Ареопагит по преданию был афинским мудрецом, членом Ареопага (верховного суда), обратившимся в христианство под впечатлением солнечного затмения (по-гречески затмение — «эклипс»), совершившегося в день крестной казни Христа.

2 Иерофей — афинский епископ, крестивший Дионисия; в сочинениях псевдо-Ареопагита есть ссылки на его наставления.

3 Дидаскал — учитель (греч.).

4 Аттиады (и далее «Кекропово племя» — по имени Кекропа, первого афинского царя) — поэтическое наименование жителей Аттики, афинян.

5 Синергия — сотрудничество (греч.).

6 О человеке, «восхищенном» до третьего неба и до рая, говорится в послании апостола Павла (2 Кор., 12, 2—4); средневековье не сомневалось, что этот человек — сам Павел, а отсюда было естественно предположить, что Дионисий Ареопагит, ученик Павла, много писавший в приписанных ему сочинениях об иерархии небесных сил, сопровождал Павла в этом вознесении.

7 «Далекоблистающих хоров из Начал, архангелов и ангелов...» (греч.).

8 МАХАІ — битвы (греч.).

9 Эриугена имеет в виду восходящее к апостолу Павлу (1 Кор., 1, 24) наименование Иисуса Христа: «Божья сила и Божья премудрость» («премудрость» — по-гречески «софия»). Это наименование пользовалось особой популярностью в греческой традиции ученой, умозрительной мистики.

10 Отчее слово — Христос в его качестве Логоса (ср. начало Евангелия от Иоанна: «В начале было слово, и слово было к Богу, и слово был Бог...»). Жертва названа «благоприятной» в изначальном значении этого слова — тот, кого принимают.

[11] Вода и кровь, вытекшие, согласно евангельскому рассказу, из пронзенного ребра распятого Христа, в средние века воспринимались как символы таинств крещения и евхаристии. Вода крещения омывает человечество от грехов; преподаваемая в евхаристии «кровь Христова» способствует восхождению этого же человечества до божественных высот.

[12] Речь идет о двух разбойниках, «добром» и «злом», распятых по правую и по левую руку от Христа; крест назван «древом» в соответствии с системой средневековой символики, проводившей аналогию между крестом Христа и древом Адамова грехопадения.

Ноткер Заика

[1] Намек на то, что с Рождества (совпадающего с зимним солнцестоянием) начинают удлиняться зимние дни.

[2] Пятидесятница — пятидесятый день после воскресения Христова, когда на апостолов «сошел Дух Святой», и они принялись проповедовать перед пришельцами из разных стран, говоря на языке каждого (Деяния ап., 2, 1—12).

[3] Реминисценция из Ювенка, IV, 349: «Тут-то из сердца Христос такие слова исторгает...»

[4] Ст. 44—46 неразборчивы в рукописи; перевод дополняет их по смыслу.

[5] Десять струн — десять строк стихотворения.

[6] Т. е. в епископский сан: Соломон сменил своего дядю, Соломона II, епископа Констанцского, еще юношей, в 890 г., а тотчас затем стал и аббатом Санкт-Галленским.

[7] Намек на пророчество Даниила (2. 31—43), где толкуется сновидение Навуходоносора, и применение его к падению Западной Римской империи и восстановлению ее Карлом Великим.

[8] От Климента Скотта сохранились грамматические сочинения.

[9] Флакк Альбин известен более под именем Алкуина.

[10] Анахронизм. Алкуин родился около 730 г., а Беда умер в 735 г. Учителем Алкуина был ученик Беды архиепископ Эгберт Йоркский.

[11] Имеется в виду Григорий I Великий (540—604 гг.).

[12] Плащ св. Мартина Турского (cappa) был наиболее драгоценной реликвией франкских королей, символом торжества христианской веры в Галлии.

[13] Об ответных возгласах в литургии говорится в гл. 5.

[14] Т. е. в 2 часа пополудни; счет часов велся от восхода.

[15] Т. е. один раз в сутки. См. Левит, 23, 32.

[16] Т. е. Соломон (Екклес., 7, 16).

[17] Т. е. Палестину.

[18] Обращение к Карлу III Толстому, по просьбе которого автор предпринял свой труд, ему посвященный.

[19] 1 Послание к Тимофею, 3, 1.

[20] В предыдущей 17 гл. рассказывается о чрезмерном честолюбии этого епископа, пожелавшего иметь золотой скипетр Карла Великого вместо простого посоха — знака епископской власти.

[21] Помощники эдилов, в обязанности которых входило наблюдение за общественными зданиями, празднествами, храмами, надзор за общественным порядком.

[22] О чудодейственной невыносимой силе взгляда Карла говорится у Ноткера не раз (ср., например, I, 3; II, 17 и др.).

[23] Имеется в виду ахенская базилика, упоминаемая и Эйнхардом.

[24] Франция — центральные области империи, в противоположность Алеманнии.

[25] Намек на посещение санкт-галленского монастыря Людовиком Немецким приблизительно в 857 г.

[26] Сыновья Людовика: Карломан и Карл III, будущий адресат «Деяний Карла».

[27] Вергилий, «Энеида», VIII. 660.

28 Предисловие с посвящением Карлу Толстому утрачено.

29 Священник, управлявший санкт-галленским монастырем в половине IX в., поэт, философ, теолог, историограф. Ученик Храбана Мавра.

30 Т. е. 30 мая 884 г.

31 Брат жены Карла Великого, Хильдегарды.

32 В предыдущих главах (2—4) сообщается несколько случаев из войн Карла с гуннами и саксами.

33 Речь идет, по-видимому, о визите к византийскому императору Никифору I (802—811 гг.).

34 Народная традиция наделила Карла даром предвидения: действительно во времена Карла III запад снова подвергся нашествиям и разграблению со сто-ооны норманнов и сарацинов (арабов).

35 Т. е. Юлия Цезаря.

36 Т. е. широкие, как некогда у Платона, получившего свое имя как прозвище за широкую грудь (πλ ατ — «широкий»).

37 Рассказ вымышлен; осада крепости Павии, начавшаяся в 773 г., длилась не два дня, а восемь месяцев (ср. Эйнхард, «Жизнь Карла», гл. 6).

Геральд

1 Авары, жившие при Карле Великом на среднем Дунае, считались потомками древних гуннов.

2 Арар — ныне Сона. Родан — ныне Рона; Кабиллон — ныне Шалон.

3 Ворматия — ныне Вормс.

4 Возаг — ныне Вогезы.

5 Темное место; мы даем буквальный перевод слов Franci nebulones; наиболее вероятное значение — «пустые», «нестоящие» воины.

6 Метт — ныне Мец в Лотарингии.

7 Иберы (испанцы) и скотты (шотландцы) считались самыми западными народами Европы; авсонийская земля — Италия.

8 Тапробан — античное название Цейлона, считавшегося самой восточной окраиной населенной земли.

9 «Лев» — кличка коня.

10 Сикамбры — древнегерманское племя, иногда отождествляемое с позднейшими франками.

11 Звонкая цикада как символ поэта — образ, традиционный в античной литературе.

Каролингские ритмы

1 Франция — вся франкская держава.

2 Аквисграна — латинское название Ахена, столицы Карла.

3 Колумбан, ирландский миссионер, был основателем знаменитого монастыря Боббио в Ломбардии (614 г.). Судя по этому воззванию и по упоминанию «досточтимых городов» в строфе 12, стихотворение возникло в Италии.

4 Суббота — день Сатурна, пожирателя собственных детей.

5 Неправильное осмысление античного понятия: в действительности Марсово поле в Риме было не местом битвы, а местом народных собраний.

6 Ср. Агнелл, «Книга иереев равеннской церкви», 174: «Лотарь во всеоружии бросился в самую гущу врагов, видя, что его войска побеждены и бегут вокруг него повсюду; и не было покоя мечам, рассекающим члены. Ворвавшись, как сказано, в середину вражеского войска, не имея подле себя никого, кто мог бы подать ему помощь, «смело один под копье поверг он трупов немало...» Один победил он в сражении, но все его воины обратились в бегство. Сидя на косматом скакуне, украшенном расписной пурпурной сбруей, шпорами подгонял он коня, поражая ударами неприятелей. Если бы против врага стояло только десять ему подобных, не была бы разделена империя, и

не сидело бы столько королей на престолах». Агнелл — тоже современник битвы; в Италии, по-видимому, мнение о Лотаре было единогласно (примечание Б. И. Ярхо).

7 Царств, II, 19—21 (плач Давида над Саулом и Ионафаном); в Библии это место тоже повторяется дважды.

8 Сохранилась грамота короля Гвидона от 892 г., разрешающая моденскому епископу Леудоину (ум. в 898 г.) построить стену в миле вокруг городского собора; если стихотворение относится к этому событию, то значение «городских стен» — явная гипербола.

9 О том, «как гуси Рим спасли», рассказывается у Ливия, V, 47; но ни о какой серебряной статуе там нет речи.

10 Феотокос (греч.) — Богородица; странно, что в стихотворении говорится не о патроне собора и всей Модены, св. Геминиане, а о патронах другой моденской церкви, Марии и Иоанне Крестителе.

11 Аквилея была разрушена Аттилой в 452 г.; автор стихотворения (как и многие его современники) отождествляет гуннов с аварами («обры» в строфе 9).

12 Первый патриарх Аквилеи, Гермахор, был избран новообращенными жителями по побуждению апостола Марка, патрона всей Венетийской области, и получил утверждение в Риме от св. Петра.

13 Лангобарды были арианами.

14 Речь идет о расколе 606 г., когда в Аквилее по приказанию герцога-арианина был поставлен патриархом Иоанн, а фриульские католики выбрали себе в Градо другого епископа.

15 Царств, III, 12, 28.

16 Ср. Иеремия 9, 1.

17 От Иоанна, 10, 11.

18 Исайя, 24, 2.

19 От Матфея, 5, 13. Все стихотворение наполнено библейскими и евангельскими реминисценциями: см. строфы 8 (От Матфея, 10, 8), 9 (От Луки, 12, 35), 13 (От Луки, 10, 2), 16 (От Матфея, 25, 25—30), 17 (Исайя, 56, 10), 19 (Пс. 144, 14). Любопытно, что несмотря на это, в строфе 21 христианский бог именуется «царем Олимпийским».

20 Порядок строф в переводе отступает от подлинника: в подлиннике следуют друг за другом строфы 6, 8, 7, 10, 11, 9, 13, 12, 14—18, 20, 19, 21—23.

21 Андегавы — Анжер.

22 Т. е. имя первого человека на земле — Адама.

СОДЕРЖАНИЕ

Памятники средневековой латинской литературы IV—IX веков

Утверждено к печати Институтом мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР

Редактор издательства *Л. М. Стенина*
Технические редакторы *Л. Н. Золотухина, В. И. Зудина*

Сдано в набор 15/XII 1969 г. Подписано к печати 28/IV 1970 г. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага № 2.
Усл. печ. л. 27,75. Уч.-изд. л. 27,6. Тираж 5 000. А-01044. Тип. зак. 619. Цена 1 р. 79 к.

Издательство «Наука». Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

Набрано в Ордена Трудового Красного Знамени
Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28

Отпечатано во 2-й типографии издательства «Наука»
Москва Г-99, Шубинский пер., 10, зак. 670

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛАТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА IV–IX *веков*